

ISSN 0130-7673

ЖИВОБЫИ МИР

|| 6 ||

ЖИВОБЫИ МИР

|| 1988 ||

6



1988



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 6

Июнь, 1988 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК — Люблю ли я вынешнего героя, стихи	3
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Воздушная тетрадь, стихи	6
ВЛАДИМИР ОРЛОВ — Аптекарь, роман. Продолжение	8

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА — Вечной мужественности взмах. Подготовка текста, публикация и комментарий Е. И. Лубянской	97
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ: ПРОЗА, СТИХИ. Публикация и подготовка текста И. П. Сиротинской	106

ПУБЛИЦИСТИКА

В. БЕЛОВ — Ремесло отчуждения. Бюрократия и экология. Размышления при разборе бумаг	152
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Ф. И. ШАЛЯПИН — Маска и душа. Главы из книги. Окончание. Подготовка текста и комментарии Е. Дмитриевской, В. Дмитриевского	182
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. М. БОРИСОВ, Е. Б. ПАСТЕРНАК — Материалы к творческой истории романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»	205
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
Д. С. ЛИХАЧЕВ — Крещение Руси и государство Русь	249
ВИКТОР КОЖЕВНИКОВ — Шифрованные строфы «Евгения Онегина». В. Турбин. Уже ли слово найдено?	259
КОРОТКО О КНИГАХ:	
И. Фридман. — Олдос Хаксли. Желтый Кром. Роман. Рассказы. ♦	
С. Глушнев. — В. Н. Ягодинский. Александр Леонидович Чижевский. 1897—1964. ♦	
Г. Березовский. — Гастон Башляр. Новый рационализм	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ЛЕОНИД ЗАВАЛЬЮК



ЛЮБЛЮ ЛИ Я НЫНЕШНЕГО ГЕРОЯ

Пейзаж с изобретателем

Изобретай, Эдисон-Ползунов!
Теперь уже получишь по заслугам.
А он стоит и думает:
«А это сколько?
Хватит примерно, чтобы снять приличный угол?
И если хватит, то вместе с хозяйкой
или только с койкой?»
А он стоит — сторбился.
Привычная поза.
А он стоит, колеблется, в глазах тревога:
Деньги — ладно,
но знать бы, как теперь наказывают за пользу.
Так же, как раньше,
или уже менее строго?
Сколько раз за эту пользу уродовался как проклятый.
Новое, новое!.. А слушаешь телек —
все спрашивают, никто не отвечает.
...Ах, напрасные слезы —
эти наши долгие провода.
Машем, машем рукой Кораблю Дураков,
а он никак не отчалит.
Что-то надумает родиться,
и вдруг бац — передумало.
Нетривиальное мышление!..
А мозги-то в основном застиранные, позавчерашние.
И вот то ли историческая традиция,
то ли личная дурь моя,
Но нет-нет да и потянет не в Жизнь,
а к каким-то идиотским Башням.
Не веришь — помрешь!
И верить трудно.
Где оно, то, что губило нас?
Оглянемся — кончилось, нет.
Но хочется каких-то крайних, необратимых свидетельств
типа — опознание трупа.
Мол, вот оно. Сдохло. И потыкать пальцем.
И — жизнь. И — да здравствует свет!

Из книги жалоб

...На что я жалуясь?

Признаться, и сам не знаю. Просто жаловаться охота.

У нас с гласностью порядок. И самоокупаемость. И все хорошо.

Но застыла во мне жалоба, как лицо застывает на фото.

И тихонько травится пар, что когда-то б на гимны ушел.

...Говоря полуцитатой, все мы немножко страусы.

Зарылся с глазами, и вроде любая беда — не беда.

И все-таки кто-то непременно вытаскивает из песка нас за уши,

Когда все мы уже приспособились седалищами разглядывать небеса.

Грядет!..

Что-то грядет непредставимо великое.

«Завези в нездешнее наши чаяния!»

И похоже, кто-то услышал, завез.

И вот вакуумная полость судеб, из которой ушла религия.

Что-то тянет, подсасывает из живых неопознанных звезд.

Родина!.. Люблю ли я родину? Люблю, и даже более.

Жизнь без нее — трупная пустошь, нулей нуля.

Где она находится?

На долготе беспредельной,

неисцелимой надежды-боли.

В районе суровых широт,

где ближе всего к небу дрожащая капля — Земля.



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ



ВОЗДУШНАЯ ТЕТРАДЬ

В наши маетные годы

1

От ума до сердца дальше,
Чем от сердца до ума,—
Эта истина не старше
И не младше, чем зима,
Где пути столкнулись наши
И сомкнулись наши сны,—
И содвинули мы чаши
Ликованья и вины.

2

От зимы до лета дальше,
Чем от лета до зимы,
Но с тобой об этом раньше
Не догадывались мы.
В наши маетные годы
Жизнь измерить не могла
Путь от белой непогоды
До лилового тепла,
Где на перекрестке лета,
Над четой могильных плит,
В плоской шапке из вельвета
Пижма желтая стоит
И татарник, отцветая,
В серый кутается мех...
Жизнь, так быстро прожитая,
Не мигая смотрит вверх.
Там все то, что с нами было,
Там, боясь извечной тьмы,
Ходит маятник светила
От зимы и до зимы.

3

От земли до неба дальше,
Чем от неба до земли,
Это знали мы и раньше,
Но предвидеть не могли,
Что и тверди мы содвинем,
В час содвинув роковой
Наши души в небе синем,
Наши руки под землей.

Повторник

В нашем городе каспийском, Не замеченный толпой, Для себя с немалым риском Жил и действовал слепой.	Мир земной и мир надземный Вновь осмысливал старик — Поэтапно, потюремно Вел он тайный временник.
--	--

Перед ним была бумага, А в руке была игла, И железная отвaga У него в груди была.	Но однажды на рассвете Вновь слепого увели И сожгли страницы эти, Но потомки их прочли,
--	--

Был концлагерь на востоке, А на западе — война. Перещупывал он строки Возле яркого окна.	Потому что было Слово, И в воздушную тетрадь Он иголкой еловой Приспособился писать.
---	---

Странное дерево

Дерево странного облика:
Что ни листочек — то облако,
Белое, белое, белое,
Полное зова и отклика.

Разом — и платье венчалное
И полотно погребальное,
Белое, белое, белое
Дерево это печальное,

Иль притворившись растением,
Ангел простер оперение —
Белое, белое, белое
Между Творцом и творением.

* * *

Не веруем. Но жаль души утраченной,
И чтобы пустота не пустовала,
Ее мы набиваем всякой всячиной
Из дерева, пластмассы и металла.

И я ввожу предметные подробности,
Давясь то ли слезой, то ль запятою,
И лишь немногим достает способности
Ту пустоту оставить пустотою.

А вдруг душа вспомнит и воротится —
И не найдет такого уголочка,
Куда б могла поставить Богородица
Корыто для Спасителя-сыночка.



ВЛАДИМИР ОРЛОВ

★

АПТЕКАРЬ *

Роман

21

Я

стоял в Большом Головине переулке.

И сам не знал, почему я приехал именно сюда.

Сел на девятый троллейбус, отправился в Белый город, возможно, с намерением зайти в издательство. А взял и вышел у знакомого мне с детства кинотеатра «Уран». Остановка «Даев переулок»... Когда-то этот дом был праздничным и казался волшебным. А сняли с него слова «кино» и «Уран» (а от меня ушло детство), и он сначала ослеп, а потом умер, серым нелепым складом или торцовой стеной нелепого склада остался на живой, горячей улице. В щелях между портьерами виднелись в темноте склада бледные усопшие гипсы. Я свернул за угол и попал в Большой Головин переулок.

А там что?

Взглянуть на клен? Отчего же и не взглянуть...

Год назад, в мае, занесло меня в Большой Головин. Там в зеленом кармане переулка стояло вишнево-красное дерево. Высокое, с дом. Листья его только-только распустились, разошлись и были красными. Наверное, если бы один из них я положил на ладонь, он оказался бы и не совсем красным. Но дерево горело. Я спросил у старушки при коляске: «Что это?» Она сказала: «Канадский клен». Но, может, он был вовсе и не канадский. Может, маньчжурский. Я знал: в тридцатые годы в Москве и под Москвой увлекались американскими кленами — сколько их вместе с желтыми акациями стоит вдоль канала к Волге! И у нас в Напрудном прямо под моим окном рос американский клен. Но по весне он никогда не был красным. Прошлым летом я опять зашел в Большой Головин. Клен отгорел, исчез в зеленых соседях. И сам он теперь, в июльский полдень, стоял зеленый, спокойный и пушистый. Я пообещал себе вызнать, прочитав об особенностях этого дерева. Но не нашел ничего путного. Узнал только, что кленов на земле не менее ста пятидесяти видов. Июльским днем я, кирпично-каменный, горожанин, дитя булыжной мостовой Напрудного переулка, прошел бы мимо него, головы не повернув. Это весной клен удивил меня своей нездешностью.

На самой Сретенке деревьев нет. Сретенка, как известно, единственная старая улица в Москве, почти не имеющая ворот. На ней с конца восемнадцатого века, когда разлился и разгулялся Сухаревский рынок, было так тесно домам торговых людей, что ни воротам, ни деревьям места не оставалось. А в переулках деревья росли. Переулки тут — семь на запад, вниз, к Цветному бульвару и к Трубе,

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 5 с. г.

девять на восток, к Костянскому,— тоже одни из немногих в Москве, сохранившие свои изгибы и течения со времен Ивана Грозного. На них веками стояли чуть ли не деревенские избы с огородами. Но теперь и в сретенских переулках камень взял свое, и здесь не везде есть ворота и дворы, а коли есть, это чаще всего дворы проходные, земля в них придавлена асфальтом. Однако шампиньоны пересекают в Москве и асфальты. И камень не смог совсем извести напоминания о чащобах земли вятичей. Пусть даже клен, пламенеющий веснами в Головине, был не из тех чащоб...

Но что я пришел к нему? И что стоял возле него?

Не взглядом естествоиспытателя смотрел я на клен. Совсем не был намерен исследовать, предположим, какие у головинского клена листья — цельные, супротивные либо перисто-сложные. Не делился он для меня на составные — корень, штамб, ствол, крона, ветви, листья. «Далекие фигуры — все без ртов, далекие деревья — без ветвей. Далекие вершины — без камней: они, как брови, тонки, неясны. Далекие течения — без волн: они — в высотах, с тучами равны. Такое в этом откровенье!» — сказал в восьмом веке мудрец и художник. Но для меня сейчас и близкое дерево было без ветвей. Оно стало важным для меня в своей живой цельности. Важным стало и то, что я стоял перед живым существом. Понятно, что любое растение и есть живое существо. Однако оно живое само по себе, а не для тебя. Оно — среда, в которой живой — ты. В особенности когда деревья, трав, цветов вокруг тебя множество. В лесу. Или даже у нас в Останкине. Тебе среди них хорошо. Или просто покойно. И ладно. Здесь же множества не было. Дерево — как и три его соседа — стояло в камнях. Со мной на равных. И жило. Будто некое поле тихого интереса или даже доверия возникло между нами. Будто и сигналы неясные принимал я сейчас. Или услышал музыку. То есть, возможно, сигналы и были музыкальные. И светлое звучало в них, и тревога, и будто просьба о чем-то, и будто смиренная подсказка... Я вспомнил о Любви Николаевне. «Вот,— подумал я,— весной клен был красный и осенью снова будет красный, и багровый, и желтый... Может, и он ищет наиболее верное воплощение своей сути и своей натуры, как искала свое воплощение Любовь Николаевна? Может, и она, как часть природы, родственна сретенскому клену и душой они близкие?.. Что за чушь! — поставил я себя сейчас же на место.— Какая она часть природы! И какая у нее и у этого дерева может быть душа?»

Я вернулся на Сретенку. Сердился: «Да отстанет хоть когда-нибудь от нас эта Любовь Николаевна? Волю нам она дала, а в память нашу, выходит, вцепилась?..» И тут же пропала Любовь Николаевна из моих соображений.

Но вдруг живыми существами стали представляться мне дома на Сретенке. Клен ладно, он истинно часть природы, родня, соглашусь, мне и всему горопливому сретенскому люду. А строения с лифтами и без лифтов, с покривленными временем перекрытиями, с башмаками и соком манго в витринах — какая они мне родня? С чего ожить им? Однако что было, то было... Опять же, предположим, могло остановить меня эстетическое чувство и заставить смотреть на какой-либо дом, а фантазия принялась бы устанавливать отношения с ним. Но особенные красавицы здесь не стояли, только два сретенских здания государство приняло на охрану, да при этом одно из них — Троица в Листах,— обезглавленное и приведенное некогда в «гражданское состояние», пока лишь лесами у стен и расчищенными следами сбитых наличников обещало обрадовать возвращением к красоте, если к Олимпиаде постараются реставраторы (а они не постарались, и леса остались декоративными)¹. А так улицу все более

¹ Теперь стараются, но не спеша.

составляли дома в два-три этажа, на вид явно конца прошлого века. В ту пору Сретенку называли вечно копошащимся уголком Москвы. Улица — пролог Сухаревского рынка, трактиры и лавки, теснота у Троицы в Листах, торговля мясом аж из каменных мешков-подвалов, мышинных нор, куда пролезть можно было лишь с тротуара. Людям, полагавшим иметь дела на Сретенке, и путеводителями давались рекомендации помнить о кошельках и карманах. А вниз — слезали переулки к Грачевке, где обитали веселые девицы. Бедовая Сретенка! Вот от нее-то, от прошлого века и его людей и стояли вокруг меня дома (кроме разве что серой и нескладной школы), выстроенные как будто бы без затей и для деловых надобностей. Как они оказались бы мне родней и как могли ожить для меня?

Я был в сомнениях и спорил с собой. «Ну и что?— говорил себе.— Но ведь и они Москва. И они теперь наши, нынешние дома. И хорошо, что стоят!» Да, и они для меня были именно Москва. Сама по себе, в отдельности, пусть и не красавцы, что правда, то правда, но вместе они, разные, со своеобразным характером и обличий, все же оказывались на Сретенке красивы, а оттого, что среди них я не чувствовал себя мелочью и чужим и все для меня здесь было домашнему, я готов был признать и то, что они приветливы, и человечны, возможно, и душевны. И отчего же не посчитать и улицу эту и дома на ней своей родней? И они, дома эти, могли оказаться для меня живыми существами. Отчего же нет? Сколькими людскими судьбами они пропитаны, сколько страданий и радостей людских они вобрали в себя и держат в себе, сколько житейской энергии осталось в них — отчего же им не ожить для меня и не заговорить со мной? А память их? Не одну лишь свою историю должны были помнить они. Не одно лишь людское копошение на подходах к Сухаревскому рынку. Дома, палаты, избы и усадьбы, бывшие здесь прежде, передали им и свои истории и свою память. И все, что видели и знали деревья, травы, росшие вдоль дороги на Троицу, Переславль и Владимир, еще не ставшей улицей Сретенкой, помнили они. Могли помнить они! И о том, как у северных ворот Белого города встречали москвичи образ Владимирской Божьей матери в простодушной и нерушимой надежде, что она поможет им выжить, устоять и уберечь свой город от воинства Хромого Тимура. И о том, как возвращались в Москву русские полки, одолевшие Казанское ханство. И о том, какие люди жили в Новой Сретенской слободе — кафтанники, сусальники, кузнецы, ветошники, дегтяри, сабельники, лубенники, шапочники, холщовники, подошвенники, луковники, кисельники, ножевники, калачники, москательщики, рудометы... А потом, что в особенности дорого мне, — печатники, чье место трудов было за китайгородской стеной. И еще — стрельцы полка стольника Сухарева. И пушкари — они-то как раз между Головиным и Просвириным переулками. Жили труженники, жили воины. Они и в сорок первом из дома номер одиннадцать, где теперь уже нет военкомата, уходили на фронт. Они уходили, но не ушли. Так отчего же теням всех этих людей, нет, и не теням, а их жизням не остаться на Сретенке, не наполнить ее собой?

Я шел мимо сретенских домов, останавливался и снова шел. Они теснили меня, но не сдавливали, в них не было агрессии. Их разговор между собой и со мной получался перекрестным. И голоса в нем стали звучать из разных слоев жизни и отлетевших лет. Они вовлекли и меня в свою память, позволяя и мне участвовать в их движениях во времени. Будто бы и я бежал теперь со слободским людом в сторону Сретенских ворот за царем Алексеем Михайловичем в надежде остановить его, ублажить принять челобитную, и верховые стрельцы плетьюми охлаждали меня. Будто бы и я ждал потом возка царицы, следовавшей за мужем с богомолья из Троицы, и вместе с другими подавал ей все же челобитную. И был опять бит, а в

стрельцов уже летели камни и палки, начиная Соляной бунт. И я стоял у Сретенских ворот Белого города и ждал Владимирскую Богоматерь. Я стоял в нейлоновой куртке и в вельветовых брюках, я знал, что Владимирская Богоматерь висит сейчас в Третьяковской галерее и числится произведением темперной живописи. Но я не мешал людям, окружившим великого князя, их не пугали, не раздражали мое присутствие, моя одежда. Я был один из них. И, как они, жаждал и ждал чуда... И я в усердии и в азарте в горький день смуты подавал мужикам ведра с водой, но не сбивала вода пламя, погибелен был сретенский пожар... И я в печали и растерянности видел, как рушили Сухаревскую башню, сестру Ивана Великого, продутую когда-то холодными останкинскими ветрами Петрову школу навигацких и математических наук, без коей не было бы в Москве моего университета. А потом я слышал, как ревнитель во френче, бывший кожевник или сапожник, крикливый мужчина, открывал на осиротевшей площади у устья Сретенки мраморную Доску почета, позже сгнувшую и забытую (сгинул и ревнитель, но забывать о нем — грех)... И я с мосинской винтовкой за спиной уходил осенним днем сорок первого на Перемиловские высоты из дома номер одиннадцать (в доме том в пятьдесят четвертом году я получил приписное свидетельство)... Меня сегодня пронзили (или пронзили) московские века, и я, оставаясь на Сретенке, был и сейчас и всегда, соединяя собой столетия, физически ощущая себя в них и чувствуя прикованность к моему городу. Есть душа города. Есть гений города. Неужели нынче я хоть на шаг подвинулся к пониманию души и гения Москвы? Вдруг и подвинулся...

Однако... Я осадил себя. Красиво — «к пониманию души и гения Москвы...». Но достоин ли именно я этого понимания? Достоин ли причастности к душе и гению?.. Эко хватил! Стою-то я что? Это мне теперь легко (удобно? или даже приятно?), в солнечный и торговый день на Сретенке, когда листья удивившего меня клена не шелхнутся и не садятся контролеры в троллейбусы, при равнинном, как выразился мой сорокалетний коллега, течении жизни, размещать себя в самом благородном виде в московской истории. И я, выходит, бежал с челобитной, и я тушил пожары, и я глаза напрягал, чая явления Богородицы, и я с мосинской винтовкой шагал по мостовой... То-то молодец! Но не бежал, не тушил, не шагал. Там были другие. А я бы смог? Выдержал бы? Кем я был в сорок первом, мне известно: четырехлетним владельцем педальной машины. Кем бы я был в иных столетиях со своей натурой и сутью — в веках двенадцатом, семнадцатом, в прошлом, — я бы очень хотел знать. Но знать этого мне не дано. Просто бы распался я в московских суглинках и песках или бы, распавшись, все же оказался одним из тех, кто и родил, слепил, выковал, выдохнул, сберег гений и душу города? И этого знать мне не дано. А предки мои? Дальше дедов судеб я их не знаю. Но ведь не соображение о собственных предках вызвало сегодня мысли о причастности к судьбе города, а вот прежде всего дома эти сретенские в два-три этажа, желтые, белые, розовые, серые, и их голоса... «Но погоди! — сказал я себе. — Зачем отвлекаться! Есть ли именно сейчас нужда в рассмотрении самого себя: соответствую ли? сопричастен ли?»

Нет, нынче следовало не ввинчиваться внутрь себя с претензиями, сравнениями и недовольствами, а видеть и слушать то, что открывалось мне вне меня, в городе моем... А открывалось вот что.

Убери Сретенку — не будет Москвы. Убери соседнюю Мясницкую-Кировскую — и не будет Москвы. Убери Ордынку — и не будет Москвы. Поставь вместо них дома с Нового Арбата — будет столица, а то и провинциальное место для свежего государства, хоть перенеси их на берега Нигера или Иравади. Естественно, и дома нового века Москве нужны, но не как доминанта, а как слой, как одно из ко-

лец, пусть и широкое, ствола пожившего, но и вечного дерева. Оно и так хорошо и могуче. И будут другие века...

Были годы, старшие классы, когда я стеснялся матери. Я любил ее, но старался не быть вместе с ней на людях, особенно вблизи одноклассников. Коли же приходилось отправляться куда-либо с ней, я нарочно шел быстро, так, чтобы хоть метров шесть было между мной и матерью, вроде бы я не имел к ней отношения, ноги у матери болели, она спешила за мной, но не обижалась. Видеть себя со стороны я в ту пору не умел. На мать я смотрел со стороны. Причем не со своей стороны, а со стороны возможных наблюдателей — сверстников и сверстниц с Мещанских улиц и людей просто посторонних. Они-то — я был уверен — видели мать убогой, пожилой женщиной (сорок семь лет), ссутулившейся от забот, старомодно и дешево одетой, домработницей, что ли, из деревенских. Вернуть бы те годы...

Я любил Москву, но и как бы стыдился за нее. В спорах с ленинградцами тушевался, мямлил что-то и соглашался: да, конечно, большая деревня и прочее. Лукавил отчасти, но соглашался. Да и не нравилось в Москве многое мне тогдашнему. Хорошо хоть таблицы и чертежи решительных планов переустройства успокоительно обнадеживали, на них под маршевые мелодии выстраивались дома-богатыри — все как на подбор, из мрамора и гранита — на грядущих московских проспектах... Юношеские заблуждения, однако, развеялись, и я, получив представление о мировом опыте зодчих, как бы установил для себя, что в архитектуре хорошо, а что пошло. Понятно, что мои установления для других ничего не значили и могли быть зряшными и ошибочными, но для меня они стали важны, и я их придерживался. И Москва мне все более и более нравилась, в частности и как произведение искусства. Но я знал, что принимаю в Москве многое из-за привычки к ней. И из-за любви к ней. А коли бы я не любил ее и не жил бы в ней, а прилетел бы в Москву с суетной и деловой душой из чужих земель на неделю, что бы я сказал о ней? «Не Париж!» Не Париж. Не Вена. Не Дрезден... Во скольких только городах я ни побывал, а надо мне было попасть именно в Париж, чтобы навсегда перестать стесняться Москвы. Господи, какой красавец город Москва, явилось мне. И дело было не в том, что я после упоительного карнавала зимних игр в Гренобле, после бессонно-счастливой репортерской круговерти двух недель устал и затосковал по дому. И конечно, дело было не в собственной гордыне и высокомерии, отчего кепчонке полагалось остаться на голове. И не в том было дело, что в Париже со слякотью у кладбища Батиньоль, где лежал Шаляпин, Москва увиделась мне снежной и голубонебой и пришла на ум «гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные...». И мокрый февральский Париж был прекрасен! (Прости-те меня за столь отважное открытие. Однако ведь именно я-то ощутил тогда Париж впервые.) Но и Москва, понял я, — город сказочный. Явилась и еще мысль: а Москва-то не хуже Парижа... Мысль человека, открывшего рот от удивления. Мысль пустая. При чем тут хуже, лучше! Париж и Москва открывают разные ряды. Париж не похож ни на какой другой город. Москва не похожа ни на какой другой. Но есть множество городов, похожих на Париж и похожих на Москву. Париж и Москва первичные и сами по себе. Однако, принимая особость Москвы и ее первородность, я прежде на правах своего человека досадовал на нее. Казалась она мне и безалаберной. И слишком простодушной. И конечно — не могло и быть иначе! — провинциальной Порой казалась Москва и вульгарной, даже сварливой, с перепалками, а то со скандалами домов, оказавшихся соседями, домов столь разных нороров и физиономий, столь разных умонастроений хозяев и строителей, домов, никак не похожих по возрасту и по росту, из камней, из глины и из дерева. Отчего же им не

спорить, не вызывать недоразумения и скандалы, если стояли в моем городе рядом князья Хованские и адмиралы Брюсы, Симоны Тюфелевские и Фролы Федуловичи, Ростовы и Ионычи, Паты с Паташонами, Бимы с Бомами, Держиморды с Незнакомками в цветах югендстиля, Раскольниковы со старушками-процентщицами? Могли ли они понять друг друга, могли быть друг с другом в состоянии мира и гармонии?.. Возможно, что Москва была и просто архитектурно несостоятельной. Была ведь и большая деревня, виделись и угадывались повсюду вдоль булыжных мостовых порядки деревянных домов, бараков, изб, полудач, сараев, помоек, отхожих мест на две персоны, черт знает чего. И имелись ли в этой деревне истинные ансамбли, способные пристыдить иной пристойный город или даже сравниться, хоть кое-как, с Дворцовой площадью, с улицей Зодчего Росси, с Елисейскими полями, с набережной Брюля, с римскими красотами вблизи создания Буонарроти? Нет, при холодном исследовании ничего правильного, геометрически упорядоченного просветителю, предположим, обнаружить бы не удалось. Дворец Баженова с поломкой кремлевских стен в Москве состояться не мог (разве только смастерили его модель). Театральная площадь Бове, свобода и правильность линий коей были обеспечены Наполеоновым пожаром, и та вышла с косым боком. А потому и казалась Москва развалившейся поленницей, чьи хозяева и не намеревались ее собирать по причине того, что всего у нас много, и земель, и недр, и бревен, и песков, и глин, и камней, и прочего, что жадничать и беспокоиться? Потому в ее кольцах и лучах все так и образовалось как бы случайно, и случайность эту невозможно было изменить никакими исхищрениями. А исхищрения бывали. И не исхищрения, а будто бы движения чугунного утюга с углями по мятым брюкам с намерением владельца утюга быть в этих брюках среди избранных на балу, или на приеме или на параде. Грели углями такие утюги и в нашем веке, в годы тридцатые и позже. Не мне одному представлялась Москва провинциальной, случались скорые жители Москвы, и притом влиятельные, тот же кожевник или сапожник, ласкавший словами Доску почета, ныне утраченную, какие горели, желанием сейчас же превратить большую деревню в град державный с гранитами и мраморами. И везли граниты и мраморы, складывали в надутые, сановные дома. Но ведь и утюг требует умения и понимания. Складки-то на тех брюках получались, причем и немнущиеся, но оставлены были и дыры, и их не залатать, не заштопать...

Значит, вот какая во временных критических моих копаниях получалась Москва. И безалаберная. И простодушная. И провинциальная. И сварливая. И вульгарная. И скверно одетая. И развалившаяся поленница. И звучавшая будто бранные слова, не то что город с мелодиями гондольеров в Адриатике. И прочая... И дальше можно было бы перечислять московские несовершенства и неприличия. Скажем, скучная, в особенности в часы вечерние и ночные. Скажем, плохая хозяйка, заставляющая гостей мыкаться в поисках ночлега и стола со свежей скатертью. Скажем, и вправду не верящая слезам и равнодушная к печалям мелких новых людей своих, расселившая их в отчуждении, в одинаковости дальних кварталов, какие словно бы и не ее уголки. Скажем, порой жестокая, недоверчивая и коварная. В молодые или даже юные дни свои вынужденная терпеть нагайку кочевника и, чтобы выжить, выбиться из рабынь и стать собирательницей земель, научившаяся интриговать, а в случае с Тверью и хитрить, да так и не истребившая в себе уроков (или семян) басурманства и азиатчины (впрочем, окаянные святополки возникали у нас и прежде нагаек и кривых сабель)... И не настоящая она Европа, и не настоящая Азия, оттого и тянуло ее к эклектике и смесям... И, скажем еще, в силу своих государственных забот привыкшая к чиновничьим правилам и придиркам... То есть тут я

уже в запале собственных обличительных усердий уходил от начальных размышлений лишь об облике Москвы и об ее архитектуре, устремлялся неизвестно куда и неизвестно зачем, забывая сгоряча обо всем добром и беря в соображение моменты истории и жизни избирательные.

Но я любил Москву и ни в каком ином городе не хотел бы жить. А вот ворчал на нее и дулся. И даже как будто бы страдал оттого, что судьбой поселен в городе с изъянами и грехами. Впрочем, это преувеличение. Не страдал я и не мучался. Просто жил себе и жил. А мысли об изъянах и грехах были от недолгих досад, быстротечные, как возникали они, так и исчезали в нашем серо-голубом небе или в вечерних подмосковных туманах, обещающих теплый день. Да и относились они скорее к умозрению, а увлекаться им в годы молодости не было ни времени, ни нужды.

И вот в Париже (а могло, конечно, это произойти и не в Париже, а в Калькутте или в Ресифе-Пернамбуку, но там я не был) я вдруг почувствовал Москву по-иному, нежели я чувствовал ее во дворах Сретенки и Мещанских улиц. И не со второго этажа дома номер шесть по Напрудному переулку я взглянул на нее. И даже не со столпа Ивана Великого и не с крыши дома Нирензее. А словно бы с некоего удачного места над землей, откуда, предположим, в свои дни Альtdорфер задумал наблюдать битву при Иссе Александра Македонского с царем Дарием и углядел опрокинутые вокруг места сражения моря, материка и небеса. Хотя нет, и не оттуда... Я не собираюсь приписывать себе будто бы открывшиеся во мне способности к вселенскому зрению. Зрение это, понятно, было внутреннее. Оно было чувством. Вот тогда и привиделась мне Москва городом, украшающим землю. И увиделась в ней сказка (хотя бы для меня), сказка веселая, озорная, балаганная и горькая. Вспомнились мне лентуловские звоны, кустодиевские карусели, суриковский снег... Но то было запечатлено не моими глазами. Да и не одни глаза тут были нужны... Опять же повторяю, что никакого замечательного открытия я не сделал, просто себя, остолопа, утвердил в некоем мнении. Перестал стесняться Москвы. Понял, как она прекрасна, несмотря на все порчи и напраслины. Многие из того, в чем я позволял себе укорять мой город, стало вдруг казаться мне его достоинством. Или составными этих достоинств. Или приправами к главному, без коих главное бы и не приобрело особенные вкусы, аромат и цвет.

Ну безалаберная... А может быть, и не безалаберная? И не суматошная. Может быть, ее вечная стихия, ее неподчинение спокойствию и правильности линий, поддержанное или вызванное изгибами реки и спинами холмов, ее неспособность и нелюбовь к симметрии (отчего даже Театральная площадь вышла с косым боком) и есть достоинства? И они необходимы неистребимому ходу жизни города, безостановочному движению его в истории Земли и вселенной, и не от них ли, в частности, город наш живой и естественный, как русский человек свободной души? И величие в нем, и простота, и размах, обеспеченный ширями и далями отечества, и удаль, и чувство достоинства, и умение терпеть, и уважение к иным городам, землям и их людям и их красоте, уважение и интерес к ним и способность, оставаясь самим собой, в себе не замкнуться, а принять и чужую красоту, была бы она талантливой, собственной и соединимой с красотой Москвы...

Есть историки и искусствоведы, для которых слово «стихия», употребленное в связи с Москвой, кажется оскорбительным. При этом они обижаются на кого-то и за отечественную историю вообще. В предках наших, ставивших Москву, они видят лишь оснащенных точным знанием зодчих и градостроителей, чьи разметки, чертежи и планы не допускали никаких стихий и вольных мелодий. Может, и не допускали. И все же... В большинстве своем зодчие и стро-

ители Москвы были талантливы, как талантлив сам город, а потому их усердия (какие можно измерить локтями, саженьями, верстами) не стали очевидными, а растворились, утонули в натуре города. Город же вырос растением, деревом, живым существом, дочерью или сыном своего народа, воспринявшим от родителя кровь, норы и душу. Городом на холмах над Москвою-рекой и на крутых берегах Неглинной проросла Русская земля. Встал город, чтобы служить кровом, очагом и крепостью бывшим лесным и деревенским людям, и оказался их частью, их продолжением, приняв их свойства, ответил их представлениям об устройстве мира, о справедливом общем существовании, о заботах продления рода, о простом быте и уюте. Он был построен не для державного престижа, не для демонстрации могущества неведомой до поры до времени страны, не после удара кулаком по столу и не для переселения управителей и чиновных дьяков в тихое, независимое место, как случилось позже с Канберрой или Бразилиа, а по житейской необходимости. Необходимость и естественность его жизни и выразились стихией искусства, она почти исключила напряжение и натугу (не в самих делах московских строителей, а в результатах их дел). Без напряжения и натуги изыскан Париж. Без натуги и напряжения сказочна и стихийна Москва. Для меня стихия — не нечто дурное и оскорбительное. Это не хаос. Это одно из важных проявлений живых и творческих свойств природы. А цунами, скажете, а потоки лавы, а шевеление недр под Мессиной и Лисабоном? Но я-то имею в виду стихию человеческой жизни. А она разумна в своем идеале. Или в стремлении к идеалу. И вряд ли, несмотря ни на что, несмотря на заблуждения, кровь, злой глаз, ошибки, наглость купеческой сумы, можно отказать в стремлении к идеалу жителям нашего города. Были меж ними и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой... Стихия всегда органична. Естественность создания Москвы, особенности ее строителей с трезвым и поэтическим взглядом на жизнь выводили на дороги к гармонии. Пусть это не гармония рублевского душевно-музыкального и равнобратского соединения всех состояний мира (но ведь и Рублев возник в Москве, и его энергия осталась в ней). Пусть внутри той гармонии немало углов и резкостей, противоборств, скрещений страстей, гордынь, ума и глупостей, пусть эта гармония пересекается молниями, но это гармония. Это не гармония пасторали с искренностями пастушки. Это гармония Мусоргского и Стравинского. В ней — сосуществование высокого и низкого, но коли брать результат (промежуточный, и, надеюсь, никогда не будет результата конечного), то высокий в гармонии Москвы более очевидно...

Впрочем, я опять увлекся. Как некогда в укорах Москве, так теперь в похвалах ей. Но, возможно, тут сказалась натура москвича, человека, склонного к крайностям в своих сомнениях или, напротив, оправданиях жизни и всего сущего рядом с ним. Однако Москва не нуждалась в оправданиях. Тем более моих. Да и принялся я лишь вспоминать о том, какой увиделась мне Москва в другом прекрасном городе...

И сейчас же я представил, что мои ностальгические состояния тех дней могли бы вызвать раздражение многих москвичей и людей приезжих, скажем, тех, которым здесь же, на Сретенке, в душном магазине на углу улицы Хмелева не досталась в очереди прикарпатская колбаса. И я их понимаю. «Тыфу! — сказали бы они, если бы узнали о моих одобрениях Москвы. — Это дерьмо хвалить!» Что бы ответил им я? Да ничего, наверное. Смутился бы, а потом стал бы спорить с ними. Но спорить — про себя...

Москва златокипящая! Да не покажется слово «златокипящая» выпреним и сладким. Оно не так давно вошло к нам из прошлого в соединении с именем города студеного, исчезнувшего из жизни России. Златокипящая Мангазея. А для меня это определение тут

же подошло к Москве. В деревянной Мангазее «кипел» именно металл, везли его к краю Ледовитого океана ради дел торговых людей, ради таежных и тундровых мехов. В Москве же — кипение жизни, кипение духа. В пестроте ее существования, в звонах ее красок в столетиях главными были три цвета — красный, белый и золотой. Золото было вверху, над головой, словно бы от богатств Ярилы. Золотые сферы и иглы на красных и белых вертикалях рифмовались с солнцем истинным и как бы намечали, а то и прокладывали дорогу к нему. И дальше — в глубины мироздания, к звездам манящим и тревожным, в пространства непостижимые. Москва всегда росла, рвалась ввысь, к небу. Запечатленная в давнюю пору в рисунках наблюдателями и мастерами, она — словно бор корабельный. Или стол со свечами. Можно посчитать, что эти свидетельства — с преувеличениями. А впрочем, почему с преувеличениями? За десятки километров виделись путникам ринувшиеся к облакам ходячим высоченные столпы и башни Москвы. Да и внутри города вертикали, обязательно по здешней привычке замыкавшие перспективы улиц с избами и палатами коренастыми, казались исполинами. Это последние века, наш в особености, изменили представление человека о высоте. В двадцатом столетии Москва осела. В частности, и потому, что подросла. Но главное. потому, что изменилось людское ощущение пространства. И золото московских сфер будто бы опустилось к земле, да и повсюду ли заметно оно? Но все равно осталась Москва златокипящей. Златокипящей она и будет. Должна быть. Не только во вновь приобретенных своих просторах с транспортерами магистралей, протянутых к бетонному обручу, но и в местах истинно московских, обжитых, обустроенных веками. Вот и здесь — на Сретенке. Чтобы не стали эти места всего лишь офисом, конторой, дневным деловым сити, истекающим к вечеру жизнью, печальным и пустым после восемнадцати ноль-ноль, когда покинет его, спустившись с сумками и портфелями в подземелье метро или же захлопнув дверцу «Жигулей», служивый человек. Ничто не должно остудить московскую жизнь. И в центре своем Москве гоже остаться живой, Московской златокипящей...

Такие соображения явились мне.

Впрочем, сейчас на Сретенке для всяких опасений как будто бы и поводов не было. Все здесь бурлило. Может, один я и бродил по Сретенке с праздными мыслями. Подумав так, я чуть было не пристыдил себя и не заставил немедленно отправиться куда-либо к делу. Однако решил себе: «Броди по городу, если возникла нужда, может, это и есть для тебя дело...» И не отпускали меня сретенские дома, будто давали понять, что я не волен прекратить сегодняшнее общение с ними... Я переходил из переулка в переулок. Чаще — дворами или пустырями. Более я любил нижние, или западные, переулки, спуски к Трубной улице. По ним после гроз неслась горная вода к Трубе, в люки Неглинки — по Сухаревскому, по Большому Головину (опять я забрел туда), Последнему, Колокольникову, Печатникову.

Так я ходил, смотрел, слушал, отвечал. И будто бы произносил внутренние монологи, то ли споря с кем-то, то ли упрасывая кого-то разделить мое восприятие Москвы. Но кто был моим слушателем? Может быть, Любовь Николаевна? Я остановился. Вот тебе раз! Опять я думал о Любви Николаевне! Или я вообще так и не переставал иметь ее в виду, хотя и приказал себе забыть о ней, поверив в то, что я свободен от ее участия? Не свободен, значит? Или я так привык в последние недели к ее стараниям, что и оглядка на Любовь Николаевну во мне воспиталась неистребимая? Нет, похоже, нынче дело было не в оглядке...

Иных каких-то свойств связь ощущалась сейчас с Любовью Николаевной. Вполне возможно, что мы и на самом деле получили

свободу от нее. Но получила ли она свободу от нас? А вдруг Любовь Николаевна навсегда или хотя бы еще на какой-то срок вынуждена была оставаться приставленной к нам? И некое отражение ее личности (личности ли? фантома ли ее? или еще чего-либо неизвестного и неодолимого?) вошло в нас или даже только в меня?

Ответить себе на это я не мог. Что мне теперь Любовь Николаевна? Ее не было и оно не могло быть. Однако в Большом Головине в досужих мыслях о душе дерева я вспомнил именно о Любви Николаевне и вот теперь своими велеречивыми соображениями о Москве уперся в Любовь Николаевну. Легче всего было произнести: «Чур! Рассыпья!» Но ведь я был уверен, что сегодняшнее мое общение с городом вызвано возвратом к самому себе постоянному, вырвавшемуся из-под кашинского ига. Что же снова думать о Любви Николаевне?..

Впрочем, настроение мое не омрачилось.

«А, ладно!— сказал я себе.— Пойду-ка я дальше, в Армянский переулок, в Сверчков...»

И опять меня вобрала Москва...

22

Прошло много дней, прежде чем Останкино узнало, что Каштанов продал паи Шубникову. Останкинцы поставили под сомнение правомочность самой продажи. После подписания акта о капитуляции Любви Николаевны пайщики, судили в Останкине, как будто бы договорились отказаться от ее забот совсем и навечно. Стало быть, Каштанов продал Шубникову простоквашу.

Сам Игорь Борисович никаких заявлений не делал. На вопросы, нередко и непарламентские, не отвечал. Но ходил кислый, будто слушал типографский шрифт журнала «Катера и яхты». Или поднял руку на младенца. А теперь опасался, что за него не станет молиться юродивый.

Горлопаны Шубников и Бурлакин поначалу прыгали и веселились, будто триумфаторы, пугали людей ротаном, сравнивающимся, по их словам, статьями с псом сенбернаром, но потом пропали, не объявив останкинским жителям никакой программы. Да и имелась ли у них программа? По представлениям останкинских жителей, Шубников и Бурлакин были просто дурные. Сведущие люди, помнившие о кинематографическом образовании Шубникова, пусть и не получившем завершения и не увенчанном дипломом, знавшие и о затеях Шубникова с животными, называли его главным режиссером Птичьего рынка. Я, рассказывал уже, ездил однажды на Птичку с намерением поглядеть именно на Шубникова. Режиссером я его не ощутил. Но, возможно, я был невнимателен. Я увидел его артистом и вралем. Бурлакин удачно ассистировал Шубникову. Прибыль их торгового дома составила в тот день семьдесят пять рублей. Бурлакин служил в будние дни в некоей космической фирме и, если опять же верить сведущим людем, в присутственные дни хорошо ловил там мышей, проявляя себя способным математиком. Или физиком.

Что могла изменить в останкинской жизни перекупка Шубниковым пая?.. Впрочем, может, интригу с паем начала сама Любовь Николаевна? Известно, она сдалась на милость победителей. Сдалась-то сдалась... А вдруг только прикинулась разбитой в сражениях и теперь помышляла о реванше? Может, и Шубникова именно она склоняла к перекупке, рассчитывая с помощью двух дурных голов все же осуществить свою миссию? Но я не верил в одаренность Шубникова и Бурлакина и полагал, что набор их шуток и желаний вряд ли окажется богатым. Да и наскутили бы им долгие игры с Любовью Николаевной. Но вот сама она?.. Вдруг Любовь Николаевна опущена в Москву навечно и неким веретеном обязана тянуть свои нити?

Неделю я был в трудах и суете. А потом встретил дядю Валяу на троллейбусной остановке возле кинотеатра «Космос».

Поздоровались.

— Автомат-то работает? — осторожно спросил я.

— Работает, — успокоил меня дядя Валя.

— Дней семь не заходил, все дела, — сказал я, как бы давая дяде Вале повод вспомнить для меня останкинские новости.

— Ну и зря, — кивнул дядя Валя, — пиво все дни хорошее. Такое пиво мы с Сережкой Эйзенштейном последний раз пили в Одессе, пока ассистенты коляску с ребенком по лестнице гоняли... «Тип-топ» называлось пиво. Еще от нэпманов...

— А что, Любовь Николаевна все еще у Михаила Никифоровича живет? — осторожно направлял я разговор.

— Надо полагать.

— И по городу гуляет?..

— Молодая, — сказал дядя Валя.

— А эти... Шубников с Бурлакиным?

— Их не встречал дней пять. Или шесть.

— А разве Каштанов имел право продавать пай?

— Не имел.

— А вдруг это Любовь Николаевна подбила Шубникова перекупить пай?

— Ну хоть бы и она, — сказал дядя Валя.

Дядя Валя, Валентин Федорович Зотов, никаких возмущений жизнью, явлениями атмосферы, поведением московских жителей или каких-либо залетных сомнительных существ не выказывал, в душе его, похоже, были тишь и безветрие.

— Валентин Федорович, — сказал я церемонно, — а акт о капитуляции Любви Николаевны вы не выбросили?

— Лежит в серванте, — сообщил дядя Валя. — Вместе с жэковской книжкой и облигациями.

— Копию с него снять нельзя ли?

— Зачем тебе?

— Ну хотя бы для того, чтобы понять нечто.

— Ответы на все, — сказал дядя Валя, — ищи в себе самом.

Мы миновали гастроном, перешли улицу Цандера и вошли в автомат. Пиво и впрямь оказалось удивительное.

— А я что говорил! — сказал дядя Валя. — Коли бы она сгнула совсем, завозили бы к нам на Королева такое хорошее пиво?

И он тихо отпил из кружки, кроткий и умиротворенный. Никаких бед, даже и небольших, для него и вовсе не существовало. Вдруг он заинтересовался:

— Слушай, говорят, эта... нечисть всякая, упыри там, вурдалаки... или болотные девы... и вообще всякая дребедень. Говорят, что они изнутри — полые. На самом деле так?

— Что значит — полые? — удивился я.

— Как труба, — сказал дядя Валя. — Сверху сталь или бетон, а внутри пустота. Или газ. Или вот как яйцо, только без начинки. Скорлупа, и все.

— Это вы к чему? Или про кого?

— Ну так... — сказал дядя Валя. — Вообще.

— Вы бы взяли сами и проверили.

— А вдруг она и не нечисть?

— Очень может быть... Это в разных региональных мифах и поверьях говорится, что интересующие вас личности — полые. Босх и Брейгель, например, использовали эти поверья.

— Вот видишь! — обрадовался дядя Валя. — Босх и Брейгель!

— Что же тут радоваться?

— Как что! Яшка Брейгель мне точно говорил, что они полые!

— Я имею в виду Питера Брейгеля Старшего.

— Ну и он... И старший... Питер... Петр Семеныч. И он на «Меж-
рабпомфильме»...

— Хорошо, и Петр Семенович. А что радоваться-то?

— Радоваться тут нечему,— сказал дядя Валя.— Но если она по-
лая...

— Вот вы и проверьте.

— Это Михаилу Никифоровичу было бы удобнее,— вздохнула
дядя Валя.— Но с другой стороны... Если бы она была полая, стал бы
Михаил Никифорович так долго терпеть ее в своей квартире?..

— Она ведь обязана его лечить.

— Пусть лечит... Но я на его месте отселил бы ее куда-нибудь
в телефонную будку. Или в мусорный ящик.

И мне показало, что относительно безветрий и застывших лав
в душе Валентина Федоровича я ошибался. Некое усмирение, соб-
ственной ли волей вызванное или подсказанное чем-то, видно, прои-
зошло, но потухшим вулканом дядя Валя мог привидеться лишь лег-
комысленному исследователю. Может быть, дядя Валя делал вид, из
каких-либо своих соображений, что он потухший и умиротворенный?
Но ведь снова — «может быть». И о Любви Николаевне я подумал,
что она, «может быть», прикинулась покоренной. Она прикинулась,
дядя Валя прикинулся. Но зачем?

— Покупка Шубникова вас не расстроила? — снова спросил я
дядю Валю.

— Мне на нее наплевать.

— Врете вы, Валентин Федорович.

— Что ты мне грубишь?

— А что вы стоите замаскированный, как Большой театр в сорок
втором году?

— Ты видел Большой театр в сорок втором году?

— Не видел. Я был в эвакуации.

— Вот и молчи. И я не видел. Я тогда работал там.— И дядя Валя
резко показал рукой на запад, за Останкинскую башню, в сторону
Берлина.

— Шофером?

— Нет,— сказал дядя Валя.— У меня был личный автомобиль.

— Вас понял. Тогда Останкину нечего опасаться. Что нам какие-
то Шубниковы с Бурлакиными. Или Любви Николаевны.

— Я справедливости хочу!..— заявил вдруг дядя Валя.

И сразу же он будто бы расстроился из-за своих слов. Заерзал,
засуетился, принялся оглядываться, искал в карманах двуривенные
монеты и не находил... Я вспомнил:

— Между прочим, Михаил Никифорович почти каждый день да-
вал этой... Любви Николаевне... по рублю.

— Ну и что?

— Вы драмы Островского знаете?

— Ты еще не родился, а мы с Яшкой Протазановым думали, как
переделать для Алисовой «Бесприданницу».

— Помните, как всякие негодяи у Островского скупают векселя
должников?

— Ты что? — Дядя Валя задумался.— Ты считаешь, что Шубни-
ков выкупил у Любви Николаевны ее долги Михаилу Никифорови-
чу? Вот это поворот! — И он сокрушенно покачал головой...

— А могла быть Любовь Николаевна кленом? Или ольхой? —
после паузы спросил я.

— Это ты к чему?

— Так, вспомнилось одно...

— По-твоему, она не полая, а ольха?

— Я вас спросил.

— Ладно,— сказал дядя Валя.— Пора нам с тобой разойтись.

— Такое впечатление, Валентин Федорович, что вы намерены вести партизанскую войну...

— Ничего я не намерен.

— И, видно, в одиночку. Это вы-то, сторонник общественных действий! Или вы для себя какие-то выгоды ищете? Корысть какую? И что-то задумали таинственное...

— Ты надо мной не издевайся! — возмущенно сказал дядя Валя.— Молод еще!

— Я не молод. И не издеваюсь.

А что я, собственно, пристал к дяде Вале? Что я хотел выпытать у него? И ради чего? Или ради кого? Ради себя?.. Но меня-то, похоже, отпустила Любовь Николаевна, я вспоминал о ней, но не ощущал ее ига. Из опасений, как бы не набедокурили Шубников с Бурлакиным? Возможно... Прежде дядя Валя всегда осаживал Шубникова и других вовлекая в прения с ним, сегодня же он о Шубникове с Бурлакиным ничего мне не разъяснил. А что-то знал. И можно было предположить, что Валентин Федорович принял решение, неизвестно какое и неизвестно чем вызванное, сам же затаился. Впрочем, все это было его дело, а нам и впрямь следовало разойтись... Но я напомнил дяде Вале чуть ли не с ехидством:

— Уриэрте-то все в Гондурасе.

— Это меня не касается,— холодно сказал дядя Валя.— Это их внутренние дела.

— А Шубников?

— Что Шубников? Оставь его. Он просто балбес. («Прыгающие глаза балбеса...»— вспомнилось отчего-то мне.) И он — приبلудный. Он жил как-то и у нас во дворе.

— Что значит — приبلудный? — спросил я.

— Для Москвы приبلудный. Не лимита, а так... Однако Шубников выкупил долги, тут ведь и кроме паев возникает анекдот... А? Но должен заметить, что и твой Михаил Никифорович хорош!

— А что?

— А ничего! — вдруг тонко, чуть ли не истерично вскрикнул дядя Валя.— А ничего!

Потом он опять успокоился. Присмирел. Сказал:

— Я ничего не говорил. Ни до кого из вас у меня нет дела. И я опаздываю в парк, на Лебединую площадку.

Лебединая площадка, или Лебединое игрище, или Лебединая стая, или даже Лебединое озеро, а по мнению посторонних прохожих, благополучных и семейных, склонных к тому же к банальностям, просто Плешка, была в Останкине местом знаменитым и согретым жизнью. Здесь, в Шереметевской дубраве, на аллее, тропинки к которой вели от детского пруда с лодками и каруселями, от беспечной возни и визга, мимо шашлычной, бильярдной и читальни, в сухую погоду, в милые летние дни, да и по весне и осенью, сходилось изысканное общество — все более люди бывалые и пожившие, часто и пенсионеры, бобылы и бобылихи, натуры неумные, беспокойные и с затеями, в надежде устроить или изменить жизнь или хотя бы в компании и в беседе усладить душу мадерой, вермутом розовым и танцем. И уж точно — одолеть одиночество. Там музыка играла, магнитофон или баян, там водили хороводы или коварно сокрушали сердца расположенных к тому дам в роковых фигурах танго, там грезили в вальсах и играли в ручеек, там под гитары и мандолины басы тигриных тембров исполняли песни легендарного магаданца Вадима Козина и крымского кенара Евгения Свешникова, там чаще всего угомленное сердце нежно прощалося с морем, впрочем, без досад и после взаимных удовольствий. Однако порой возникали там и лебединые мелодии судеб. Вот туда и отправился Валентин Федорович Зотов.

Равьше к Лебединому игрищу он относился чуть ли не с презрением. Во всяком случае, высокомерно. Он и Игоря Борисовича Кашта-

нова, не вышедшего возрастом, но залетавшего к лебедям в порывах к приключениям, стыдил при людях. Теперь же и сам поспешил в парк.

23

А Михаил Никифорович опять устроился на работу в аптеку.

Но приходилось ему посещать и учреждения, какие имели дела с бумагами о болезнях, несчастных случаях на производстве и схожих происшествиях. На химическом заводе проводили о том, что Михаил Никифорович вернулся в аптекари, и посчитали, что он не оглодеет и без инвалидных денег. А потому с завода потекли поворотные бумаги во ВТЭК. Мол, желаем вывести из заблуждения. Мол, виноват Михаил Никифорович сам. И пусть выкусит.

Пауты Пигулин, начальник смены, и Безюкин, аппаратчик, вызвались быть свидетелями и, желая угодить, напрягали память. Теперь они уверяли, что в день отравления Михаил Никифорович бродил по цеху без противогаза. Он, без противогаза, «как сейчас» стоял перед их глазами. Прежде, в поспешных, сразу же после увоза Михаила Никифоровича к Склифосовскому, бумагах, именно Пигулин и Безюкин назывались разгильдяями (впрочем, не так гневно), именно они проводили промывку аппарата, и от них утек четыреххлористый углерод. Начальник смены Пигулин и не имел права допустить Михаила Никифоровича к трудам, не убедившись в присутствии на его голове противогаза. И противогаз тогда голову Михаила Никифоровича украшал, но не тот, какой мог бы противостоять большим дозам хлора в воздухе, а какой имелся в хозяйстве Пигулина. Против чего-то он, возможно, и был хорош, но не против хлора. Однако кто же полагал, что промывка аппарата выйдет нескладная? Теперь в бумагах, где Михаила Никифоровича лишили противогаза, утверждалось, что никакой промывки в тот день и не было. А Михаил Никифорович сам вроде бы белены объелся...

Михаилу Никифоровичу и в Останкине говорили, что он объелся белены, коли дал делу об аварии затухнуть. Он пожалел и своего приятеля Никитина, соблаздившего его химией, и начальство цеха, и непутевых тружеников Пигулина и Безюкина. По доброте души написал какое-то смутное объяснение. Испуганное (тогда) начальство сулило ему золотые горы. И бесплатные путевки в санатории с купеческими угрями и бассейнами, и пособия в каждое полнолуние за грехи предприятия. Но при этом имелась в виду договоренность внутри завода. И на словах. Ты нас не выдашь. И мы тебя не обидим. Ты человек порядочный, сраму нам не уготовишь, под следствие, под сроки и скандалы нас не подставишь, безвинных работников из прочих смен с мальми детьми премий не лишишь. И мы люди порядочные, и мы своих долгов не забудем. Станем держать их в уме и вблизи совести. Все были так добры к Михаилу Никифоровичу, так жалели его, что и Михаил Никифорович стал испытывать ко всем на заводе чувства братские или сыновние. Какой-то неуклюжий человек из администрации для спокойствия Михаила Никифоровича и как бы в подтверждение слов о совести выдал ему справку о несчастном случае на производстве, за что теперь на писаря этого орали и топали ногами. Поначалу Михаила Никифоровича предполагали устроить у себя же на заводе. Но на конторской должности Михаил Никифорович заскучал бы. И понимал он, что существовал бы на заводе напоминанием о неприятностях, пусть и бывших, а кому такие напоминания в радость? И Михаил Никифорович посчитал благоразумным вернуться в аптекари. К тому времени он был исследован ВТЭКом и получил инвалидность второй группы. На срок. Возможно, и недолгий. Но вскоре выяснилось, что в Михаиле Никифоровиче напрасно возбудились братские или сыновние чувства. Никаких пособий ни в дни полнолуний, ни в дни открытия окошек касс он не получал. В Ос-

танкине Михаилу Никифоровичу советовали писать и в профсоюзы, и в Министерство здравоохранения, и даже в Нью-Йорк, прямо в штаб-квартиру ООН, самому Пересу де Куэльяру, а уж если ничего нигде не выгорит, то на крайний случай — руководству футбольной команды «Спартак», которое никакого отношения ни к делу, ни к Михаилу Никифоровичу не имеет, но все может. Однако Михаил Никифорович уповал на то, что все само собой образуется. Не бесвестные же совсем люди. К тому же он не хотел жаловаться на завод, ведь он сам написал отступную записку и в ней туманными словами безалаберность приписал себе. Ему тогда говорили, что эта записка — так, на всякий случай, никуда не пойдет. Но нынче, видимо, пошла...

И пошли в ход исправленные и дополненные воспоминания начальника смены Пигулина и аппаратчика Безюкина. Михаил Никифорович снова, уже по приглашению, ходил во ВТЭК и, хотя не ощутил никаких перемен в своей натуре, получил новый диагноз. Вместо токсического гепатита ему был определен гепатит с хроническим воспалением желчного пузыря. И уже не инвалид стал Михаил Никифорович, а просто неспособный трудиться в тяжелых производствах, в частности — в химической промышленности. Видно, люди с завода побывали и во ВТЭКе и в чем-то убедили втэковских медиков. Один из этих медиков, понимаяще улыбнувшись, даже поинтересовался, а не пил ли он, Михаил Никифорович, в свой горький день, желая отвлечься от насущных проблем, какую-либо жидкость, оставшуюся, между прочим, в цехе и показавшуюся ему, Михаилу Никифоровичу, похожей, скажем, на спирт. «Я был в противогазе», — мрачно ответил Михаил Никифорович.

Ну ладно, ему не подтвердили группу, но при этом, пусть и не инвалиду, а хотя бы потерявшему способность трудиться в тяжелых производствах, были обязаны платить пособие и выделять суленные путевки в санатории. А они не желали. Почему? Что они пошли на него войной? Что им вдруг стало жалко денег, не своих, а государственных, стало быть, и не денег, а знаков или чисел в ведомостях? Этому объяснений Михаил Никифорович дать не мог. То есть он мог предположить — с Никитиным он с той поры не виделся, — что на заводе, где он проработал всего ничего, возникли какие-нибудь неловкие обстоятельства, например, пришла каверзная проверка, и тут вовсе лишним оказался отравленный. Но ведь он-то их пожалел...

Михаил Никифорович мог бы прожить и без пособия (в сорок пять рублей оно) и без копченых угрей на завтрак в санатории, тем более что они теперь были не для его печени. Но он обиделся. Что же они ему руки жали, улыбались в глаза, а один даже очки снял и протер платком стекла — повлажнили они.

Конечно, своим на заводе Михаил Никифорович стать не успел. Он и фамилии помнил не всех, кто ему жал руку и улыбался. Но за недели работы нескольких людей он узнал. Скажем, начальника цеха Муромцева. И никаких поводов посчитать его скотиной у Михаила Никифоровича не возникло. Однако и Муромцев, прежде охавший и ахавший, при встрече сказал: «Пить надо меньше всякую дрянь на халыву!»

Словом, Михаил Никифорович все же из-за обиды ходил по учреждениям. Его бы скоро урезонили, а дело прекратили, но на руках у Михаила Никифоровича была нечаянно выданная ему справка о несчастном случае на производстве. Болельщики завода в учреждениях эта справка огорчала, они разводили руками. А химические конторщики, тоже огорченные, никакого пособия Михаилу Никифоровичу не платили.

— Тебе, Михаил Никифорович, — сказали на Королева, — надо подавать на них в суд.

Михаил Никифорович позвонил мне, рассказал про пособие, напомнил, что я обещал свести его с моим приятелем — адвокатом Ко-

шелевым. «Пожалуйста»,— сказал я. «Завтра и зайду»,— пообещал Михаил Никифорович.

Но не зашел. И неделю не давал о себе знать. Через неделю я нажал кнопку его звонка.

— Что же ты, Михаил Никифорович? — сказал я.— Я говорил с Кошелевым. Он тебя ждет.

— А-а-а! — в раздражении махнул рукой Михаил Никифорович.— Проходи.

Я прошел и, не дожидаясь распоряжений Михаила Никифоровича, сразу направился на кухню. Раскладушка, привычно сложенная, стояла у двери ванной. Михаил Никифорович вызвался приготовить чай, я отговаривать его не стал.

— Но ты сначала покажи мне бумаги,— попросил я.

— Ни к чему.

— Ты же сам звонил мне и рвался в суд.

— Пошли они подальше! — сказал Михаил Никифорович.

— Что так?

— Надоело! Да и что это я? Бился из-за какого-то пособия, из-за того, чтобы меня признали инвалидом! Стыдно! Хватит! Мужик в сорок лет запрашивает инвалидность, суетится ради пособия! Да еще в суд... Стыдно!

— Михаил Никифорович...— начал было я.

— Все. Хватит! — сказал Михаил Никифорович.— Извини меня, если доставил хлопоты. И перед Кошелевым извинись. Бумаги рвать я не буду, но в суд не пойду. И сам я должен платить за все. Я ведь вначале написал неправду. И имею урок.

— Первый урок, надо полагать...

— Не первый! Не первый! Сотый!

— Не горячись.

— Да! Сто первый урок! — проворчал Михаил Никифорович, и как будто бы не только на себя и на обстоятельства жизни проворчал, но и на меня.— Может, и двухтысячный... И на Кадыкчане был не первый... И в Певеке...

Про Кадыкчан и про Певек Михаил Никифорович мне рассказывал. Почему сейчас он решил напомнить мне и себе о Певеке и Кадыкчане, ему было виднее. Путь к аптечным ступам и склянкам вышел у Михаила Никифоровича нескорый. Поначалу, и главным образом из-за отца, он полагал стать ортопедом. Правда, после десятого класса был у него полет в международные отношения, в институт у Крымского моста, полет сейчас же оборвался, и о нем Михаил Никифорович вспоминал с иронией. Не стал он и ортопедом, хотя и поступал в Курский мединститут. Курьезные обстоятельства на практике вызвали появление фамилии Михаила Никифоровича в списке отчисленных (он выступил заступником приятеля-шалопая). И три года Михаил Никифорович ложку опускал в миски с флотскими борщами. А когда он окончил Харьковский фармацевтический и проработал год в селе под Воронежем (отец к тому времени умер, и у Михаила Никифоровича не было поводов просить направление поближе к дому), он пожелал испытать себя на краю российской земли. Предложил услуги Магаданскому аптекоуправлению. Из Магадана его послали дальше по Колымской трассе, в Сусуманский район, в угольный поселок Кадыкчан. Михаил Никифорович прилетел в Магадан в летних ботинках, в пальтишке, сносом для черноземных сентябрей, и в кепке. За Сусуманом мороз стоял под сорок. Охлажденный Михаил Никифорович кое-как автобусом доехал до Кадыкчана, от остановки до жилья было два километра, их бы пробежать, но ледяные ноги еле переступали. Аптека, где Михаил Никифорович должен был заменить беременную заведующую, собравшуюся ехать в Россию, помещалась в деревянном домике в четыре окна. Перекошенные двери не закрывались, их укутывали верблюжьими одеялами. В шубе можно

было заведовать аптекой, но Михаил Никифорович шубу в Кадыкчане не приобрел. Он и всего-то пробыл в Кадыкчане неделю. Начальник шахты Михеев, хозяин поселка, государь и игрок, не пожелал оделить Михаила Никифоровича квартирой или хотя бы комнатой, предложил ночевать в общежитии, в зале на восемь коек. Михаил Никифорович не возражал бы и против девятой койки, но в аптеке негде было хранить наркологию, беременная заведующая на ночь забирала ее домой. Даже если бы Михаилу Никифоровичу выдали сейф для содержания вблизи его койки препаратов с наркологическими свойствами, броня сейфа вряд ли уберегла бы наркологию от бичей, пребывавших в обилии тут же в общежитии. Михееву звонили из Магадана, но он не подчинялся каким-то аптекарям и здравоохранению, куражился, будто бы чего-то ждал от Михаила Никифоровича, жилья не давал. И Михаила Никифоровича отозвали в Магадан. Там его успокоили и определили на чукотский берег Ледовитого океана, в порт Певек. В Певеке он прожил полтора года, не скучал, однако обещанное в Магадане порадовало Михаила Никифоровича лишь северным сиянием надежд и отцвело. А обещан был Михаилу Никифоровичу пост заведующего городской аптекой. Тут не то, что в Кадыкчане, служили пять сотрудников, и лишь Михаил Никифорович имел высшее образование. Заведующая аптекой Леденцова из-за порученной любви опять же собиралась уехать на материк и просила замену. Заменой подоспел Михаил Никифорович. Но судьба пожалела Леденцову, сведя ее с геологом по золоту из-под Библибина, и отъезд был отменен. Присутствие в ее подчинении фармацевта с дипломом, да еще мужчины, Леденцову, естественно, нервировало. И подвигало к действиям. Год с лишним Леденцова со своей заместительницей Бекетовой (и для той Михаил Никифорович был конкурент) посылали в Магадан самолетами, а может, и с оленями, письма, живописующие образ жизни Михаила Никифоровича Стрельцова в Певеке. Михаил Никифорович о тех письмах не знал. Лишь через полтора года, когда он явился в Магадан с просьбами улучшить его мироположение и оклад, ему развернуто намекнули об этих письмах. И выходило, что он человек, которому нельзя доверять не только аптеку, но и вилку в столовой. Михаил Никифорович был удивлен. Леденцова жгла его глаголом, как Савонарола флорентийские пороки. Впрочем, насчет Савонаролы тут преувеличение. Леденцова сообщала о Михаиле Никифоровиче в деловых посланиях как бы между прочим, часто и хваля его, ложные же сведения приводила, словно бы сокрушаясь о судьбе сотрудника и испрашивая, как помочь летящему под откос, но и не погибшему еще вовсе человеку свернуть на правильную стезю. Образ Михаила Никифоровича выходил таким: он и вертопрах в компаниях чужих жен, и мот, и слушает черт те что из-за Ледовитого океана, и гуляка, и способен горячить кровь понятно чем, может, тянется и к наркотикам. «Да что же это! Что за глупость! — возмущался Михаил Никифорович. — Вы проверьте! Вы пошлите к нам инспектора!» Конечно, Михаил Никифорович не связывал себя монашескими обетами, тем более в условиях полярного дня и особенно полярной ночи, порой действительно имел и утечи, хотя бывало в Певеке и тоскливо. Но уж вранье пришло о нем в Магадан бессовестное. «Нет, вы пошлите инспектора!» — настаивал Михаил Никифорович. «Да вы успокойтесь! — говорили ему. — Мы вам верим. Верим! И знаем мы, что за штучка эта Леденцова. И вы для нас были бы куда интереснее в Певеке, нежели она. Но ведь она, уважая вас как работника и даже жалея, пишет про вас такое... Как тут не почесать затылки... Мы вам лучше предложим марковскую аптеку. Марково — это чукотская Швейцария. Там растут помидоры...» Уговаривали, даже добавляли, что там не то чтобы чукотская Швейцария, но некоторые говорят, что и чукотская Италия. И помидоры привозили отсюда несомненно красные, и Семен Дежнев в семнадцатом веке

именно там основал острог. Михаил Никифорович все же уговаривал поставить сначала на место певекскую ревнительницу нравов, а потом заводить с ним разговор о Маркове. «Ах вот вы как! — огорчились собеседники. — Вы, значит, ставите нам предварительные условия...» И давали понять в огорчении, что Леденцова, может, и права и что он, может, и не достоин марковского заведования. Михаил Никифорович не выдержал, забрал трудовую книжку и отлетел на Камчатку, благо певекские приятели снабдили его хорошим петропавловским адресом. А через год Михаил Никифорович вернулся обратно в Европу. Сначала в Крым. А потом и в Москву. Да что в Москву, в само Останкино.

Но Кадыкчан, понятно, и Певек, и другие кадыкчаны и певеки не выходили из памяти Михаила Никифоровича. Не то чтобы позванивали в нем каждый день, а так, тренькали иногда. Досадно было, что там он многого не сделал, а ведь в колымском автобусе не только шевелил бесчувственными пальцами в ботинках, но и строил добродетельные планы помощи населению, чтоб оно признало аптеку добросовестной и было благодарно ей. Однако ничего не улучшил и не преобразовал. Был честным работником — и только. И это печалило. И явилось — не в первый раз — ему: «А что ты можешь? К чему твое рвение? Что ты можешь изменить? Кто ты такой? Кто ты есть?» Михаилу Никифоровичу не раз было говорено: «И ты этой силы частица...» Спасибо. Естественно, частица. Частица, дробинка, элемент, первоначальное вещество. Можно было бы припомнить и другие подходящие слова, но остановимся пока на самом расхожем. Частица (часть, по Далю, это ведь и участь, доля, жребий, удел, достояние жизни, счастье, рок, предназначение; «Часть моя еси...»). Частица толпы, частица курской земли, пяти миллиардов существ, частица вселенной. Частица... Оно хорошо, Михаилу Никифоровичу приятно было об этом знать. Но обязательная ли частица, задумывался иногда Михаил Никифорович, именно он? Если принять во внимание позицию его магаданских коллег, то и необязательная. Но, предположим, открылось бы ему, Михаилу Никифоровичу, что и впрямь обязательная. Что, лучше бы стало? Во всех лекарственных препаратах есть обязательные составные. В таблетке триампура непременно содержится двадцать пять миллиграммов триамперена. Должно содержаться. И величина этой обязательной частицы измениться не может. Будет его больше, будет его меньше — не станет триампура, война с давлением. Стало быть, если ты обязательная частица, знай свои пределы и свой шесток? Так, что ли? А ведь это скучно. Однако если начнешь своевольничать и пожелаешь вырваться из определенного тебе, только испортишь что-либо и ничего не улучшишь... Такие разъяснения давал себе иногда Михаил Никифорович. Ты — частица в мироздании, все равно какая, обязательная или случайная, и в ходе событий — в аптеке ли, на поверхности ли земной или тем более во взъерошенной галактике — от твоего существования ничего не зависит. А потому повороты судьбы следует принимать со спокойствием. И печалью. Положив также, что история человечества — не в твоей компетенции и пусть все идет как идет.

Но не всегда Михаил Никифорович был в согласии со своими мыслями (понимая при этом, что в них есть и путаница или подмена понятий). Ну ладно, рассуждал он, Дон Кихот был хорош, но — как мечтание человечества. В окрестностях же Ламанчи, реализуя себя, он чаще вредил, хотя бы и пустячно, жителям и путешественникам. Однако страсть и действия, а особенно простодушная вера странного рыцаря в правоту собственных действий вызывали зависть Михаила Никифоровича. Он бы так не мог. Конечно, если бы на его глазах били слабого или рожь горела, он бы не стоял. Но в историях с самодуром из Кадыкчана или Леденцовой, даже сидя на Росинанте и

будучи при копье, он бы не бросился ни на кого. И не потому, что копьем надо было разить вроде бы из-за себя, а не из-за дела. Просто не возникало порыва. А ну их к лешему... Но должно ли так? — задумывался Михаил Никифорович. Миллионнолетнюю долю человечества он мог бы и не взваливать себе на плечи, но за миг-то летящий отвечать был обязан. Когда Любовь Николаевна довела его до обострения чувств, он взъярился и отгел прежнее свое успокоение. Даже отважился вступить в сражение с горестной истиной «от смерти нет в саду трав», был намерен сейчас же принести человеческому роду облегчение. А может быть, и благоденствие вечное. Видимо, желание это всегда было в Михаиле Никифоровиче, а Любовь Николаевна вряд ли могла ошибиться и приписать ему чужие свойства...

— Михаил Никифорович, я опять тебе не судья... Но, думаю, ты не прав. И зачем тебе нужны уроки с похожими сюжетами?

— Дуракам закон не писан,— просветил меня Михаил Никифорович.— Это я про себя,

— А хотя бы и про меня,— сказал я.— Однако я, Михаил Никифорович, отчасти удивляюсь твоим шатаниям. Тебе стало стыдно от того, что ты начал выпрашивать себе как бы незаслуженные блага... А того, что ты поощряешь проходимцев или разгильдяев, тебе не стыдно?

— Мало ли чего...

— Ладно. Прости, что полез тебе в душу. Просто меня удивила твоя непоследовательность. Кстати, про пай Каштанова ты слышал?

— Слышал.

— И что?

— А ничего.

— Ты как дядя Валя. Как Валентин Федорович Зотов... Потью я сейчас чаю с этим приятным вареньем и откланяюсь.

— Варенье из терна... Мать варила.

— Спасибо твоей матери.

— Что касается Шубникова...— начал Михаил Никифорович.

Но тут зазвенело над дверью, и сразу же — стало понятно, что звонок был не просьбой распахнуть ворота, а знаком вежливости,— чья-то рука повернула ключом задвижку замка. Через мгновение на кухню, почувствовав гостя и как бы для решения, не обременителем ли гость, не гнать ли его взащей или, напротив, не требует ли он особенных почестей, заглянула женщина. Была это Любовь Николаевна.

— А-а, это вы,— очевидно успокаиваясь, произнесла она.— Здравствуйте.

Она назвала меня по имени-отчеству, опустила на пол сумку и протянула мне руку. Я пожал ей руку как давней приятельнице, не успев вспомнить, что еще на днях я относил Любовь Николаевну к движениям воздуха. Рука Любови Николаевны была крепкая, Филимону Грачеву следовало с уважением относиться к такой руке.

— Я сейчас,— сказала Любовь Николаевна.— Только переобуюсь... У меня здесь еще сумка,— добавила она из прихожей.— Я, Михаил Никифорович, купила материал на занавески. И хватит на ламбрекен. Еще тюль...

Я взглянул на Михаила Никифоровича. Тот, поначалу не выказавший никаких удивлений, теперь не то чтобы удивился, но похоже, искал чему-то объяснения. Может быть, платежные способности Любови Николаевны перепроверял в уме Михаил Никифорович? Но что мне было гадать...

— Я пойду...— шепнул я Михаилу Никифоровичу.

Михаил Никифорович не проявил желания удержать меня.

— Вы пройдите сюда, в комнату,— услышали мы приглашение Любови Николаевны,— я уже разложила материал, мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели.

— Мне пора...

— Зайди на минуту,— попросил меня Михаил Никифорович.

— Вот,— показала нам Любовь Николаевна свои приобретения, при этом то ли стесняясь покупки, то ли радуясь ей.

Ткани лежали на столе, и нежнейший тюль, и светло-желтая прозрачная ткань словно бы с камышинками или с какими иными водяными растениями, вызывающими мысли о тихих старицах и колыбаних рыски.

— Это интересно...— сказал я на всякий случай.

Михаил Никифорович молчал.

— Я у Никитских ворот купила,— сказала Любовь Николаевна.— Там на углу бульвара и улицы Качалова хороший магазин. Была очередь, но я выстояла.

Объяснения она давала Михаилу Никифоровичу. Но Михаил Никифорович молчал.

Любовь Николаевна переобулась и теперь была в тапочках. Впрочем, скорее бы к ним подошло название черевички, до того нарядно и дорого они выглядели, такими когда-то в исключительных случаях могли одаривать во дворце на невских берегах в присутствии запорожских сечевиков и светлейшего князя. Знал ли Михаил Никифорович о происхождении обуви Любови Николаевны?

— Вот эти занавески,— показывала Любовь Николаевна на тюль,— для дня. Когда солнце сильно бьет в глаза. Или просто от чужого взгляда. А эти вечерние. По-моему, они будут хорошо сочетаться по цвету и рисунку, А?

Теперь она обращалась ко мне. И я, хотя и не годился в оценщики несчитых штор и занавесей, да, впрочем, и сшитых, поспешил с ответом:

— По-видимому, будут хорошо сочетаться.

— Но в доме нет швейной машинки,— сказала Любовь Николаевна.

Эти слова, видно, озадачили Михаила Никифоровича. Я решил прийти ему на помощь:

— А у соседей твоих нет швейной машинки? Если попросить на время?.. Или вот. На месте твоей аптеки, на Цандера, теперь пункт проката. Можно там взять...

— Да, конечно,— обрадовалась Любовь Николаевна,— отчего же не воспользоваться услугами проката?

— Я схожу,— согласился Михаил Никифорович.

Тут я сообразил, что когда-то рассказывал Любови Николаевне о рукодельных успехах своей жены, в частности и о швейных, Любовь Николаевна, несомненно, помнила об этом, а машинку из нашей квартиры я не предложил.

— Я могу из дома,— сказал я.— Если жена.. Или вы, Любовь Николаевна, зайдите к нам с этими...

— Нет, зачем же,— мягко сказала Любовь Николаевна,— что же вас обременять. Проще будет Михаилу Никифоровичу зайти с паспортом в пункт проката. Ведь верно?

— Да,— сказал Михаил Никифорович,— проще...

Теперь я почувствовал, что вопрос решается сугубо внутренний и не мне со швейными машинками встречать в его обсуждение.

— А ведь я опаздываю,— сказал я.— Зашел-то я всего на три минуты. Разрешите откланяться. А ты, Михаил Никифорович, если изменишь мысли и опять вспомнишь о Кошелеве, позвони мне.

Любовь Николаевна словно бы огорчилась скорому моему уходу, она была намерена извлечь пакеты из второй сумки, что-то еще показать мне и о чем-то посоветоваться, тем более что я знаком с самим Зайцевым. Намерения Любови Николаевны и упоминание о Зайцеве ускорили мои откланывания.

Михаил Никифорович, пребывавший тоже в домашних тапочках— я лишь теперь обратил на это внимание,— закрыл за мной

дверь. Но тапочки Михаила Никифоровича вряд ли вызвали бы восторги запорожских сечевиков и одобрение светлейшего князя. Впрочем, может быть, и раньше Михаил Никифорович имел домашнюю обувь, берег ноги и полы, а я прежде в квартире Михаила Никифоровича, куда и не часто заходил, был невнимательным?

24

На улице я пожалел, что не дослушал Любовь Николаевну и не узнал о прочих ее сегодняшних покупках. И опять я отчего-то подумал о финансовой основе ее существования... Откуда у нее, в частности, деньги на всякие тюли и черевички? Из слов Любови Николаевны выходило, что ткани она приобрела земным способом. Стояла в очереди. Слова эти были сказаны без раздражения и усталости, а как бы даже с удовольствием удачливой охотницы. Неужели Михаил Никифорович снабдил Любовь Николаевну деньгами, согласившись с поводом ее трат? Но как мне представлялось, он находился нынче в стеснениях. Или она имела право тратить казенные средства на покупку штор и ламбрекена? Впрочем, в азарте женщина может ради тюля промотать и казенные деньги!

Однако мне-то что?

Пусть и казенные, пусть и кашинские, пусть тратит! Пусть Михаилу Никифоровичу это приятно! Мне-то что? Может, ему вообще приятно терпеть у себя дома Любовь Николаевну. Скорее всего так оно и есть. К тому же, возможно, теперь она способна избавить его от болезней, потому он и отказался от судов и встреч с адвокатом Кошелевым.

Как выяснилось позже, и Михаил Никифорович не знал тогда, откуда случались деньги у Любови Николаевны. В начальную пору ее пребывания в Москве, как помните, он сам из сострадания вызвался давать ей рубль в день. Михаил Никифорович надеялся, что скоро, определившись в столице, она откажется от его субсидий. Однако с ходом времени выдача им денежного пособия Любови Николаевне стала казаться ему делом чуть ли не обязательным, прекратить эту выдачу было бы стыдно, не по-мужски. Хотя на кой ляд он сужал ее? Притом что это были за деньги для женщины! Разве таких денег ждала от него Мадам Тамара Семеновна? И все же Михаил Никифорович постановил — потерпеть, не вечно же будет являться Любовь Николаевна в его квартиру. К тому же Любовь Николаевна сразу заявила: за рубли — спасибо, она, мол, должница. Расписок, правда, не писала и позже не упоминала о долге, а Михаил Никифорович тем более. Но чтобы не вызвать кривотолков и прерватных суждений среди знакомых и в Останкине, он как-то с намерением сообщил пайщикам нечаянного сосуда, что иногда дает Любови Николаевне деньги в долг.

Но если бы она их и не тратила, а копила, прятала в старом чулке на черный день, а теперь не удержалась и принялась транжирить, то и тогда расходы Любови Николаевны Михаил Никифорович своими пособиями объяснить бы не смог.

А Любовь Николаевна между тем стала вдруг Михаила Никифоровича кормить. Раньше она лишь по утрам жарила себе яичницу либо жевала бывшую французскую булку с любительской или ливерной колбасой а обедала или ужинала неизвестно где. И ела-то что? Михаил Никифорович, если не был сердит на жиличку, воображал ее в очереди за чебуреками на Неглинной или же за столом какой-нибудь сокрушительной для желудка пельменной и страдал ей. Попытка его угостить Любовь Николаевну мясным блюдом как мы помним, не привела к удаче, разве что он познакомился с доктором Шполяновым. Более Михаил Никифорович и не старался проявить себя хлебосольным хозяином, и не потому, что не было желания

зайти в мясницкую к Петру Ивановичу Дробному, а потому что отсутствовали поводы сидеть с Любовью Николаевной за одним столом.

Как складывались их отношения после капитуляции в доме у дяди Вали, да и накануне, разъяснять не надо. Им бы друг друга не видеть в упор, а не то чтобы вместе расставлять на кухне посуду. Они и впрямь не видели друг друга в упор. Только однажды Любовь Николаевна при встрече в коридоре сказала Михаилу Никифоровичу, словно бы извиняясь перед ним, но и с достоинством: «Мне ведь на самом деле некуда деться...» На что Михаил Никифорович ответил: «Что тратить слова...» Более и не тратили. Но с перетеканием песка в стеклянных сосудах обиженная и от обиды будто мраморная Любовь Николаевна потихоньку оживала и даже иногда принималась напевать. Поначалу Михаил Никифорович слышал фразы из «В низенькой светелке...» и «Колокольчики мои, цветики степные...», но потом в квартире зазвучали и иные слова и мелодии, не всегда, заметим, грустные. Любовь Николаевна напевала и «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», и «Из-за острова на стрежень», и «Мой дельтаплан», и «Кузнечик запиликает на скрипке», и «Мы с железным конем все поля обойдем», и «Златые горы». Порой Михаил Никифорович слышал слова иностранные, понять какие он не мог, кроме «феличита», «аморе», но с чего бы ей петь «феличита» и «аморе», он даже и не строил догадок. Однажды Михаилу Никифоровичу из коридора показалось, что в комнате за притворенной дверью Любовь Николаевна сама с собой водила хоровод. Выявилось у Любови Николаевны драматическое сопрано с виолончельным тембром, но во фразах из опер, в особенности Верди, Вагнера и Масканы, она, как Каллас, могла прозвучать и Азученою. Знала она тексты песен Высоцкого и Окуджавы... Любовь Николаевна проявляла музыкальную независимость, но и не вредничала. Чувствовала, видно, что Михаил Никифорович Зыкиной предпочитает Плевницкую и Русланову, и пела в их манере, впрочем, не имитируя, а по-своему. Временами, казалось Михаилу Никифоровичу, пела чудесно. Но он сразу же осаживал себя, хмурился: мало ли что, мало ли как — ради выгод или ради еще чего — можно петь казенным голосом! Однако — ради каких выгод? И отчего же — казенным голосом? А если Любовь Николаевна пела своим голосом?

И нередко при пении Любови Николаевны возникали в квартире запахи, несколько не раздражавшие Михаила Никифоровича. Это были и запахи деревенского утра и парного молока, прочувствованные как-то и мною, и запахи сырой после грибного дождя ольхи, и молодого, только что, в конце мая, сорванного с грядки чеснока, и расцветшего в Ельховке возле дома матери куста жасмина, называемого, правда, по науке жасмином ложным, или чубушником, и овчинного полушубка, и ветра со снегом в Беринговом море у острова Карагинского, и теплой ржаной горбушки, и декабрьской проруби, и смоленной лодки... Разные возникали запахи, они Михаилу Никифоровичу были приятны.

Иногда Михаил Никифорович, возвращаясь из аптеки или с бесед со знакомыми, заставал Любовь Николаевну у газовой плиты. Что она там стряпала, Михаил Никифорович знать не желал. Кастрюли и сковородки она брала его, еще в марте получила на это разрешение хозяйина, но теперь Михаил Никифорович наблюдал на кухне и новую посуду, металлическую, стеклянную и фаянсовую. Возникали и неловкости. Вечерами Михаил Никифорович посиживал на кухне, читал, думал, слушал «Маяк», прежде чем отправиться на ночь в ванную и поставить там раскладушку. А сейчас он толокся в прихожей, в коридоре — но что за коридор был у них! — делал вид, что у него много занятий в ванной. Любовь Николаевна сказала ему как-то, и довольно дружелюбно: «Да проходите вы, Михаил Никифорович, или в комнату или на кухню». Но зачем было проходить в

комнату? Что там делать? И зачем проходить на кухню? Общий стол у них, что ли? Не хватало этого... Да и готовились на кухне, видно, какие-то острые мясные блюда, противопоказанные печени и желчному пузырю Михаила Никифоровича. Любви Николаевне полагалось бы по крайней мере проявить такт.

Но однажды она сказала: «Михаил Никифорович, сделайте наконец одолжение, присядьте к столу!» «У меня диета»,— буркнул Михаил Никифорович. «Диету вы не нарушите,— сказала Любовь Николаевна.— И потом, я приготовила посинюшки. Или, если угодно, драники». Михаил Никифорович прошел на кухню. Запах был подлинный, и все же Михаил Никифорович не верил в то, что посинюшки у нее получатся. Он с войны ставил посинюшки выше всех иных блюд и полагал, что никто так не готовит их, как его мать и как он сам. Другие как будто бы и вовсе не имели права делать посинюшки. А уж эта Любовь Николаевна... «Не из новой терли? — хмуро спросил Михаил Никифорович, усевшись на табуретку.— Не из рыночной?» «Ну как вы могли подумать? — удивилась Любовь Николаевна.— Конечно, из старой. Некоторые были и проросшие». «Яйца добавляли?»— «Три яйца разбила».— «А жарили на подсолнечном?» «На подсолнечном»,— подтвердила Любовь Николаевна. Михаил Никифорович подумал. «А очистки терли?» — наконец поинтересовался он. «Нет, зачем же? Очистки в мусоропроводе». «Зря,— наставительно сказал Михаил Никифорович.— Мы всегда терли и кожуру. Отмытую. И вкуснее. И полезнее. И не пропадает добро». Все-таки он выявил пороки сегодняшних кухонных трудов Любви Николаевны! Могли ли ее посинюшки сравниться с настоящими, ельховскими, коли она не терла кожуру? Нет. «Но это теперь тяжелое кушанье для меня»,— сказал Михаил Никифорович. Он мог встать и уйти в коридор. Любовь Николаевна будто испугалась этого, принялась успокаивать Михаила Никифоровича: «Я вам вот что скажу, Михаил Никифорович. Я на самом деле не могу сейчас снять ваши недуги. Но средства — считайте, из трав,— какие сделают любую мою стряпню безвредной для вас, у меня есть. Поэтому не тревожьтесь...» «Вы, стало быть, со своей аптекой?» — усмехнулся Михаил Никифорович и остался сидеть. Любовь Николаевна знала, с чего начинать. Это Михаила Никифоровича отчасти насторожило.

Но посинюшки, или, если хотите, драники, или просто оладьи из тертого сырого картофеля, оказались хороши. Горячими проглатывал их Михаил Никифорович, впрочем, пытаясь не уронить достоинства. Будто в Ельховке в своем доме сидел нынче Михаил Никифорович. «Ничего»,— одобрил он Любовь Николаевну. «Нет, правда? — заспала она.— Вот и хорошо. А то они у меня долго не выходили. Или разваливались. Или не отлипали от сковороды. Или были недосоленные. Но я не знала, что нужно и кожуру. Я по книгам...» «Ну отчего же,— великодушно сказал Михаил Никифорович.— Можно и без кожуры. Хотя...» Он замолчал, не стал объяснять Любви Николаевне, что мать месяцами вынуждена была кормить его и других сыновей оладьями, ясно, что без добавки яиц, чуть ли не из одних очистков, но это было давно, а в поваренных книгах те очистки не стоили упоминания... Михаил Никифорович стал благодушен, что разрешило Любви Николаевне затронуть в разговоре темы недозволенные. «Я стесняю вас, Михаил Никифорович,— сказала Любовь Николаевна.— Вы из-за меня и телевизор почти не смотрите». «А там и нечего смотреть»,— опять нахмурился Михаил Никифорович. «Нет, я вас стесняю, Михаил Никифорович,— продолжала Любовь Николаевна.— Мне неловко и стыдно. Я готова ночевать в ванной, а вы уж переходите в комнату. Я прошу вас...» «Все. Хватит об этом! — резко сказал Михаил Никифорович. Но увидев, что у Любви Николаевны задрожали губы, поспешил с вопросом:— По каким книгам вы готовили? У меня нет таких книг». «Я ходила в библиотеку,— оживилась

Любовь Николаевна.— Я записалась в две библиотеки. В районную, это возле метро, и в ту большую, где можно прочитать все». Какие документы Любовь Николаевна предъявляла, чтобы получить читательские билеты, она не сообщила, а Михаил Никифорович и не вызвал желания узнать какие.

Ванную на комнату с телевизором он так и не поменял. Однако все же стал смотреть иные передачи. Когда программу «Время». Когда «В мире животных». Когда «В мире растений». Смотрел молча. И Любовь Николаевна, если присутствовала, деликатно молчала. А возможно, и не считала себя способной на равных с Михаилом Никифоровичем судить о тех или иных аспектах международной и внутренней жизни. Но когда показывали животных, и в особенности растения, молчать ей было нелегко, она шептала что-то или нечто говорила себе самой...

На кухню она приглашала теперь Михаила Никифоровича часто. Ее не смущали отказы, да они и не всегда следовали. Тем более что звали Михаила Никифоровича к столу и не как едока, а как дегустатора и советчика. То есть словно бы требовалась помощь его просто как постороннего человека, и тут важничать или осаживать Любовь Николаевну было неудобно. А Любовь Николаевна увлеклась поваренными книгами и кулинарными советами всерьез, готовила в охотку и ела в охотку, будто прежде ее морили голодом или вынуждали питаться концентратами из тюбиков или вообще неизвестно чем. Продукты она приносила в дом хорошие, и можно было предположить, что из нее выйдет в Москве добытчица.

Правда, поначалу она обходилась картофелем, яйцами по рубль девять и вареной колбасой. Потом, жаль, лишь трижды, приносила в сетках цветную капусту. Ее, жаренную в сухарях на топленом масле, Михаил Никифорович уважал. Возбуждался у Любви Николаевны интерес и к мясным блюдам. Кулинарная эрудиция ее удивляла теперь Михаила Никифоровича. Быстро, в неделю, Любовь Николаевна будто выучила наизусть тысячи рецептов, книга Похлебкина «Национальные кухни наших народов» запомнилась ей целиком, стали ей известны и особенности кухонь зарубежных, в частности она не прочь была бы приготовить негуха в вине, каким его привыкли употреблять жители исторической провинции Лангедок. Но это были знания и намерения, а на кухне Любовь Николаевна долго маялась с супом харчо. Михаил Никифорович не возражал против харчо, но разговоры Любви Николаевны об этом супе не поддерживал, давал понять, что ни посинюшки, ни цветная капуста в сухарях ничего не изменили и режим их проживания в квартире остается прежним. Однако слова Любви Николаевны о том, что она никак не может подобрать для харчо сносную говядину, Михаила Никифоровича задела. «Нужна баранина»,— сказал Михаил Никифорович несколько высокомерно. «А вот и нет! — разгорячилась Любовь Николаевна.— Харчо — это суп из говядины! По-грузински «дзрохис хорци харшот» и значит «суп из говядины»! Или даже «говяжье мясо для харчо». Это москвичи придумали баранину!» «Не знаю, что пишет ваш Похлебкин,— обиделся за москвичей Михаил Никифорович,— а только у нас харчо делают с бараниной. Вы зайдите в кафе таксистов у Гнесинского, там харчо всегда с бараниной». Михаил Никифорович понимал, сколь зыбок его довод, построенный на вкусах московских таксистов, но продолжал стоять на своем. И убедил Любовь Николаевну. «Все! — страстно вскричала она.— Похлебкин в подметки не годится таксистам! Будем варить харчо из баранины!» Красноречие Михаила Никифоровича вызвало у Любви Николаевны игру аппетита, она тут же съела два ломтя рижского хлеба и фиолетовую луковичу.

И был сотворен в квартире на улице Королева суп харчо. Отвернув советы Похлебкина относительно говядины, Любовь Николаевна

на все же согласилась с остальными составными его рецепта. Тех составных было девятнадцать. В частности, требовалось полстакана чищенных, понятно, грецких, орехов. Где-то она орехи достала. Были опущены в кастрюлю и две ложки хмели-сунели, и пол-ложки семян кориандра, и две ложки зелени петрушки, и три лавровых листа, и десять раздавленных Михаилом Никифоровичем горошин черного перца. А вот со сливами ткемали или тклапи, пюре из ткемали, вышли затруднения. Не было в Москве в продаже ткемали, в преискурантах — алычи. А харчо нуждалось в кислой основе. Михаил Никифорович предложил заменить ткемали сушеным барбарисом. Куст барбариса рос в палисаднике у его матери в Ельховке, и у Михаила Никифоровича всегда на кухне лежал пакет с рубиновыми ягодами на сухих веточках. По весне на кусте висели лимонные гроздья цветов, пахнущих странно, будто сырыми грибами, в августе же и в сентябре капли ягод горели ярче рябины и бузины. Любовь Николаевна достала банку маслин, те пошли в подмогу барбарису. Отсутствовала рекомендованная Похлебкиным щепотка имеретинского шафрана — кардобенедикта, — но и без кардобенедикта харчо удалось.

Между прочим, когда стало ясно, что харчо получилось, Любовь Николаевна опять принялась напевать. И напевала она не «Сулико», не что-либо из Брегвадзе, или Кикабидзе, или Гвердцители, а слова из репертуара Стрельченко: «У кого же нет капусты, прошу к нам в огород, во девичий хоровод...» Потом пошло: «Матушка родна, подай воды холодной...» При этом она взглянула на Михаила Никифоровича игриво. Михаил Никифорович игривость тут же пресек, хотя пела Любовь Николаевна приятно... Но харчо Михаил Никифорович ел с удовольствием, хвалил Любовь Николаевну. «Что вы меня-то хвалите! — сказала Любовь Николаевна. — Мы вместе готовили. Без вашего барбариса ничего бы не вышло». Любовь Николаевна сразу же поняла, что перестаралась, тут речь прямо пошла о совместном столе или о кухонном сообществе. Михаил Никифорович посерьезнел, и несколько дней отношения их с Любовью Николаевной были строгие, будто между Ливией и Тунисом. Но потом, после кабачков, фаршированных мясом и тушенных в сметане, отношения смягчились.

В те дни Михаил Никифорович и надумал отменить суды с химическим заводом. Хлопоты ему стали противны. Да и неловко было. Он мог есть вкусные и острые блюда без всяких диет, без ущерба печени и желчному пузырю, правда, дома и лишь при участии тайных приправ Любови Николаевны, но все равно — что же было ему корчить из себя инвалида?

Естественно, Михаил Никифорович задумывался: искренне ли увлечение Любови Николаевны домашними кушаньями, блюдами московских и национальных кухонь или же здесь игра и корысть? Михаил Никифорович не хотел думать о ней дурное. Любовь Николаевна не была ему противна. Он старался не смотреть на Любовь Николаевну, но когда был вынужден смотреть на нее, понимал, что она — женщина в его вкусе. А впрочем, может, все же вздумала окрутить его лукавая баба? Не хватало ему новой Мадам. Но на Мадам Тамару Семеновну Любовь Николаевна никак не была похожа. Она — теперь — была куда легче, изящнее, артистичнее, что ли, Тамары Семеновны в обращении с ним. Теперь будто все печали и заботы оставили Любовь Николаевну. С Михаилом Никифоровичем она все чаще вела себя как со старинным и доброжелательным приятелем, который ее понимает. И которого она тоже понимает и ценит. Слова произносила ласково, естественно как будто бы без вранья и наигрышца, а если порой и кокетничала, то чуть-чуть. Михаила Никифоровича это «чуть-чуть» отчасти даже растреивало: что же, она и за мужчину его не считает?

Положение ее в квартире Михаила Никифоровича было уже как бы установившееся. Надолго. Или навсегда. Но Михаил Никифоро-

вич решил будущего не пугаться. Убедил себя: если Любовь Николаевна станет злоупотреблять его терпением (доверием? привычкой? жалостью?) или начнет вдруг покушаться на его житейскую самостоятельность, он тут же себя отстоит, а ее вытолкает в шею из Останкина. Но пока поводов выгалькивать ее в шею у Михаила Никифоровича не было. И заскучал бы он, наверное, без Любви Николаевны...

А Любви Николаевне, похоже, все более и более нравилось проживать в Москве. Возможно, бывшие пайщики, дядя Валя в частности, успокоились и не напоминали ей об условиях акта о капитуляции. Любовь же Николаевна будто никогда и не объявляла себя рабой и берегиней и тем более не выходила ни из каких бутылок. Можно было посчитать, что она на самом деле приехала из провинции и теперь попала в плен столичных прелестей и затей. И можно было предположить, что она заслужила где-то беспечный отпуск с учетом отгулов, подкрепленный к тому же финансовым листом.

Впрочем, брать у Михаила Никифоровича рубли она так и не отказалась. И когда Михаил Никифорович, подсчитав стоимость посолишек, или драников, супа харчо на основе баранины, кабачков с мясом, цветной капусты в сухарях, слоеного пирога с вишней, протягивал ей деньги за свою долю, она и эти деньги брала без слов и жестов.

Возможно, рубли Михаила Никифоровича шли на культурную программу Любви Николаевны. Подтверждением того, что она не коренная москвичка, а с луны свалилась или и впрямь заехала из Кашина, была ее интерес к художественным и историческим ценностям столицы. После капитуляции, как только начались ее праздные дни, утомив свои печали и недоумения, Любовь Николаевна бросилась в музей, на выставки и в театры. Среди прочих выставок она посетила только что открывшуюся на Крымской набережной — «Сахалин и Курильские острова в произведениях московских живописцев», где на полотнах уже известной ей художницы Жигуленко увидела девушек с острова Шикотан, острыми ножами разделяющих рыбу сайру. Конечно, Любовь Николаевна побывала и в Третьяковке, и в ГМИИ, и в Музее народов Востока, и в Историческом, и в «Палатах боярина» в Зарядье, где ей понравился глобус боярина и собрание самоваров. Поддавалась она мегафонным уговорам экскурсионных бюро, ездила по Москве в просветительских автобусах. Видела хвост лошади Юрия Долгорукова, голубей на плечах Тимирязева. Однажды у Кузнецкого моста Любовь Николаевна вскочила в автобус литературного маршрута «Марина Цветаева в Москве». Выслушав истории экскурсоводши, она и сама взволновалась. Следуя этикету их с Михаилом Никифоровичем отношений, прежде она почти ничего не рассказывала ему о своих московских впечатлениях. А тут принялась говорить ему о квартире Цветаевых на улице Писемского, о картине Врубеля «Ган», о золоте инков, об актере Александре Голобородько, виденном ею в Малом театре по билету, купленному с рук. Михаил Никифорович то ли был не в настроении, то ли ничего не мог сказать о квартире Марины Цветаевой и актере Голобородько, пробурчал что-то лишь о Врубеле. И замолк. Более о своих походах по Москве Любовь Николаевна ему не говорила.

Михаил Никифорович догадывался, что Любовь Николаевна не пролетает и мимо магазинов, в каких продаются шляпки, помады, туфли, серьги и прочая бижутерия. Известно, и прежде менялись наряды Любви Николаевны — в ту пору, мы предполагали, она искала свой московский образ. Но ранние вещи Любви Николаевны возникали как бы из воздуха, в воздухе же они и исчезали или висели там на невидимых вешалках. В шкафу и в чемодане, во всяком случае, Любовь Николаевна их не держала. Очевидно, те вещи были как бы служебной формой. Теперь же, считал Михаил Никифорович, в квартире стали появляться вещи Любви Николаевны личные. Эти-то были точно из московских магазинов. Однажды Михаил Никифорович

допустил бестактность, поинтересовавшись, пусть даже без зла и укора: «Вы все по городу ходите. Вы что — в отпуске? Или на каникулах?» «Я не в отпуске. И не на каникулах, — сердито ответила Любовь Николаевна. — Я — не у дел. И вы знаете почему». Михаил Никифорович тогда чуть было не спросил, долго ли Любовь Николаевна предполагает быть не у дел, в томлении природы, но не спросил, боясь, как он понял позже, Любовь Николаевну спугнуть.

Однако испытывала ли Любовь Николаевна, будучи не у дел, томление природы (когда-то Петр Великий уходил от сражения со шведами, дабы вызвать томление природы сорвиголовы Карла, и притянул того к Полтаве)? Не вызывала ли она сама в ту пору томление иных личностей, скажем Михаила Никифоровича? Или дяди Вали?.. Но оставим пока эту тему.

Как-то Любовь Николаевна высказала на кухне сожаление об австрийских сапожках, о том, что не удалось купить их. Михаил Никифорович предложил ей деньги. У кого-нибудь он полагал их на время одолжить. У Добкина, например. Любовь Николаевна растрогалась, но сказала, что он не так понял, что ее сожаление вызвано не отсутствием денег, а безобразной очередью. «Что — деньги! — нервно сказала Любовь Николаевна. — С ними мы разберемся позже!» Кто «мы», Михаил Никифорович уточнять не стал.

Сапоги австрийские Любовь Николаевна не купила. Они были зимние, а холода еще не пришли. Первыми обновками стали ситцевые платья, серьги с бирюзовыми стеклышками, туфли на среднем каблучке, тапочки для дома, вызвавшие у меня мысли о черевичках. Вместе с этими черевичками она купила и тапочки для Михаила Никифоровича. Михаил Никифорович и при Мадам Тамаре Семеновне тапочки надевал редко, лишь когда был в чем-то виноватый и испытывая при этом утеснение. К вечерним шлепанцам, пижамам он, крестьянский сын и бывший матрос первой статьи, относился с высокомерием. Из теплого белья носил лишь тельняшку. Тапочки, преподнесенные ему, он готов был отправить в мусоропровод. Но посчитал, что они не его собственность, а Любови Николаевны, и распорядиться ими он не волен. Вышло так, что в жаркий день Михаил Никифорович, приняв душ, сунул ноги в тапочки. И позже их надевал. Сколько они стоили, он не знал и денег Любови Николаевне за них не предложил, решив, что его вещь они стать не должны, а он будет как бы арендатором тапочек. Но чувствовал, что ни с того ни с сего покорился чуждой ему вещи...

А Любовь Николаевна вскоре принялась вслух, но как бы между прочим замечать, что в квартире Михаила Никифоровича многого не хватает. То есть и мебель бы надо иметь другую, а уж коли жить со старой, то ее следовало бы переставить по-другому, и прочее и прочее. Понятно, что замечания были пресечены Михаилом Никифоровичем. Покупки же Любови Николаевны Михаил Никифорович рассматривал, но оценку им давал по принуждению и из вежливости. Для красивой женщины все могло оказаться хорошим, дура же и страшила способна и туфли Золушки превратить в потертые калоши. Из Любови Николаевны получалась нынче красивая женщина. А потому и одобрительные оценки его («Да, ничего...», «Да, нормально...») чаще всего не были несправедливыми или фальшивыми.

Сложности случались, когда Любовь Николаевна возвращалась с пакетами из отделов нежного белья. Когда-то весной она могла разгуливать вблизи Михаила Никифоровича чуть ли не нагишом, не видя в том ничего зазорного. Может, она и вообще не знала, что за звери такие мужчины. И Михаил Никифорович смотрел на нее тогда как на существо условное, по свойствам не лучше привидения. Теперь же Любовь Николаевна стала стыдливой. И хотелось ей похвастаться чем-то, и неловко было. Но не терпелось оглядеть себя в новом одеянии, и она просила Михаила Никифоровича не заходить в ванную и там,

в ванной, вертелась подолгу перед зеркалом. Что при этом пела, Михаил Никифорович не ведал. Однажды лишь услышал: «...под роскошным небом юга сиротеет твой гарем». С этими словами, как помнил Михаил Никифорович, в опере Глинки Людмила с просьбой вернуться к делам в родные края обращалась к Ратмиру, находившемуся в любовных заблуждениях. Михаил Никифорович предположил, что Любовь Николаевна недовольна покупкой. Действительно, бангладешские шальвары оказались с порчей, Любовь Николаевна тут же пожелала менять их.

Как-то она сказала Михаилу Никифоровичу: «В очереди говорили, что в Европе не носят лифов». И тут же смутилась. И не от взгляда Михаила Никифоровича, наверное, а от мыслей тайных и желаний. Какие возникают от туманов. Или потому смутилась, что позволила себе неприличное. До отлучения от дел Любовь Николаевна виделась нам и властной, и способной воспитывать в саду и в яслях, а то и дрессировать кого следует, сила, хватка и жесткость деловых женщин, хорошо известных нам, проглядывали в ней. Такой даме в дни церемоний и служб пошли бы серые костюмы английского покроя с бостоновыми пространствами для положенных наград. Теперь Любовь Николаевна порой сама походила на тех, кого следовало дрессировать. Шаловливая становилась и легкомысленная. Или дурашливая. Михаил Никифорович имел поводы опасаться, как бы она чего не учудила. И не вызвала административных решений. Нет, не вызвала... Либо тушила в себе пожары, либо ощущала чьи-то запреты и собственные слабости. Иногда она выглядела и растерянной, чуть ли не беззащитной. Не он ли, Михаил Никифорович, должен был стать ей щитом и оплотом?.. Но случались мгновения, когда Любовь Николаевна огнем глаз своих, движениями то ли дикого зверя — рыси на морозе, или выдры в промоине, или горностая на сосне, — то ли парящего баклана, то ли пенной волны обещала вдруг стать стихией буйной и громкой, пуститься в разгул, промотать состояние и наследства, раскатать Останкинскую башню, сокрушить поднебесные горы...

Михаил Никифорович имел вечерних приятельниц, о чем было сказано. До одной из них, как помнится, он не донес цветы, отчего Любовь Николаевна обрела силу. Когда Михаил Никифорович не ленился, не уставал от бесед с останкинскими знакомыми, он иных своих приятельниц посещал. Одну чаще. Другую реже (приятельница, до которой он не донес цветы, ему более не звонила). Теперь же он стал чуть ли не домоседом. Себе удивлялся. Что это с ним? То, что он полагал стеречь Любовь Николаевну и уберечь ее от безрассудств, в объяснения не годилось. Что ее стеречь? И как бы он уберег? Тянуло теперь его быть рядом с Любовью Николаевной. Блажь какая-то, глупость, а вот тянуло. Любовь Николаевна волновала его. И будто дитя случая, игривое и забавное. И будто женщина.

Михаил Никифорович вспоминал, как он делал укол Любови Николаевне. Как вводил густую, словно желе, коричневую жидкость лешего происхождения в ягодные ее места. Как ощутил он пальцами ее кожу, плотную и нежную, чуть шершавую... Мыслями он нередко возвращался в те мгновения и, возвратившись, корил себя за нескромные мысли. Однако мысли его не были нескромными. Скорее они были возвышенными...

Понимала ли его состояние Любовь Николаевна? Порой Михаилу Никифоровичу казалось, что понимала. Иногда же она, несмотря на свою стыдливость вела себя так, словно бы и впрямь не знала, зачем в мироздании мужчины и женщины. А как-то, вся сияющая, принесла из Петровского пассажи купальник, будто завтра ее ждали пески и гальки морских побережий. И купальник, а значит, и Любовь Николаевну в купальнике Михаил Никифорович должен был рассматривать. Каково ему приходилось...

Любовь Николаевна успела загореть. Где и как — ее было дело. Наблюдая ее в бикини, Михаил Никифорович мог понять, что белых пятен на теле Любови Николаевны не осталось. Не проглядывались и белые полоски. Загар был ровный, светло-бронзовый, для антикварных магазинов. Тело Любови Николаевны нельзя было признать худым, видимо, сказались ее аппетиты и кулинарные успехи. Но Любовь Николаевна и не располнела, была спортивной. При этом линии ее тела казались мягкими, овальными, как бы ленивыми, словно бы Любовь Николаевна всерьез занималась синхронным плаванием. И дядя Валя засомневался бы сейчас в том, что она полая. Но если бы, скажем, он подумал, что Любовь Николаевна была где-то отлита, оттерпела пресс-форму и вышла изделием массовой продукции (рост — 170 см, вес — 72 кг, ясно, не тощая), то он бы ошибся. Явно вызывалось теперь в ней свое, противное стандарту. И Михаил Никифорович это видел. Чуть широки были ее бедра, с подбором джинсов могли возникнуть у нее и затруднения. А грудь Любови Николаевны не только вызвала мысли о кипении страстей, но опять же давала основания полагать: выкормит близнецов. А при поддержке профсоюзов и государства — и четверых. Михаил Никифорович видел теперь в Любови Николаевне женщину особенную. Родинки углядел он и на ее спине над левой лопаткой. Прежде их будто бы не было. И на руке ее открылись ему две оспинки, словно следы от школьных прививок. От каких прививок?.. Но эти две детские оспины Михаила Никифоровича растрогали. Ближе и земнее, казалось, стала ему Любовь Николаевна...

Словом, нелегкими выдались для Михаила Никифоровича примерка и показ купальника. Любовь Николаевна на его глазах вставала и под душ, желая провести испытание ткани, ахала в струях от удовольствия. «Что она, издевается, что ли, надо мной? — думал Михаил Никифорович. — Или устраивает искушение, посчитав меня каким-нибудь Антонием или Иеронимом?» Антония и Иеронима Михаил Никифорович знал по картинам и репродукциям, там они сидели немощными старцами. Ветхими деньми. Искушать таких можно было долгое время. Все равно что раскачивать водосточную трубу с намерением натрясти груш. Михаилу же Никифоровичу следовало усмирять плоть.

Михаил Никифорович закрыл тогда дверь в ванную, достал сигареты. «Куда же вы?» — услышал он. Голос у Любови Николаевны был охрипший, смешной, а потому и особенно волнующий. В день укола Любовь Николаевна кушала пломбир будто из-под палки, потом ей понравилось московское мороженое. Накануне она его переела и охрипла. «Нет, это не женщина, — решил Михаил Никифорович. — Это — чучело женщины. Или макет. В натуральную величину». Но хорош был он, рот разинув на это чудо природы! Михаил Никифорович ушел тогда из дома и до ночи бродил аллеями Останкинского парка.

Два дня Любовь Николаевна холодно и небрежно здоровалась в коридоре с Михаилом Никифоровичем. Потом отошла. А когда купила махровое платье, голубое, с молниями, не смогла не познакомить с ним Михаила Никифоровича. «Смотрите, махра какая плотная. И недорого. Всего сорок пять рублей!»

А потом принесла ткани для занавесей и ламбрекенов. И еще что-то в пакетах. Я уже рассказывал...

Я ушел. Любовь Николаевна хлопотала над тюлями и льном. А Михаил Никифорович пребывал в недоумениях.

Украшать квартиру он Любовь Николаевну не просил. Покупать себе сарафаны, колготы, серьги Любовь Николаевна была вольна. Тут — ее дело. Но тащить в дом без спроса какие-то занавеси, да еще вынуждать его плестись в ателье проката за швейной машинкой, это уж... Впрочем, Михаил Никифорович вспомнил о тапочках, какие были на его ногах, и его коммунальная позиция показалась ему зыбкой.

— Вы, Михаил Никифорович, извините меня,— сказала Любовь Николаевна,— что я купила, не посоветовавшись с вами....

— Да нет, почему же,— неуверенно сказал Михаил Никифорович,— наверное, с ними комната будет выглядеть лучше...

— Конечно лучше! Конечно! — быстро согласилась с ним Любовь Николаевна.— И лучше будет, и наряднее, и приветливее! Вы сами увидите! И на кухне мы с вами устроим занавески. Может, и с вышивками. Или с кружевами.

— С какими еще кружевами...— напрягся было Михаил Никифорович, и кружева и в особенности украшения на кухне подтолкнули его к умеренному протесту, но Любовь Николаевна договорить ему не дала.

— Необязательно с вологодскими,— с пылом стала она просвещать Михаила Никифоровича.— Есть еще калужские кружева, у них крупный рисунок, и потому они скорее подойдут к окнам. И есть елецкие кружева. И есть закарпатские...

Любовь Николаевна, видно, торопилась домой от Никитских ворот, ехала в горячих троллейбусах с пересадкою на Трубной площади и сама была теперь жаркая, словно распаренная, капельки пота поблескивали на ее щеках и над верхней губой, и Михаил Никифорович подумал, что сейчас она определенно не чучело и не макет. В присутствии такой женщины он готов был примириться с кружевами, ламбрекенами, швейной машинкой и переустройством квартиры.

А Любовь Николаевна тем временем занялась пакетами.

Стояла она теперь спиной к Михаилу Никифоровичу. По Москве из-за теплыни Любовь Николаевна сегодня гуляла в васильковой блузке, называемой ею топ. Спина и грудь этой блузкой были почти открыты, лишь две бретельки проходили возле трепетной шеи. И родинки над лопаткой Любви Николаевны были видны Михаилу Никифоровичу, и две оспины от прививок на левой ее руке. Михаилу Никифоровичу захотелось погладить эти оспины словно бы с намерением уберечь, охранить от чего-то Любовь Николаевну. Он шагнул к ней и коснулся пальцами ее руки. Любовь Николаевна будто не поняла, что случилось, до того она была занята пакетами, она лишь слегка повернула голову, сказала в удивлении: «Что вы, Михаил Никифорович? Что это с вами?» Михаил Никифорович тут же отпустил руку, отступил от Любви Николаевны, хотел было опять уйти на кухню, а потом в дубравы и кущи Останкинского парка, но Любовь Николаевна теперь совсем повернулась к нему, она словно бы забыла о тюлях и пакетах... В глазах ее высвечивались интерес к Михаилу Никифоровичу и его порыву, бесшабашная решимость и нестерпимость желаний... «Что же вы отошли, Михаил Никифорович?» — спросила она. Теперь она шагнула к Михаилу Никифоровичу. И он шагнул к ней. Он обнял Любовь Николаевну и встретил ее губы. Язык ее коснулся языка Михаила Никифоровича. Нет, не чучело была Любовь Николаевна...

«Погодите,— вдруг вынырнула она из его рук.— Я ведь с улицы. Из очереди и троллейбусов. Я сейчас...» Дверь в ванную она за собой защелкнула, воду же, как стало казаться Михаилу Никифоровичу, включать не спешила, может, вообще решила спрятаться от него, превратить ванную в крепость — в Нарву какую-нибудь или в Седан,— способную выдержать его осаду и штурм. Михаил Никифорович ходил по коридору в досаде, надеясь, что желание его пропадет. Оно не пропадало. И когда зашумела, заплескалась за дверью вода, досада Михаила Никифоровича не прошла. Он уважал женственность. Но все равно, если бы была страсть, обо всем можно было бы и забыть, что тут церемонии, привычки, правила! Что тут теплынь и запахи от очередей и троллейбусов!.. Стихла вода, но Любовь Николаевна не выходила еще минут двадцать. Теперь Михаил Никифорович был в сомнениях. Зачем ему все это? Зачем? Но когда дверь

приоткрылась и возникла Любовь Николаевна, приветливая, душевная, при всех своих красотах, досада и сомнения покинули Михаила Никифоровича.

25

В конце сентября в Останкине на столбах и стенах, отнимая место у робких бумажек с пятью или шестью телефонными хвостами: «Меняю квартиру», «Продаю стиральную машину...», — появились написанные от руки приглашения присутствовать — кто пожелает — на играх в пруду под башней дрессированного ротана Мардария о четырех лапах. Под приглашениями стояла подпись: «Д-р Шубников». А приглашения, надо полагать, клеил названный на бумажке консультантом кандидат физико-математических наук Бурлакин.

В назначенный час публика притекла к пруду под башней. К зрелищам здесь привыкли. То станут доставать утопленника из останкинских вод. То пройдет регата ребячьих яхт, и родители на берегах возрадуются. То явятся к пруду, а тут уже не пруд, а река Миссисипи, или голубой Дунай, или Венский лес, или отроги Карпатских гор, ковбои, мечтающие о Роз-Мари, либо красотки кабаре, либо драгуны, либо цыгане при бароне-путешественнике, либо хлопцы с гуцульскими трубами в руках, и засуетятся операторы, готовя угощения для цветных экранов.

Ничего странного не было и в играх на пруду воспитанного Шубниковым ротана Мардария.

Я помнил, что Шубников бранил и Бурлакина и ротана, тот и жрал много, и не рос, и не оправдывал надежд Шубникова. Что же, стал теперь оправдывать? Правда, говорили, что как-то Шубников похвалялся, будто роган статями догоняет сенбернара, но в Останкине преувеличениям Шубникова мало кто верил.

В публике я не увидел ни Михаила Никифоровича, ни Любови Николаевны. А дядя Баля и Каштанов присутствовали.

Над Останкином, как, впрочем, и над всей серединой Россией, происходило сражение стихий. Сражения эти случались в последние годы часто. Нынче уныло двигался к югу циклон с Ямала, гнал с собой студёные воздушные массы и ветры от карских льдин, намерен был выжечь, проморозить теплые слои и потоки, четыре дня радовавшие московских жителей. Но и никак не мог одолеть южанина. А потому то открывалось голубоватое, как бы намазанное сметаной небо, то проносились низкие, с хмурию и придурью облака, на клумбах вблизи пруда гнулись лиловые, розовые и белые астры, теряли лепестки, сгибались стебли георгинов, находила тоска поздней прощальной осени. И ряби возникали на серой воде Останкинского пруда. Тревожно в те минуты было.

Но южный антициклон пятнадцатикилометровым добродушным толстяком все еще стоял над Москвой и погибать или уходить не собирался. Однако и при нем возникали тревоги...

Шубников с Бурлакиным принесли к пруду ящик, сбитый из фанеры, на носилках... Меня однажды угощали вяленным ротаном предельных, по уверению знающих рыбаков, форм. Рыбаки эти относились к ротанам с ненавистью. И кляли дураков, которые ради развлечения привезли с Дальнего Востока эту окунеобразную головешку. Ротан, по их рассказам, мог зимовать в подледных условиях чуть ли не совсем без кислорода. А потом, бодрый, поедая мальков всех пород, освобождая для себя жизненное пространство. Потому-то во многих московских и подмосковных водоемах и остался один ротан с башкой, наглыми глазами и более ничем. Помню, что вяленый ротан оказался плохой закуской к пиву. Игры же ротана, пусть и дрессированного, на мой взгляд, уместнее было бы показывать либо в ванной, либо во дворе — в тазу или в ведре. А Шубников и Бурла-

кин вели себя так, будто были намерены предъявить публике ботик Петра.

Купальщиков в пруду было немного, их попросили плавать у южного берега, лицом к Марьиной роще и Садовому кольцу. Там же стояли и юные рыболовы. Из воды они в моменты удач вытаскивали исключительно ротанов, предназначенных для поощрения домашних животных. В публике стали предполагать, что и ротан Шубникова скоро будет адресован какой-нибудь свирепой кошке черной масти. Шубников с Бурлакиным молчали, было в их лицах высокомерие. Они держали паузу. Создавали напряжение. Или ждали кого-нибудь важного.

Видимо, не дождалось. И не вызвали напряжения. Но вызвали нетерпение публики. Стали раздаваться реплики, нелестные для Шубникова и Бурлакина. Реплики эти Шубникова и Бурлакина, несдержанных прежде бузотеров, не тронули. Возможно, их высокомерие и спокойствие были чем-то обеспечены. Не завладели ли нынче Шубников с Бурлакиным секретным оружием?

Но вот Бурлакин посмотрел на солнце, послунывил палец и, подняв руку, изучил силу и направление ветра. Ветры, наверное, были те, что надо. Бурлакин кивнул Шубникову. Шубников подошел к ящику на носилках, откинув одну из стенок.

— Алле! — приказал Шубников.

Из ящика выпрыгнуло животное, поклонилось публике и башне и смиренно отнесло в пасти поводок Шубникову. Поводок тянуся к металлическому ошейнику.

— Халтура! — закричали.— Это псина! Это эрдель!

Мне тоже в первые мгновения показалось, что из ящика явилась собака, возможно, и эрдельтерьер, а возможно, и пудель. Лапы животного по длине, во всяком случае, подошли бы и эрдельтерьеру и пуделю. Однако шкура животного была странно гладкая. И блестящая. Я вспомнил о недавних связях Шубникова со скорняками. Возможно, он предназначил для дрессуры, а потом и для обмана останкинской публики явно выморочного эрдельтерьера или пуделя. Но это были мысли первых мгновений. А скоро стало ясно, что перед нами рыба на лысых песьих лапах. И имя ей несомненно Мардарий. И это была рыба ротан.

Шубников без суеты привязал к поводку конец альпинистской веревки. Понятно, не ошейник был на рыбе, шея она, как положено, не имела. Не суетился и ротан Мардарий. Степенно ждал команды укротителя. А когда команда («Алле! Отдать швартовы!») последовала, ротан оживился и с радостью бросился в серые воды. Юные рыболовы на южном берегу тут же повывергивали удочки из водоема. Ротан и сейчас показал, что уважает Шубникова, и принялся подражать дельфинам батумской школы. Он выпрыгивал из воды, прижимая передние лапы к брюху, создавал хвостом волну, принимал носом подбрасываемый Бурлакиным резиновый мяч — то есть какой у него нос! острием своей примечательной головы,— высоко подкидывал его, тут же открывал для приема мяча пасть, но не проглатывал и не раскрамсывал, а крутил его чем-то, возможно, зубами и губами и после серии упражнений отправлял мяч метров на шесть вперед в руки к Бурлакину. В публике кто-то пожалел дрессированное животное, младшего братишку, посчитал его утомившимся, попросил: «Дайте ему просто поплавать! Искушаться дайте!» Ротан высунул морду, с одобрением посмотрел на просителя и с надеждой на Шубникова. Но укротитель был строг. Покачал головой. «Ну хоть рыбешкой его наградите!— не унимался впечатлительный зритель. Это был финансист Моховский, известный своей привязанностью к невидимым миру бегемотикам.— Чтоб он ластой по пузу похлопал. Как морской лев!» «У него не лапы. У него длани»,— сказал Шубников. Поняв, что в просьбе заступнику отказано, ротан утонул.

Бурлакин тут же стал дергать веревку, напоминая ротану об его исполнительском долге. Ученая рыба, восприняв сигнал, показала и продолжила игру с мячом. Многие подумали, что дрессированный-то ротан дрессированный, но, видно, еще озорник, молод и глуп, может надерзить укротителю и консультанту, а то и проявить неразумную пылкость самостоятельности. И как тут без веревки? Однако дальнейший ход выступлений ротана показал нам, что веревка в руках Бурлакина орудие символическое. Или имеет смысл, нам не открытый.

Но пока ротан играл с мячом. Он повернулся на спину, поднял мокрые лапы, получил от Бурлакина еще два мяча, голубой и зеленый, стал жонглировать тремя предметами. Кое-кто на берегу принялся поддерживать его аплодисментами. По лицу Шубникова можно было понять, что все это пока пустяки и нечему удивляться. А Мардарий исполнял для нас упражнения с булавой, лентой, обручем и квасной бочкой. Бочку он крутил и подбрасывал задними лапами. Или нижними конечностями, кто знает. Делал он и номера из водяного цирка. Садился и на деревянный велосипед. Держал лапами зонтик. Наконец после секундной паузы подплыл к берегу и, получив из рук Бурлакина губную гармонику, прижал ее к пасти.

— Алле! — уже и не приказал, а попросил Шубников.

Ротан дернулся, возмущив воду. И возник звук.

— Алле! — закричал Шубников.

Мардарий опять полул в гармонику. Следовали новые «алле» Шубникова и новые звуки. Впрочем, одни и те же. Ожидаемого разнообразия не получалось. Может, Шубников не смог дать ротану приличное музыкальное образование, может, способности его как педагога были сомнительными, — что же он теперь кричал на рыбу? Но тут Мардарий заиграл и мы услышали музыкальную фразу, вернее, отрывок из нее. Однако и отрывка этого было достаточно, чтобы понять: ротану или его учителю была хорошо известна мелодия песнопения «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе...». Или же другого: «Соловей российский, звонкий птах...»

— Bravo, Мардарий! Bravo! — закричал Шубников.

— Во дает! — шумели в публике.

Надо сказать, что ценители разошлись в определении мелодической основы исполненной на гармонике пьесы. Некоторые считали, что тут чувствуются темы Аедоницкого. Другие говорили, нет, это Журбин. Называли и Людмилу Лядову, и Эдуарда Ханка, и Паулса. Выкрикивали и названия на английском языке. Серьезные же люди утверждали, что рыбу определенно вдохновил композитор Шаинский. Вспоминали даже полонез Шаинского. Одним словом, все были довольны, и пришло время для поощрений ротана Мардария.

Тут обнаружилось, что помимо фанерного ящика к пруду был принесен заранее и упрятан до времени в кусты крупный мешок с угощениями. Жестами ротана подозвали к берегу. Ротан подплыл и открыл пасть. И мы увидели, какие у него челюсти и зубы. Бурлакин развязал мешок, а Шубников стал бросать угощения ротану. Кидал он металлические предметы из тех, что могли порадовать заготовителей вторичного сырья. Какие-то ржавые и гнутые ломы, цепи, сковороды, ободы автомобильных колес, листы кровельного железа. Ротан ловил угощения пастью, как раньше мячи, кромсал, дробил их зубами и проглатывал. Потом из хозяйственной сумки Бурлакин начал доставать стеклянные банки, бутылки из-под вин, кефира и растительного масла. «Их же сдавать можно!» — возмущился таксист Тарабанько. «У горбышек отбитые края», — успокоил его Бурлакин. Стекло ротан жевал с хрустом, вызывавшим у многих зависть и ощущение голода. Мешок и сумка обмякли. Бурлакин перестал повторять: «Ай, bravo, Мардарий! Ай, bravo!» Шубников задумался.

— Алле! — сказал он, вскинул руку и повелел ротану плыть в южную сторону, опять в направлении Марьиной рощи.

Следовало ожидать особенного номера.

Может, требовался барабанщик, чтобы дробью сопроводить искусство Мардария. (Мне при этом вспомнилось: «Ни в Брабанте, ни в Трабанте нет барабанщиков таких, как у нас».)

Ротан проплыл метров десять, перевернулся на спину и стал зевать. Потом, похоже, он задремал.

— Алле! — кричал Шубников.

Мардарий будто его и не слышал.

— Алле! — кричал Шубников уже обиженно и зло.

А ротан храпел.

— Тащи его! — насупившись, сказал Шубников консультанту.

Бурлакин потянул веревку и очень быстро выбрал рыбу из воды. Шубников с Бурлакиным, не скажу, что бережно, погрузили его в ящик, взялись за носилки, не вспомнили о мешке и сумке, не взглянули на людей, ими приглашенных к пруду, и поспешили к дому Шубникова. Видно было, что расстроились.

В публике возникли вопросы и недоумения. Но разъяснить нечто существенное было некому.

— Ну что! — сердито было сказано Игорю Борисовичу Каштанову. — Понял, что выходит из твоей сделки?

— А что плохого, — спросил Каштанов, — в том, что мы увидели сегодня эту рыбу?

— Еще не такое увидим, — мрачно произнес Филимон. — И ты, Игорь Борисович, еще не возрадуешься. Может, и содрогнешься.

— Слова-то какие ты произносишь возвышенные. Будто для астраханских трагиков. Не из «Макбета» ли?

— Продан пай-то? Или проигран? — спросил я. — И каким образом оформлена купчая?

— Это имеет отношение единственно ко мне, — скривил губы Каштанов.

— Но ведь твой пай, как и все другие, отменен актом о капитуляции. Стало быть, он — пшик!

— Вот! — обрадовался Каштанов. — Именно что отменен!

— Но как же ты уступил его Шубникову?

— Ну пошутил! — сказал Каштанов. — Ну выпил и пошутил!

— А не было ли причин для твоей шутки? — предположил я, отчего-то желая раззадорить или даже обидеть Игоря Борисовича. — Не попал ли ты в зависимость к Шубникову? Не решил ли выйти из нее? Или выползти? Или еще из чего-то выползти?

— Мне этот пай не нужен! Не нужен! — рассердился Каштанов. — И оставьте меня! И потом — что вы меня-то укоряете? Что вы ко мне-то лезете? Если вы чем-то обеспокоены, не логичнее было бы вам прежде всего поговорить с Михаилом Никифоровичем? А еще бумагу перечитайте внимательнее, розовую, ту, что взялся хранить дядя Валя, внимательнее, внимательнее. А я пошел...

— Еще попомнишь мои слова! — бросил ему вслед Филимон.

— Валентин Федорович, — обратился я к дяде Вале, пребывавшему в молчании, — бумага, что просил Каштанов перечитать внимательнее, у вас? Вы однажды обещали дать мне ее. Копию снять.

— Я запомнил, где она, — пожал плечами дядя Валя. — Засунул куда-то и не помню.

— Вы сказали: в серванте, вместе с облигациями государственных займов. Послевоенных.

— Разве? Там ее нет... Но беда-то ведь небольшая? А? Да и сам ты о бумаге мне не напоминал. А времени сколько прошло!

— Да, дядя Валя, — согласился я. — Времени прошло действительно много... А как ваш автобус? В порядке?

— Ну а как же, — сказал дядя Валя. — Пенсию мне оформили, но и уговорили остаться за рулем. Такие, как я, сам знаешь, на дороге не валяются.

— Вы, помнится, стали ходить в парк. На Плешку. Или в Лебединую стаю.

— И сейчас хожу,— заулыбался дядя Валя.— Мне приятно. Многим приятно. Там есть забо-о-ористые подруги. А я ведь, если меня обожают, могу стать и душой компании.

— Я не сомневаюсь в этом, дядя Валя. И собака ходит?

— Ходит. Но она, если нужно, делает вид, что ее тут нет. И не дышит... Тактичная, сукина дочь!

— Бумагу, ту, розовую, вы не смогли бы все же отыскать?

— Не обещаю,— сказал дядя Валя.— Да и есть ли нужда искать?

— Еще ощутишь эту нужду! — опять пророком загредел Филимон.

— Не шуми,— тихо и словно бы устало сказал дядя Валя.— Не вызывай на пруду шторм...

Знакомые и незнакомые нам созерцатели Мардариевых игр уже расходились. Кто молча, кто обмениваясь впечатлениями. Высказывались вслух и суждения, какие уводили собеседников в далекие мысленные и социальные пространства. Гадали, в частности, каково пришлось бы ротану в странах «третьего мира». Полагали, что богатые обнаглевшие люди без зазрения совести стали бы использовать ручную рыбу для военных нужд. Скажем, для сбора разведывательных данных. В таком случае ротана могли одеть в гражданское платье, дать ему ключку Трианон и научить посещать магазины минеральных вод. Некоторых удивляла проявленная ротаном способность дышать останкинским воздухом. Лапы-то ладно, не такие игры позволяла себе природа, но прогулки рыбы по суше озадачивали. Впрочем, вспоминали Ихтиандра. Тот тоже терпел и воду и атмосферу. А в связи с Ихтиандром приходил на ум зловеющий дон Зурита, сыгранный в кино не менее зловецим Михаилом Козаковым. Вспоминали, что дон Зурита был намерен эксплуатировать благородного, простодушного Ихтиандра и расставлял ему сети. Но мог ли обнаружиться дон Зурита и вблизи музыкального ротана Мардария?

В обсуждение зрелища на пруду я не вступал. А вот беспокойство в себе старался погасить. Думал: ну возник в Останкине ротан Мардарий, ну развлекаются с ним Шубников и Бурлакин, и ладно, их дело, что тут эдакого? Уступил Каштанов Шубникову живой или неживой пай, пропала у Валентина Федоровича бумага со словами и подписями, ставившими Любовь Николаевну на колени,— ну и что? Стоит ли из-за всего этого беспокоиться? Разве нет иных, более высоких забот?

Но никак не выходила из головы одна мелочь. Отчего расстроились Шубников с Бурлакиным? Чем не угодил воспитателям ротан Мардарий? Отчего они не смогли управлять им, если пай их все же был существоющим?..

26

Шубников и Бурлакин и впрямь расстроились. Подлец Мардарий заснул. Поначалу Шубников с Бурлакиным думали, что он притворяется, рыба кровь, делает вид, что храпит. А он спал подлинно. Шубников с Бурлакиным принесли ящик с рыбой к дому, в лифте ящик пришлось ставить на попу, но даже и путевые неудобства не взбудрили ротана. Опущенный в ванну ротан сразу же сунул передние лапы под голову, подтянул хвост к брюху и принялся догонять сны. Хотя какие сны могли возникнуть в дурьей рыбьей башке!

Ротан заснул не один, а два номера.

Шубников не отважился бы назвать их уникальными, но нынче они казались ему необходимыми, как, предположим, хор «Славься» в финале оперы про костромского крестьянина на стихи С. Городецкого или как застывшие рты провинциальных чиновников и их дам в спектакле по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Ротан Мардарий не дал возможности опустить занавес. Полный стервец! Теперь Шубников будто жалел, что не возник момент апофеоза и не бро-

лились к нему люди с поздравлениями, цветами и вопросами, на какие он в высокомерии мог позволить себе и не отвечать. Мерзкий ротан Мардарий уснул, обожравшись железом и стеклом, и смял финал представления. А должен был еще поймать на лету трясогузку, сидевшую за пазухой у Бурлакина, а потом сесть в прогулочную лодку и пересечь на веслах водоем с востока на запад.

«Плетью, что ли, его огреть?» — спросил Бурлакин. «Ладно, не надо. Пусть спит,— сказал Шубников.— Не трогай. Зверь все-таки...» «Да, зверюга!» — согласился Бурлакин.

Они закрыли дверь в ванную на защелку.

Для того чтобы изжевать и защелку и дверь, Мардарию не потребовалось бы и двух минут. Однако он относился к закрытой Шубниковым двери с почтением или страхом, признавая для себя обязательность двери. Отчего так, Шубников с Бурлакиным догадывались. Полагали, что догадывались... Но ведь это — пока. А вдруг бы ротан перестал уважать дверь? Сегодняшнее его неповиновение могло обещать казусы впереди... Впрочем, Шубников с Бурлакиным скоро успокоили себя, убедив в том, что виноваты они сами, перекурили Мардария. А Мардарий, видимо, перекупался в пруду. Или перегрелся на солнце. Или долго был на ветру.

Бурлакин присел к столу, достал блокнот, ручку, японское счетное устройство и принялся выяснять энергетические затраты ротана, калорийность железных и стеклянных блюд, предложенных рыбе, степень изношенности его организма, возможности его жизненных ресурсов и прочее, вывел цифры и опечалился. Не так уж и перекурен был Мардарий. Однако задряхнул, подлец! «Что-то здесь не так...» — задумался Бурлакин. «Э-э-э! — поморщился Шубников.— От твоей науки идут лишь одни приблизительности. И заблуждения... А впрочем, с Мардарием мы прекращаем!» «То есть?» — обеспокоился Бурлакин. «Хватит с ним! Надоед! — сказал Шубников.— Перейдем к насекомым». «К каким насекомым?» «А к любым! Рыбу выкинем! Я из-за нее хожу в Астраханские бани!»

О вынужденных походах Шубникова в Астраханские бани уже говорилось. Шубников и умывался теперь на кухне, там стояли и мыльница, и зубная щетка, и тюбики с пастой. Ванная походила на камеру одиночника. Единственно что не употреблял ротан Мардарий в пищу, были краны, трубы, смеситель, стояк душа и душ подвижный. Рыба соображала что к чему. Безмозглая, казалось бы, скотина, но очень не редко, и всякий раз к удивлению Бурлакина и Шубникова, она проявляла способность отстаивать свои житейские удобства и выгоды.

Бурлакин, продолживший было выводить цифры с коэффициентами, степенями и еще с чем надо, положил ручку на стол. Японское же устройство считало само по себе. Бурлакин знал нрав приятеля и привык к легкости, с какой Шубников менял занятия и увлечения. Мардарию мог сегодня и впрямь наступить конец.

— К каким насекомым? — повторил Бурлакин.

— А к обыкновенным! — сказал Шубников.— Хотя зачем нам насекомые! Что ты городишь! Давай возьмем птиц! Воробьев! Снегирей! Альбатросов! Займемся их развитием и воспитанием! Нет! Нет! Никаких птиц! Они еще примутся в волнении сбрасывать нам на головы гуано! Знаешь что... Давай раздуем самовар!

— Какой самовар?

— Хороший самовар! Из меди! Из золоченой. Тульский, баташевский. И чтоб с медалями. Нету, так достанем!

— Слушай,— и Бурлакин показал на ретивое японское устройство,— оно подсчитало, сколько и чего надо Мардарию, чтобы он был чуть-чуть голоден и бодр.

— Отставить Мардария! Мардария укоротим, разберем и забудем!

Пусть при этом вернет сазана и все, что сожрал в доме! А мы теперь раздуем самовар!

— Пойми,— сказал Бурлакин,— Мардарий сегодня не настолько переел, чтобы заснуть.

— Я понял,— утих Шубников.— Я понял. И хрен с ним, с этим Мардарием. И с самоваром тоже.

— Отчего же и с самоваром?

— Все эти хепенинги давно устарели. Ну раздули бы мы самовар посреди, скажем, Трубной площади, ну пришли бы дураки ротозеи, остановилось бы движение — ну и что дальше?.. Но и с Мардарием все! Все!.. Пойдет на хозяйственную сумку с рыбьей чешуей!

Шубников бушевал, говорил слова о Мардарии, в них были одни приговоры. Но сумку с рыбьей чешуей шить не спешил и не мешал пока Мардарию почивать в ванной. В истории с Мардарием кони понесли неизвестно куда, а вожжей не было в руках у Шубникова, но и прекращать бег коней он не находил резона.

Развитие ротана удивило Шубникова с Бурлакиным. Развитие это вышло скорым и отчасти неожиданным для них. Пай они добыли у Каштанова, но зачем он им — они и сами не знали. Да и какие были основания думать, что пай им окажется полезен? Так, вошли в кураж и сломили Каштанова. Добытый-то, но не действенный пай можно было повесить на гвоздик в коридоре. Однако не повесили, а взглянули однажды в ванной на шуструю мелкую рыбешку и попробовали. И пошло. При этом о причинах своих удач как будто и не думали. И уж точно не судачили о них вслух. С ротаном Мардарием все шло словно бы само собой. По прихоти природы. Ротан подрос, приобрел лапы, выучился манерам, стал хоть куда. Но, может быть, сегодня его развитие был определен предел? Все, посчитала природа, хватит?.. Или вдруг кто-то осерчал?

Бурлакин, испорченный точными науками, мог подвести свои мысли к определенности, сформулировать их и без дипломатии и оглядок высказать в воздух, кому-нибудь. И этим все испортить. Шубников более верил интуиции и чувствам, не любил о тех или иных явлениях жизни говорить впрямую, словно бы боясь усложнить отношения с судьбой и неизвестными ему силами или же спугнуть что-то. Бурлакин понял Шубникова и никаких мыслей и определенностей никому не высказывал и только спросил:

— Так что же будем делать с Мардарием?

— Не знаю,— неуверенно и присмирив сказал Шубников.— Посмотрим.

В тот день Шубников не вспоминал более ни о насекомых, ни об альбатросе с воробьями, ни о раздутии самовара, вел себя, как школяр в углу. И потому два дня кряду он ходил подавленный и хмурый. После радения на службе приезжал к Шубникову Бурлакин, они заглядывали в ванную. Мардарий спал. Можно было облегчать себя мыслями о злонамеренном притворстве неблагоприятной рыбы, о происках останкинских и марьиноороцинских врагов, например аптекаря, но облегчения эти годились для склеротических старух. Шубников же с Бурлакиным были готовы к худшему. Все шло к тому, что не они сломили, облапошили, провели Каштанова, а некто более остроумный и с возможностями решил подшутить над ними. Видели Шубников с Бурлакиным, что спящий ротан усох, будто пребывал не в воде, а выпотрошенный валялся на балконе, и лапы его, похоже, вот-вот должны были превратиться в плавники. Шубников стал нервничать, его взволнованное состояние передалось и Бурлакину.

— Знаешь что,— сказал Шубников,— давай откажемся от всех желаний.

— Как же это?

— Я не говорю про желания организма. В их исполнении нет вы-

год, одно подчинение природе. Я говорю о желаниях и проявлениях воли. Отказаться надо от капризов и игры.

— Ты не сможешь,— сказал Бурлакин.

— Заставлю себя. Все во мне замрет.— Сразу же Шубникову стало жаль себя, он добавил:— На время...— И это собственное высказывание тотчас вызвало беспокойство или даже страх у Шубникова, он заерзал на стуле, стал оглядывать комнату, словно бы отыскивая слушателей.— А может, и не на время...— сказал Шубников, явно стараясь убогостить кого-то.— А может быть, и навсегда...

— Врешь,— сказал Бурлакин.— И надо вернуть пай, не мучать, не соблазнять, не искушать и не запугивать себя. Жили и жили. Что вышло, то и было наше.

— Нельзя. Не могу. Пусть будет при мне перо райской птицы, хотя самой ее и нет.

— Но ведь ты же боишься, как бы оно, перо это, не сожгло тебя. Или не упорхнуло невзначай. И этим тебя не унизло.

— Хватит! — сказал Шубников.— Кончили. О пае мы забыли. Но возвращать его мы не будем. Тем более что мы о нем забыли.

На том и сошлись. Но оба они знали, что долго эдак не выдержат. Уж Шубников непременно начнет хорохориться. Или впадет в уныние и примется рвать на груди рубаху либо пуловер. Нате, издевайтесь надо мной, увлекайтесь своими затеями, остроумиями, представлениями, только не держите меня в полудреме. В жизни и так все утопает во сне. Один сон, может, и есть... Однако, к удивлению Бурлакина, Шубников терпел и еще несколько дней, жил мирным гражданином. Он даже надумал устроить утренним разносчиком почты. Шубникова нередко принуждали к службам и работам, но долгими его государственные усердия не получались. Хотя порой (поначалу) Шубников и увлекался особенностями свежих для него должностей и профессий, брызги идей рассыпал в азарте, однако очень скоро он мог и заскучать. Теперь же его удручали и финансовые обстоятельства. Продажей собак он не занимался с апреля, а летнее солнце присушило дела с шапками. Хорошо хоть Бурлакин взял на сбережение часть его денег и теперь раз в неделю выдавал Шубникову на жизнь. Но тут же Шубников посчитал, что просыпаться на заре ему ни к чему, а потому надо идти ему не в разносчики почты, а пока сезон, в продавцы фруктов на воздухе. Порыву его обрадовались в магазине «Грибы — ягоды», и Шубников начал торговать карибскими грейпфрутами, казанлыкскими помидорами, сизой и тугой михневской капустой у Сретенских ворот, прямо возле чугунной ограды церкви Успения в Печатниках, ныне морского музея.

Но вскоре он посчитал, что прибьтки его нечестны. На пять рублей в день. Или на семь. Бурлакин пытался уверить его, что это чепуха. Пересортица. Или же ломка тары. Но Шубников не мог успокоиться: «Желаний у меня нет! Пять рублей поверху мне не нужны. Или семь. Я ничего не желаю!»

Крики его производили впечатление искренних. А Бурлакин вспоминал, как они волновались, следя за развитием ротана, тогда еще имевшего имени. То-то было радости! То-то было надежд! Возникали тогда в голове Шубникова и Бурлакина и частные желания, от рыбы удаленные, и они сбывались! Но это были именно крошечные, легкомысленные желания-просьбы вроде того, чтобы срочно починить «молнию» на штанах Бурлакина без похода в мастерскую и унижений там, такие просьбы вряд ли кого могли обременить или раздражить. Нынче же и на желания подобной степени был объявлен запрет. Однако прибьтки на Сретенке в пять или семь рублей странным образом оставались в руках Шубникова.

Шубников с Бурлакиным гадали, а не перестарались ли они с ротаном, не зарвались ли, не забрались ли в калашный ряд. Однажды

Шубников и Бурлакин решили поговорить с Каштановым, вызнать подробности пребывания Игоря Борисовича в роли пайщика кашинской бутылки. Каштанов подробности оставил в сыром, грустном склепе тайны, он будто бы все забыл. Хотя было очевидно, что он все помнил. Иные вопросы и напоминания заставляли Игоря Борисовича вздрагивать, а порой он оживлялся, глядел на Шубникова и Бурлакина с сожалением и иронией. Принимать пай обратно Игорь Борисович решительно отказался, нервно рассмеявшись.

Слова о возвращении пая произнес Бурлакин. Шубников потом отчитывал его, напоминал Бурлакину, на чье имя оформлен пай и чье дело, как поступать с паем. Бурлакин обиделся, сказал, что Шубников ему надоел и что ему хватит своих дел и забот. Два дня он не показывался в Останкине. Но потом объявился. За семь лет знакомства он привыл к Шубникову, многое в натуре приятеля притягивало его, и теперь он как бы пошел на мировую с ним. Тем более что Шубников дважды вставал на колени перед Бурлакиным, говорил, что он может сейчас только каяться, каяться, каяться...

Раскаяния Шубникова сопровождалась порой и слезами. С влажными глазами он вспоминал, как однажды, устроившись на лето массовиком-культурником с аккордеоном при турбазе в Карпатских горах, он по дури, из собственной гордыни и в назидание человечеству устроил сожжение при людях книг (приволок их в Карпаты чехмодан), ставших ему неудобными. Горели институтские учебники Шубникова, горели работы мастеров, ему когда-то нужных: тома Эйзенштейна, «Режиссерские уроки Станиславского» Горчакова, книги Пудовкина и Кулешова, «История кино» Садуля, отчего-то и «Перегной» Сейфуллиной. Тогда Шубников веселился и прыгал вблизи костра. Теперь же он был готов признать себя дураком, идиотом и осквернителем праха. Он порицал сейчас свои авантюры и денежные добычи на Птичьем рынке. Случай же с шапками из собачьих шкур он называл безобразными и подлыми. Обличал себя и каялся Шубников громко, и Бурлакин, растроганный страданиями приятеля, все же понимал, что Шубников как на слушателя рассчитывал не на одного него, но и еще на кого-то, более достойного. Но Бурлакин верил Шубникову и даже опасался, как бы Шубников в своих раскаяниях не отважился броситься в подвиги самоусовершенствования и не залез, грешным делом, на гранитный столб с намерением просидеть там сиднем и без пищи сорок лет, не принял бы черный обет молчания и безбрачия.

Но Шубников не залез на столб и не дал черных обетов.

Как-то вечером они мирно прогуливались с Бурлакиным бывшим Ярославским шоссе, а ныне проспектом Мира, возле Дома обуви. Бурлакин молчал, а Шубников иногда произносил одни и те же слова: «Нет, я думаю об этом, но этого я не желаю». Или: «И этого я не желаю». Страсти сминали душу Шубникова.

И вдруг Шубников сказал:

— А вот чурчхелу я бы сейчас съел. Можно и не из грецких орехов. Можно и из фундука. Но в виноградном соке.

Бурлакин поглядел на приятеля с удивлением. Откуда было взяться чурчхеле возле Дома обуви с гуталинами и шнурками? Но они свернули за угол дома и на асфальтовых тропях, ведущих к Ярославскому колхозному рынку, увидели двух смуглых женщин в цветных одеяниях, то ли цыганок, то ли дочерей Кавказа.

— Чурчхела! Чурчхела! Берите, красавцы! — зазывали они. — Подарок солнца и гор! И на пенсии будете жить сто лет!

Шубников бросился к хозяйкам чурчхелы, все свои сегодняшние деньги отдал им.

— Куда столько? — удивился Бурлакин.

— Раздадим детям! — шумно ответил Шубников. — И сами съедем! Что я говорил! Пришел и на нашу улицу... Мчимся домой!

На бегу он раздал детям почти все кавказские лакомства, в лифте

чуть ли не прыгал от нетерпения, дверь в квартиру готов был высадить плечом, ворвался в ванную. Ротан Мардарий сидел в ванне, широко растянув глаза, ковырял в зубах ржавым гвоздем.

— Ну! Видишь! — торжествуя, обратился Шубников к Бурлакину. — Вот тебе и верни пай! А мы еще опасались аптекаря!

Бурлакин пожал плечами: при чем тут Михаил-то Никифорович?

27

Ни о каких опасениях Шубникова Михаил Никифорович не догадывался.

«А ты вроде поправился», — говорили Михаилу Никифоровичу знакомые при встречах. Иные выражались грубее: «Ба! Да ты отъелся!» Михаил Никифорович в смущении оправдывался: «Сейчас в аптеке жизнь спокойная...» А ведь действительно отъелся.

Краткий, искаженный рассказ донесся до Михаила Никифоровича о представлении на Останкинском пруду. Плавала мелкая рыба, и ее дергали веревкой. Но мало ли какие фокусы с животными могли затеять Шубников и Бурлакин. Михаил Никифорович не удивился бы, если бы услышал, что Шубников с Бурлакиным в парке возле бильярдной устраивают на деньги битвы короедов или скачки бытовых муравьев.

Потом ему рассказали о губной гармонике. Теперь в Останкине все более склонялись к тому, что рыба играла (или даже напевала) сверхнебесное: «Земля в иллиминаторе, земля в иллиминаторе...» И это известие мало тронуло Михаила Никифоровича. Но однажды певунья Любовь Николаевна, хлопоча на кухне — были принесены в дом баклажаны, — тихонько, скромно так начала: «...и снится нам не рокот космодрома»; далее пошла «трава у дома» и прочее. Михаила Никифоровича будто что-то насторожило. Или разочаровало.

— Любовь Николаевна, — сказал он, — разве имеет отношение ваша песня к баклажанам? И эти дрова у дома или трава у дома?

— На первое, — сказала Любовь Николаевна, продолжая резать баклажаны, — будет сегодня наманганская шурпа с горохом.

— Это хорошо, — кивнул Михаил Никифорович. Но и отступать он не хотел. — Даже и не думал, что вам на душу может лечь такая расхожая песня. Уж если рыбу заставили выучить ее, то...

— Михаил Никифорович, — мягко сказала Любовь Николаевна, — я ведь уже не пою про иллиминаторы. Эта песня не моя. Но она сейчас из всех щелей лезет, вот и в меня вползла...

— Ладно, — начал все же отступать Михаил Никифорович, — пойте что хотите. Меня лишь удивило, что вот вы и рыба...

— Михаил Никифорович, — покачала головой Любовь Николаевна, — у нас сегодня не рыбный день.

Она и улыбнулась Михаилу Никифоровичу, но в улыбке ее словно была решительная просьба не касаться ими же самими отодвинутыми вдаль тем. Конечно же, она знала о рыбе Шубникова, как знала и о многом другом, Михаилу Никифоровичу неведомом, и это он должен был держать в голове, а Михаил Никифорович теперь позволял себе быть забывчивым.

И тут Михаил Никифорович отправился в прихожую, надел куртку.

— Куда же вы, Михаил Никифорович, ведь обед! — удивилась Любовь Николаевна. — И в аптеку вам к трем.

— У меня дела, — пробурчал Михаил Никифорович. — И я не голоден.

И, не дожидаясь уговоров, упреков или досад Любви Николаевны, он вышел из квартиры.

Часа полтора он мог провести в прогулках по Останкину или в разговорах с приятелями. Должен заметить, что запахи кухни возбу-

дили в Михаиле Никифоровиче чрезвычайный аппетит. Подумав, он забрел в пивной автомат на Королева. Михаилу Никифоровичу обрадовались, его давно не видели с кружкой в руке, такой он стал домосед. Охотно оделили его новостями, в особенности про ротана Мардария. Естественно, наиболее осведомленными оказались люди, в Мардариев день к пруду не погавшие. Их сведения были самыми живописными и достоверными. И выходило, что Шубников и Бурлакин с помощью насоса с ножной педалью для пляжных матрацев раздули ротана чуть ли не до размеров дирижабля, чью громадину искал во льдах летчик Чухновский. Все еще спорили о музыке. Говорили даже о переложении для губной гармонике Шюблеровского хора Баха. Свидетель же и слушатель финансист Моховский вдруг стал уверять, что в тот день воздух Останкина был облагорожен звуками арфы. И будто бы не из пруда они восходили к небу, а, напротив, из-под облаков ниспадали на останкинских жителей. Однако о благородном вспоминали меньше, чем о низменном. Зверь ненасытный виделся в дрессированной Шубниковым и Бурлакиным рыбе. Не в стоячем бы пруду ему следовало пролеживать бока, а служить при городской свалке на станции Бирюлево-Товарная. Обсуждалось и бегство Шубникова и Бурлакина с рыбой под мышкой. Настораживала тихая, будто иноческая жизнь воспитателей ротана в последние дни. («И дядя Валя стал совсем тих»,— говорили и показывали на стоявшего в автомате Валентина Федоровича Зотова.)

— О! — сказал явившийся к людям мрачный водитель Лапшин и ткнул в сторону Михаила Никифоровича пальцем.— Говорят, ты рыбами торгуешь?

— Дуб ты все же, Коля, хоть у тебя и генералиссимус на ветровом стекле,— сказал таксист Тарабанько.— Это не он, а Игорь Борисович Каштанов. Это он пай продал.

— Слушай, Михаил Никифорович,— спросил инженер по электричеству Лесков,— ночуешь ты на раскладушке в ванной?

— Я никогда не интересовался,— хмуро сказал Михаил Никифорович,— особенностями твоих ночлегов.

— Поинтересовался бы. Я бы ответил. На раскладушке так на раскладушке. В ванной так в ванной. А тут дело касается всего Останкина. И многие желают прояснений.

— Ну хорошо,— сказал Михаил Никифорович.— На раскладушке. В ванной.

— Да я бы на твоем месте!.. — вскипел Лапшин.— Да я бы эту!..

— Коля, это не ты,— поинтересовался инженер Лесков,— расширять туалет для своей жены?

— Ну и что! — возмутился Лапшин.— Моя-то стоит того!

— Вы бы какие другие темы затронули,— мирно сказал стоявший поблизости дядя Валя.

— Михаил Никифорович, ты — на раскладушке. А ротан играет на губной гармонике,— сказал Лесков.— Но надо ли нам это?

— Что вам надо, а что не надо,— сказал Михаил Никифорович,— в этом вы сами разбирайтесь. И разрешите откланяться..

Однако не сразу Михаила Никифоровича пропустили к выходу. Охотников побеседовать с ним нашлось множество. Снова вспоминали и рыбу и арфу в поднебесьях. Что же волноваться, говорил Михаил Никифорович, если звучала арфа. На арфах играют благородные женщины. И ухоженные. В перстнях и браслетах. На сожаления по поводу раскладушки Михаил Никифорович отвечал уклончиво, он и так ввел публику в заблуждение. Вовсе не каждый раз он ночевал на раскладушке в ванной. Нашлось место и в комнате, о чем еще сегодня утром Михаил Никифорович не жалел.

При этом порой на раскладушку и в ванную Михаил Никифорович, придумывая поводы, удалялся сам. Любовь Николаевна оказалась существом пылким, бурным, нередко и неутомимым. Нельзя сказать,

что Михаил Никифорович был слаб. Нет, Михаил Никифорович был крепок и удал, но приходили мгновения, когда он тайно и мечтательно думал именно о раскладушке в ванной... Но какое кому дело было в Останкине до условий его ночлега? Что они к нему пристали?

Посещение пивного автомата не улучшило настроения Михаила Никифоровича. Последние недели он жил покойно, в тепле и уюте. Причем разборами и исследованиями своих отношений с Любовью Николаевной не занимался. Мало ли какие мысли и открытия могли возникнуть после тех разговоров и исследований. Были ли они нужны сейчас Михаилу Никифоровичу? Пожалуй, что и не были. Редко когда так приятно и бездумно (и оттого еще более приятно) он проживал на земле. При этом выходило, что он был спокоен за Любовь Николаевну. Вернее, спокоен за степень и ровность ее отношения к нему. Конечно, Михаил Никифорович не считал, что он и его квартира для Любви Николаевны — все. Однако он как бы позволял себе забывать о том, что для нее, кроме него, может существовать и еще нечто. То обстоятельство, что, как выяснилось, Любовь Николаевна не была девушкой, нельзя сказать чтобы сильно покорило или потрясло Михаила Никифоровича, хотя при всем том, что Михаил Никифорович на этот счет не имел ложных мнений и был полный либерал, оно, обстоятельство, поначалу все же удивило и расстроило его. «Но мало ли что! — подумал Михаил Никифорович в часы, какие были мудренее. — Ну и пусть! Ее дело.. И мало ли что у нее могло быть раньше...» Эти «раньше» и «при нем» все поставили на места в существовании Любви Николаевны. «При нем» Любовь Николаевна словно бы не могла позволить себе ничего противного ему, Михаилу Никифоровичу, не могла и затевать или предпринимать неизвестное ему. С этим Михаил Никифорович и жил.

«Но кто же я при ней?» — думал Михаил Никифорович теперь, когда из-за песни Мардария взял и сбежал из дома. Ответы по дороге в аптеку приходили ему на ум малоприятные. Иные и грубые. «Нет! Все! В шею! — думал Михаил Никифорович. — Съедет она с квартиры сегодня же! — Ему даже привиделась табличка на его двери: «Квартира от постоев свободна». — Все! В шею! — повторял Михаил Никифорович. — Если она... Если так... Если...» Впрочем, чувства Михаила Никифоровича никак не могли пробиться сквозь эти «если» и обрести далее словами. Что — если? Что он должен был высказать Любви Николаевне, прежде чем произнести: «Все! И чтобы ноги вашей здесь не было!»? Возмутиться по поводу ротана Мардария и интриг с гипотетическим паем Каштанова? Или обвинить Любовь Николаевну в том, что у нее, оказывается, есть дела, встречи, отношения, наконец, неизвестная ему жизнь на стороне? Так, что ли? Но в чем тут вина Любви Николаевны? Какие такие соглашения с ним она переступила, какие нарушила клятвы?

Клятва они не давали друг другу. И не заключали соглашений.

А каков он сам-то во всей этой истории? Какие есть у него основания для возмущений и обид? Или Михаил Никифорович полагал, что Любовь Николаевна должна ощущать себя сиротой, спасенной и обогретой им из милосердия? Выходило, что нечто подобное, пусть и не названное — для удобства жизни — словами, Михаил Никифорович позволял себе допускать в отношениях с квартиранткой. И он обязан был признаться теперь самому себе, что удобство жизни последней поры ему нравилось и порушить это удобство ему не хотелось бы...

Как бы ему ни было удобно и хорошо, решил все же Михаил Никифорович, а надо это прекратить.

Но что следовало сказать Любви Николаевне? Вдруг она обидится? Вдруг заплачет? И куда ей деваться на ночь глядя?

Воспоминание о баклажанах и наманганской шурпе, видимо пока не исчезнувших из его кухни, также могло облегчить участь Любви

Николаевны. «Ну уж нет! — воинственно сказал себе Михаил Никифорович. — Перетерпим!» На всякий случай, окончив дела в аптеке, он зашел в кафе «Сардинка», съел рыбу терпуг с картофельным пюре. Даже кости перемолол зубами.

В троллейбусе Михаил Никифорович был уже сердит и свиреп. Попалась бы ему сейчас Любовь Николаевна!

Но не было Любви Николаевны в квартире. Надо заметить, что при подходе Михаила Никифоровича к дому свирепость его начала ослабевать. То, что он затевал, стало казаться ему неумным, а то и противным. Ведь действительно, куда деваться женщине московской ночью? У нее теперь и вещей-то набралось бы на четыре чемодана. Михаил Никифорович принялся жалеть Любовь Николаевну и бранить себя. Конечно, главным виновником был он.

Но отсутствие Любви Николаевны вызвало новый поворот чувств Михаила Никифоровича: «Что это она себе позволяет! Вот ведь негодная!» (Последние недели Любовь Николаевна все вечера проводила дома.) А потом беспокойство возникло: «Не случилось ли что с ней? Или она все поняла и ушла сама? А сейчас сидит на каком-нибудь вокзале в зале ожидания и тихо плачет?» Коли б знал Михаил Никифорович, на каком вокзале следует искать Любовь Николаевну, он бы сразу отправился на тот вокзал.

Долго пребывая Михаил Никифорович в волнении. Курил нервно. Прислушивался к звукам на лестничной площадке. Движения лифта порой обнадеживали его. «Хорош гусь! — ругал себя Михаил Никифорович. — Довел женщину!» В багровых видениях представлялась ему несчастная Любовь Николаевна.

Но вот ключ неверно заскребся в дверном замке. Михаил Никифорович пошел к двери, открыл ее.

Любовь Николаевна стояла на пороге возбужденная, похоже, возвращалась с приема из ресторана «Континенталь».

— Да, Михаил Никифорович, — сказала Любовь Николаевна с вызовом. — Загуляла я. А что?

— Ваше дело, — хмуро сказал Михаил Никифорович.

— Мое! — подтвердила Любовь Николаевна, сбрасывая возле вешалки туфлю с загулявшей ноги. — А что вы смотрите на меня как на падшую женщину?

— Я не знаю, кто такие падшие женщины.

— Тогда глядите на меня! И считайте, что я и есть падшая женщина! Будь я на вашем месте, я бы испортила мне физиономию! И выгнала бы из квартиры! Но вы этого не сделаете по причине доброты и деликатности.

— Пожалуй, вы мне надоели.

— Ах-ах-ах! Но вы говорите неправду. Вовсе и не надоела. И не надо было вам сегодня дуться на меня из-за какой-то рыбы. И сердить меня... Ах, какие есть в Москве квартиры, с какими интерьерами, с какой мебелью и посудой, с какими кинжалами и кортиками на коврах, с какой техникой, с какими системами, чтобы послушать и посмотреть, с какими кассетами... некоторыми очень и очень поучительными... Впрочем, вам это не понять...

— Надеюсь, в тех квартирах вы и станете проживать теперь...

— Была бы у вас какая-нибудь плохонькая радиолка, — сказала Любовь Николаевна, — раз уж не завели «Шарп» и не можете слушать «Банановые острова» и Майкла Джексона, я бы хоть на радиолу могла поставить диск для ритмической гимнастики. Но у вас и радиолы нет...

Любовь Николаевна предприняла попытку показать себя Михаилу Никифоровичу ритмической гимнастикой, но снова вызвала мысли о том, что ее угощали хорошим и крепким вином, «Мадам Тамара Семеновна себе такого никогда не позволяла», — отчего-то пришло в голову Михаилу Никифоровичу. Впрочем, хотя Любовь Николаевна и

покачнулась и чуть по стене не поехала, все равно движения ее вышли красивыми и артистичными, такие движения вряд ли бы стали свойственны Мадам Тамаре Семеновне, даже если бы ее воспитывали в Перми в хореографическом интернате. В руках Любови Николаевны возникла шляпа со страусовыми перьями. Тут же она украсила ее голову. Теперь, покачивая бедрами, Любовь Николаевна стояла перед Михаилом Никифоровичем подзагулявшей Периколой или даже дамой королевских кровей. Пусть и босая. Но тотчас шляпа была заброшена на антресоль. Выражение лица Любови Николаевны менялось, и вот она была уже не Перикола и не королевских кровей, а то — стыдливая девушка, вознесенная мастером из Флоренции на чуть розовую раковину-ладью, то — растерянная от ярости будто бы доверчивого мавра Дездемона, то — горькая костромская бесприданница, оскорбленная Паратовым... Впрочем, перед Михаилом Никифоровичем стояла именно Любовь Николаевна.

— Ну что же вы?! Браните меня, Михаил Никифорович! Срамите меня! Учите уму-разуму! Напоминайте о правилах приличия. Только не устраивайте мне семейных сцен... впрочем, я бы и походила с фонарем под глазом.

— Еще, видно, и ходите. Но не здесь.

— Ну тогда мораль прочитайте. О вреде распутства.

— Все эти вещи... — сказал Михаил Никифорович, — в последние недели... кухонные успехи... и прочее... Для чего это было вам нужно?

— Отчего же вы не называете точными словами это «прочее»?

— Оттого что был дурак и сам во всем виноват.

— Ну уж! Ну! Не ругайте себя. Хотя ругайте. Впрочем, вам ведь не было тошно? Не было! То-то и оно! Вы еще потом станете вспоминать и жалеть... Н-да! И не надо было вам строить иллюзии по поводу того, что вы у меня должны быть исключительно один. Но вы и не строили... Вы и бутылку-то покупали на троих... А во мне — сила необузданная, я не знаю, что и сколько мне отпущено, я нетерпеливая, я спешу испытать многое. И уж извините!

При этом Любовь Николаевна отвесила Михаилу Никифоровичу полупоклон и шляпой со страусовыми перьями, слетевшей к ней с антресоли, чуть ли не подняла пыль с пола.

— Да! И извините!

— Пожалуйста. Но не считайте меня кавалером де Грие.

— Это кто таков?

— Вы же ходили в библиотеки.

— И еще схожу. И узнаю, кто таков. Но при чем тут кавалер и вы? Какой вы можете быть кавалер? Кстати, я ведь познакомилась с вашей бывшей женой Тamarой Семеновной...

— Не в квартирах ли с кинжалами на коврах?

— Не суть важно. И не суть важно, как я представилась.

— Удивили ее чем-нибудь? Или обрадовали?

— Возможно, что и расстроила...

— Радости-то людям вы, похоже, приносить и не способны.

— Вам ли это говорить, Михаил Никифорович? Вы просто в раздражении на меня и на себя. Да и что вы можете сказать, если вы, и не только вы, так и не поняли, зачем я вам всем нужна.

— Мы поняли.

— Ошибаетесь.

— Надо полагать, что вы приметесь испытывать нечто новое в компании с Шубниковым и Бурлакиным?

— Скоро разберемся... И пока надеюсь, что с ними будет не так скучно, как с вами! Да! Вот и знайте об этом! — обрадованно заявила Любовь Николаевна, показала Михаилу Никифоровичу язык и запела: «Пора! Пора девицам в номера!»

И прелестные босые ноги Любови Николаевны напомнили Михаилу Никифоровичу о весельях эпохи Оффенбаха.

— Вы в своих увлечениях,— поинтересовался Михаил Никифорович,— только и дошли до канкана? И до нумеров? В Париже, что ли?

— Какого канкана? Какого Парижа? — удивилась Любовь Николаевна.— Наши края тверские!

— Не очень верится.— сказал Михаил Никифорович.

— Будет случай, убедитесь,— пообещала Любовь Николаевна.— А пока катитесь на свою раскладушку! Или хотите, я вам всю посуду переблюю?!

— Неприятно было бы применять к вам силу... Но все же! — И Михаил Никифорович сделал решительное движение в сторону Любови Николаевны.

— Не подходите ко мне! И руки уберите! — воскликнула Любовь Николаевна.— И не думайте выталкивать меня в шею! Не имеете права! Я здесь прописана!

— Это вы лейтенанту Куликову, участковому, расскажите, уже было, племянница, мол, и всякое такое...

— Я вам не племянница. Я вам жена.

— То есть? — замер Михаил Никифорович.

— Жена. И успокойтесь,— устало сказала Любовь Николаевна.

— Какая жена?

— Обыкновенная. Любимая,— сообщила Любовь Николаевна.— Могли бы и привякнуть. Все бумаги я храню в порядке. Вот.

Любовь Николаевна как была в шляпе с перьями, так и отправилась в комнату, а вернулась оттуда в коридор с синей кожаной папкой. На папке было вытиснено: «VII Всемирный конгресс орнитологов». «Вот смотрите»,— сказала Любовь Николаевна. Михаилу Никифоровичу был предъявлен паспорт Любови Николаевны и свидетельство о браке, из которого следовало, что документ этот, возникший в отделе загса Дзержинского района г. Москвы (имелись и печати, и кудрявая подпись заведующей бюро записей гражданского состояния С. Бодуновой), отправил в житейское плавание по семейным волнам Михаила Никифоровича и Любовь Николаевну Стрельцову. И паспортом Любовь Николаевна объявлялась именно Стрельцовой, а не Кашинцевой, на девятой же странице поминался и сам Михаил Никифорович, с кем у владелицы паспорта был зарегистрирован брак. Что уж говорить о месте жительства Любови Николаевны! Улица академика Королева, прописка постоянная. «Вы листайте, листайте,— поощряла опешившего Михаила Никифоровича Любовь Николаевна.— Все посмотрите. Чтобы потом не удивляться». Однако не удивление было теперь главным в чувствах Михаила Никифоровича, не удивился он даже и увидев на одной из страничек паспорта Любови Николаевны штамп: «Военнообязанная». «И не вздумайте порвать документы! — предупредила Любовь Николаевна.— Они восстанавливаются».

Из синей же папки явился и паспорт Михаила Никифоровича. Был он в неожиданной для владельца кожаной обложке со словом «расе», видно, что таллинской или рижской выделки («У вас теперь и бумажник такой же есть»,— сообщила между прочим Любовь Николаевна). Вот в паспорте Михаила Никифоровича присутствовала Кашинцева, с ней он вступил в брак. «Смотрите, Михаил Никифорович, изучайте свое семейное положение и гражданское состояние». «А дети от вас у меня не вписаны?» — поинтересовался Михаил Никифорович. Нет, детей в его паспорте не было.

— Я так и думал, что вы...— сказал Михаил Никифорович.

— Всегда ли вы так думали, Михаил Никифорович? — спросила Любовь Николаевна.— Нет, не всегда.

Глаза ее были лукавыми.

— Вы надо мной не насмехайтесь! — взъерился Михаил Никифорович.— Вы...

— Вы себя-то оцените,— сказала Любовь Николаевна.— На себя-

то, Михаил Никифорович, взгляните со стороны. Вы-то как и кем живете? Ваша первая жена, Тамара Семеновна, мне говорила...

— На себя и со стороны — это потом, — сказал Михаил Никифорович. — Это завтра... А сейчас — вот что!

И он стал рвать предложенные ему для знакомства документы. Даже свжаную обложку паспорта, таллинскую или рижскую, разорвал в свирепости Михаил Никифорович, будто был Никита Кожемяка, одолевший на днепровском берегу змея-людоежора. «Рвите! Рвите! — радовалась Любовь Николаевна. — Рвите! Мои-то восстановятся, а ваше удостоверение личности гражданина — нет, вы будете ходить в отделение милиции, заплатите десять рублей штрафа, вам придется фотографироваться, а получите новый паспорт — и там опять будет вписана негодная, ненавистная, стервозная Любовь Николаевна Кашинцева!»

— Это посмотрим! — грозно сказал Михаил Никифорович. — А теперь вот что!

При этих словах Михаил Никифорович схватил Любовь Николаевну за шиворот и поволок к двери. На флотах доводилось ему передвигать и не такие тяжести. Любовь Николаевна не противилась и не оборонялась, будто забыла о своих силах, а может, ей были приятны усилия Михаила Никифоровича.

— А теперь вот что! — повторил Михаил Никифорович, левой рукой отжал защелку замка, правой же вышвырнул Любовь Николаевну на лестничную площадку из квартиры вон, поддав при этом коленом драгоценный зад самозваной супруги. Увидев туфли, бросил их вдогонку хозяйке, дверь захлопнул, опустил с грохотом крепостные ворота. Тут же вспомнил, что где-то уже швыряли туфли вслед выдворенной женщине. Где, кто, отчего он вспомнил об этом, Михаил Никифорович не знал.

— За вещами не вздумайте являться сами! — громко сказал Михаил Никифорович. — Унесите их ветром.

Любовь Николаевна ему не ответила.

Михаил Никифорович подумал, что, может быть, сейчас она и уносит ветром из его квартиры московские приобретения. Он и любые свои вещи, какими она привыкла пользоваться, телевизор, в частности, был готов отдать Любви Николаевне. Михаил Никифорович прошел в комнату с телевизором. Нет, все в комнате было на месте. «Гордая все же», — подумал Михаил Никифорович. Но он не был намерен смягчать отношение к Любви Николаевне. Вот ведь, вспомнил он, они еще, наверное, и с Мадам Тамарой Семеновной спелись, с первой, видите ли, женой!

А в дверь стали грубо колотить. Похоже, кулаками и ногами. (Ключи Любви Николаевны висели на гвозде в прихожей.)

— Откройте! Откройте сейчас же! — кричала Любовь Николаевна. — Что вы себе позволяете! Откройте! Я сейчас весь дом на ноги подыму! Всю общественность! Жену в дом не пускают!

— Вы сначала дом найдите, — сказал Михаил Никифорович, — в котором вы жена.

Впрочем, негромко сказал он, вышло, что скорее для себя сказал, нежели для Любви Николаевны. Старания ее вернуться к нему несколько удивили его. Совсем, видимо, нет у нее в Москве пристанища, подумал Михаил Никифорович. И жилье-то у него по нынешним интересам было скромное, если не убогое, отчего оно стало так мило Любви Николаевне? И удивляло Михаила Никифоровича то, что Любовь Николаевна колотит кулаками и ногами в дверь. Что для нее были ключи и замки! Если ей так не терпелось вернуться, она и стены могла рассечь или хотя бы пронестись сквозь них. Что же ей звать к общественности? Но, может быть, она должна была соблюдать установленные правила, оттого и барабанила в дверь и кричала... Или она просто дурачилась?

— Я милицию вызову! — кричала Любовь Николаевна. — Я им сияк под глазом предъявлю и следы побоев на теле! Вас укутут надолго! Это же надо, люди добрые! В ночь, в мороз выгнать женщину, жену из дома, босую, на улицу, на панель!

— В какой еще мороз? — сам того не желая, сказал Михаил Никифорович. — Ну и скандальная вы женщина!

«Да и если бы женщина, а то ведь... Прав, наверно, был Филимон, когда говорил, что она...» — подумал Михаил Никифорович.

— Чепуху говорил ваш Филимон! — яростно воскликнула за дверью Любовь Николаевна. — И клыков у меня нет! И хвоста нет — в этом-то вы могли убедиться! Открывайте сейчас же!

— Никогда, — сказал Михаил Никифорович.

Он пошел в комнату, сел на диван. Но комната принадлежала Любови Николаевне, это он ощутил сразу. И запахи в комнате были ее. Запахи влажного деревенского утра, парного молока, весенней ольхи, желтых кувшинок в чистых струях лесной речки. «А ведь мне без нее будет тошно», — подумал вдруг Михаил Никифорович.

— Михаил Никифорович! — услышал он голос Любови Николаевны. — Не злитесь женщину! Отворяйте двери! Не вводите ЖЭК в расходы!

Любовь Николаевна будто в комнате находилась, никакие бетоны, никакие стены и переборки, никакие кирпичи не искажали, не утишали ее доверительных просьб.

— Мое решение окончательное, — сказал Михаил Никифорович.

— Ну ладно! — пригрозила Любовь Николаевна. — Ну смотрите!

И дом сразу же вздрогнул. Немецкая люстра с пятью рожками принялась раскачиваться, диван, на котором сидел Михаил Никифорович, поехал к окну, а внутри Михаила Никифоровича начались перемещения. Впрочем, безобразия скоро прекратились.

Михаил Никифорович вышел в прихожую, приоткрыл дверь. Любовь Николаевна пропала. Михаил Никифорович прошел на лестничную площадку. Черная дерматиновая обивка двери была измята, пробита нежными пальцами Любови Николаевны, кое-где висела и ключьями. Искажена была металлическая сетка шахты лифта. Погнутыми оказались и многие планки лестничных перил. «Озверела, что ли, она?» — подумал Михаил Никифорович. Очумевшие жильцы кто в чем, видно, что из постелей, выскакивали из квартир, некоторые с малыми детьми, спешили вниз, на улицу, на твердь земли и асфальта, гадали, звонить ли сейсмологам, не повторится ли толчок. И Михаил Никифорович не мог бы сказать, повторится толчок или нет.

Но на улицу он не пошел, а вернулся в квартиру. В комнате сидела Любовь Николаевна. Форточка балконного окна была открыта, ею, возможно, и воспользовалась Любовь Николаевна.

— На помеле добирались? — спросил Михаил Никифорович. — Или ползком по стене?

— Не утруждайте себя догадками, — сказала Любовь Николаевна. — И не пробуйте снова хватать меня за шиворот. Я все равно вернусь, хотя бы и по водосточной трубе. Я женщина не только падшая, но и бесстыжая. Вы к этому привыкайте.

— Об этом попросите кого-нибудь другого.

— Это уж как пожелаю. А вы меня не сердите... Впрочем, я отходчивая... Но вы же сами... Я и загулявшая, и спать хочу, а вы меня из дома выгнали. Вот видите, зеваю уже...

— И спите себе. Я вам больше мешать не буду.

— Отчего же, могли бы и помешать... — теперь уже чуть ли не ласково, но и зевая, произнесла Любовь Николаевна.

— Я вам вообще докучать больше не буду, — сказал Михаил Никифорович.

И он покинул квартиру дома номер семь по улице Королева с намерением никогда туда не возвращаться.

Ротан Мардарий проснулся, сел, поковырял в зубах ржавым гвоздем, однако далее заметных успехов в его развитии не случилось. Дня три он был живой, голодный, ловкий в упражнениях с трясогузкой, а потом снова захирел, стал усыхать.

Шубников с Бурлакиным приуныли.

Желания Шубников позволял теперь себе самые крохотные, будто выпрашивал две копейки на телефонные разговоры с судьбой, обещающая к тому же в скором времени долг вернуть. Но и эти его двухкопеечные желания, выходило, не всегда поощрялись.

Случай же с чурчелой виделся сейчас сверкающей тяньшанской вершиной в жизни Шубникова и Бурлакина.

— Ты бы поговорил с этой... с рабыней... — сказал однажды Бурлакин. — А то ведь несерьезно получается. У нас какой-то тлеющий пай.

— Я говорил! — взвился Шубников. — Я говорил! Но не будем об этом...

Бурлакин дал понять Шубникову, что тот не хорош, если имеет тайные, отдельные от него разговоры или даже отношения с Любовью Николаевной. Шубников как будто бы смутился, но сейчас же восстал духом и принялся уверять Бурлакина, что если он о чем-то и просил в отдельном разговоре Любовь Николаевну, то лишь о том, чтобы она помогла ему прекратить обвешивать и обсчитывать покупателей овощей и фруктов на семь рублей в день. Такое он высказал ей сокровенное желание.

Однажды явившись к Шубникову, Бурлакин увидел приятеля за кухонным столом с листами бумаги, глиняной чернильницей для фиолетовых чернил и древесной ручкой со стальным пером. Такие чернила и ручки увидишь теперь только в сберегательных кассах и на почте. Оттуда, наверное, они и прибыли на кухню Шубникова. На листе бумаги было написано: «Любови Николаевне Х.», — а внизу более рослыми и сытными буквами: «Записка о повреждении нравов в Останкине». Было сочинено Шубниковым и начало первой фразы: «Взирая на нынешнее состояние Останкина моего, а также Сретенки...» «Не считаешь ли, — поинтересовался Бурлакин, — что ты из потомков князя Щербатова, а стало быть, и из Рюриковичей?» «Нет, — скривился Шубников. — Щербатов был консерватором, глядел назад, я же верю во всемирное просвещение. Пока верю». А к жанру записок Шубников обратился вот отчего. Цель его разговора с Любовью Николаевной не была достигнута. Вопреки своим желаниям Шубников по-прежнему обвешивал и обсчитывал покупателей, к тому же стал и грубить им. А что, если Любовь Николаевна находится в заблуждениях? Вдруг и при ее способностях как будто бы все знать или обо всем узнавать она ничего толком и не знала? И Шубников посчитал необходимым сесть за записки, которыми он вразумил бы Любовь Николаевну, открыл бы ей глаза на то, что в Останкине есть истинные пороки и истинные добродетели. И тогда, может, она бы прозрела, растрогалась и оценила натуру Шубникова, поняла бы, какие злые ветры и снега заметали дорогу Шубникова ко всеобщей пользе, и поощрила бы наконец скромные, но благородные и подвижнические его желания. «Лукавишь ты!» — сказал Бурлакин. «Я не лукавлю! — обиделся Шубников. — И она это почувствует!» Тут и Бурлакин засомневался: а вдруг и не лукавит?

Записки давались Шубникову нелегко. Будто курсовая работа в институте, отказавшем ему в дипломе. Впрочем, курсовые работы Шубников в конце концов списывал. Сейчас списывать ему было неоткуда, но иногда его перо выводило отчего-то облаченные в камзолы и парики слова, совершенно не свойственные устной речи автора: «Умножились в Останкине искания способов без разбору, дабы оными ублажить сластолюбие... Несть в Останкине дружбы, ибо каждый

жертвует другом для пользы своей...» Последнее утверждение покорило Бурлакина, он сказал Шубникову: «Вот ты, значит, каков. Но ведь это тебе явилось небось именно из Щербатова... Однако учти. Ты называешь Щербатова консерватором, а он был прежде всего умен и честен. А ты...» «Прозрение — вот что необходимо! — воскликнул Шубников. — Или озарение! А там уж возникнут и идея, и истина, и воля!»

Надо заметить, что составление записок увлекло Шубникова. Как будто бы и вправду не было в них ни корысти и ни лукавства и даже не имелась в виду никакая Любовь Николаевна. Обличителем зла почувствовал себя Шубников. Он был готов выявить и истребить в Останкине и на Сретенке все пороки. И прежде всего свои. А потому еще раз напомнил на бумаге о шапках из собак и обсчитанных, обруганных им покупателей. Теперь Шубников с удовольствием полагал себя искусным в познании сердец человеческих. Впрочем, полагать-то он полагал, но искусность свою часто не мог выразить. Необходимые слова летали далеко от кухонного стола Шубникова, и Шубников принимался ожидать прозрений. Или озарений.

Пожелал он описать какого-нибудь одного останкинского жителя (не себя, ради истины — не себя!) и так этого жителя исследовать, так его препарировать, так его распотрошить, так ему все косточки, все фибры, все подсознания обнажить, чтобы и караумскому варану стало ясно, до чего дошло в Останкине повреждение нравов. Сразу же захотелось Шубникову распотрошить именно Михаила Никифоровича Стрельцова, этого аптекаря, этого останкинского цирюльника. Но Шубников охладил себя, вспомнив, кому он адресует записки, и сообразив, что в случае с Михаилом Никифоровичем могут возникнуть и сложности.

«Постой, — сказал ему вдруг Бурлакин. — А почему ты увлекся повреждением нравов? Тебе ведь придется сравнивать. Если теперь нравы повреждены или повреждаются, стало быть, когда-то они были неповрежденными. Когда? Какой у тебя уровень отсчета?» «Чепуха! — махнул рукой Шубников. — Когда! Какой! Да хоть бы когда не было в Останкине лимитчиков!» «Это несерьезно, — сказал Бурлакин. — Лимитчики — это частности». Задумавшись, Шубников был вынужден признать правоту Бурлакина и, хотя свыкся со словом «повреждение», заменил его «состоянием», мало ли куда, на самом деле, можно было заехать с «повреждением». Но «состояние» ему не нравилось, впрочем, он успокоил себя, решив, что рано или поздно верное слово объявится.

Никак не выходило у Шубникова описание и исследование местного индивидуума. Михаила Никифоровича он точно описал и развенчал бы в наизидание человечеству. И, пожалуй, еще Бурлакина. Но Бурлакина ему стало жаль. А вот другие останкинские жители усилиям мысли Шубникова не поддавались. Он то и дело вспоминал какие-либо отдельные случаи и поступки, но они рассыпались. И все же Шубников повелел себе описывать и их, постановив, что пока он создает лишь черновик записок. А потом добудет машинку, перепечатает сочинение набело и придаст ему умный вид.

Решил Шубников, что в его записках будут разделы. Или параграфы. Или статьи. Скажем, раздел Распутства и Разврата. Раздел Мздоимства. Раздел Торжества Плоти. Раздел Пренебрежения к Печатным Органам.

При мыслях о разделе, или параграфе, или статье, «Распутство и Разврат» привиделся Шубникову закройщик из ателье на проспекте Мира Цурюков. Цурюков был высокий и наглый блондин нордического характера, по мнению Шубникова, все останкинские и ростокинские красавицы падали и раздевались поблизости от него. Шубников завидовал Цурюкову. Он знал и факты. Воображение Шубникова сейчас же воспроизводило их в красках и в движениях. Вот Цурюков открыл дверь медсестре из районной поликлиники, что на Цандера,

Анечке Бороздиной. Он был в махровом халате на голое тело, и от него пахло коньяком «Мартель». Впрочем, Цурюков не пил. Вот он Анечку, переступившую порог, обнял... «Сволочь какая!» — подумал Шубников. Он был готов размазать негодя Цурюкова на бумаге. «Да и портной-то он паршивый! — думал Шубников. — Эвон как брюки мне испортил!» Муки обличителя нравов кончились тем, что рука его сама по себе вывела на бумаге фразу: «Цурюков учинил из Останкина и Сретенки очаг распутства, не было здесь почти ни одной дамы и девушки, которые не подвергнуты были его исканиям, и козь много было довольно слабых, чтобы на оные искания преклоняться, и сие терпимо было Останкином...» Сочиненную фразу Шубников перечитал с удивлением. Он ли писал? Во-первых, в нее проникли преувеличения. Конечно, Цурюков был повеса, пострел и ходок, но не настолько же, чтобы перебрать всех дам и девушек Останкина (к тому же при чем тут была Сретенка, как будто бы между Сретенкой и Останкином не протекал проспект Мира?). Во-вторых, слова вышли чересчур деликатные, а требовалось, чтобы изображение Цурюкова и разврата было не слабее биографии Распутина Григория Ефимовича. «Да и Анечка-то эта хороша!» — вспомнилось отчего-то Шубникову. Вспомнилось и то, как пела Анечка на квартире под гитару с бантом, адресуясь к родительнице, проживающей в Ворошиловграде: «Мама, мама, я пропала, я даю кому попало». И сразу же Шубников вывел на бумаге: «К коликому разврату нравов женских и всей стыдливости пример множества имения А. Г. Бороздиной любовников, один другому часто наследующих, а равно почетных и корыстями снабженных, подал другим женщинам...» Шубников аж вспотел, выводя эти слова, перечитал их и опять удивился. Да он ли и это писал? Снова вышла какая-то чепуха. Действительно, любовники Анечки Бороздиной один другого наследовали, порой и перемежались, но какими они снабжались почетами и корыстями? Только если липовыми больничными справками. И никакого примера другим Анечка не подавала, потому как сама следовала чужим примерам... Но записанное Шубников мартать и зачеркивать не стал. Может, именно такие слова и оказались бы понятнее Любви Николаевне.

Но он сознавал, что для основательного сочинения или даже документа одного нордического блондина Цурюкова и одной девушки с гитарой Анечки Бороздиной мало. Тут были нужны исторические наблюдения. И потом. Он коснулся пока лишь разврата, или, вернее, того, что он предполагал представить развратом. Но ведь не одним же развратом могло быть сильно в Останкине состояние нравов.

И Шубников незамедлительно перешел к иным разделам. Появление на бумаге прежде чужих для него слов и выражений более не удивляло и не пугало Шубникова. Даже радовало. Поначалу он предполагал, что в недрах его природы существуют какие-то неведомые ему словарные запасы, а может, и клады и тайны, доставшиеся ему от предков. Не было в этих словах нужды, они и лежали себе, а теперь потребовалось — повывезли. Потом Шубников посчитал: а вдруг Любовь Николаевна способствует ему? Чувствует, как он мучается, стараясь для нее же, в надежде открыть ей истину, как ищет достойные слова, чтобы выгладеть не безответственным горлопаном, а добросовестным и ученым мужем, а потому она и подсказывает из сострадания ему умные тексты. Мысль об этом обнадежила Шубникова. Обличая в записках себялюбие, он отважился проверить догадку и был вознагражден. Опять возникли на бумаге чужие, но замечательные слова. «Откуда это у тебя?» — удивился Бурлакин.

Составление записок потребовало неделю стараний Шубникова. В ванную к Мардарию он не заходил, не имел времени. Он даже и не спрашивал о рыбе Бурлакина, посещавшего ротана. Мардарий не доставлял хлопот и Бурлакину, еды почти не просил, уывдал.

Бурлакин призывал Шубникова не разбрасываться, не перескаки-

вать со случая на случай, а употребить метод или систему. Метод или система действительно стали появляться в сочинении Шубникова. Хотя и теперь ярче прочего отражались в нем чувства автора. Оттого-то и шли, скажем, едкие разоблачения бравых поваров из пашлычной Останкинского парка, мало Шубникову известных, но однажды накормивших его гнусными купатами, в простонародье называемыми колбасками. Досталось (тут бы и Михаил Никифорович порадовался) и дамам из парикмахерской на Цандера, услугами которых Шубников не воспользовался как-то из-за очереди. Дамы из парикмахерской, в их числе и Юнона Кирпичеева, пролившая воды на аптеку Михаила Никифоровича, были обвинены Шубниковым в лени и корыстолюбии, корыстолюбие же их происходило оттого, что дамы эти имели в виду лишь собственные пользы, а потому, даже и взирая на недостаток народный, увеличивали тщаниями своими доходы с каждой побритой головы и шеи. Особенно с помощью одеколонов «Шипр» и «Полет». Но это все были частности.

Система же и метод подводили Шубникова и его советчика и оппонента к выводам значительным. При этом Шубников вовсе не желал представиться Любове Николаевне ругателем, злым и саркастическим старцем, он просто, как совестливый и благонамеренный человек, грустил и желал исправлений. Он готов был предоставить Любове Николаевне планы переустройств, если б она посчитала его достойным применения ее благ. Он не собирался закрывать глаза и на светлые стороны останкинской жизни, о чем сообщал в преамбуле. Да и что же закрывать-то? Что было, то было. Расписание ходѣбы троллейбусов, скажем, соблюдалось. И жена детского писателя Мысловатого готовила хорошие пельмени (правда, Шубников в дом Мысловатого не был вхож, но рассказывали). И башня не гнулась под ветрами, хотя и раскачивалась. Однако и еще лучше могло жить Останкино, о чем Любовь Николаевна непременно и сейчас же должна была знать. «Ведь могло бы лучше-то? А?» — сокрушался и ждал подтверждения Шубников. «Могло бы и лучше!» — подумав, говорил Бурлакин.

Тогда Шубников снова срывался в сатиры. И следовали разделы о Злых Женах. Об Увлечениях Азартными Играмми. Здесь вспоминались не только преферанс, или нарды, или шахматы, не только домино, снова чрезвычайно модное, не только коварная железка, но и швыряние двадцатикопеечных монет в молочные бутылки с расстояния семи метров. Возникали разделы, или этюды, о Чревоугодии и Пьянстве, в них доставалось праздным гулякам-бражникам, в особенности бормотологам. «Чревоугодие, пьянство — страсти, чьи спутники — нужда, несчастье», — вышло из-под пера Шубникова. Увидев эти слова, Бурлакин насторожился и стал припоминать... Осуждению Шубникова подверглись мздоимство, кумовство, взяточничество, нарушения правовых судебных норм (хотя никакого суда в Останкине не размещалось). Вспомнив же, что обещанный ЖЭКом электрик не приходит четвертый день, Шубников высказал мысль о том, что мастерские теперь вообще нехороши и несостоятельны, а потому их следует осадить. «Портачи одни да лодыри, проходимцы, топчущие дисциплину, — записал Шубников, — украшают нынче производство. И нет в Останкине в наши дни уважения к ремеслам». Бурлакин опять насторожился. А Шубников уже перешел к случаям нарушения общественного порядка. Сокрушаться ему пришлось и по поводу забияк-валтузников, и по поводу блюстителей в форме и с повязками. Одним вменялись в вину дурные манеры и этическое невежество. Другим — как недостаточная доблесть, так и, напротив, превышения в усердиях. Были обличены Шубниковым льстецы и ленивые врачи. Досталось и утайтелям правды, беспечным администраторам, смотрителям квасных цистерн. Пришел на память Шубникову высокий человек Собко, и Шубников тут же написал слова о пустодушных прагматиках, живущих в вечной

суете, хотя обличения эти к знатоку тайской культуры имели отношение косвенное. «Да что ты всех чернишь? — не выдержал Бурлакин. — У тебя не Останкино получается, а какой-то вертеп, какой-то корабль дураков... Ага, вспомнил! Вспомнил наконец! То у Щербатова! То у Бранта! Ты ведь теперь занимал слова у Себастьяна Бранта!» «У какого еще Себастьяна Бранта? — удивился Шубников. — Ах, у этого... Ну и что? Ну и пусть у Бранта. Культурное наследие не должно пропадать втуне. Не один ты начитанный. И я знаю Бранта...» В студенческие годы Шубников, похоже, читал Бранта. Но сейчас вспомнить из него смог, пожалуй, лишь одно: «Я, жаркозадая Венера...» И более ничего. Брантовской Венерой он называл когда-то в сердцах однокурсницу с актерского факультета, теперь звезду, но после упоминания «Корабля дураков» он посмотрел на листы бумаги как бы с испугом. «Куда это я забрел? — подумал Шубников растерянно. — Мне бы больше писать о благородии, о торжестве освобожденной энергии высоких частот, о справедливости и добродетелях... Мне бы жалеть Останкино... А меня эвон куда понесло!»

Тут что-то сделалось с Шубниковым. Он резко отодвинул от себя листы бумаги. Иные посыпались и на пол.

— А разорву-ка я все это, — сказал Шубников. — И сожгу.

— Зачем воздух-то в доме грязнить? — возразил ему Бурлакин. — Дай их сожрать Мардарию. А Любовь Николаевна и так, наверное, хорошо знакома с твоим текстом.

Шубников, казалось, его не слышал. Прошел к дивану, улегся на нем. И застыл. Впрочем, губы его шевелились. Что-то он, видимо, объяснял кому-то. Может, и одному себе. Но вряд ли. «Как мне жаль их, — наконец прошептал он. — Как сострадаю я им. И хочется им помочь, все исправить и все улучшить. Но как?» Бурлакин мог и рассмеяться. Но не стал. И не стал спрашивать, кого Шубников жалеет и кому сострадает. Ясно, что останкинским жителям, которых он только что обличал и пытался отстегать Ювеналовым бичом. Сейчас бич валялся изломанный и истерзанный, а Шубников, похоже, был намерен вырывать сердце из груди и уstraивать из него светильник. Но куда вести останкинских жителей, он, видно, еще не знал. Случалось и прежде, Шубников укладывался на диван, грезил о чем-то или строил планы, но и тогда в глазах его мелькали скорые, а то и шальные соображения, и тогда глаза его оставались прыгающими глазами балбеса. Теперь же в глазах Шубникова, будто замерзших, отражалось нечто важное и серьезное.

— Ты не слышал, — спросил Бурлакин, — чего бы пожелал Коля Лапшин, если бы фортуна решила его осчастливить?

Шубников не откликнулся.

— Желание у него такое, — сказал Бурлакин. — Иметь сто крепостных. Из числа посетителей пивного автомата. И — чтоб был порядок. И страх.

Пожелание свое, а может быть, мечту мрачный водитель Николай Лапшин высказал позавчера в пивном автомате при большом скоплении мужчин. Собеседники отнеслись к его мечте без раздражения, скорее с благодушным суботным интересом. В частности, поинтересовались, что бы с каждым из них Лапшин стал делать в положении барина-крепостника. «В карты проигрывал бы всю эту шваль!» — сказал Лапшин. «А кому?» — спросили. Выходило, что проигрывать Лапшин соглашался лишь таким же, как и он, помещикам. Значит, и другие помещики должны были быть. «И сечь бы ты принялся и ноздри рвать?» «И сечь и рвать», — ответил Лапшин. «А барщина была бы у тебя или оброк?» — «И барщина и оброк!» — «А кем бы мы у тебя стали? Ведь цена-то у каждого своя...» Тут Лапшин задумался. Проще всего было с таксистом Тарабанько, того Лапшин быстро перевел в кучеры. Потом и других он определил — в шорники, кузнецы, чесаль-

щики шерсти, большинство же решил держать при сохе и на гумне. «А крепостные актрисы у тебя будут?» Лапшин долго молчал. «На хрен они мне нужны! У меня жена есть... Хотя... — тут он взглянул сквозь стену на дворец Параша Жемчуговой. — Может, и придется прикупить. В Малом театре. Или выиграть. Штук двадцать».

Шубников поднял голову.

— Зачем ты мне рассказываешь?

— Откуда я знаю, — сказал Бурлакин. — Затем, чтобы ты не заснул. Или не рехнулся в печалях о юдоли земной.

— Я принял твою историю к рассмотрению.

И Шубников опять сник. Голову опустил на мягкое, а глаза закрыл. Будто энергия из него изошла. Всякая энергия. И та, что по Фарадею, и та, что по Вернадскому, и та, что по Л. Н. Гумилеву. Бурлакин посчитал, что измученный заботами Останкина приятель его задремал. Шубников и задремал. Но не сразу. Он еще думал о своем несовершенстве и своих неудачах. Никаких даров после чурчелы и временного оживления ротана Мардария он так и не получил. Возможно, что и замысел записок случился ошибочным, ничего в трудах своих Шубников не приобрел, кроме словесных подсказок Любви Николаевны. Да и подсказки ли это были? Теперь Шубников уже сомневался в этом. В школьные и студенческие годы он славился памятью, выигрывал пари, произнося наизусть двухстраничные периоды Гегеля или же цельные журнальные отчеты о заграничных прогулках редакторов «Огонька». Может, и теперь память его оживилась? Ведь, на самом деле, Михаила Михайловича Щербатова и Себастьяна Бранта он когда-то читал.

«Ну и ладно, — произнес Шубников самому себе. — Жили без пая и проживем без него». Ему было отрадно сознавать, что он сострадает Останкину и Сретенке, будто он отец им. И он верил сейчас в то, что к нему придет прозрение и он облагородит жизнь Останкина и Сретенки. Пусть при этом и сам пострадает.

С тем он и заснул.

29

Вялое участие Любви Николаевны в жизни пайщика Виктора Александровича Шубникова имело объяснение.

Михаил Никифорович вернулся домой.

В неприятную для него и жильцов дома ночь он дошел до Рижского вокзала и просидел там на жесткой скамье пять часов. Рядом шумели цыгане, но не пели, а рассовывали в мешки губную помаду для продажи в Великих Луках. Где жить, решал Михаил Никифорович. К кому пойти. Приятных ему женщин Михаил Никифорович не имел в виду. Почему, объяснять я не стану. Не имел в виду, и все. Знакомые же, которые бы его приняли, обогрели и не отпустили, все были семейные, с детьми и без излишков площади. Бессовестно было бы обременять их своим проживанием. Подумал Михаил Никифорович о дяде Вале. Нет, странным казался ему теперь Валентин Федорович Зотов. Такой дядя Валя мог и не открыть дверь.

В конце концов Михаил Никифорович посчитал, что скамьи на вокзалах не такие уж и жесткие. Но вот беда. Быстро росла щетина на щеках Михаила Никифоровича. А чужие бритвы он не любил. Несвежая рубашка тяготила его, явиться в ней сегодня на работу было бы скверно. И Михаил Никифорович решил, что он зайдет, заскочит на минуту в свою квартиру, побреется, встанет под душ, переоденется, заберет вещи. Авось его гуляющая знакомая еще спит либо отправилась развлекаться на помеле или на зубной щетке.

В квартиру он вошел неслышно, словно был таинственный персонаж готического романа. Он согласился бы стать и невидимым.

Любовь Николаевна сидела на кухне в мятом халате и вид имела самый несчастный. Макияжем она не занималась, волосы не причесала

и не уложила, здоровье ее, надо понимать, было подорвано. Михаил Никифорович намерен был сразу же удалиться или хотя бы незаметно прошмыгнуть в ванную, но не вышло. «Михаил Никифорович», — чуть ли не прошептала Любовь Николаевна, и ноги Михаила Никифоровича повели его к ней. А Любовь Николаевна и на колени перед ним рухнула.

— Этого не надо, — угрюмо сказал Михаил Никифорович. — Это уже было однажды.

Усаженная им на табурет Любовь Николаевна молчать не могла.

— Михаил Никифорович, простите меня, — сказала она. — И не считайте сейчас меня притворщицей. Я все говорю как есть. Я подлая Я грешная. Я противна самой себе. И виновата перед вами. И перед всеми я виновата.

— Это известное состояние, — сказал Михаил Никифорович. — Оно поправимо. Я в таком случае пью горячий чай с каким-нибудь кислым вареньем. Стакана четыре. Вам поставить чайник?

— Поставьте, пожалуйста, — кивнула Любовь Николаевна.

— Потом бы, часа через два после чая, я бы поел горячего и выпил бы две кружки пива, тогда и ощущение вины и перед соседями и перед всеми выветрилось бы.

— Вы не о том, Михаил Никифорович, вы зря так... Вы не хотите поверить мне...

Михаил Никифорович снова взглянул на Любовь Николаевну.

В тоске сидела перед ним женщина. Может, и вовсе неуместны были теперь его ирония, строгость его? Но хватит. Ведь было решено: побриться, встать под душ, взять вещи — и вон из дома. Куда и насколько — потом будет видно. И вот снова пошли досадные разговоры... Вода в чайнике тем временем вскипела.

— Чай сделать вы, надеюсь, сами в состоянии. И не забыли, где стоят чашки и стаканы...

Любовь Николаевна поднялась покорно, поставила на стол стакан и для Михаила Никифоровича. Михаил Никифорович хотел было сказать, что он ни о чем не просил и что распивать чай в компании с ней не собирается, но утренний чай и ему был необходим, и он, то ли разжалобившись, то ли ослабев натурой, сел на табурет напротив Любови Николаевны.

— Сейчас для вас было бы хорошо крыжовенное варенье, — сказал Михаил Никифорович, — то, что мать прислала...

Слова его были восприняты Любовью Николаевной как приказание. И розетки с крыжовенным вареньем появились тут же, и лучшие из кухонного собрания Михаила Никифоровича чайные ложки, чуть ли не мельхиоровые, добавились к ним, опять Михаил Никифорович сидел за одним столом с Любовью Николаевной. Но теперь-то, полагал он, ни в какую телегу его запрячь не смогут...

— Я подлая... И падшая... Я грешная... — снова начала каяться Любовь Николаевна.

— Это надо исполнять на вольтинке, — сказал Михаил Никифорович. — Есть такой инструмент. Или в крайнем случае на скрипке. И знаете, вы мне больше нравились нынче ночью во всех пыланиях страстей. Пусть и трясли дом.

— Я все почию. И в доме. И в парке. И возле метро.

— Где это — в парке и возле метро? — удивился Михаил Никифорович. — И что там надо чинить?

— В парке — бильярдную и читальню, но не всю, а возле метро — киоски, те, что по дороге к Выставке, три липы, столовую у троллейбусного круга.

— Ночную, где едят милиционеры и водители троллейбусов?

— Я не хотела...

Естественно, она не хотела, чтобы люди в парке, в особенности в состоянии заслуженного отдыха, не могли шелестеть поутру газетами

или загонять шары в лузы, коли без этого их жизнь пустая, и не хотела, чтобы ночные милиционеры стояли и ходили голодные, но энергии или молнии ее чувств и досад разлетелись в буйстве и наделали дел, привели к поломкам и порчам.

— Я почию... И липы исправлю...

— Нет, вам надо покинуть Москву,— сказал Михаил Никифорович.— И немедленно.

— Я не могу покинуть...

— Постарайтесь!

— И без вас я не могу, Михаил Никифорович.

— Если вы меня разжалобить хотите, то тут старания напрасные.

К тому же ночью вы говорили, что никаких предпочтений мне выказывать не имеете нужды, да и натура ваша требует иного.

— Имею нужду! Без вас я не могу! А пьем Шубникова я вас дразнила и задорила, я хотела, чтобы вы вострепенулись.

— Взъерепенился,— усмехнулся Михаил Никифорович.

— Нет, вострепенулись. Мне обидно за вас...

Михаил Никифорович отставил пустой стакан, тонуть в беседе с Любовью Николаевной он не желал, а молча отправился в ванную. Шел дождь, следовало с презрением отнестись к дождю или, наоборот, посчитать, что нет ничего приятнее, чем прогулка под осенним московским дождем в созерцании еще не опавших листьев тополей, нынче они были цвета недозревших лимонов. Да и многое можно было созерцать сейчас в Москве, приняв мировосприятие китайских пейзажистов и поэтов классического периода, видевших мудрость и бренность жизни в застылости сырых туманов, в движении мокрых облаков вблизи безмолвных скал. Михаил Никифорович положил в спортивную сумку вещи, какие ему были теперь нужны.

— Я все починила,— сказала Любовь Николаевна.— И липы поправила... А столовую сделала даже лучше... С росписями стен...

— Под Палех, что ли?

— Под Мстеру... Что вам приготовить на ужин?

— Ужинать здесь я не буду,— заявил Михаил Никифорович.— И прошу вас более не утруждать себя заботами обо мне. И то, что я вам сказал сегодня, примите к сведению всерьез.

— Михаил Никифорович... — Любовь Николаевна встала и даже шагнула к нему, но Михаил Никифорович движением руки остановил ее.— Вы забудьте про документы, какие я вам показывала. И не считайте себя как-либо связанным со мной. Мне и из-за бумаг этих теперь стыдно и противно.

— Вы мой настоящий паспорт мне верните.

— Вы и разорвали настоящий. Но не волнуйтесь. Чистый паспорт, без записи обо мне, сейчас в кармане вашего пиджака.

— А он что — фальшивый?

— И он не фальшивый.

— На том спасибо.— И Михаил Никифорович двинулся к двери.

— Вы возвращайтесь вечером, Михаил Никифорович. Здесь ваш дом. Я вас не буду стеснять. Я цветком стану или пылинкой крошечной и раздражений ваших не вызову.

Мольба была в глазах Любви Николаевны.

Михаил Никифорович вышел из квартиры.

Суета дня не позволила Михаилу Никифоровичу стать созерцателем. Да и какие могут быть в Москве безмолвные горы и ущелья с сырыми туманами? Созерцателем в Москве затруднительно пребывать, будучи и совсем удаленным от дел. Хотя бы и в опасениях, как бы тебя не переехал ломовой автомобиль, как бы ноги тебе не оттоптали на тротуаре, не ухудшили зонтиками зрение и не повредили лок-

тями ребра. Михаил Никифорович лишь мельком взглянул на опадающие зелено-лимонные листья тополей. «Ляжет ли нынешней зимой снег?» — подумал он. Хорошо бы лег.

Восточные созерцатели, представление о которых у Михаила Никифоровича было чрезвычайно приблизительное, пришли ему на ум случайно, но в памяти он их держал несомненно после разговора с Петром Ивановичем Дробным. Дробный повстречался Михаилу Никифоровичу дней пять назад на Сретенском бульваре, выглядел он неожиданно задумчивым и уязвимым. Или незащищенным. И не в энергическом движении, свойственном ему, находился Дробный, а сидел на бульварной скамейке. К проходящему мимо нею Михаилу Никифоровичу Дробный отнесся как к некоему миражу, он видел его и не видел, и не было для нею никакой необходимости, чтобы Михаил Никифорович из проплывающей мимо или недвижной картины мира превратился в физическую реальность. А Михаил Никифорович не понял состояния Дробного и поздоровался. Ему было предложено сесть на скамью. Долго они сидели молча. Попытки Михаила Никифоровича заговорить Дробный гасил запретом губ и глаз. Но при этом он как бы приглашал созерцать вместе с ним осенние деревья бульвара, прозрачный теплый воздух, сухие, но будто обретенные в солнечный день надежду на вечное существование листья, желто-апельсиновые, пурпурные, багряные и еще зеленые, стрекозокрылые и жестяные, приглашал созерцать потемневшие руки-ветви, худоба и оголенность иных из них были уже роковыми, тревожными и противоречили надеждам листьев. Приглашал Дробный созерцать на багрово-охряном шлаке пешеходной дорожки жизнь воробьев, каждого со своими возможностями и норовом выхватывавших крошки печенья из-под клюва балованного горожанами ленивца голубя. Но вот Дробный взглянул на часы, кивнул часам, себе, а может быть, и Михаилу Никифоровичу, словно давая понять, что срок созерцания вышел. «Мудрее — пребывание в жизни, — сказал Дробный, не глядя на Михаила Никифоровича, — а не знание о ней». Дробный и просветил Михаила Никифоровича относительно дальневосточных созерцателей. Но он по-своему их понимал и во многом с ними не был согласен. То есть ему стало интересно их отношение к природе, миру, но, приняв к сведению их нравственные и философские позиции, он остался человеком иных корней, а главное — самостоятельным. Однако выходило, что созерцание ему необходимо, хотя бы полчаса созерцания в день или хотя бы даже час в неделю, иначе в бегах и толкотне жизни можно незаметно унести к пульсарам и в них исчезнуть либо провалиться в коричневые тартарары. К тому же в толкотне и в бегах этих случалось столько паскудного, что душа Дробного порой стонала и горела. Дробный так и сказал: «Душа стонет и горит!» И являлись ему мечтания... Дробный проводил Михаила Никифоровича к аптеке, говорил еще, реализуя, видно, потребность в слушателе, в особенности таком уважительно молчаливом, как Михаил Никифорович. Из его слов Михаил Никифорович понял, что нечто Дробного испугало, или удручило, или смутило. Оттого-то он вспомнил, в частности, о созерцании. И как будто какие-то житейские перемены наметил себе Дробный. Прежде всего он решил вовремя уйти из мясников. Дробный полагал, что рано или поздно может появиться столько блеющих и мычащих скотин, что почет и уважение в народе к мясникам истают и их положение будет ничем не замечательнее, чем у продавцов жевательной резинки. Но даже если такого и не случится, однообразие жизни заставит его, Петра Ивановича Дробного, загрустить, а натура его оскудеет. Не исключал Дробный возможности пойти на время в каскадеры. «Но там же есть возрастные ограничения, — засомневался Михаил Никифорович. — И я читал: берут только мастеров спорта». «И кандидатов, — сказал Дробный. — А я был кандидатом в мастера. Как раз в спринте. Им нужна реакция спринтера. Машины я вожу сносно. С гор же съезжаю не ху-

же многих...» Михаил Никифорович знал, что зимой Дробный ездит на Кавказ, в Карпаты и Хибины, а костюмы и снаряжение у него — изысканные, лучших альпийских фирм, не менее ценные, нежели рама, достойная полотна А. Шилова. Дробного привлекало и то, что каскадеры могли не бросать свою опорную профессию. Скажем, если верить программе «Время», группой каскадеров при Одесской студии руководил действующий кандидат философских наук. «Одно другому способствует,— объяснил Дробный.— Особенно в Одессе... Впрочем, пойти в каскадеры — лишь один из возможных для меня вариантов...»

Когда уже подходили к аптеке, Дробный из созерцательного возвратился в деловое состояние, душа его свое сегодня отстонала и отгорела, быстро выстудили ее житейские ветры. Дробный мог возвращаться к говяжьим и бараньим тушам.

Еще в студенческие годы Дробный был куда более организованной натурой, нежели Михаил Никифорович, а теперь день бывшего педиатра наверняка был жестко расписан, в том расписании отводились обязательные часы и для занятий контактными каратэ, и для сеансов созерцания. Правда, созерцать Дробному приходилось недалеко от мясницкой, в местах, какие вряд ли были бы одобрены восточными созерцателями. «Приезжай к нам в Останкино,— посоветовал Михаил Никифорович.— Там и парк, и пруды, и башня». «Что Сретенка, что Останкино — одно! — покачал головой Дробный.— Тут нужны горы, ледники, море, водопады, снежные поля, большая река!» Впрочем, Дробный добавил, что Москва и есть и горы, и ледники, и море, и водопады, и большая река. А созерцать можно и муравья, и цветок черемухи, и пьяницу, свалившегося на пути к метро «Тургеневская».

Нынче же, после ухода из квартиры с вещами в спортивной сумке, Михаил Никифорович мог бы созерцать — в мыслях — единственно самого себя и Любовь Николаевну. Но какое это было созерцание? Михаил Никифорович нервничал.

Решение его порвать с Любовью Николаевной было вызвано прежде всего природой Любови Николаевны. Михаил Никифорович словно очнулся и увидел, в какой лес он забрел. Но если бы Любовь Николаевна была обычной женщиной, как бы он должен был поступить? Ведь жил он последние недели в своей квартире в тепле и сытно, пригрелся и подремывал котом на печи. И главное — Любовь Николаевна была ему мила, он совпадал с ней душой и плотью. Может быть, он и полюбил ее. Однако слова «любовь» Михаил Никифорович избегал и в мыслях, то ли стесняясь его, то ли опасаясь, что к случаю с Любовью Николаевной оно подойти никак не может. Разрыв с Любовью Николаевной выходил сейчас попросту бегством с криками: «Чур меня!» Получалось скверно. Жил он себе припеваючи, закрыв глаза на очевидное, словно забыв по слабости натуры, что и ему за что-то надо отвечать и платить, а теперь обрадовался поводу, оправдывающему бегство без ответов и расплат.

Земную, останкинскую женщину Михаил Никифорович должен был бы выслушать и понять. Мало ли что вчера Любовь Николаевна наговорила ему сгоряча, спьяну и в кураже. И если даже она сказала ему правду (о чем? о том, что загуляла и будет загуливать? о том, что может увлечься и еще кем-то кроме него, Михаила Никифоровича?), нынче-то с утра, видя женщину в бедственном положении, он должен был не иронизировать над ней, не измываться, а выяснить все и уж тогда решать, в последний раз он с ней разговаривает или не в последний. Конечно, его взволновали предъявленные ему Любовью Николаевной поддельные документы. Но не он ли вынудил ее завести эти документы? А он-то сам как полагал жить дальше? Рассчитывал (не объясняя, впрочем, ничего себе) на то, что рано или поздно Любовь Николаевна рассеется, изыдет или просто отправится к новому кавалеру, а в его, Михаила Никифоровича, судьбе и личности изме-

нений не случится? Так, что ли? Выходило, что и так... Непорядочно это, сказал себе Михаил Никифорович. Что же он раньше-то себе этого не говорил? И еще Михаил Никифорович задавал вопросы, но не на все отвечал, посчитав, что и не надо отвечать; как бы в своих ответах он не принялся отыскивать себе оправдания, а оправдывать себя Михаил Никифорович ни в чем не желал.

Уже в середине дня Михаил Никифорович понял, что домой он вечером вернется. Ему стало спокойнее. Ассистентка Люся Черкашина, удивленная утренней пасмурью Михаила Никифоровича, уловила поворот в его настроении, сама обрадовалась и дважды в коридоре уцепилась за аптекаря.

Квартира была пуста. Не сразу, но вспомнил Михаил Никифорович обещания Любви Николаевны: стеснять его она не будет, а станет то ли цветком, то ли пылинкой крошечной. Ходил Михаил Никифорович по квартире осторожно, все боялся что-либо раздавить или сломать. Думать о том, что Любовь Николаевна уместила себя в цветке или в пылинке, было Михаилу Никифоровичу неприятно. В комнате на подоконнике стояло с недавних пор три горшка с многолетними фиалками, в дом их принес, естественно, не Михаил Никифорович. К окну Михаил Никифорович подходил теперь и с некоей боязнью — не лиловой ли фиалкой с желтым жостовским глазом росла Любовь Николаевна в ближнем горшке, не белой ли фиалкой смотрела она на него, укоряя и печалась? Нет, ни на пылинки, ни на переплетения тюлевых занавесей, ни на лиловые, ни на белые фиалки Михаил Никифорович не был согласен. В дом на улице Королева он возвращался к земной женщине.

Но не была Любовь Николаевна земной женщиной. То есть для Михаила Никифоровича она была и земной женщиной. Но при этом ведь и еще кем-то! И это он, Михаил Никифорович, должен был иметь в виду как обстоятельство, существенное и для него. Так он теперь себе постановил. Не уповать на авось, не ожидать, что дурман, часто и приятный ему, выветрится, не считать Любовь Николаевну созданием искусственным, синтезированным из анекдотического табурета, игрушкой галактической или кашинской, инструментом добродетельным либо злым, а признать ее с ним, Михаилом Никифоровичем, как и с другими останкинскими жителями, равносправедливой (или равноошибочной) личностью, со своей бесценной сутью, со своей правдой и болью, со своими порывами, надеждами и крахами, со своими слезами, обидами, слабостями, со своей любовью. Пусть Любовь Николаевна и не такая, как он, пусть из иного слеплена, или выделана, или выделена, или сотворена, — пусть, мало ли с кем в грядущие тысячелетия придется встретиться людям, дружить или сосориться, мало ли чему и кому придется удивиться и к чему привыкнуть! Теперь же ему важно было помнить о своей человеческой ответственности перед иными, нежели он, существами. Тем более что, может, они слабее его и горемычнее. И всякие сомнения — а вдруг эти мысли внушены ему чужой силой и хитростью? Вдруг в последние недели им управляла чужая воля? — он отmetal, не желая считать себя личностью зависимой или подневольной. Нет, он ощущал себя хозяином своей судьбы и воли в той мере, в какой человек вообще может быть хозяином судьбы и воли, оправданий себе не искал, готов был отвечать и платить за все, за что должен был платить и отвечать. Таков был нынче Михаил Никифорович.

Михаил Никифорович опять подошел к окну. Раньше он не рассматривал цветы на подоконнике. Оказалось, что во всех горшках фиалки разные. Те, что росли в двух небольших горшках и представлялись Михаилу Никифоровичу белыми, на самом деле были бледно-желтыми и бледно-розовыми. Однако, по предположениям Михаила Никифоровича, Любовь Николаевна предпочла бы поселиться в большом горшке, помещенном в плетеную шестигранную корзину с ви-

той ручкой-ожерельем. Там цветы — не только лиловые, но и с синевой возле желтых глаз, с фиолетовыми прожилками у границ лепестков — поднимались на одиннадцати стеблях, а окружали, обегали, сторожили их будто бы изломанные, встревоженные барочным вихрем листья, скрученные в напряжении по краям, впрочем, сохранившие в сердцевине зелено-плюшевых черешков детскую пухлость и оттого капризные и нервные. Тут был целый мир, а может, и галактика, тут жили разные натуры — и жестокие, угрюмые цветы-совы, и жеманные кокетки, и грустные невольницы, опустившие очи к черной земле. Кем стала здесь Любовь Николаевна?..

Дверной звонок робким звуком отвлек Михаила Никифоровича. За дверь стояла Любовь Николаевна.

— Можно к вам зайти?— спросила она.

— Входите,— сказал Михаил Никифорович.

На цветок фиалку Любовь Николаевна не походила. Была она в черном кожаном пальто и кожаной пилотке. Когда Любовь Николаевна сняла пальто, обнаружилось, что надела она нынче черный же, немного поблескивающий костюм стиля «диско». Свободная блуза была с вырезом и отчасти открывала ничем не стесненную грудь Любови Николаевны, чуть смуглую кожу ее видеть Михаилу Никифоровичу было приятно. Подорванное было здоровье, видимо, пошло на поправку, чувствовалось, что вечерняя Любовь Николаевна могла работать и в каменоломнях.

— Михаил Никифорович,— сказала Любовь Николаевна,— все, что я говорила утром пусть и излишне нервно, я могу повторить и сейчас. Я вас прошу определить мне место в квартире. В комнату вашу без разрешения я не войду.

— Где вы размещались, там и размещайтесь,— сказал Михаил Никифорович.— Вы же прописаны в этой квартире. Все.

— Вы не желаете со мной разговаривать?— спросила Любовь Николаевна.

— Скорее всего нет. И мне не мешало бы отдохнуть.

— Извините... Я только хотела посоветоваться с вами... Я решила устроиться работать, но не знаю, куда пойти... Есть возможность в посудомойки в «Звездном» и в диетической столовой... Есть возможность в штукатурки или маляры. Стройка недалеко отсюда, на Кашенкином луку. Или вот еще — в цирке на Цветном бульваре...

— Это ваши заботы,— сказал Михаил Никифорович.

— Извините,— поклонилась ему Любовь Николаевна. И ушла в комнату.

Михаил Никифорович спохватился, чуть было не присоветовал Любови Николаевне вдогонку обратиться именно на Цветной бульвар, оно вышло бы хорошо и для самой Любови Николаевны, и в особенности для цирка, возможно, в цирке случилось бы и обновление программ, и Шубникова с Бурлакиным следовало бы определить туда для детских утренников. Но не произнес Михаил Никифорович никаких слов, и слава богу. Отчасти он был и удивлен. Ради чего вдруг Любовь Николаевна занялась трудоустройством?

После некоторых колебаний Михаил Никифорович предпочел сидеть не в ванной (там у него, кроме раскладушки, был и табурет), а на кухне. Он достал газеты, октябрьский номер «Химии и жизни» и японский роман «Записки пинчраннера». Японский роман как бы сопротивлялся Михаилу Никифоровичу, но отставлен пока не был. Есть хотелось Михаилу Никифоровичу. А на кухне пахло вкусно. Не хотел он, а все же приподнял крышки кастрюли и сковороды. Осталось вчерашнее — намаганская шурпа и баклажаны. Но появилось и новое блюдо, в теплом еще чугунном горшочке — тушеное с черносливом мясом. «Нет, ни за что!»— решил Михаил Никифорович. Испытание судьбы, впрочем, оказалось не самым жестоким. В хлебнице лежали батон за шестнадцать копеек и буханка орлов-

ского. А стоило Михаилу Никифоровичу нагнуться, как в его руке оказались три фиолетовые луковицы, к ним добавилась соль,— чего еще оставалось желать? Михаил Никифорович съел полбуханки черного и луковицы.

Но желания остались! К ним добавились и иные...

А утром он будто бы по рассеянности съел четыре солнечных сырника. Но не он их испек. Стало быть, медный духовой инструмент протрубил «отбой»...

И опять Михаил Никифорович и Любовь Николаевна, случалось, сидели вместе за кухонным столом и вели мирные, неспешные беседы на темы, впрочем, далеко отлетавшие от их судеб. Сидения эти и беседы наверняка отражались на житейских успехах, грезах и движениях души уже известного нам составителя «Записки о состоянии нравов в Останкине и на Сретенке...», о чем он и не догадывался. Шубников был в неведении и относительно того, что иногда Михаил Никифорович и Любовь Николаевна позволяли себе сыграть в подкидного, в домино или в шахматы. Случайному гостю квартиры, попавшему, скажем, сюда из девятнадцатого века, Любовь Николаевна могла бы показаться в те дни экономкой или домоправительницей, до того строгими и целомудренными выглядели отношения Любви Николаевны и Михаила Никифоровича. Если они в тесноте кухни иногда касались друг друга нечаянно, то тут же от стыда словно бы готовы были разлететься в дальние углы вселенной...

Впрочем, так продолжалось неделю. А потом раскладушка была сложена и приставлена к стене в ванной.

Как-то Михаил Никифорович благодушно поинтересовался, на самом ли деле Любовь Николаевна надумала работать. «Правда»,— отвечала Любовь Николаевна. «Но вы,— сказал Михаил Никифорович,— как будто бы учились в аспирантуре стоматологического». «Я так говорила. И показывала документ. Но ведь это для того, чтобы у вас и у меня не было тогда неприятностей и лишних хлопот». «А почему вы зубы лечить не хотите? Или та ваша справка была формальная?» «Зубы я могла бы лечить,— не сразу ответила Любовь Николаевна,— и без всяких справок... Но тут есть свои тонкости...» Она замолчала, задумалась. Потом сказала: «Все же я пойду в штукатуры или в маляры. Там обещают квартиру, и в скором времени». «Вы говорили,— удивленно сказал Михаил Никифорович, но и как бы шуточно,— что только здесь и можете прожить...» «Говорила,— согласилась Любовь Николаевна.— А у нас станет две квартиры, и их можно будет поменять на одну большую...»

«Вот тебе раз!»— собрался было сказать Михаил Никифорович. Закурил. Значит, пребывание Любви Николаевны в Москве ожидается длительное. А коли речь пошла о квартирных обменах, вернее, о слиянии жилищной площади, выходило, что представления Любви Николаевны о ее дружбе с ним были стойкие и определенные. Но не мог ли оказаться он в этой долговременной программе все же используемым липом?.. «В маляры так в маляры! Если вы не можете добыть жилье иным путем...»— буркнул Михаил Никифорович и прекратил разговор.

Через день Любовь Николаевна устроилась на работу. Сообщила она об этом Михаилу Никифоровичу хмуро, видимо, была на него обижена. Сказала еще: «Я прочитала историю Манон Леско. Вы вспомнили тогда о ней напрасно. И я не Манон. И вы не кавалер де Грие». «Ну и хорошо»,— кивнул Михаил Никифорович.

Любовь Николаевна попала в комплексную бригаду отделочников. Ей надо было и штукатурить, и заниматься малярным делом, и клеить обои. В училищах она не ходила, возможно, предьявила в отделе кадров верные бумаги или трудовую книжку, а может, справку об окончании орденоносного ПТУ. Домой, к удивлению Михаила Никифоровича, она приходила усталая, разбитая. Михаил Никифорович

поинтересовался однажды, зачем Любовь Николаевна так изнуряет себя. «Ничего. Потихоньку привыкну,— слабо и будто виновато улыбнулась она.— Я терпеливая. И выносливая. Просто с непривычки тяжело». И ведь изнуряла себя. Усталая и смиренная после трудов, стала будто не способна на ласки, все боялась, что не выспится, потеряла интерес к нарядам, а уж кулинарными удовольствиями занималась лишь по воскресеньям, и то если Михаил Никифорович приходил в субботу с полными сумками.

Однако через месяц она, видно, привыкла к трудам, снова стала способна глядеть телевизор и начала поговаривать о необходимости вечерней светской жизни. «Какой еще светской жизни?»— насторожился Михаил Никифорович. Вот-вот мог пойти разговор и о домашних японских стерео- и видеосистемах. Решительно возражать Любови Николаевне Михаил Никифорович в тот вечер не стал, посчитав, что, может быть, он обленился и закозвел, а Любови Николаевне нужен более молодой, хотя бы по образу жизни, друг и спутник. И все же Михаил Никифорович засомневался вслух, хватит ли у них средств на поддержание интересной вечерней жизни. Любовь Николаевна заверила его с оптимизмом московской удачницы, что средств должно хватить. И она со стройки, с премиями, тринадцатой зарплатой и внеурочными, может теперь приносить в дом немало денег, и вообще — тут она со значением поглядела на Михаила Никифоровича, словно бы подсказывая ему нечто,— в Москве есть множество способов обеспечить себе безбедное, независимое или даже веселое существование. Михаил Никифорович насутился, сказал, что на что он способен, на то и способен и нечего строить по поводу него иллюзии, они потом могут оказаться и утраченными.

Но вскоре Любовь Николаевна снова озаботилась, приходила домой раздраженная, с пятнами краски и цемента на лице, на руках, обзывала прорабов и мастеров бестолочью, недоучками, бранила снабженцев, поставщиков, сетовала на то, что у них до сих пор не могут ввести бригадный подряд, грозилась, что рассыплет строение в шестнадцать этажей, сооружаемое, в частности, и ею, как Вавилонскую башню. Михаил Никифорович ее успокаивал, упрасивал не надрываться, пощадить дом во избежание жертв, да и многим семьям в случае ее погрома пришлось бы долго ждать квартир с улучшенной планировкой. «Улучшенной!— саркастически усмехнулась Любовь Николаевна.— Как же! Очень улучшенной!»

И все же судьбу Вавилонской башни зданию она не уготовила. Напротив, Любовь Николаевна стала ревнительницей дел на Кашенкином лугу. Ее, несмотря на малый стаж, включили в две общественные комиссии, ей давали слово для выступлений в присутствии начальства, которое тут же было ею пристыжено. Михаил Никифорович не удивился бы, если бы Любовь Николаевну доизбрали в местный комитет треста или управления, и, вероятно, такая задиристая, горластая и борец могла получить квартиру раньше чем через полтора обещанных года.

Михаил Никифорович, прекративший хлопотать о пенсии, оставался на учете как аварийный человек в институте Склифосовского и в районной поликлинике на Цандера. Порой его вызывали и обследовали. И будто бы перемены к лучшему свершались в организме Михаила Никифоровича. Он и сам это чувствовал.

Жизнь в Останкине словно бы притихла. Снег в декабре выпал наконец зимний, среднерусский, в парке за башней можно было брать лыжи и ботинки для катаний по аллеям, вдоль заборов и на отлогих берегах дальнего пруда. По воскресеньям Михаил Никифорович приглашал Любовь Николаевну в парк, снежные прогулки нельзя было отнести к светской жизни, но Любовь Николаевна отзывалась на приглашения охотно, с особенным удовольствием и ловко скатывалась с горок, не избегая и устроенных сорванцами

мальчишками трамплинов, громкая, краснощекая, кормила хлебом уток, зимовавших в польнье на западном краю паркового пруда. А потом они с Михаилом Никифоровичем шли домой...

В сладкой полудреме пребывал Михаил Никифорович. Словно убаюканный и укрытый стеганым одеялом. Почти забыл он о своих вселенских устремлениях и печалях, о бедах рода человеческого, о своей готовности всех убережть от болезней и невзгод, всех спасти. Что он горячился тогда в разговоре с Батуриным? Смог ли бы такой Михаил Никифорович в осенних, худеньких ботинках, в суконной кепке морозной Колымской трассой добираться до аптеки поселка Кадыкчан? Смог ли бы он удальцом матросом стоять на вахте в водах Ледовитого океана? Нет, не смог бы...

31

Но так продолжалось до тех пор, пока Любовь Николаевна снова не загуляла.

Должен сказать, что не одного Михаила Никифоровича в Останкине убаюкали и укрыли стеганым одеялом. И я жил будто в полудреме. При этом меня расстраивало то, что я ощущал внятное отчуждение от жизни других людей, мне знакомых. Безразлично стало, что с ними и как. И хотелось что-то узнать и в чем-то участвовать, но тут же звучал голос: «Да брось ты! Сиди себе тихо, и все. Что там вне тебя может случиться?» Летом я тоже почувствовал, что люди и их судьбы от меня отделились. Но тогда я был весь в движении и суете, в энергичном самоусовершенствовании, все бежал куда-то, а людей вокруг почти не замечал. Теперь и бежать куда-нибудь казалось нелепым и противным. И веки разлепить не хотелось. Словно бы птица Феникс с прекрасным восточным лицом из послевоенной кинобылины уселась на Останкинской башне и крылья сложила.

Но и невесело стало. И не мне одному.

В те дни ротан Мардарий пребывал в ванне без движений, задумчивый. Лишь иногда полусонным шлепком хвоста напоминал Бурлакину, что вода остыла, а нужна горячая. Бурлакин устало смотрел на рыбу, беседовал с ней тихо, а горячую воду просто перестал отключать, она лилась и лилась. Шубников по-прежнему торговал овощами и фруктами, теперь ему были доверены цитрусовые из грузинских роц, из испанских и алжирских, по утрам он наряжался на Сретенке в белый халат, иногда в синий. А дома все больше лежал.

Лежа, Шубников продолжал думать о людских несовершенствах и вздыхал. «Но ведь не собрание одних скотин — люди-то!» — успокаивал он себя. Однако ненадолго. При чем сейчас размышления свои Шубников уже не посвящал Любви Николаевне. Да пусть ее и нет, пусть! Она и не нужна ему. И никому не нужна!.. Нет, он размышлял для себя. И для людей. Он сам хотел все понять и найти свое расположение в судьбе человечества и мироздания. Сейчас Шубников считал себя освобожденным от заискивания, лести, ползания на коленях перед Любовью Николаевной неизвестно из-за чего. Нет, не так он жил. Он жил плохо. Жил как неудачник и скандалист. Жил как мошенник. И теперь следовало все изменить. И в себе самом. И если удастся, если ему дано, если случатся озарения, то и в людях.

Нынче Шубников парил в мыслях над Останкином, проспектом Мира, бывшими Мещанскими улицами и Сретенкой. И над своей прошлой жизнью он парил. И над Любовью Николаевной... Обойдется он и без неведомых сил, своей головой и своим сердцем. Да если бы и втесалась в его намерения и действия неведомая сила, ее надо было бы подчинить своей воле и использовать, а потом забыть о ней.

Мало ли какие личности и средства оказывались в безымянных подручных у великих режиссеров и творцов!

Впрочем, Шубников вряд ли бы назвал сейчас действия и намерения, в которые могла бы втесаться Любовь Николаевна. Ничего определенного он так и не придумал. Он только уповал. Ждал нечто. Сигналов каких-то. Или событий. И озарений, естественно. Или прозрений. Он знал только, что он обязан повести куда-то за собой останкинских, мешанских и сретенских жителей, чтобы вызвать в Останкине и вблизи него совершенство душ и благородство коммунальных отношений. Может быть, природа, создавая его, имела в виду предоставить ему высокую роль (Шубников был согласен: пусть и жертвенную) в людском общежитии.

Бурлакин со своими цифрами, интегралами, с компьютерами, с микропроцессорами, с кубиками Рубика, с дисплеями, что там еще у него, с заблуждениями своих обманных, но высокомерных наук был сейчас Шубникову низок и подл. «Паразитируют их науки на теле души!»— придумал однажды Шубников, сам понял, что придумал какую-то нелепость, но оставил ее при себе. Бурлакина в квартире по вечерам он терпел, да и энергии, пожалуй, обругать его или тем более выгнать у Шубникова сейчас не было. Свою прежнюю недостойную жизнь со скандалами, неудачами, торговлей на Птичьем рынке, авантюрами, дешевыми портвейнами, шапками из псин он склонен был отчасти объяснить влиянием на него наглых, искренних в своих заблуждениях, но часто и циничных естественных наук и их представителя Бурлакина. Да, тот поощрял и Птичий рынок, и шапки, и крепленое вино и сам резвился оттого, что ему, видите ли, бывало скучно на работе. А ведь наглые эти науки не только не объяснили природы (да и как они могли объяснить ее!), но и не улучшили ее, напротив, наверняка ухудшили. Придумав же разные облегчения жизни человека, они избаловали, развратили и испортили его. Какое же они имели право дурно воздействовать на него, Шубникова, приставив к нему в друзья и собеседники Бурлакина? Никакого. При этих мыслях Шубников поворачивался лицом к стене, а к Бурлакину спиной, давая понять ему, как он подл и низок и как ложны все естественные науки.

Однажды, ощутив в себе нертерпимую готовность вести за собой людей с факелом в руках и жертвовать собой, он подумал с вызовом кому-то, что такие редкие натуры, как он, наверное, заслуживали бы и бессмертие, притом и физическое. Шубников сразу же испугался своей мыслью и вызова кому-то, запретил себе и думать об этом.

Но чаще Шубников просто подчинялся тихой апатии и засыпал без снотворных капель.

Валентина Федоровича Зотова я не встречал ни в автомате, ни в магазинах. Смутные слухи о дяде Вале ходили. Будто он — при подругах из Лебедино го игрища, перешедших по причине зимы под крышу. Или при одной подруге, но уж больно душевной и миловидной. Или подруга при нем.

Игорь Борисович Каштанов не расстался с лошадьёю и находил средства платить за аренду гаража. Он состоял в переписке со своей бывшей молодой женой Нагимой и тремя ее кавказскими братьями. Дружеские отношения Каштанов поддерживал и с известной в Останкине дамой Татьяной Алексеевной Панякиной, ударившей некогда Игоря Борисовича туплей по выбритой щеке. Да и самого Панякина, ныне служителя ветеринарной лечебницы, он угощал на Королева пивом и сухим картофелем из пакетов...

Но потом в Останкине все забурлило.

Напуганная птица Феникс с прекрасным лицом вздрогнула, взмахнула крылами, взлетела в морозные выси, и полудрема прекратилась.

К тому времени трудовая благонамеренность Любви Николаевны не сразу, но иссякла. О делах на Кашенкином лугу она говорила

с раздражением. Видно было, что ударницы из нее не выйдет. Похоже, что и ожидаемая квартира более не увлекала Любовь Николаевну. Стали беспокоить ее соображения о том, что малярное и штукатурное производство ухудшит ее внешность. Руки ее и впрямь огрубели. «Да что я ломаться-то вздумала, как Микула Селянинович какой-то!— взбунтовалась однажды Любовь Николаевна.— И главное — из-за чего?» Михаил Никифорович понял, что Любовь Николаевна созрела для прогулов. Он пожурил ее, стал давать советы, как себя преодолеть и как найти в себе дальнейшие силы. «Ну и зануда вы, Михаил Никифорович!»— вспыхнула Любовь Николаевна. Михаил Никифорович и сам смутился. Осторожно сказал, что уж если на стройке такие тяготы, можно подыскать занятие и получше. «Нет, Миша, вы истинно зануда! — опять отчитала его Любовь Николаевна.— И какое ж это занятие получше?» Михаил Никифорович растерялся и произнес уж совершенно несусветные слова: «Но ведь когда мы катались в парке на лыжах, мне казалось, что вам нравится...» «Да идите вы со своими лыжами! — грозно заявила Любовь Николаевна.— И со всем... Надоели мне ваши лыжи напрокат, да и вы!..» Тут она остановилась, возможно, посчитала, что хватит, что Михаил Никифорович прибит и повержен, и дальше говорила с меньшей резкостью, будто не желая более унижать Михаила Никифоровича, а только жалея его.

А в Останкине при этом сделалась метель, пусть и не самая свирепая, но с чудным, густым, обильным падением снежинок. Башня утонула в белом. Метель была красивая, редкая, останкинские дети лишь в книгах читали о такой. Но в душу Михаила Никифоровича она принесла хандру... Движение троллейбусов и автомобилей на улице Королева затруднилось, а посетители пивного автомата, не решаясь выйти на улицу, долго не возвращались к семьям и занятиям. Пока снег падал, пока коммунальные работники обзванивали дворников, призывая их взять в руки скребковые лопаты, пока выползали из автобаз машины со щетками и песком, Любовь Николаевна делилась своими неудовольствиями с Михаилом Никифоровичем.

Михаил Никифорович полагал услышать опять о том, что, мол, у некоторых есть в квартирах японские системы с поучительными кассетами, а он жалкий аптекарь. Но Любовь Николаевна брала круче. Ей стала скучной жизнь в Останкине и в Москве, ей стал скучен Михаил Никифорович, хотя она ему и многим обязана, ей были нужны теперь удаль молодецкая, бурные забавы и приключения и наряды подороже малярских комбинезонов. Терпеть она дальше не могла. Выходило, что пособить ей могли иные, нежели Михаил Никифорович, спутники жизни и удовольствий. Хотя и с ним были связаны некогда ее надежды.

— Ну и ладно,— сказал Михаил Никифорович.— И расстанемся. Любовь Николаевна остро взглянула на него.

— Вы еще пожалеете, что не использовали свои возможности.

— Это были не мои возможности,— ответил Михаил Никифорович.

— Как знать,— сказала Любовь Николаевна.

И она покинула квартиру на улице Королева.

Дверью не хлопнула, лифт не сломала.

То, что она не забрала вещи, ничего не меняло. Это были вещи женщины со скучной жизнью. Уход Любви Николаевны не принес Михаилу Никифоровичу ни ощущения свободы, ни радости, ни простого облегчения.

Метель же не прекратилась, а из тихой и живописной, словно бы устроенной для зимних валютных гостей столицы, стала буйной, вздорной, будто драчливой, с молниями в заснеженном небе, в такую метель в степи недолго было бы замерзнуть или повстречать Пугачева. Останкинская башня не могла передавать цветные изображения, все на экранах телевизоров было опять черно-белым, к тому же кри-

вилось, морщилось, куда-то истекало или пересекалось снежными лавинами. Машины со щетками и песком и широкие скребковые лопаты оказались бесполезными. И что-то, тревожа жителей, в высях над Москвой, в бело-серых вихрях, в небесных прорубях то хохотало, то словно бы выстреливало пробками шампанского, то ухало и стонало. И так продолжалось дня четыре. На пятый день метель устала и усмирилась. А в квартире Михаила Никифоровича Стрельцова появилась Любовь Николаевна Кашинцева.

— Что это вы как куропатка ошипанная? — поинтересовался Михаил Никифорович.

— Вам бы высказать сострадание мне,— грустно сказала Любовь Николаевна.— Дайте хотя бы закурить...

— Похоже, и я достоин сострадания, коли вы вернулись.

— Я не вернулась...

Она сидела на кухне, не скинув шубы из ондатры, а лишь сняв лохматую шапку, курила, и можно было подумать, что она действительно забежала ненадолго объявить важное и через полчаса уйдет. Но через полчаса она не ушла. Новые для Михаила Никифоровича шуба и шапка не вызывали мысли об ошипанной куропатке, но лицо, глаза, волосы Любови Николаевны свидетельствовали о том, как она гуляла. На лице ее были ссадины и царапины. Позднее, когда Любовь Николаевна отчасти облегчила себя сигаретами, тремя стаканами оживляющего чая, а потом и кружкой собственного зелья и пошла спать (вышло — отсыпаться), она была вынуждена снять шубу, и выяснилось, что платью ее порвано и в пятнах, а на открытых разрывах ткани спине, груди и руках также ссадины и синяки. Но это было потом, а пока Михаил Никифорович спросил:

— Вам не надо ли чего? Вы дрожите.

— Не надо... Это нервное... Я справлюсь сама...

И вскоре перестала дрожать. Но тоска не исчезала из ее глаз.

Уже после чая и кружки снадобья Любовь Николаевна заговорила снова. И вот что услышал Михаил Никифорович.

— Я хотела, чтобы вы поняли меня... Или задумались...

Любовь Николаевна трудно подбирала слова, они не были приготовлены ею заранее и отчасти получались невнятными... И она сомневалась, что Михаил Никифорович сможет понять ее, потому как она сама себя не понимает и, возможно, никогда не поймет... Выходило так, что она заново открывала или испытывала жизнь. Жизнь — во всем и себя — в ней... Она многое желает испытать, испробовать, испытать. И многое — наперекор неизбежному... Наперекор тому, какой она должна быть (но какой она должна быть?). В ней происходят изменения, часто неожиданные для нее самой... Ей еще воздастся за непослушание и за дерзость. Но она не может иначе... Порой она успокоенная и благонравная, но потом успокоенность и благонравие (да и что такое успокоенность и благонравие?) становятся ей нестерпимы, ее захлестывают загулье и азарт, она не может совладать со своей свободой, страстями и стихией... Но после — летит в несчастья, в отчаяния, в самоотрицания, в желания все оборвать и прекратить. Однако можно ли все прекратить? Она не знает... Ведь и сама природа, сказала Любовь Николаевна, все ищет себя, она как будто бы не способна пребывать в спокойствии. Но, может быть, она, природа, так никогда и не найдет своего истинного состояния, не обретет верного воплощения, и мы осуждены на вечные тайны и поиски? И муки?..

— Вы — природа? — спросил Михаил Никифорович.

— Я — часть природы,— сказала Любовь Николаевна.— Как и вы. Но я — иная, нежели вы, часть природы. И только иногда кажусь себе свободной. Когда я забываю, кто я есть и что должна...

И Любовь Николаевна замолчала.

— Спасибо за метель,— сказал Михаил Никифорович.— Хорошая

вышла метель. Но зачем же было огорчать южан? В Италии случились заносы на дорогах и люди мерзли.

— Обойдутся! — жестко сказала Любовь Николаевна. — И вот еще. В той метели вы не заметили... не ощутили ничего необычного?

— О чем вы?

— Именно одно мгновение... Я попробовала, и как будто бы вышло... Если применить ваши знания... Исчезли время, пространство, энергия... Но тут же вернулись... Вы ничего не ощутили?

— Кажется, случился однажды перебой в сердце, — неуверенно сказал Михаил Никифорович.

— Значит, было. Значит, вышло! Они исчезали, а то, что оставалось, прогнулось!

— И теперь стоит прогнутое?

Любовь Николаевна сказала строго:

— Оно и всегда прогнутое. Я лишь усилила выгиб в одном месте и на одно мгновение.

— А если вы увлечетесь, раззадоритесь еще раз и что-то из-за вас исчезнет уже не на мгновение, то ведь не только могут случиться перебои в сердце, а и само сердце остановится. Вам это в голову не приходило? Или вам все равно?

— Мне этого не позволят. Мне и за нынешнее шею свернут, — мрачно сказала Любовь Николаевна. — Но я попробовала. И вышло!

Она встала, сообщила Михаилу Никифоровичу, что должна выпаться, пусть он ее извинит. Михаил Никифорович посоветовал ей отклеить блестки под левым глазом, они были закапаны черной и синей краской с ресниц и век, но Любовь Николаевна дала понять, что сил у нее нет, ей бы только добрести до дивана и рухнуть. Так оно и случилось. Михаил Никифорович вздохнул, поднял шубу и прикрыл ею Любовь Николаевну.

Отсыпалась она двое суток.

Останкино потихоньку очищали от снега, мороз ослаб, вышла и оттепель, после которой пришлось сбивать сосульки и ледяные наросты, угрожавшие головам москвичей.

Встревоженные товарки-отделочницы с Кашенкина луга отыскивали квартиру подруги, набросились на Михаила Никифоровича: не случилось ли чего с Любашей? Михаил Никифорович дальше кухни их не пустил, врать он не любил, растерянно говорил, что Любаша внезапно уехала к родственникам, что-то там у них стряслось. «Что стряслось? Куда уехала?» — спрашивали. Ничего толком не мог объяснить им Михаил Никифорович. «Что же вы за муж такой?» — удивлялись девушки с Кашенкина луга, обещали зайти еще. Говорили громко. Однако не разбудили Любовь Николаевну.

Проснувшись же, Любовь Николаевна ходила по квартире побитой и словно бы обреченной. Несмытые потеки краски, блестки, оставшиеся черными и синими, эту обреченность подчеркивали. Неслышно сидела Любовь Николаевна, ничего не видела, молчала будто бы в отсутствии всяких чувств, пила кофе и покусывала овсяное печенье, купленное ей Михаилом Никифоровичем. Михаил Никифорович не смог не рассказать ей о приходе девушек с Кашенкина луга. «Какой Кашенкин луг? — не сразу дошло до Любви Николаевны. — Ах этот... Я туда не пойду. Ничего не буду объяснять, хотя они и хорошие... Они-то хорошие, да вот я дурная. И как я пойду с таким лицом...» «Вам же надо взять расчет, деньги за работу и трудовую книжку», — сказал Михаил Никифорович и сразу понял, как ему ответит Любовь Николаевна. Но, к его удивлению, она задумалась. «Действительно, — сказала она. — И зарплата. И трудовая книжка». И сходила в контору. И оказалось, что ее не уволили за прогулы и не желают увольнять. Напротив, ее были намерены отправить на курсы повышения квалификации с перспективой сделать бригадиром.

«Но ведь я прогуляла!» — настаивала Любовь Николаевна. «Что вы,— говорили ей,— вы же ездили к серьезно заболевшим родственникам, это так понятно...» Любви Николаевне пришлось подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Но зачем ей нужна была трудовая книжка? — гадал Михаил Никифорович.

Он опять по ночам ставил раскладушку в ванной.

Любовь Николаевна выглядела понурой, подавленной, то ли ждала трепки за свой загул, то ли на самом деле ей было противно жить. В день увольнения в квартиру Михаила Никифоровича явились ее приятельницы-отделочницы. Была водка, вареная картошка, соленые огурцы с рынка. Сидели шумно. Но Любовь Николаевна почти не улыбалась. Одна из отделочниц давала понять Михаилу Никифоровичу, что он плохо ходит и лелеет Любашу. На вопрос, куда Любаша пойдет работать и что будет делать вообще, она ответила, что ей опять на некоторое время придется уехать из Москвы к родственникам. «Это в Кашин, что ли?» — поинтересовался Михаил Никифорович. «Куда? В Кашин? Почему в Кашин? — рассеянно переспросила Любовь Николаевна. — Ах да... Возможно, что и в Кашин...»

Потом она ходила по магазинам, сказав Михаилу Никифоровичу, что намерена подобрать гостинцы кашинским родственникам. При расчете ей выдали больше двухсот рублей.

— Хорошая была работа,— сказал Михаил Никифорович.— Не то что в аптеке.

Ни разу не запела в те дни Любовь Николаевна. А ведь Михаил Никифорович простил бы ей теперь и исполнение «Земли в иллюминаторе». Но не вспомнила она слов о траве у дома. Да и росла ли когда-нибудь у ее дома трава? И где был ее дом?

32

Потом Любовь Николаевна пропала.

Михаилу Никифоровичу хотелось думать, что она уехала в Кашин. Поезда туда ходили с Савеловского вокзала.

Из слов Любви Николаевны, не к нему, впрочем, обращенных, а куда-то в воздух, Михаил Никифорович мог вынести, что каникулярное или отпускное время кончилось. Тому, что он называл некогда бездельем, видимо, был положен предел. Самой ли Любовью Николаевной либо ее пастухами, но положен. Возможно, Любовь Николаевну отзывали как несправившуюся. А возможно, она сама сникла, сдалась, сказала: все, не могу, неспособная, хватит. Под телевизором Михаил Никифорович обнаружил записку. В ней Любовь Николаевна предлагала ему «в случае чего» сдать в комиссионный магазин ее пальто, платье, брюки и прочие вещи, деньги же взять себе в возмещение долгов. Михаил Никифорович в комиссионный не пошел, неизвестно чем и какими могли оказаться эти деньги и вещи. Да и пусть они лежат и висят в его квартире, посчитал он. Михаил Никифорович ходил хмурый, ел плохо и мало, боли и неприятные ощущения, от которых было избавился его организм, возобновились. Впору было начинать снова тяжбу с химическим заводом при участии юриста Кошелева. Он это и сделал. И Михаил Никифорович понимал, что, объявляя пропажу Любви Николаевны благом для себя, он занимался самообманом. Пропасть или сгинуть ей следовало бы прошлой весной...

А вот Виктор Александрович Шубников ожил, на диване более не лежал, опять принял его посещать скорострельные идеи, хотя, по наблюдениям Бурлакина, в глазах Шубникова отражалось теперь нечто важное, страданное, вечное. Странное случилось и с ротаном Мардарием. После исчезновения Любви Николаевны он, казалось, должен был подохнуть или превратиться в мелкую поганую головешку. Но не подох, не уменьшился, не потерял лап.

Шубников удивился. А потом и возрадовался: «Это, значит, не она! — воскликнул он. — Это мы! Это я! Это моя воля! Значит, и все возможно!» Но сразу же будто и забыл о Мардарии. Он заставил Бурлакина заново рассказать о мечте Лапшина иметь сто крепостных, посетил музей-усадебу Останкино, взял в библиотеке книги, в каких упоминался род Шереметевых, что-то выписывал из них, но потом, опечалившись, решительно и гордо заявил: «Нет, это сейчас не для меня!» Книги про Шереметевых он сдал, а взял про Савонаролу. «Все! — сказал он Бурлакину. — Надо опроститься. Мы столько думали о грешном. А надо уйти в пустыню, и босым...» Однако не ушел босым в пустыню, ни в песчаную, ни в ледяную, ни в лесную, а желание стать Савонаролой быстро унеслось вдалеку. Шубников принялся бранить Савонаролу, пустынников, отшельников, столпников, а уж Антония Великого, имевшего видения в Фиваидской пустыне, вовсе обзывал идиотом. В тот день он позволил себе погладить ротана Мардария, рыбу окаянную, но не дал себя укусить. Тогда же Шубников стал подолгу смотреть в зеркала. Несомненно, его сущности должен был соответствовать рост в сто восемьдесят шесть сантиметров. Если он, Шубников, и его воля изменили облик и формы ротана Мардария, отчего же он не мог украсить и облагородить себя? Для начала Шубников сбрил бороду, уж больно она стала казаться ему разночинской, усы же оставил с надеждой сделать их густыми и спадающими к подбородку, как у трагика. Волевыми усилиями Шубников попытался выпрямить и утончить нос и удлинить хотя бы шею, но ни нос, ни шея не поддались его воле, и Шубников решил улучшение внешности пока прекратить.

— Ба! Да мы с тобой закоснели! — заявил он Бурлакину. — Что мы расселись-то! Надо вгравиться в предприятие!

— В какое еще предприятие? — спросил Бурлакин.

— А я почему знаю! Давай создадим дачный трест.

— Какой дачный трест? — насторожился Бурлакин.

— Не знаю какой. Надо узнать. Я видел вывеску: «Дачный трест».

— А зачем тебе именно дачный трест?

— Может, и вовсе ни к чему, — сказал, подумав, Шубников. — Проживем и без дач. А стчего у тебя нет идей?

— Давай научим Мардария говорить, — предложил Бурлакин.

— Оставь Мардария, — жестко сказал Шубников. Потом снова оживился: — Хватит лежать возле водяной батареи! Надо встрять и втравиться. Главное — встрять и втравиться, а там уж — либо карнавал, либо похоронные дроги!

— Ты-то небось закажешь, — предположил Бурлакин, — не дроги, а орудийный лафет.

— Ладно, — всепонимающе, словно бы уже с лафета, поглядел на него Шубников. — Неси из прихожей телефонную книгу.

— Вот, — сказал Бурлакин, вручая Шубникову толстый том, — но коли ты разбежался теперь неизвестно куда, не забудь о строгостях научного подхода...

— Все? — спросил Шубников. — И молчи! Я в своем разбеге и полете обойдусь интуицией, предчувствием, своей волей и своим творческим началом. Ты же поверяй все наукой, если тебе не скучно. И будешь у меня заместителем по науке. Я тебя даже в члены-корреспонденты произведу.

— Спасибо, — поклонился Бурлакин. — Но в члены-корреспонденты не производят.

— Ну изберу, — сказал Шубников.

Пальцы его уже шебутили справочник Московской городской телефонной сети. «Так... Музеи... Парикмахерские... Поликлиники... — сообщал Шубников. — Это нам не надо... Опять музеи... Аварийные

службы лифтов... Тут что-то есть... Пункты проката... И в этом что-то есть!.. Надо подумать... А? Но что мы предложим в прокат населению?» «Или человечеству?» — уточнил Бурлакин. «Или человечеству,— повторил Шубников, но тут же спохватился: — Нет! До человечества мы не доросли. Пока только населению. Я еще не стал избранником!» «Избранником кого?» — спросил Бурлакин. «Ладно! Молчи! — рассердился на него Шубников.— Я думал вслух. Но ты этого не слышал!»

Нет, несомненно стоило познакомиться с трудами служб проката. Ближайшие пункты помещались на проспекте Мира, в Астраханском переулке, в Рижском проезде и на улице Цандера. Назывался также Второй проезд Марьиной рощи, но там обслуживали население одним лишь постельным бельем. А люди, не обладавшие постельным бельем, были не из тех, с кем Шубникову хотелось бы иметь дело. Мимолетно заинтересовал Шубникова пункт проката театральных костюмов в Успенском переулке. Но тут же возрадовалось цеховое высокомерие Шубникова: это небось для самодержавности и маскарадных глупостей. Более привлекал и обнаделял прокат культурно-бытового и домашнего обихода: всяких стиральных и швейных машин, холодильников, магнитофонов, электрополотеров и прочего и прочего. При этом Шубников полагал, что торговлю овощами и фруктами он пока не оставит, а ему позволят совместить ее со службой под крышей проката. Казалось бы, что гадать — до Цандера Шубникову десять минут прогулки, но вспомнилось: там на месте пункта проката существовала аптека, до затопления ее парикмахерской, и заведовал ею Михаил Никифорович Стрельцов. «Ну и что нам помешает?» — удивился Бурлакин. «Все! Хотя бы память о нем стен!» — «О ком память стен?» — «О Михаиле Никифоровиче!» «Это мальчишество! — сердито сказал Бурлакин.— И шаманство». «И сам он, Михаил Никифорович, что-нибудь учудит...» «А что ты предлагаешь пустить в прокат?» — спросил Бурлакин. «Не знаю, пока не знаю», — сказал Шубников. «Не пожелаешь ли ты при этом возвратиться к своим запискам и заботам об исправлении нравов в Останкине и на Сретенке?» «Не исключено,— загорелся Шубников.— Не исключено!» И сразу же он принялся фантазировать относительно возможных нравственных услуг населению. Он стал размышлять вслух — для себя и для Бурлакина — о том, что в жизни человека все вообще выдается напрокат. Вернее, сама жизнь выдана человеку напрокат и на время. Бурлакин возразил ему, напомнив, что до жизни и после нее человека нет и, стало быть, некому получать жизнь в прокат. Шубников стоял на своем, заявив, что Бурлакин цепляется к словам, а суть оттого не меняется. Конечно, на жизнь человека можно взглянуть со ста восемнадцати точек зрения, применить к ней сто восемнадцать методов анализа и логического укрощения, разместить ее в ста восемнадцати мысленных плоскостях или футлярах, но поскольку возникла идея проката, то ему, Шубникову, позволительно совместить пребывание человека на земле именно с прокатом, а если же придет на ум нечто лучшее, нежели пункт проката на улице Цандера, бывшая аптека Михаила Никифоровича, можно будет и по-иному взглянуть на жизнь и ее ценности. Скажем, если бы ему нынче явилась в голову мысль купить тарантас и поехать на нем в Валуйки, то он бы приспособил размышления о жизни человека к тарантасу и дорожному движению до Валуек через Купянск, и эти размышления были бы верны. Или возьмем дачный трест... Нет, дачный трест оставим. Так вот, прокат. И не жизнь человека, а жизнь человечества. Будет ли спорить Бурлакин с соображением, что человечеству выдано напрокат все: и земные тверди, и воды, и воздух, и химические элементы, какие есть в таблице выпускника Тобольской гимназии и каких в ней нет, и извилины в голове, и травы в огороде, и братья старшие и меньшие для прокорма и забав, да все, все, чего

и не перечислишь, выдано напрокат. Слово, конечно, какое-то глупое и узкое. Но ладно. Оно взято сейчас, и ладно... И вот человечество прокатывает себя по материкам, по временам и пространствам. К выданному ему инвентарю придумывает приспособления и поделки, таланты в землю не зарывает, напротив, из нее вытягивает и выкапывает, ловчит, когда нужно, голь, как полагают, хитра на выдумки. Хотя человечество изначально и не такая уж голь. Совсем не голь. И платит оно без задержек, известно как и известно чем. Но как бы не пришлось расплатиться вконец и не сдать все взятое на пункт проката обратно и навсегда. Пока же, пока не расплатилось вконец, почему бы и в самом деле не иметь в Останкине пункт проката, сходный по свойствам услуг со вселенским? «Хватит! — не выдержал Бурлакин. — Пусть хоть в нем будет все, что есть на одесской толкучке!» «Там-то как раз одни приспособления и поделки», — возразил Шубников. «Ну и что? А эти твои душа, совесть, любовь — это что, не поделки и не приспособления к полученному, как ты говоришь, напрокат, только из иных сфер?» «Я опять забыл на полчаса, — сказал Шубников, — что ты закончил технический вуз. Но в одном ты, пожалуй, прав. Неплохо было бы иметь на Цандера то, что есть на одесской толкучке. Для начала. Чтобы приучить к себе людей». «Тут нам и понадобилась бы Любовь Николаевна, — задумался Бурлакин. — Вдруг она вернется из Кашина...» «Прекрати думать и вспоминать о ней! — нервно сказал Шубников. — Не зли меня!»

Друзья долго не могли закончить разговор. Потом решили, что на сегодня хватит. Включили телевизор. Шла к концу программа «Время». И тут зрителям предъявили в ярком изображении остров Хоккайдо, город Саппоро. Чего только не увидели Шубников с Бурлакиным на главной улице этого холодного японского города! И дворцы, и драконов, и самураев, и каратистов, и висячие сады, и все, естественно, изо льда. Шубников и Бурлакин были наслышаны о зимних строительствах в Саппоро, но нынешние виды вызвали у них особенное воодушевление. Диктор сообщил, что в этом году устройство ледяной симфонии было доверено местным пожарникам и они не подкачали. «А наши-то пожарники, — пришел к мысли Шубников, — чем хуже японских! Один Васька Пугач за десять японцев может держать брандспойт!» «Это какой Васька?» — спросил Бурлакин. «Ну Васька, шофер с рыжими усами. Орет по-дружески: „Череп ты мой горелый!“» «Не помню, — сказал Бурлакин. — Нам не построить и Ледяной дом». «Один Ледяной дом — это что! Это восемнадцатый век, пошлый красавец Бирон и дуреха баба при короне! — заявил Шубников. — А тут можно взять всю улицу Королева от Аллеи космонавтов и до башни и, пока снег и холода, обледенить ее так, что понаедут японцы с киноаппаратами и из Саппоро, и из Токио, и с Окинавы!» «Блажь! — сказал Бурлакин. — Ты бабу-то снежную слепить не сможешь». «Во-первых, смсгу! — обиделся Шубников. — А во-вторых, стоит тому же Ваське Пугачу влить мысль о профессиональной чести да пообещать, у нас на Королева четыре с половиной Саппоро встанут!» «Ну пообещай, — вяло сказал Бурлакин. — А что же с прокатом?» «И от проката нечего отказываться! — успокоил его Шубников. — Завтра же схожу на Цандера. Или послезавтра».

И шходил. И оказался нужен. И был приглашен на должность подсобного рабочего.

А Михаил Никифорович поливал фиалки на подоконнике.

Несмотря на холод в Останкине, фиалки цвели в трех горшках, и бледно-розовые, и бледно-желтые, и лиловые на одиннадцати стеблях. Известно, прежде Михаил Никифорович цветы в доме не держал, не в оранжерее он проживал и не на клумбе, но с капризом

Любови Николаевны смирился, однако о судьбах фиалок не беспокоился, посчитав, что пусть они заботят садовницу. Когда же Любовь Николаевна исчезла, Михаил Никифорович первым делом в сердцах отправил в мусоропровод шлепанцы, купленные ею, ходил по дому в крепких башмаках, будто бы снова ступив на твердую землю жизни. В дальний угол шкафа он зашвырнул пижаму — вериги или смитерельные одежды сытой поры. И был готов выбросить горшки с фиалками. Но не выбросил. «Сами завянут», — решил он. Они и стали вянуть. И тут Михаил Никифорович чуть ли не жалость к ним ощутил, принес кастрюлю с водой и принялся увлажнять землю в горшках, столько вылил воды, что она растеклась по подоконнику и заструилась на пол. Михаил Никифорович выругался, но не цветы он ругал, а себя, фиалки же стали ему как бы и своими.

А потом, когда они ожили, когда воспрянули и припухли снова зелено-плюшевые сверху, опущенные белесыми волосками листья, когда развернулись родившиеся при нем цветы, Михаил Никифорович начал испытывать к фиалкам в горшках странное чувство. Вернее, чувство его было обыкновенное и называлось оно нежностью. А странным было то, что оно явилось Михаилу Никифоровичу. Испытывал ли он когда-либо нежность к цветам? Он жил в согласии со многим в природе, ему были хороши и овраги под Ельховкой, и меловые берега деревенской речки, и степь курская под снегом, и сосны в Абрамцеве, и зеленая вода в Авачинской бухте, он любил все это, он ценил, как мать и как бабки, травы и старался понять их. Но вот нежность... И такая щемящая, ласковая, словно бы требующая воссоединения, чтобы растения с лиловыми, бледно-розовыми и бледно-желтыми лепестками стали частью его, Михаила Никифоровича, а он — частью их. Без этого его жизнь будто бы могла оказаться бессмысленной, лишенной сути и тепла... Вот что было странным и неожиданным для Михаила Никифоровича.

Впрочем, он понимал, чем вызвана его нежность. Выходило, что хрупкие, будто настороженные цветы в глиняных горшках оставались единственным из того, что принесла в его дом Любовь Николаевна, сохранившим для Михаила Никифоровича ее присутствие. Или иллюзию присутствия. Все остальные вещи жилички были от него отторжены. Они были, и их не было. Они его не беспокоили. Цветы же беспокоили Михаила Никифоровича, порой и как-то сладко, а нежность его, требующая воссоединения с ними, уходила словно бы в бесконечность, причем цветы с подоконника были не сами по себе, а чем-то хотя и малым, но обязательным и живым в разрыве, в пространстве между ним, Михаилом Никифоровичем, и Любовью Николаевной. Но, может быть, это лишь чувства Михаила Никифоровича стремились прорваться куда-то в бесконечность, а Любови Николаевне в них вовсе не было нужды? Или вовсе не было теперь и никакой Любви Николаевны?.. Но так или иначе, сейчас вблизи фиалок его мучало что-то, и возвышалось над всем, и требовало со всем слияния, и тянуло куда-то, словно морские воды притяжением ночного света. «Дрянь какая-то лезет в голову! — останавливал себя Михаил Никифорович. — Цветочки какие-то! Надо это прекращать...»

И он решил посетить по очереди несправедливо забытых приятельниц, хотя бы трех, при этом каждой из них подарить по горшку с фиалками. Так он и поступил. Горшки Михаил Никифорович подарил, и принимали его сердечно, однако и теперь он не избавился от нежности, и приходили мысли, что он совершил что-то скверное. Либо обидел кого-то более слабого и незащищенного, нежели он сам. Кутенка, скажем, во дворе. Возможно, каждому из трех своих приятельниц. Возможно, горшки с цветами. Возможно, еще кого-то. Сразу же Михаил Никифорович и возроптал: это его приятельницы-то слабые и беззащитные? Да у каждой из них на службе под началом по десятку таких Михайлов Никифоровичей, а по телефону они с ним

разговаривают, как капитаны автоинспекции с превысившим скорость. Можно было посчитать, что и горшки с фиалками он пристроил хорошо. Кого же он обидел или обижает? Если только себя. Или...

Об этих «или» он не хотел думать, но думал. Был какой-то глупый разговор в пивном автомате с участием специалиста по тайской культуре Собко, инженера по электричеству Лескова, летчика Молодцова, социолога Серова, Игоря Борисовича Каштанова и прочих. Рядом со всеми молчал и кроткий дядя Валя (я отсутствовал). С чего-то заговорили о любви. По церемониалу мужских стояний, по протоколу мужских бесед и дискуссий заводить обмены суждениями или впечатлениями о женщинах, о чувствах к ним и подходах было не принято. И из желания не обидеть словом милых подруг. И из стремления не опозлать предвзятостями, ошибками собственной житейской практики или просто глупостью высококи мужской разговор. А тут взяли и заговорили. И о чем? Может ли полюбить сорокалетний. Или даже мужчина более достойных лет. При этом глядели и на дядю Вая. Если верить народной молве, Валентин Федорович Зотов мог в нынешнем умозрительном разговоре опереться и на личные наблюдения, к каким привели его участия в Лебединых играх. Но дядя Валя молчал. «А вот Михаил Никифорович-то! — подмигнув летчик Герман Молодцов. — Вы его спросите что и как!» «Оставьте Михаила Никифоровича, — сказал таксист Тарабанько, — он серьезный человек, он аптекарь, он все, что есть в жизни, знает в миллиграммах и гранах. А состояния человека, измеренные в гранах, и названий иметь не могут. То есть могут, но это уже не любовь...» Разговор тут же двинулся дальше, теперь судили о связях сексуального взрыва с развитием точных наук. Или же их противоборства. И вышло, что связи были у них, у нас же — одни противоборства.

Михаил Никифорович пришел домой, закурил на кухне, уныло подумал, что он уж точно не полюбит. Да и не способен более полюбить. Я говорил как-то, что слово «любовь» он употреблял, даже и в мыслях, крайне редко. Высокие особенности человеческой жизни, такие, как любовь к женщине, как будто бы имели отношение к совершенным или великим личностям, но не к нему. Те личности и были смысловым обозначением человечества. Их песни и сути смогли уловить веды, Гомер, Библия, саги, Моцарт, Александр Сергеевич Пушкин. Он же, Михаил Никифорович Стрельцов, просто жил. Ел, спал, работал, исполнял определенные ему природой (для ее же целей) мужские назначения. Старался быть при этом честным и не вредным для других. И, как справедливо заметил таксист Тарабанько, вырос аптекарем. Хлеб для него был хлеб, а не корень жизни. Хлопок — хлопок, а не белое золото. И формулу воды, пусть и условную, химическую, естественно, помнил Михаил Никифорович. И так уж сложилось в понимании им явлений, что о многих из них он говорил и думал с принижением высокого. Оттого и редко вспоминал слово «любовь». А теперь вспомнил и решил, что никакую женщину уже не полюбит, да и не способен полюбить более. Вот ведь до каких тонких чувств, до какой изящной словесности он дошел, иронизировал над собой Михаил Никифорович.

Но ведь знал же: никакую женщину, кроме Любви Николаевны!

Вместе с цветами пропали и запахи Любви Николаевны. Они не совпадали с запахами фиалок, они были самостоятельные, держались в комнате, как стало ясно, и после отбытия Любви Николаевны, сейчас же исчезли. И в этом был знак Михаилу Никифоровичу. Или даже наказание ему.

«Да взорвалось бы это все и сгорело!» — подумал как-то Михаил Никифорович, имея в виду обстоятельства собственной жизни. Но хотелось ли ему, чтобы все взорвалось и сгорело? А однажды он взял и поехал на Савеловский вокзал. Вокзал существовал скорее для пригородных поездов. Но прибывали к нему раза три в день и соста-

вы дальних странствий, в частности рыбинский и обходной ленинградский. А они забирали пассажиров в Кашине. Михаил Никифорович понимал, что такая особа, как Любовь Николаевна, вполне могла обойтись без ленинградских и рыбинских поездов. Зачем они ей? К тому же запахи перрона, шпал, тупиковых рельсов, мазутные, металлические, сырые, казались запахами расставания. Но и они не отгоняли Михаила Никифоровича.

А Любовь Николаевна все не приезжала. Она и не должна была приехать Савеловской железной дорогой из Кашина.

Стало известно: Шубников и Бурлакин опять затеивают что-то... Говорили, что все силы пропавшей Любви Николаевны оказались при них. То ли были завещаны им. То ли она закопала силы в Останкинском парке под липовым деревом, а они их извлекли из недр. Существовала и неучтываемая, неделекатная версия о том, что Шубников с Бурлакиным подорвали и исказили устои Любви Николаевны, заманили ее в сладкую жизнь, опоили, обобрали, отчего она и сгинула в пороке и позоре. Так или иначе в Останкине нечто назревало, нагнеталось и плавало в воздухе. В пункте проката на Цандера стали предлагать жителям во временное пользование два прекрасных секретера восемнадцатого столетия работы кведлинбургских мастеров, какие могли бы стоять и во дворцах Сан-Суси. Их ходили рассматривать, но с опаской, и в квартиры не брали. Да и что класть в секретеры? Бумаги? Для них и на службах хватало плетеных корзин. Долго не брали и изящную, с подсветкой, гонконгскую гильотину для деликатесных собак, вещь, на взгляд останкинских хозяек, странную и преждевременную. Лишь водитель Николай Лапшин отважился арендовать гильотину и остался ею доволен: капусту, пусть и мороженую, она рубила замечательно. Пока капусту... Конечно, кведлинбургские секретеры и гонконгская гильотина были пустяками, но и они обнадеживали, хотя отчего-то и пугали.

А Шубников стал вдруг вглядываться в натуру и судьбу Потемкина и, вглядевшись, заявил: «Вот кто был великий режиссер и продюсер!» Бурлакин пытался обратить внимание приятеля на то, что в силу своих особенностей Григорий Александрович и под попечением самого Шубникова вряд ли бы смог облагородить нравы в Останкине и на Сретенке, не говоря уж о бывших Мещанских улицах. Но Шубников был в полете. «При чем тут нравы! — досадовал он. — Ты послушай, какие спектакли он ставил, да еще с массовыми действиями, как дурачил заезжих из Европы умников и дошлых наблюдателей!» И Шубников зачитывал Бурлакину кое-что из последних исследований о Потемкине. Выходило, что «потемкинских деревень», о каких Бурлакину сообщали в школе, не было, а Потемкин, развлекая прачивительницу киргиз-кайсацкия орды Фелицу, устраивал в государственном путешествии из Киева в Новую Россию представления с иллюминациями и фейерверками, в коих вензели высокой петербургской дамы составлялись из пятидесяти пяти тысяч плошек, с декорациями, со внезапными явлениями аллеи лавровых деревьев с лимонами и апельсинами на них, с закладыванием соборов поболее римского святого Петра, с переодеваниями, со смотром в Балаклаве амазонской роты из вооруженных женщин в юбках малинового бархата и прочим, а всяким почетным гостям, всяким европейским агентам туманил глаза, лапшу вешал на уши, мозги завязывал бечевкой, давал, говоря языком лучших нынешних фильмов, дезинформацию, а они, агенты эти и гости, в числе их и граф Фалькенштейн, он же австрийский император Иосиф II, одну фанеру декораций и увидели, одно и то же «игровое» стадо скота, следовавшее за путешественниками, и углядели, возрадовались и толкнули Турцию, обнадежив ее фанерой, в войну. Турция-то вскоре и рухнула перед Россией на колени. «Ну и что? — спросил Бурлакин. — Ну и зачем тебе сейчас

Потемкин? И зачем турки?» «Я пока не знаю»,— признался, остыв, Шубников.

А на улице Цандера гражданам предложили в прокат красивого мужчину двадцати семи — тридцати лет. Красивого мужчину увели с квитанцией через полчаса. И несколько особ записались на него в очередь. В описании формы услуги, вывешенном в помещении, сообщалось, что мужчина этот не только красивый, но и представительный, солидный, вежливый, блондин, относится к типу актера Александра Абдулова, происходит из Черкасс и Бобруйска, с дипломом, знает три языка, в их числе и урду, на многих людей может произвести впечатление опоры и друга и тем самым укрепить репутацию человека (ее или его), оплатившего услугу в пункте проката. Цена за услугу была умеренная, сносная для останкинских жителей. Отмечалось, что арендованный мужчина не будет навязчивым, а станет действовать лишь по указаниям клиента. Населению было обещано, что вскоре, пройдя обследования и испытания, будут допущены к услугам еще несколько достойных мужчин разных способностей. Фотографические портреты кандидатов украсили витрину пункта проката. С близкой киностудии имени Горького пришла заявка на трех мужчин иностранной внешности для участия в острополитическом фильме из двенадцати серий с пением Кобзона. Михаил Никифорович, возвращаясь из аптеки, шел однажды по улице Цандера, взглянул на лица кандидатов и удивился: среди прочих проходил нынче обследования и испытания Петр Иванович Дробный. Дробный на самом деле был красивый, вежливый мужчина и с дипломом, но с чего он вдруг надумал идти в прокат?

Впрочем, Михаил Никифорович скоро прекратил гадать о побуждениях Пети Дробного, тот знал, что делал. Михаил Никифорович дома перекусил, переоделся и пешком, неспешно отправился на Савеловский вокзал.

34

В Кашин я попал лет пятнадцать назад по делу о канаве. Потом не раз обещал себе съездить в Кашин снова и не съездил. Позапрошлой осенью мой приятель хирург Шполянов купил «Жигули» первой модели, предлагал прокатиться километров за двести, в какой-нибудь незнакомый ему городок, в Боровск, Мещовск или Мстеру, я вспомнил Кашин, Шполянов обрадовался и Кашину, но опять мелкая житейская суета отменила поездку.

Понятно, я хотел взглянуть не на канаву, из-за которой отчасти и послали меня когда-то в Кашин в командировку. Да и есть ли она? Хотя, вполне возможно, ее так и не закопали. Вырыли же ее на землях женского Сретенского монастыря (бывшего, естественно) с намерением уложить трубу для стока вод. Потом трубе определили иное место, а канаву зарыть забыли. В монастырских строениях квартировали граждане, в общих комнатах проживали будущие ветеринары, канава, открывшая, кстати сказать, чьи-то гробы и кости, была совсем ни к чему сотням людей. Выносились решения, выплескивались чувства, вспухали нагоняи, но канава не исчезала, а по-прежнему мешала людям и машинам. Конечно, дело это было не самое существенное для страны, и решить его можно было звонком из редакции, куда прибыло из Кашина письмо. Но в той истории столкнулись два упрямых и примечательных человека, из-за их натур и позиций мне и выдали суточные, квартирные и дорожные. Я полагал, что в Кашине побуду недолго, а постараюсь заехать в давно манившие меня города — Калязин и Углич. Я и заехал в Калязин и в Углич. А Кашин, отправляясь в ту поездку, я принимал как бы в нагрузку. Да и что там, говорил себе, может быть, в городе этом с несколькими тысячами жителей, одно имя-то у него чего стоит — каша какая-то. Впрочем, я лукавил, приминал на всякий случай надежду на

то, что и Кашин не расстроит. Да и прочитал я о Кашине многое, надежду эту вызвавшее.

И Кашин не расстроил. Может, и душу пленил.

Была тихая сухая осень. Кашин запомнился мне зеленым и золотым. Были в нем и другие краски: белые, желтые, лазоревые — старых кашинских зданий. В тридцатые годы удалого, энергичного журналиста, шагавшего от кашинского вокзала, привели в раздражение здешние церкви, не убранные к его приезду, он старался их не замечать, а посмотреть через две речки — Маслянка и Вонжа, и их струи не спеша шевелили тяжелые темно-зеленые водоросли. Зеленая, пусть и примятая сентябрем, стояла трава на кашинских холмах, валах и в оврагах. Какой бы улицей я ни шел, крутой, идущей вверх, чуть ли не предгорной, или же спадающей с валов, я приходил к Кашинке. Кашин не был похож ни на один виденный мною город. Кашинка делала в городе несколько кругов, оплетая улицы, остатки монастырей, соборы, торжище кашинское, как бы опоясывая их спокойствием и мудростью тихого движения. Таким показался мне Кашин. Или мне таким захотелось признать Кашин. Я был тогда спокоен и благополучен, хотя опять же мне могло только так казаться. И ведь я читал, слышал о судьбе и норове города. Совсем не был он благонаправленным, несмотря на призывающие к благонравию святыни и гробницу смиренной Анны Кашинской, вдовы Михаила Тверского. Жил в Кашине народ бойкий, торговый, бедовый, предприимчивый и озорной. Уже в гостинице я услышал: «Кашинцы — они такие. Чего хочешь придумают, устроят и достанут. В Кесовой Горе или в Сонкове белые булки пропадут, а тут — никогда!» Как бы в подтверждение этих слов в столовой предлагалась замечательная телятина по-кашински, какую в калязинских и углических харчевнях я уже не встретил. Известно мне было и то, что крепость кашинская на валах (под конец своей судьбы с пищальями и ядрами) не стояла без дела. Несчастлив, распят был Кашин после сражения на Сити. А потом века сталкивались здесь в усобицах гордыни, честолюбия, амбиции, надежды людей разных, властных и слабых, справедливых и злыбней, князей тверских, московских, ростовских, кашинских, даже и литовских. И здесь осуществляла себя Россия. Здесь любили, воевали, радели о судьбе отечества, размышляли о сути жизни человеческой, строили, шумели на торгу, подличали, гнали фальшивые вина, терзали бесправных, молились, страдали, гибли от сабель и моровых язв, отбивались от отрядов Лисовского, ставили на берегах Кашинки дома не хуже тверских, умирали с думами о высоком или в печали и продолжали жизнь. Грустной тенью остался в памяти Кашина принц Густав Шведский, приглашенный Борисом Годуновым в женихи дочери Ксении, но отправленный поворотом истории или унылой судьбой сначала в Ярославль, а потом в Кашин, в Кашине и зачахший (искал я место, где горевал на чужбине с единственным своим утешением — книгами — несчастный жених, но не нашел). Да что перечислять читанное! И о страницах Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, уделенных Кашину, я должен был знать. Хотя в пору приезда в Кашин я помнил о них не слишком внятно. Потом, перечитывая «Современную идиллию», наткнулся на них снова и удивился: да про тот ли это Кашин? Но все это было давно. Теперь-то я видел свой Кашин. Впрочем, история с канавой не давала поводов для умиления, она вышла бестолковой и горькой. Хорошо хоть одному из воителей она послужила

уроком гражданского поведения. И знал я, что в целебном, обнадёживающем уголке Кашина — парке с курортными корпусами при источниках сернисто-железистых вод — собрались гости вынужденные, люди с болями и усталостью от них, а то и калеки. Все это я знал и все это держал в душе. Но и тогда живой Кашин слился для меня с тихой сухой осенью, с зеленым и золотым. С ходом же времени он стал опускаться в воды Светлояра или застывать в предгорьях Рериха-старшего. Понятно, эти предгорья или глубины были местностями моей памяти. Он стал для меня мелодией малых русских городов, бывалых, пожилых, вынесших века, чуть придремавших в осенней теплыни. Мелодию его вела флейта (может, свирель?) и еще колокольцы где-то в отдалении. Я понимал, что заблуждаюсь или даже грежу, но заблуждение мое могло быть и намеренным. Мне хотелось, чтобы на земле были и такие места. В поездках своих по стране мне посчастливилось увидеть многие малые города, все без исключения они были для меня достойные и своеобразные. В городах побольше, да еще имеющих чин и должность, случались обидные и неряшливые повторы, вызванные модами времен и желаниями, в частности, выгладеть не хуже столиц — при отсутствии монет в казне и самоценности во вкусах. В малых же городах повторов было меньше. И, конечно, виденные мною города не походили на Кашин. Флейты, свирели и колокольцев им бы не хватало. Да и состояния этих городов (и мое в них) были разные. Тут понадобились бы и виолончели, и балалайки с гармониями, и черные рояли, и вымершие класоны, и барабанные палки, и предостережения контрабаса. Но в энергии, буйстве, решительности, напоре и тревогах нашей жизни мне необходим был и тот, запечатленный моей натурой Кашин. Он стал для меня реальным и условным. И такой России мне не доставало. И потом это была и Москва, которую я любил. Именно на кашинские улицы с огородами и палисадниками и ходили когда-то сретенские переулки, сбегавшие не к Кашинке, а к Неглинке. Из таких улиц и переулков и сложилась Москва и моя судьба. И знать об этом было необходимо. И знать об этом было хорошо.

Впрочем, все это, может быть, фантазии и сомнительные чувства. Ведь прожил-то я в Кашине всего две недели. А напридумал неизвестно что! И потому более в Кашине и не побывал, чтобы держать его чуть ли не в заповелнике души, а придуманного не развеять и не опечалиться при виде коробок из белесого силикатного кирпича, за пятнадцать лет, возможно, и исказивших Кашин. О Кашине я вспоминал, но, до явления Любви Николаевны, не слишком часто. Но теперь опять будто грезы нашли. Размышляя о Кашине, я думал и о сретенских переулках. Думал о том, что чувства летнего дня, когда я стоял у клена в Большом Головине переулке, а потом бродил по Сретенке, были острее ощущений иных дней. Накануне мы будто бы вольную получили от Любви Николаевны. Но вольная-то оказалась увольнительной или вовсе иллюзией вольной. И тогда на Сретенке я не освободился от мыслей о Любви Николаевне. И теперь нынешнее мое томление души и видения малого северного города Кашина, существующего и не существующего несуетного уголка русской земли, я вынужден был связывать с Любовью Николаевной, хотя бы с памятью о ней. И грустно было и светло. И снова хотелось есть себя поедом, думать о своих несовершенствах, изводить себя сомнениями: а кто ты есть, необходим ли ты Москве, Кашину или нет? В отношениях с Москвой в сомнениях этих была и доля риторики, я ведь все равно жил в Москве, вдали от нее тосковал бы. Я был прикованным к гению Москвы человеком и хотя бы своими намерениями и обещаниями старался послужить городу... Но Кашин? Что я был Кашину? Ничто. Приехал, уехал. Побывал... Но, выходит, Кашин стал нужен мне. И я от этой нужды в нем никогда не избавлюсь, пусть и вспоминаю о нем не каждый день, как не каждый день вспоминаю о Нес-

терове, Краславе, Ужуре, Минусинске, Рассказове, Катга-Кургане, Иланском. Там я был, и они остались во мне. Эти города сохраняли и оберегали нечто во мне. Пусть я и провел в каждом из них по несколько дней (в тысячах других и вовсе не бывал), ничем не одарив их. Или сделав для них малое. Но без них не было бы меня. Они оберегали нечто во мне, но и я хотел бы уберечь их. Как я мог это сделать? Я хотел бы, чтобы они не исчезли из вселенной. Но какие у силы должен был иметь для этого!

Что сберегал сейчас во мне Кашин? И только ли в связи с отсутствием Любви Николаевны? Не думаю. И я понимал, что сама Любовь Николаевна, хотя и вызывалась быть берегиней или была даже отрязена стать ею, вовсе не совпадала своей натурой с течением реки Кашинки и тихим золотом деревьев вблизи нее. К тому же, может быть, она не отлетела в дали вселенские, а была сейчас все еще в промерзших деревьях и под речным льдом, и томили нас ее зимние печали и предвестья? И коли ей не суждено было уже вернуться, не остались ли ее печали в нас навсегда?

О жизнь наша морозная и прекрасная!

«В ней душа спиленного дерева», — снова пришло на ум мне. Была ли в Любви Николаевне на самом деле — среди прочего — и душа спиленного дерева, родственного сретенскому клену или кашинской ветле?.. Вспомнилось мне, какие пилы и топоры держали мои руки. Ее нет и не будет, успокоил я себя. А если в ней — среди прочего — и умещалась душа спиленного дерева, то в ладу или в противоборствах с чем-то, что было не лучше топоров и пил. И не поспешили ли мы согласиться с дядей Валею, навязавшим нам ее имя?

В те дни я читал книгу об изографе Гурии Никитине и увидел в ней слова страстного проповедника, к каким великий костромич должен был бы относиться с уважением: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто... Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них большее».

Может быть, прав был Филимон Грачев, возразивший дяде Валею и назвавший ее Варварой?

Но нет, наверное, и не Варвара было ей имя...

Я не переставал вспоминать о Кашине. И будто бы старался отыскать никем не обретенное, но никем и не потерянное.

Нет, не должна была вернуться Любовь Николаевна. Никогда.

35

Я ошибался.

Любовь Николаевна появилась в Останкине.

Не знаю, что произнес бы Михаил Никифорович, увидев Любовь Николаевну на выходе из угличских или весьегонских вагонов, может быть, и ничего бы не сказал, дав ей понять, что он прогуливается здесь не ради встречи с ней, а просто так. Но увидел он Любовь Николаевну не на вокзале, а у себя дома. И дома он ничего не сказал ей, а снял с антресоли раскладушку. Любовь Николаевна сразу же попросила Михаила Никифоровича устроить завтра встречу пайщиков кашинской бутылки. В крайнем случае — послезавтра. Она даже улыбнулась Михаилу Никифоровичу, но улыбка ее вышла будто придавленная. В ней были и быстрое смущение и холод. Это была улыбка чужого Михаилу Никифоровичу существа.

— А где фиалки? — спросила Любовь Николаевна.

И так спросила, что стало ясно: исчезновение горшков с цветами озаботило ее сразу же при входе или влете в квартиру Михаила Никифоровича.

— Я их отнес в дома,— сказал Михаил Никифорович,— где к ним относятся внимательнее, чем здесь. Там их поливают.

— Их надо вернуть.— чуть ли не приказала Любовь Николаевна.

— Если для вас важно,— сказал Михаил Никифорович,— то и займитесь сами.

— Вынуждена буду заняться.— И Любовь Николаевна сжала губы.

— Проверьте прочие ваши вещи. Нет ли пропаж, порчи и потрав. Не загрызла ли их моль. Я за них в ответе.

— Прочие вещи меня не волнуют,— сказала Любовь Николаевна.— И я хотела бы, чтобы собрались на квартире Валентина Федоровича Зотова. Я должна сделать заявление.

Назавтра днем Михаил Никифорович зашел в пивной автомат, надеясь избежать походов по домам пайщиков кашинского сосуда. Особых удивлений по поводу возвращения Любви Николаевны в субботней компании высказано не было. Но и головные уборы в воздух никто не швырял. Даже Шубников с Бурлакиным. Похоже, все были раздосадованы или хотя бы озабочены.

— А что ей надо от нас? — спросил Филимон Грачев.

— Она выступит с заявлением,— сказал Михаил Никифорович.— Она настаивала и на присутствии Шубникова с Бурлакиным.

— Опять ты, Миша,— печально произнес дядя Валя,— у нее под каблуком...

— Или под копытом,— сказал Филимон Грачев.

— А я не пойду,— сказал Каштанов.— У меня нет пая.

— Ни у кого нет никаких паев,— сказал Михаил Никифорович.— По этому поводу имеется документ. С кровью дядя Вали.

— Но что вспоминать о каком-то документе, об этом так называемом акте о капитуляции? — вступил в разговор социолог Серов.— Это же была игра.

— Игра,— поддержал его дядя Валя.

— Не похоже было, что вы, Валентин Федорович, тогда играли,— сказал я.

— Тогда было не похоже, а теперь...

— Все же надо прийти на встречу с ней подготовленными,— высказал соображение Серов.

После его слов собеседники зашумели. Еще чего! И так сделаем одолжение, если явемся на встречу с Любовью Николаевной,— отчасти из-за того, что Любовь Николаевна была все же существом женского пола или рода, а отчасти и из-за бурундучьей любознательности. И все.

36

Как беспечны мы были!

И какими возмутительно корректными оказались мы в воскресный день! Все без пяти одиннадцать пришли на Кондратюка, в дом Валентина Федоровича Зотова. Иные, сами знаете почему, с сумками. Что нас туда принесло? Что нас сделало беспечными и забывшими все печали? Вера в собственную самостоятельность и независимость? В собственную самооценку и самодостаточность? И она. Но, главное, мы встали поутру беспечными, беззаботными, ничем не омраченными. Легкими и пушистыми.

И выслушали заявление.

— Снова здорово! — удивился Филимон Грачев.

— Я пойду,— сказал я,— из-за своих четырех копеек я теряю уйму времени.

— Останьтесь, я вас прошу... К тому же мало кому известно, какое время потерянное, а какое — найденное.

Этот довод Любви Николаевны сокрушил меня. Любовь Николаевна сидела нынче в сером пиджаке и серой юбке английского стиля. Стиля определенно делового, причем при взгляде на Любовь Нико-

лаевну являлась мысль: «Вот такие пиджаки дамы надевают, когда ходят получать «Знак Почета». Однако и иные ордена могли подойти к этому пиджаку. Несколько смягчала строгость английского стиля белая шелковая блуза с кружевным воротником. В ней было нечто от французов. Впрочем, и у французов случались Жанны д'Арк. И в блузе с кружевами Любовь Николаевна выглядела начальницей, способной править морями.

— А не влетело ли вам? — обратился к Любови Николаевне Филимон. — Не вмазали ли вам? Не накрутили ли хвост? Не выпороли ли розгами и не отправили ли под зад коленом обратно к нам?

— Я не имею сейчас возможности разъяснить вам все, — сказала Любовь Николаевна. — Но удивлена резким тоном вашего ко мне обращения.

— Филимон, ты на самом деле нынче неучтив, — деликатно и как бы призывая к добродушию произнес Каштанов.

— А ты замолкни! — сказал ему Филимон.

Получалось так, что Филимон Грачев становился чуть ли не застрельщиком в команде пайщиков кашинского сосуда, чуть ли не лидером атак в ней. Или нет. Команды в квартире дяди Вали не было. Общность распалась. Она и прежде была условной, а теперь, вышло, распалась вовсе. Все утонуло в своих интересах, и каждый думал, как именно ему быть дальше и что может именно ему принести поворот истории с Любовью Николаевной. Один Филимон Грачев для себя, видимо, все установил, разбомбил вертикали и горизонталы, угадал подъемный вес штанги, а потому и позволял себе быть неучтивым. Остальные же или просто оказались погребенными под сводами слов Любови Николаевны и к свету еще не выбрались, или же, не испытывая особых расстройств, имели причины для дипломатичного поведения. Серову, наверное, хотелось бы держаться подальше от неопознанных сил, однако — из-за каракулевой шапки — он был вынужден тихо сидеть со всеми. У Михаила Никифоровича образовались свои сложности. Валентин Федорович Зотов месяцы уже пребывал, возможно, душой не здесь. Бурлакин и Шубников, вероятно, не желали пока раскрывать себя. А Филимону Грачеву все было ничо чем.

— Или вас разводным ключом огрели и подкрутили? — бесстрашно продолжал Филимон. — Или в вас новые лампы вставили?

— Все это сложнее, чем вам кажется, — мягко сказала Любовь Николаевна. — И проще. Но даже и терминами из энциклопедий и словарей, с которыми вы, Филимон Авдеевич, познакомились теперь, объяснить я вам все не смогу.

— Энциклопедий вы не трогайте! — обиделся Филимон. — Ясно! Выпороли ее там за то, что она ничего не умеет и не знает, за ее загулы и оскорбления земного достоинства и спустили снова на нас. А мы вроде ничего и не значим!

— Где это — там? — поинтересовался Каштанов.

— Ну там! — махнул рукой Филимон.

Глядя сейчас на Любовь Николаевну, нельзя было и представить, что ее где-нибудь, пусть и в самых необыкновенных, непонятных и недоступных останкинских умах местах, выпороли и тем более открутили разводным ключом, достойным невымытых рук мрачного водителя Лапшина. И упоминание о загулах и каких-либо других нравственных отступлениях Любови Николаевны, казалось, могло быть вызвано лишь особой неприязнью воображения Филимона Грачева. Любовь Николаевна походила нынче (не забудем и о пришедших мне на ум англичанках и французенках) и на женщину — детского хирурга, только что спасшую безнадежных детей, в думах она была и с нами и со спасенными детьми: не проспала ли у них осложнения дежурные сестры и ординаторы? И на знатную швейницу, заседавшую вечером при Маслюкове в жюри конкурса теледевушек, походила Любовь Николаевна. Эта дама двадцати примерно семи годов никогда не

бывала в загулах, и она не могла чего-либо не знать и не уметь. Она пребывала в светлом пути. Но, конечно, Любовь Николаевна была и просто женщиной, ее прекрасно причесали, может быть, и сам Судакиан на Сивцевом Вражке, и кремы, и туши, и краски, и помады деликатно участвовали в ее макияже. Совсем не являлись сегодня мысли о тверских лимитчицах, и не возникали в квартире Валентина Федоровича запахи деревенского утра, парного молока, желтых кувшинок в тихой воде. Души Любовь Николаевна употребила экзвизитные, из дальних земель, такие мы дарим подругам раз в году. И то не в каждом... Любовь Николаевну можно было сейчас же избирать в исполнительные органы.

— А вы-то что? — сказал Филимон. — Что притихли? Отчего нам-то терпеть? И всему Останкину!

— Она ведь не желает нам ничего дурного, — виновато улыбнулся Каштанов. Как бы стыдясь чего-то — самого себя, что ли? — он опустил глаза и смотрел теперь, видно, что наслаждаясь зрелищем, на ноги Любови Николаевны. Ноги ее были красивые, крепкие.

— Мне наплевать на то, что она желает! — сказал Филимон. — Важно, чего я не желаю. И из-за чего меня-то впрямь намерены? Из-за того, что я тогда сходил за бутылками? За копытные? Я и так проучен. Я не пью вин. Я уже не амбивалентный, а горячительным напиткам предпочитаю умственный и гиревой спорт.

— А как же пиво? — спросил Михаил Никифорович.

— Наконец-то заговорил! — обрадовался Филимон. — А то все сидишь в плену и в дурмане. Пиво не горячительный напиток, а прохладительный, и ты как аптекарь должен это знать! Тут я делаю уступку организму. А пиво не дальше от безалкогольных напитков, нежели кефир. В жигулевском меньше трех градусов, в автоматном же и двух не наберется.

— На Королева не должны разбавлять, — сказала Любовь Николаевна.

— С Филимоном трудно спорить, — обратился к Любови Николаевне Каштанов. — Он у нас энциклопедист.

— Филимон, — поинтересовался Бурлакин, — ты не состоишь в переписке с Дидеротом? Или с Монтескье?

— Я даты в скобках помню, — с упреком сказал Филимон. — Хотя, случись оказия, не постеснялся бы задать Д'Аламберу два вопроса. Но что мы друг друга болтовней отрываем от сути!

А ведь действительно отрывали.

Суть же была такая.

Любовь Николаевна не упразднена и не исчерпана, она по-прежнему раба и берегиня. Но она и не та, что была до возвращения. Она лучше, надежнее в делах. И вариант у нее — один. Срок ее присутствия вблизи нас ей определен вечный. То есть вечный этот срок для нас. Пока не прекратится существование каждого из нас, пока не кончатся наши сны и прогулки на земле со вдыханием ароматов чертополохов, смазочных масел, конских навозов, с питьем пива на улице Королева, пока не иссякнут наши заботы, пока не вычеркнут нас из списков жилищных контор, покидать Москву Любовь Николаевна имеет право лишь на время. Пора знакомств прошла, открылись закономерности и необходимости. Теперь: да — да, нет — нет, и не вправо, и не влево. Это касается не нас, а ее, Любови Николаевны. Сбоям, уступкам, неряшливой невнимательности не положено быть. Опять же это относится к ней, а для нас она раба и берегиня, такая ее функция в мироздании, это обстоятельство она просит нас принять во внимание. По ее наблюдениям и чувствам, мы, несмотря ни на что, природы разумные, с благородными задатками, привитыми семьей, учебными заведениями и обществом, а потому она надеется, что мы понимаем ее тяготы, сами задумываемся о собственных ответственностях перед тем же мирозданием и не станем вредить себе же, не оттолкнем ее, Любовь Нико-

лаевну, снова, не создадим ей препятствий, не опустимся до эгоистических уловок, увиливаний и капризов. Нынче Любовь Николаевна не старалась вызвать у нас какие-либо жалости и сочувствия, войти в свое положение не просила, глаза ее не влажнели. Иногда в интонациях Любви Николаевны прорывалась и напористая самоуверенность надсмотрщицы, какая позже, в восьмидесятые годы, услышалась мне в одной из вершинных строк отечественной песенной лирики: «...без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом...» Впрочем, чаще Любовь Николаевна все же подчеркивала, что мы — ее превосходительства, а она у нас в услужении.

Однако и при этих словах следовало встать и уйти.

Но никто не встал. И никуда не ушел.

Было в Любви Николаевне нечто прежде нам не предъявленное (или предъявленное, но не столь очевидно), что не давало ни встать, ни кашлянуть, ни щелкнуть комара на носу. Курильщики не дымили. В силу привычки и всегдашнего желания обнаруживать инвариантность бытия и существ я, то и дело соскальзывая мыслью с зеркальной гладкости реального, ставил Любовь Николаевну в разные ряды знакомого мне. Оттого и являлись англичанки, Жанны д'Арк, детские хирурги, швейницы, надсмотрщицы и прочие. Однако эти отсылы Любви Николаевны вдале от нее самой были лишь облегчением моего восприятия ее сегодняшней. Но я чувствовал: я не точен, то — внешнее, а Любовь Николаевна нынче будто... будто... будто жрица! Но опять это было «будто», и опять я помещал Любовь Николаевну в футляр стереотипа. И все же именно жрицей представлялась мне теперь Любовь Николаевна. Она сидела почти застывшая, лишь изредка коротко, красиво и резко двигались ее руки, чаще правая, но мне казалось, что Любовь Николаевна змеится и ввинчивается куда-то в пространстве, отчего в тесноте квартиры Валентина Федоровича создается энергетическое напряжение, оно — как руль или как власть, и во мне, внутри меня, происходило словно бы винтообразное движение, ритмически подчиняющее меня Любви Николаевне. И силы, неизвестные нам, лились, видно, в ней и исходили из нее, сияния и взлески возникали возле Любви Николаевны — и вблизи ее рук и над головой у самых волос (сзади — витой пучок и белая лента в нем). И нечто слышалось, но не треск и не шипение, а обрывной звон чембало или даже дрожание восьми виолончелей, случался и гул синтезатора... Мы были примяты к своим местам во времени и пространстве (или в судьбе?) и не роптали.

А Филимон Грачев взроптал. Слова и силы Любви Николаевны не одолели и не убедили его. Филимон выскользнул. Ропот же Филимона не сразу, но разбудил живое и в нас.

Серов осторожно напомнил Любви Николаевне о документе, крепость коему должна была придать кровь Валентина Федоровича Зотова. Он не стал называть документ актом о капитуляции, но решился сказать, что на том документе вблизи дяди Валиной кровавой печати стояла и подпись Любви Николаевны.

— Я помню, — кивнула Любовь Николаевна.

— И что же? — спросил Серов. — Договорные документы с вашей подписью вы вольны и отменить? Разве после этого смогут они, — Серов показал на собравшихся, а себя и не имел в виду, — вам верить и быть с вами в каких-либо отношениях?

— Тот документ спорный, и в нем есть строки, дающие возможности для разных толкований.

— То есть?

— Перечитайте документ, — сказала Любовь Николаевна.

— Валентин Федорович Зотов — объяснил Серов, — к сожалению, считает, что документ утерян или украден.

— Валентин Федорович, — сказала Любовь Николаевна, — осмот-

рите, пожалуйста, полку в хозяйственном ящике в туалете, над смывным устройством.

Искорка выжглась возле виска Любви Николаевны, в спящую иглу выпрямилась, но погасла, кто-то тронул четвертую струну арфы и тут же отвел пальцы.

— Подкинули! — клятвенно сказал дядя Валя, вернувшись с розовой бумагой. — Уворовали и подбросили!

Документ был зачитан.

И выяснилось, что текст собственного сочинения мы забыли. Мне казалось, что документ вышел кратким, но это было не так. Помнились из него лишь два пункта: о возвращении здоровья Михаилу Никифоровичу и об открытии автомата на улице Королева. В бумаге же теснились и другие требования и соображения. Но, может быть, сегодня нам явился и не наш текст, а документ поддельный? Филимон так и утверждал, но Валентин Федорович Зотов признал свою руку и ошибки этой руки, признал он и свою кровь.

Любовь Николаевна тихо напомнила, что и ее кровь есть на розовой бумаге. Однако кровь Любви Николаевны Филимона Грачева не волновала, это, вероятно, была и не кровь вовсе, а вот для установления подлинности крови дяди Вали он потребовал экспертизу. Никто его не поддержал.

«Ну и ладно! — сказал Филимон. — Но капитуляция есть капитуляция! И ее никто не отменял!» Однако тут мы сразу вынуждены были вспомнить спор: брать пленных или не брать. Увлечшись формой договорного документа, мы тогда сами и запутались. Валентин Федорович Зотов — в ту пору трибун и победитель — не соглашался брать пленных, но, если их не брать, они подлежали уничтожению, однако уничтожить Любовь Николаевну никто не пожелал. И она оказалась в положении просто пленной, к тому же положение ее облегчали оплошные слова, записанные, если помните, дядей Валею по инерции или неизвестно зачем: «Сдалась на милость победителей...» Пленной же мы обязаны были отвести место пребывания, пусть и с охраной, и определить виды занятий и работ. «Где это записано?» — возмутился Филимон. «А вот», — указала Любовь Николаевна. До поры до времени она, Любовь Николаевна, не напоминала о себе, не сутяжничала, не отстаивала свои права, полагая, что поводов для этого нет. Место пребывания ей было определено и был указан начальный фронт работ. Пиво потекло, а что касается Михаила Никифоровича, то он сам не способствовал излечению. Что же дальше? Ей, Любови Николаевне, нужны занятия хотя бы для того, чтобы оправдать расходы на содержание пленной. То есть никаких расходов вовсе и не потребует, тут дело особенное, ни для кого в Останкине она не может быть обузой в денежном, что ли, смысле, однако...

— Уважаемая Любовь Николаевна, — неожиданно ледяно сказал Серов, и видно было, что он сдерживал возмущение, — не будете ли вы любезны объяснить, отчего вы отложили на несколько месяцев толкование вашего статуса после так называемого акта о капитуляции? Что же вы раньше-то не делали заявлений, а жили совсем не пленной и именно не в лагерном бараке? Все это выглядит... будто вы ожидали в засаде...

— Это не так, — резко сказала Любовь Николаевна. — Изменились обстоятельства. Я теперь иная. Тогда мне было тяжело, я обиделась на вас, я решила: ну их, будь как будет, пусть и сгину. Но не сгинула... Сейчас же я не имею права на обиды. И не имею права сгинуть.

— Я говорил: опять сядет на шею, — пробормотал дядя Валя.

— Что? — спросила Любовь Николаевна.

— Да нет, я так, — смутился дядя Валя.

— А мы вот возьмем и ликвидируем акт о капитуляции! — заявил Филимон.

— Тогда я тем более, — воскликнула Любовь Николаевна, — долж-

на быть рабой и берегиней! Да поймите же наконец! Так случилось, что я обязана присутствовать в ваших жизнях. Это неизбежно и для меня и для вас. Для всех вас.

— Давайте уточним,— насторожился я.— Кто тут «все»?

— Все, кто здесь,— сказала Любовь Николаевна.— И даже Николай Ильич Бурлакин.

— Почему «даже»!— возмутился Бурлакин.— Это Каштанов, может быть, здесь «даже». Или собака дяди Вали.

— Замолчи!— повелел Шубников.

— Все— это прежде всего люди, собравшие деньги для покупки известного сосуда, и человек, совершивший покупку и доставивший вещь хозяевам.

— Я, стало быть, вас на руках носил,— сказал Филимон.— Кабы знал...

— Но Каштанов-то теперь без пая!— ринулся в атаку Бурлакин.— И Михаил Никифорович должен Шубникову три рубля.

— Два пятьдесят,— поправил честный Шубников.

— Эти два пятьдесят посторонние,— сказала Любовь Николаевна.

— Мы будем оспаривать!— обиделся Бурлакин.

— Что касается Каштанова, то при уступке или продаже пая купчую оформили на Шубникова,— сказала Любовь Николаевна,— а Каштанову были обещаны комиссионные, эти обещанные комиссионные и удерживают Игоря Борисовича Каштанова вблизи пайщиков.

Шубников с Бурлакиным переглянулись. Как же они оконфузились? Как же не уплатили комиссионные вовремя?

— Если вы так считаете...— заерзал на стуле Каштанов и словно бы обрадовался.— Я сочту за честь... Но зачем? Я откажусь от комиссионных...

— Уже поздно,— сказала Любовь Николаевна, и искорка проскочила над Каштановым.

Далее Любовь Николаевна сказала вот что. Стало быть, люди, при которых она возобновляется как раба и берегиня, названы, не объяснен пока Бурлакин, но по просьбе и завещанию Шубникова как владельца одного из основных паев Бурлакин признан сопровождающим лицом Шубникова, его пажом, оруженосцем, счетным устройством, наперсником, другом детства, а потому ему даны гостевые и совещательные возможности. Любовь Николаевна сообщила, что на этот раз каждый из нас имеет право отказаться, предположим, временно от общения с ней и от ее услуг, при этом, если все же возникнет необходимость, возвращение к ним будет мгновенным. Возможно, объявила Любовь Николаевна, исполнение и единичных, разовых, выборочных или чрезвычайных желаний, то есть как бы включение контакта с ней на краткие сроки. В ее личностных подходах к каждому каких-либо предпочтений не должно быть ни из-за обстоятельств жизни, ни из-за увлечений и слабостей, со всеми ее отношения станут равными, одной положенной, неутомленной энергии. Другое дело: величина вкладов каждого известна, а сколько дадено, на столько и будет отпущено. И при отказе пайщика от услуг о доле его не забудут, ни на кого другого она не прольется. Иные размышляют сейчас, как и прежде, о несвободе, об отсутствии выбора, о принуждении и гнете, но они не правы. Вольному воля. Зато она, Любовь Николаевна, от нас не свободна, и потому, чтобы позднее не было повода думать о ее небрежности или легкомыслии, ей хотелось бы получить письменные заверения об отчуждении от нее или о временном отказе от велений.

— Я признаю Любовь Николаевну рабой и берегиней!— великодушно произнес Шубников. Впрочем, тут же внес оговорку: — Но это не значит, что я стану опираться на вас, Любовь Николаевна, или излучать вам просьбы. Сейчас как никогда я рассчитываю на самого себя. Хотя от вас я не отчуждаюсь.

Каштанов сказал растроганно:

— Я обращусь к вам, Любовь Николаевна, но лишь в крайнем случае... Из уважения к вам... Из симпатии к вам...

— Спасибо,— сказала Любовь Николаевна.— А вы, Валентин Федорович, как вы? Хотелось бы услышать вас.

— А что говорить?— сказал дядя Валя, и обреченность была в его голосе.— Проживайте в Москве, если уж так все вышло.

— Дядя Валя! Дядя Валя!— покачал головой Филимон.

— Я напишу заверение,— сказал Михаил Никифорович.— Какое там нужно вашей канцелярии? Что я сам по себе и что вы сами по себе, что вы добродетельная и что претензий к вам я не имею. Сейчас или потом?

— Лучше сейчас,— сказала Любовь Николаевна.

— Любовь Николаевна,— благонамеренно заговорил Серов,— а нельзя ли обойтись без письменных заверений об отказе? Они не для моей природы. Нельзя ли устно? Да и не особенно взыщут-то за мои шесть копеек...

— Я верю вашему слову,— сказала Любовь Николаевна.

— Примите и от меня,— поспешил я,— устное заявление, сами знаете о чем, на мои-то четыре копейки.

— Хорошо,— согласилась Любовь Николаевна.

— А я — шиш! — заявил Филимон.— Для вас — она есть! А для меня — ее нет! Нет! Вы поняли? А вы якобы отказались, устранились и думаете, что освободились от нее! Шиш! Вы всегда будете помнить о том, что она есть и что отказ ваш временный! Вы увязнете в ней! И как это вы смиряетесь с тем, что вас впрягают неизвестно во что!

— Вы искажаете реальное, Филимон Авдеевич,— задумчиво сказала Любовь Николаевна.— И слишком вы горячитесь.

— А вы на меня не воздействуйте... Дядя Валя, что же вы-то как утихший лежц на крючке? Вы же, было время, призывали ее уничтожить!

— Призывал,— подтвердил дядя Валя.— Теперь поздно. Буянить без толку. Пусть она будет. Поучись терпению.

— Это не вы, дядя Валя! Вам бы еще раз надо стекла расколоть-матить в автобусе, чтобы вы очнулись.

— Что нам сидеть дальше-то? — сказал Серов.— Все разъяснено. День-то хоть и выходной, а дела — при нас.

— Но, может быть, стоит оговорить все мелочи? — предложила Любовь Николаевна.— Чтобы потом не возникло неясности.

Однако мы уже находились в состоянии нетерпения, а оно требовало заканчивать беседу и куда-нибудь нестись. Мы понимали, что не только не оговорены все мелочи, но и многое существенное еще следовало оговорить и оспорить, но сидеть уже не могли. И, несомненно, успокоило нас (вычетом Шубникова, Буракина и Филимона) объявленное право на отказы и отчуждения. Все ведь могло быть и хуже. А так, пусть Любовь Николаевна — пленная, и пусть она — раба и берегиня, если ей нравится быть и той и этой, и пусть она, обогатившись нашими расписками, останется при своих должностях, функциях в мироздании, мы же отправимся на квартиры, в магазины и снова забудем о ней.

Любовь Николаевна согласилась с тем, что частные обстоятельства можно будет решить не сейчас, а в рабочем порядке, она была знакома с этим все улаживающим порядком. Видно, ей и еще что-то хотелось услышать от нас. А мы молчали. При напоре и избытии информации, свойственных нашим дням и способных извратить существование человека, у многих из нас при включенных телевизорах, при проглатывании печатных изданий на кондопожской бумаге, в разговорах и в ученых собраниях выработалась охранительная манера выбирать нужное — слушая краем уха, глядя краем глаза, в полуполете внимания и мысли опережая дикторов и собеседников, определяя: мол, все и так ясно, и хватит, и довольно. А Любовь Николаевна опять призы-

вала нас ко вниманию. «Отчего же вы не спросите, — сказала наконец она, — в каком месте я буду пребывать?» «Нам-то не все равно? — ответил Филимон. — Где хотите, там и ютитесь!» «Ютится теперь, — сказала Любовь Николаевна, — скорее Михаил Никифорович». Она замолчала, видимо ожидая слов Михаила Никифоровича, но тот не пожелал вступать в объяснения с ней и обществом. Мы же смутились. В ее напоминании возник сюжет, о котором люди сторонние могли строить только догадки. Снимая напряжение, Любовь Николаевна сообщила: «С жильем я устроюсь. А исцеление Михаила Никифоровича я готова начать теперь же, было бы желание пациента...» Но Михаил Никифорович оборвал ее: «Я не пациент. В особенности ваш».

Все притихли. И собака дяди Вали как бы заснула. Стали расходиться. Ушел Филимон, ушел я, ушел Серов, ушел Михаил Никифорович... Остался ли кто в квартире дяди Вали, продолжил ли кто разговор с Любовью Николаевной, превратив его в доверительный или даже в секретный, я не знаю. Я понесся прочь с улицы Кондратюка возбужденный, в ожидании радости, будто бы в сумке у меня лежало пляжное полотенце, а за углом перекатывало киммерийскую гальку августовское море. Но за углом темнел снег. И скоро на душе стало неспокойно, уныло...

37

Шубников был виден теперь на Цандера в пункте проката за чуть припотевшими или омытыми мокрым снегом стеклами, в дверном проеме, в таинственных недрах услуг населению. Он выглядел грустным, рассеянным или, напротив, сосредоточенным на чем-то важном, вселенском. Мне он кивал надменно, надменность его вызвала желание посоветовать Шубникову произвести замену очков на монокль. Или на лорнет. Но на совет не хватало духу. Нечто мессианское угадывалось теперь в Шубникове. Будто застывал он в фаустовских раздумьях и печалях не на пороге здания бытовых служб о двух покоях, а на пороге великих перемен в нем самом и в Останкине. Совсем не напоминал он шалопаю и скандалиста, вваливавшегося, бывало, в троллейбус с радостным объявлением публике: «Пригласительный!» И такой ли Шубников портил огрызками, обломками ржавого лезвия, струей из собственного родника следы Любви Николаевны? Он как будто бы и не был месяцами назад дерганым, егозливым, со скomorошескими повадками. И, казалось, Шубников стал стройнее, благороднее ликом, а в движениях его угадывалась мужественность бывалого офицера голубых беретов, не проявляемая без нужды. Впрочем, всем известно, Шубников учился возле Ростокинского акведука, в кинематографическом колледже, с перелетами — на трех факультетах, — и мог поставить себя. Но ведь не просто взял — и поставил! Причина возникла. Или цель... Так или иначе, прежде Шубников был пятакон, прыгающим по асфальту, а стал памятным рублем, выпущенным к юбилею Менделеева. Или по-иному. Прежде он гулял граненым стаканом при автоматах газированной прохлады, ныне нигде не гулял, а стоял в бельэтаже серванта богемским бокалом в ожидании пира. Впрочем, все не так. Я написал «в фаустовских раздумьях», потом подумал: «А отчего же не байронических?» Тем более что иногда Шубников выглядел лишним и глубоко разочарованным. Возможно, «байроническое» пришло мне на ум не зря. «Байроническое» труднее, чем «фаустовское», совместить с «раздумьями», но легче — с «позой». А не исключено, что Шубников застывал не в раздумьях, а в позе. Он-то способен был и сыграть и присвоить себе чужие хитоны и треуголки.

Кем он был сейчас в пункте проката, останкинские жители лишь гадали, но не разнорабочим. Говорили: он уже директор. Но и прежний директор выходил на работу. Говорили: Шубников согласился стать художественным руководителем пункта проката. Сомневались, нужен ли прокату художественный руководитель, подумавши, отве-

чали самим себе: а почему бы нет, интеллектуальный уровень населения растёт, Пугачева не может удовлетворить всех, есть ведь и в Останкинском парке — среди дубов и черемух, катальных горок, теней Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой, Николая Петровича Щереметева, старшего и младших Аргуновых, среди мраморных бюстов, квасных киосков и лебедей дяди Вали — главный режиссер парка, отчего же не быть в пункте проката художественному руководителю? Тем более сам пункт проката на Цандера внезапно взгрел в Москве, он упоминался, а что в нашем веке важнее упоминаний? «Вы слышали?» — говорили о нем «А как же! Слышали!» Возрастал спрос на Дробного, и в городе утверждали, что на Цандера прокату, столь самобытному, тесно и необходимо Шубникову дать творческую мастерскую, прежде всего для нее подошло бы помещение пивного автомата на улице Королева, обитое под дерево, о чем уже писали в исполком деятельные жители. «Мы ему такую мастерскую устроим, ноги не уволочит!» — грозился мрачный водитель Лапшин, хотя сам пока рубил капусту гильотиной для китайских собак... Не имело значения, кем назывался Шубников в платежных ведомостях, он несомненно выбивался в лидеры, а стало быть, не мог обрести успокоение.

Но спокойно ли жили мы? От Любви Николаевны мы ушли, а — куда? Да и не ушли, как помните, а поспешили. Мы — это Филимон, я, Серов, а за нами и Михаил Никифорович. Вырвавшись из квартиры дяди Вали будто бы из жидкости пузырьками газа, мы перешучивались на улице, но не освобожденно, а скорее нервно. Обсуждений не затевали, а разлетелись кто куда. В коротких же пересмешках (Михаил Никифорович молчал) чаще всего подскакивали и кувыркались слова «капитуляция», «пленная», «контрибуция», «раба», «берегиня», «чепуха-то какая!». Казалось, очевидной и объяснимой была потребность в смехе, причем в утробном, школьном, который, начавшись тихо в уголку, чуть ли не под партой, затем выворачивает весь класс и не может прекратиться. Опять мы оказались внутри игры, описание которой в сборниках для затейников могло быть напечатано рядом с правилами горелок или «я садовником родился»... Но очищающего смеха не случилось. Да и до смеха ли было? Выходило, что прав оказался Филимон Грачев: куда бы мы ни удалялись от Любви Николаевны — она была. И нам предстояло всегда помнить о том, что она есть и что удаление от нее временное или обманное, и если выйдет крайний случай, можно будет ее и попросить... Предстояло жить в соблазне воспользоваться особенными возможностями. Мне от этого было не по себе. И можно было предположить, что и Любовь Николаевна обязана держать нас в поле знания, чтобы в случае нужды не опоздать и не оплошать в исполнении своей роли в мироздании. Но не захочет ли она тогда и без всякого крайнего случая опять принудить нас к чему-либо, на ее взгляд, благородному и целесообразному?

Однако тек песок в аптекарских часах.

И дня через три я уже думал о Любви Николаевне спокойнее. И даже новости пункта проката не настораживали и не вызывали мысли об энергии Любви Николаевны, они вполне объяснялись энергией Шубникова. Тем более что он обещал на Любовь Николаевну не опираться. Зная же о стараниях городских служб быта устроить московским жителям совершенство благ, и удивляться было нечему.

Пункт проката радовал усердием и свежим взглядом на свою природу и задачи. Скажем, в новом объявлении любителям классики и старинных романсов, проживающим в Останкине, предлагался (для домашнего музицирования на квартирах и званых вечерах без выпивки, но с чаем) бас. Уточнялось: «Бас типа Шаляпина с применением новейших достижений лазерной техники, светотехники, пиротехники, сантехники и биотехники». В случае необходимости баса мог сопровождать лектор-популяризатор О. В. Сдвижков в лаковых

туфлях, знающий тексты гимнов более чем тридцати государств мира на языках народов. При Сдвижкове, понятно, оплата услуги увеличивалась в полтора раза. Имело ли успех домашнее музицирование, сказать затрудняюсь. Останкинские жилища все же тесны для баса. Правда, могли привлечь новейшие достижения. Было известно, что они хороши при группах, скажем, Стаса Намина, и, наверное, интересно было ощутить их в сочетании с классическим басом и гимнами в подлинниках, тем более что достижения сантехники могли оказаться полезными в останкинских квартирах.

По-прежнему в витрине на Цандера Михаил Никифорович наблюдал большой портрет Петра Дробного. Мое же недоумение вызвала фотография доктора Шполянова. Шполянов был не бас, его басом и не аттестовали. Я сначала подумал, что это не тот Шполянов, тем более что он жил в Орехове-Борисове, но на фотографии были шполянские очки и его же усы. Рядом предлагалась в прокат лошадь с арабскими и кабардинскими кровями из гаража дома № 12 по улице Кондратюка для прогулок по саврасовским местам Лосиног острова. Сообщалось, что с середины апреля в прокат будет сдаваться конский навоз под огурцы для членов садово-огороднических товариществ. А доктор Шполянов был рекомендован останкинским жителям как игрок в преферанс. Я позвонил Шполянову в клинику, спросил, с чего это он вдруг. Ну ладно объявил бы себя ловцом налимов или сплясал бы людям матросский танец «яблочко», что ему удавалось в праздничные дни. Шполянову было не до меня и не до Останкина, его ожидали в операционной. Пробормотав: «Шутят люди. Потом разберусь», он опустил трубку. Я решил потребовать ответа у Шубникова, но через день рядом с фотографией Шполянова увидел иное предложение. Шполянов как преферансист был отменен, а назывался наемным котом. Я отыскал Шубникова, произнес слова возмущения, за такие шутки, мол, и физиономию попортить стоит. Шубников не смутился, а будто бы испытал ко мне жалость и сказал, что кому-то надо ловить в Останкине мышей и исполнять другие обязанности котом, а на руках у него есть заявление Шполянова, и оно подлинное и искреннее. Я стоял сконфуженный. Шполянов — серьезный человек, но вдруг он для смены впечатлений и разнообразия жизни захотел побыть и наемным котом? Я опять позвонил ему, но Шполянова не было дома, спрашивать же его жену о вечерних планах мужа я не решился.

«Не втянули ли в дело дядю Валю?» — задумался я. Был момент, когда мне казалось: Валентин Федорович лишь делает вид, что он вулкан погасший и умиротворенный. И еще мне казалось, что дядя Валя готовит себя в боевики-одиночки, а сам скрытничает. Теперь приходили мысли: а не пересидел ли дядя Валя в своем скрытничестве, не замерзла ли его душа? Но ведь и ложными могли быть мои предположения о скрытничестве дяди Вали. В сухие дни я дважды заглядывал из любопытства на Лебединую площадку. Самого дядю Валю в те дни я там не обнаружил. А приятельниц дяди Вали мне показывали, кое-что я и услышал о них. Но я не считал их присутствие вблизи Валентина Федоровича способным отвлечь его от генеральных устремлений. Это были женщины достойные. Труженицы. И, пожалуй, самостоятельные. В них чувствовался житейский напор. Одевались они без шика, но опрятно. Они вообще были опрятные. Такие дядю Валю не могли погубить. А скрасить его жизнь, наверное, могли. И вряд ли бы им удалось изменить устремления и натуру Валентина Федоровича, вспомните, какие годы ковали эту натуру. Впрочем, что годы и эпохи по сравнению с какой-нибудь дамой!

И вот однажды возле Аргуновской я увидел дядю Валю со знакомой мне (правда, издаека) женщиной. Валентин Федорович нес лыжи, и женщина несла лыжи. Оба они были в куртках «аляска», возможно, гонконгского пошива, и вязаных шапочках динамовских цве-

тов. Шли от десятикилометровой оздоровительной останкинской лыжни. Спутница дяди Валя была румяная, сытная, улыбалась чему-то. Дядя Валя же и теперь казался унылым и сломленным.

— Здравствуйте, дядя Валя,— сказал я. И поклонился спутнице Валентина Федоровича.

— Здравствуй,— не слишком обрадовался мне дядя Валя, потом сказал как бы вынужденно: — Знакомьтесь... Это Анна Трофимовна... Ньюша... А это...— И он представил меня.

— Пончики горячие были хороши после лыж. И кофе,— сказала Анна Трофимовна.

— Какие еще пончики!..— поморщился дядя Валя.

Тут я заметил, что на щеке Анны Трофимовны осталась сахарная пудра от пончиков.

— Ерунда от все... Все эти пампушки с трюфелями...

Я бы обрадовался, если бы Валентин Федорович вспомнил тут же, какие трюфели он кушал в компании хотя бы с Сережкой Эйзенштейном, и посрамил пончики Останкинского парка, но дядя Валя будто забыл о своей дружбе с Эйзенштейном и уж тем более с маршалом Жуковым.

— Автобус-то ваш, дядя Валя, ездит?

— Ездит. Что ему сделается? Но я, может, и уйду с базы...

— И куда?

— Зовут в пункт проката на Цандера... Мне и от дома близко, и...— Дядя Валя взглянул на Анну Трофимовну и замолчал.

— Там разве нужен водитель? — удивился я.

— Я не водителем,— сказал дядя Валя.

— Но кем?

— Кем зовут... Если дам согласие. И можно совмещать...

— Здесь большие перспективы,— уверила Анна Трофимовна.

— Я еще не дал согласие! — нервно вскрикнул дядя Валя.

— Что ты, Валентин, что ты! — принялась успокаивать его Анна Трофимовна. Но, похоже, она его укоряла.

На мгновение мне представилось, что лыжи Анны Трофимовны качнулись и готовы опуститься на голову Валентина Федоровича, но мало ли что может померещиться на Аргуновской улице.

— Собака-то ваша жива?

— Жива. Толстая, сытая собака,— сказала Анна Трофимовна.— Мы ее хорошо кормим. Ничего не жалеем. Для нее, собаки...

Дядя Валя не сразу, но подтвердил кивком уверения Анны Трофимовны.

— А не приставят ли вас в прокате к ротану Мардарию?

— Зачем?

— Ну, чтобы водить его по Останкину для оказания услуг.

— При чем тут Мардарий? — сказал дядя Валя, не глядя мне в лицо.— Никаких Мардариев! Я не знаю никаких Мардариев!

— Вы волнуете Валентина Федоровича,— расстроено сказала мне Анна Трофимовна.— А ему нужен покой после лыж...

— Извините,— смутился я.— Действительно...

— Тебе-то еще не предлагали дела в пункте проката? — спросил вдруг дядя Валя.— Ты у них тоже в списке.

— И что же я должен делать по этому списку?

— Не знаю... может, писать сочинения.

— Какие сочинения?

— Ну, для детей сочинения... Которые на дом. Или для студентов... Форма услуг.

— Чрезвычайно польщен. А по другим предметам им от меня ничего не надо?

— Для других предметов пригласят других.

— Валентин Федорович! — строго сказала Анна Трофимовна.

— Я ничего не говорил. Я ничего не знаю,— будто опомнился дядя Валя.— Ты от меня ничего не слышал.

— Я слышал,— сказал я.— А вы еще и не дали согласия.

— Валентин Федорович даст согласие,— пообещала Анна Трофимовна.— Но необходимо обговорить условия. Чтобы потом не жалеть об автобазе. Водители автобуса на дорогах не валяются.

Теперь Анна Трофимовна гордилась Валентином Федоровичем.

— Дядя Валя, утверждают, что вы хотите бункер завести?

— Кто? — встревожился дядя Валя.— Какой бункер? Никаких бункеров! Пошли, пошли! Все! Покой и отдых! Пошли!

И лыжники отправились в сторону улицы Кондратюка.

Стало быть, и меня решили приставить к делу! И какая же будет установлена плата, гадал я, за сочинения, скажем, для восьмиклассников и какая для балбесов выпускников? Скольکو потянет образ Печорина и скольکو — Беликова, добавка выйдет Беликову за футляр и насмешки гимназистов или скидка? Я было хотел заглянуть к Шубникову, но раздумал: если им надо, сами отыщут, кстати, может, у них возникнет и конкурс на исполнителей, а мои способности вызовут и не самые лестные оценки. Что было волноваться заранее... Впрочем, относительно своего устройства в пункт проката я и не намерен был волноваться.

«Но, может быть,— подумал я,— вовсе не лишним окажется пункт проката для москвичей? Вдруг Шубников и Бурлакин остепенились, вдруг их порывы благородны и честны, а мы записали их в разбойники, подозреваем неизвестно в чем. Ведь если дать человеку с головой, выдумкой и энергией волю, он сообразит и устроит такое, что десять министерств не одолеют. И отчего же не нужны Останкину наемные коты?»

Но тут же я и охладил себя. Подумал: а не подбирается ли к нам Любовь Николаевна с другого бока, желая добиться от нас того, чего не смогла добиться в мае и летом? Не собирается ли она воздать нам за непослушание: не следуете моим советам, так будьте лишь исполнителями школьных программ и наемными котами. Однако и эти мысли следовало оставить. В них были очевидные упрощения. И не знал я, как относится Любовь Николаевна к делам на улице Цандера.

При встрече с Михаилом Никифоровичем я между прочим спросил, призывали ли его Шубников и Бурлакин. Выяснилось, что призывали. К чему и с какой целью, Михаил Никифорович мне не сказал. Михаил Никифорович был задумчив, курил. Я узнал от него, что послезавтра Любовь Николаевна покинет его квартиру. «Куда же она съедет?» — спросил я. «В общежитие на Кашенкин луг», — сказал Михаил Никифорович. «Это же почти Останкино», — покачал я головой. «Да,— согласился Михаил Никифорович,— только за телецентром». «А почему именно в общежитие?» — запоздало удивился я. Михаил Никифорович разъяснил, что в общежитии на Кашенкинском лугу у Любови Николаевны есть знакомые отделочницы и они взяли ее поселить. «Повезет отделочницам,— сказал я, но сразу же перевел разговор: вдруг ирония моя могла показаться неприятной Михаилу Никифоровичу? — И что же ты ответил на призыв Шубникова?» «А ничего не ответил», — сказал Михаил Никифорович. «Дядя Валя собрался к нему. Но какие-то там тайны. И будто бы дядя Валя чего-то стыдится...» «Похоже», — кивнул Михаил Никифорович.

Вот и весь разговор.

(Окончание следует)

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

★

ВЕЧНОЙ МУЖЕСТВЕННОСТИ ВЗМАХ

Марина Цветаева (1892—1941) — один из ярчайших поэтов XX века. Значительная часть ее творческого наследия уже известна советскому читателю по многочисленным журнальным и книжным публикациям. Однако многое из написанного поэтом по тем или иным причинам осталось за пределами отечественных изданий. Данная публикация частично восполняет этот пробел. Тексты стихотворений печатаются по библиографически редким прижизненным изданиям М. Цветаевой с учетом ее позднейшей правки, посмертному сборнику «Лебединый стан» и беловым рукописям, хранящимся в ЦГАЛИ.

:

Трудно и чудно — верность до гроба!
Царская роскошь — в век площадей!
Стойкие души, стойкие ребра,—
Где вы, о люди минувших дней?!

Рыжим татаринoм рыщет вольность,
С прахом равняя алтарь и трон.
Над пепелищами — рев застольный
Беглых солдат и неверных жеп.

11 апреля 1918.

:

Есть колосья тучные, есть колосья тоние.
Всех равно без промаху бьет Господен цеп.
Я видала нищего на Соборной площади:
Сто годов без малости — и просил на хлеб.

Борода столетняя! Чай забыл, что смолoду
Есть беда насущнее, чем насущный хлеб.
Ты на старость, дедушка, просишь, я — на молодость...
— Всех равно без промаху бьет Господен цеп!

5 августа 1918.

* * *

Есть в стане моем — офицерская прямоть,
 Есть в ребрах моих — офицерская честь.
 На всякую мýку иду не упрямясь:
 Терпенье солдатское есть!

Как будто когда-то прикладом и сталью
 Мне выправили этот шаг.
 Недаром, недаром черкесская талья
 И тесный ремённый кушак.

А зóрю заслышу — Отец ты мой рóдный! —
 Хоть райские — штурмом — врата!
 Как будто нарочно для сумки походной —
 Раскинутых плеч широта.

Всё может — какой инвалид ошалелый
 Над люлькой мне песенку спел...
 И что-то от этого дня — уцелело:
 Я слово беру — на прицел!

И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром
 Скрежещет — корми-не корми! —
 Как будто сама я была офицером
 В Октябрьские смертные дни .

Сентябрь 1920.

Пожалей

— Он тебе не муж? — Нет.
 — Веришь в воскресенье душ? — Нет.
 — Так чего ж?
 Так чего ж поклоны бьешь?
 — Отойдешь —
 В сердце — как удар кулашный:
 Вдруг ему, сыночку, страшно —
 Одному?

— Не пойму!
 Он тебе не муж? — Нет.
 — Веришь в воскресенье душ? — Нет.
 — Гниль и плесень?
 — Гниль и плесень.
 — Так наплюй!
 Мало ли живых на рынке?

— Без перинки
 Не простыл бы! Ровно ссыльно-
 Каторжный какой — на досках!
 Жёстко!

* К стихотворению имеется авторская помета: «(NB! Эти стихи в Москве назывались «про красного офицера», и я полтора года с неизменным громким успехом читала их на каждом выступлении по неизменному вызову курсантов)». В статье «Поэт и время» (1932) Цветаева так объясняла успех стихотворения: «Есть нечто в стихах, что важнее их смысла: их звучание. И солдаты Москвы 20 г<ода> не ошибались: стихи эти, по существу своему, гораздо более про красного офицера (и даже солдата), чем про белого, который бы их не принял, который (1922 г.—1932 г.) их и не принял» («Юность», 1987, № 8, стр. 55).

— Черт!
 Он же мертв!
 Пальчиком в глазную щелку —
 Не сморгнет!
 Пес! Смердит!
 — Не сердись!
 Видишь — пот
 На виске еще не высох.
 Может, кто еще поклоны в письмах
 Шлет, рубашку шьет...

— Он тебе не муж? — Нет!
 — Веришь в воскресенье душ? — Нет.
 — Так айда! — Нагрудник вяжет...
 Дай-кось я с ним рядом ляжу...
 Зако-ла-чи-вай!

Декабрь 1920.

Чужому

Твои знамена — не мои!
 Врозь наши головы.
 Не изменить в тисках змеи
 Мне Духу-Голубю.

Не ринусь в красный хоровод
 Вкруг древа майского.
 Превыше всех земных ворот —
 Врата мне — райские.

Твои победы — не мои!
 Иные грезилась!
 Мы не на двух концах земли, —
 На двух созвездиях!

Ревнителю двух разных звезд —
 Так что же делаю —

Я, перекидывая мост
 Рукою смелую?!

Есть у меня моих икон
 Ценней — сокровище.
 Послушай: есть другой закон,
 Законы — кроющий.

Пред ним — всё клонятся клинки,
 Всё меркнут — яхонты.
 Закон протянутой руки,
 Души распахнутой.

И будем мы судимы — знай —
 Одною мерою.

И будет нам обоим — Рай,
 В который — верую. *

28 ноября 1920.

.

Слезы — на лице моей облезлой!
 Глыбой — чересплечные ремни!
 Громче паровозного железа,
 Громче левогрудой стукотни —

Дребезг подымается над щебнем,
 Скрежетом по рощам, по лесам.
 Точно кто вгрызающимся гребнем
 Разом — по семи моим сердцам!

Родины моей широкоскулой
 Матерный, бурлацкий перегар,
 Или же — вдоль насыпи сутулой
 Шепоты и топоты татар.

* В ЦГАЛИ также хранится другой ранний автограф стихотворения, озаглавленный «А. В. Луначарскому (после выступления в Доме печати)». В 30-е годы оно вошло в цикл из трех стихотворений под названием «Чужой».

Или мужичонка, на крут должный,
 За косу красу — да о косяк?
 (Может людоедица с Поволжья
 Скаблом — о ребяческий костяк?)

Аль Степан всплясал, Руси кормилец?
 Или же за кровь мою, за труд —
 Сорок звонарей моих взбесились —
 И боярыню свою поют...

Сокол-перерезанные пути!
 Шибче от кровавой колеи!
 — То над родиной моею лютой
 Исстрадавшиеся соловьи.

10 февраля 1922.

* * *

По загарам — топор и плуг.
 Хватит — смуглому праху дань!
 Для ремесленнических рук
 Дорога трудовая рань.

Здравствуй — в ветхозаветных тьмах —
 Вечной мужественности взмах!

Мхом и медом дымящий плод —
 Прочь, последнего часа тварь!
 В меховых воротах дремот
 Сарру-заповедь и Агарь-

Сердце — бросив...
 — ликуй в утрах,
 Вечной мужественности взмах!

24 июня 1922.

Из цикла «Бог»

* * *

О, его не привяжете
 К вашим знакам и тяжестям!
 Он в малейшую скважинку,
 Как стройнейший гимнаст...

О, его не догоните!
 В домовитом поддоннике
 Бог — ручною бегонией
 На окне не цветет!

Разводными мостами и
 Перелетными стаями,
 Телеграфными сваями
 Бог — уходит от нас.

Всё под кровлею сводчатой
 Ждали зова и зодчего,
 И поэты и летчики —
 Всё отчаивались!

О, его не приучите
 К пребыванью и к участи!
 В чувств оседлой распутице
 Он — седой ледоход.

Ибо бег он — и движется.
 Ибо звездная книжица
 Вся: от Аз и до Ижицы —
 След плаща его лишь!

5 октября 1922.

Из цикла «Маяковскому»

* * *

Зерна огненного цвета
Брошу на ладонь,
Чтоб предстал он в бездне света
Красный как огонь.

Советским вельможей,
При полном Синоде...
— Здорово, Сережа!
— Здорово, Володя!

Мост новый заложен,
Да смыт половодьем.
Все то же, Сережа!
— Все то же, Володя.

Умаялся? — Малость.
— По общим? — По личным.
— Стрелялось? — Привычно.
— Горелось? — Отлично.

А певчая стая?
— Народ, знаешь, тертый!
Нам лавры сплетая.
У нас, как у мертвых,

— Так стало-быть по ж и л?
— Пасс в нек'тором роде.
...Негоже, Сережа!
...Негоже, Володя!

Прут. Старую Росту
Да завтрашним лаком.
Да не обойдешься
С одним Пастернаком.

А помнишь, как матом
Во весь свой эстрадный
Басище — меня-то
Обкладывал? — Ладно

Хошь, руку приложим
На ихнем безводье?
Приложим, Сережа?
— Приложим, Володя!

Уж... — Вот-те и шляпка
Любовная лодка!
Ужель из-за юбки?
— Хужей из-за водки.

Еще тебе кланяется...
— А что добрый
Наш Льсан Алексаныч?
— Вон — ангелом! — Федор

Опухшая рожа.
С тех пор и на взводе?
Негоже, Сережа.
— Негоже, Володя.

Кузьмич? — На канале:
По красные щеки
Пошел. — Гумилев Николай?
— На Востоке.

А впрочем — не бритва —
Сработано чисто.
Так стало-быть бита
Картинка? — Сочится.

(В кровавой рогоже,
На полной подводе...)
— Все то же, Сережа!
— Все то же, Володя!

— Приложь подорожник.
— Хорош и коллодий.
Приложим, Сережа?
— Приложим, Володя.

А коли все то же,
Володя, мил-друг мой —
Вновь руки наложим,
Володя, хоть рук — и —

А что на Расее
На матушке? — То есть
Где? — В Ээсэсере
Что нового? — Строят.

Нет.
— Хоть и нету,
Сережа, мил-брат мой,
Под царство и это
Подложим гранату!

Родители — рóдят,
Вредители — точут,
Издатели — водят,
Писатели — строчут.

И на растворенном
Нами Восходе —
Заложим, Сережа!
— Заложим, Володя! *

Савойя, август 1930.

* На оттиске стихотворения, хранящемся в архиве Базельского университета (Швейцария), имеется помета Цветаевой: «(NB! Встреча на том свете Маяковского и Есенина)». Эпиграф — измененная цитата из романа А. Белого «Петербург». Упоминаются поэты Блок, Сологуб и Гумилев.

Бальмонту

(К тридцатипятилетию поэтического труда)

Дорогой Бальмонт!

Почему я приветствую тебя на страницах журнала «Своими путями»? Плененность словом, следовательно — смыслом. Что такое — своими путями? Тропинкой, вырастающей под ногами и зарастающей по следам: место не хожено-не езжено, не автомобильное шоссе роскоши, не ломовая громыхалка труда,— свой путь, без пути. Беспутный! Вот я и дорвалась до своего любимого слова! Беспутный — ты, Бальмонт, и беспутная — я, все поэты беспутные,— своими путями ходят. Есть такая детская книжка, Бальмонт, какого-то англичанина, я ее никогда не читала, но написать бы ее взялась:— «Кошка, которая гуляла сама по себе»². Такая кошка — ты, Бальмонт, и такая кошка — я. Все поэты такие кошки. Но, оставаяя кошек и возвращаясь к «Своим путям»:

Пленяют меня в этом названии равно-сильно оба слова, возникающая из них формула. Что поэт здесь назовет своим, кроме пути? Что сможет, что захочет назвать своим,— кроме пути? Все остальное — чужое: «ваше», «ихнее», но путь — мой. Путь — единственная собственность «беспутных»! Единственный возможный для них случай собственности и единственный, вообще, случай, когда собственность — священна: одинокие пути творчества. Таков ты был, Бальмонт, в Советской России,— таким собственником! — один против всех — собственников, тех или иных. (Видишь, как дорого тебе это название!)

И пленяет меня еще, что не «своим», а — «своими», что их много, путей! — как людей, как страстей. И в этом мы с тобою — братья.

Двое, Бальмонт, побывали в Аиде живыми: бытовой Одиссеей и небесный Орфей. Одиссеей, помнится, не раз спрашивал дорогу, об Орфее не сказано, доскажу я. Орфея в Аид, на свидание с любимой, привела его т о с к а: та, что всегда ходит — своими путями! И будь Орфей слеп, как Гомер, он все равно нашел бы Эвридику.

Юбилярам (пошлое слово! заменим его триумфатором) — триумфаторам должно приносить дары, дарю тебе один вечер твоей жизни — пять лет назад — 14-го мая 1920 г.³ — твой голодный юбилей в московском «Дворце Искусств»⁴.

Слушай:

Юбилей Бальмонта

(Запись)

Юбилей Бальмонта во «Дворце Искусств». Речи Вячеслава⁵ и Со-логуба⁶. Гортанный взволнованный отрывистый значительный — ибо плохо говорит по-русски и выбирает только самое необходимое — привет японочки Инамэ⁷. Бальмонт — как царь на голубом троне-кресле. Цветы, адреса. Сидит, спокойный и не смущенный, на виду у всей залы. Рядом, в меньшем кресле, старый Вячеслав — немножко Magister Tinte⁸. Перед Бальмонтом, примостившись у ног, его «невесточка» — Аля⁹, с маком в руке, как маленький паж, сзади — Мирра¹⁰, дитя Солнца, сияющая и напряжённая, как молодой кентавр, рядом с Миррой — в пышном белом платье, с розовой атласной сумочкой в черной руке, почти неподвижно пляшет Алина однолетка — дворцовая цыганочка Катя. А рядом с говорящим Вячеславом, почти прильнув к нему — какой-то грязный 15-летний оболтус, у которого непрестанно течет из носу. Чувствую, что вся зала принимает его за сына Вячеслава. («Бедный поэт!» — «Да, дети великих отцов»... — «Хоть бы ему носовой платок завел»... «Впрочем — поэт,— не замечает!»...) — А еще

больше чувствую, что этого именно и боится Вячеслав — и не могу — давалось от смеха — вгрызаюсь в платок...

Вячеслав говорит о солнце соблазняющем, о солнце слепом, об огне неизменном (огонь не растет — феникс сгорает и вновь возрождается — солнце каждый день восходит и каждый день заходит — отсутствие развития — неподвижность). Надо быть солнцем, а не как солнце. Бальмонт — не только влюбленный соловей, он костер самосжигающий.

Потом приветствие английских гостей — толстая мужеподобная англичанка — шляпа вроде кэпи с ушами. Мелькают слова: пролетариат — Интернационал. И Бальмонт: «Прекрасная английская гостья», — и чистосердечно, ибо: раз женщина — то уже прекрасна и вдвойне прекрасна — раз гостья (славянское гостеприимство!).

Говорит о союзе всех поэтов мира, о нелюбви к слову «Интернационал» и о замене его «всенародным»... «Я никогда не был поэтом рабочих, — не пришлось, — всегда вводили какие-то другие* пути. Но может быть, это еще будет, ибо поэт — больше всего: завтрашний день»... О несправедливости накрытого стола жизни для одних и объедков для других. Просто, человечески. Обеими руками подписываюсь.

Кто-то с трудом протискивается с другого конца залы. В руках моего соседа слева (сиджу на одном табурете с Еленой¹¹), очищая место, высоко и ловко, широко уверенным нерусским движением — века вежливости! — взлетает тяжеленное пустое кресло и, описав в воздухе полукруг, легко, как игрушка, опускается тут же рядом. Я, восхищенно: «Кто это?» Оказывается — английский гость. (Кстати, за словом «гость» совершенно забываю: коммунист. Коммунисты в гости не ходят, — с мандатом приходят!) Топорное лицо, мало лба, много подбородка — лицо боксера, сплошной квадрат.

Потом — карикатуры. Представители каких-то филиальных отделений «Дворца Искусств» по другим городам. От Кооперативных товариществ какой-то рабочий, без остановки — на аго и ого — читающий, — нет, списывающий голосом! — с листа бумаги приветствие, где самое простое слово: многогранный и многострунный.

Потом я с адресом «Дворца Искусств». — «От всей лучшей Москвы»... И — за неимением лучшего — поцелуй. (Второй в моей жизни при полной зале!)

И японочка Инамэ — бледная, безумно-волнующаяся: «Я не знаю, что мне вам сказать. Мне грустно. Вы уезжаете. Константин Дмитриевич! Приезжайте к нам в Японию, у нас хризантемы и ирисы. И...» Как раскатившиеся жемчужины, японский щебет. («До свидания», должно быть?) Со скрещенными ручками — низкий поклон. Голос глуховатый, ясно слышится биение сердца, сдерживаемое задыхание. Большие перерывы. — Ищет слов. — Говор гортанный, немножко цыганский. Личико желто-бледное. И эти ручки крохотные!

— «Русские хитрее японцев. У меня был заранее подготовлен ответ», — и стихи ей — прелестные.

Потом, под самый конец, Ф. Сологуб — старый, бритый, седой, — лица не вижу, но думается — похож на Тютчева.

— «Равенства нет и слава Богу, что нет. Бальмонт сам бы был в ужасе, если бы оно было. — Чем дальше от толпы, тем лучше. — Поэт, не дорожи любовью народной. — Поэт такой редкий гость на земле, что каждый день его должен был бы быть праздником. — Равенства нет, ибо среди всех, кто любит стихи Бальмонта, много ли таких, которые слышат в них еще нечто, кроме красивых слов, приятных звуков. Демократические идеи для поэта — игра, как монархические идеи**, поэт играет всем. Единственное, чем он не играет. — слово».

Никогда не рукоплещущая, яростно рукоплещу. Ф. Сологуб гово-

* Свои! (Прим. М. Цветаевой.)

** «Доигралась» — Блок и Гумилев. (Прим. М. Цветаевой.)

рит последним. Забыла сказать, что на утверждение: «Равенства нет» — из залы угрожающие выкрики: «Неправда!» — «Как кому!»

Бальмонт. Сологуб. Сологуб Бальмонта не понял: Бальмонт, восстающий против неравенства вещественного и требующий насыщения низов, — и Сологуб, восстающий против уравнивания духовного и требующий раскрепощения высот. Перед хлебом мы все равны (Бальмонт), но перед Богом мы не равны (Сологуб). Сологуб, в своем негодовании, только довершает Бальмонта. — «Накормите всех!» (Бальмонт) — «и посмотрите, станут ли все Бальмонтами» (Сологуб). Не может же Сологуб восставать против хлеба для голодного, а Бальмонт — против хлеба для отдельного. Так согласив, рукоплещу обоим. Но — какие разные! Бальмонт — движение, вызов, выпад, Весь — здесь. Сологуб — покой, отстранение, чуждость. Весь — там. Сологуб каждым словом себя изымает из залы, Бальмонт — каждым — себя зале дарит. Бальмонт — вне себя, весь в зале, Сологуб вне залы, весь в себе. Восславляй Бальмонт Сиракузских тиранов и Иоанна Грозного — ему бы простили. Восславляй Сологуб Спартака и Парижскую коммуны — ему бы — не простили: т о н а, каким бы он восславлял! За Бальмонта — вся стихия человеческого сочувствия, за Сологуба — скрежет всех уединенных душ, затравленных толпой и обществом. С кем я? С обоими, как всегда.

Кроме всего прочего, Сологуб нескрываемо-неискоренимо барственен. А барство в Советской России еще пушиль грех, нежели духовное избранничество.

Кусевицкий¹² не играл: «хотел прийти и сыграть для тебя, но палец болит» (зашиб топором), говорит о своем восторге, не находящем слов. Мейчик¹³ играет Скрябина, Эйгес¹⁴ «Сказку» (маленькие жемчуга) на слова Бальмонта. Были еще женщины: Полина Доберт в пенсне, Варя Бутягина (поэтесса), Агнеса Рубинчик (кажется, тоже), но все это неважно.

Главное: Бальмонт, Вячеслав и Сологуб. И Инамэ. (Описала плохо, торопилась.)

Множество адресов и цветов. Наконец, все кончено. Мы на Поварской. Аля, в моей коричневой юбке на плечах, en guise de mantille*, с Еленой и Миррой впереди, я иду с Бальмонтом, по другую сторону Варя.

Бальмонт, с внезапным приливом кошачьей ласковости:

— Марина! Возьмите меня под руку.

Я, шутиливо:

— Ты уже с Варей под руку. Не хочу втроем.

Бальмонт, молниеносно:

— Втроем нету, есть два вдвоем: мое с Варей и мое с Вами.

— По половинке на брата? Вроде как советский паек. (И, великодушно:) Впрочем, когда целое — Бальмонт...

У Бальмонта в руке маленький букет жасмина, — все раздарил. И вдруг, в отчаянии: «Я позабыл все мои документы!» (Об адресах.) И: «Мне не хочется домой! Почему все так скоро кончается?! Только что вошел во вкус, и уже просят о выходе! Сейчас бы хорошо куда-нибудь ужинать, сидеть всем вместе, перекидываться шутками...»

И А. Н.¹⁵, идущая позади нас:

— Марина! Знаете, как говорила Ниночка Бальмонт¹⁶, когда была маленькая? «То, что я хочу — я хочу сейчас!» и еще: «Я люблю, чтобы меня долго хвалили!»

— Весь Бальмонт!

У дома Бальмонтов нас нагоняет Вячеслав. Стоим под луной. Лицо у Вячеслава доброе и растроганное.

* Наподобие мантильи (франц.).

— Ты когтил меня, как ястреб,— говорит Бальмонт.— Огонь — солнце — костер — феникс...

— На тебя не угодишь. С кем же тебя было сравнить? Лев? но это «только крупный пес»,— видишь, как я все твои стихи помню?

— Нет, все-таки — человек! У человека есть — тоска. И у него, единственного из всех существ, есть эта способность: закрыть глаза и сразу очутиться на том конце земли, — и т а к поглощать...

— Но ты непоглощаем, нерастворим.

Не помню что. О Венеции и Флоренции, кажется. Мечта Бальмонта о том, «как там по ночам стучат каблучки» — и Вячеслав, укрываясь в Царьград своей мысли: — Человек существо весьма проблематическое. Сфинкс, состоящий из: Льва — Тельца — Орла... И — Ангела. Так ведь?

Москва, 14-го мая 1920 г.

Марина Цветаева¹⁷.

PS. Милый Бальмонт! Не заподозри меня в перемене фронта: пишу по-старому¹⁸, только печатаюсь по-новому.

М. Ц.

Прага, 2-го апреля 1925 г.

Печатается по прижизненному изданию («Своими путями». — Прага, 1925, № 5) с сохранением некоторых особенностей авторской пунктуации. Очерк посвящен поэту Константину Дмитриевичу Бальмонту (1867—1942). Кроме публикуемой прозы Цветаева посвятила ему стихотворение 1919 года. В 1936 году она произнесла юбилейную речь «Слово о Бальмонте» на посвященном ему благотворительном вечере в Париже (впоследствии текст выступления был опубликован в сербско-хорватском переводе; текст русского оригинала не сохранился). О дружбе Цветаевой и Бальмонта в годы революции рассказано в ее ранней прозе «Чердачное» (1919—1920). Сравнительная характеристика Бальмонта и Брюсова содержится в ее очерке «Герой труда» (1925). Бальмонт написал о Цветаевой воспоминания под названием «Где мой дом?» (1924).

¹ Русский студенческий журнал, выходивший в Праге в 1924—1926 годах; одним из его редакторов был С. Я. Эфрон, муж М. И. Цветаевой.

² Популярная сказка Р. Киплинга (1865—1936).

³ Дата приводится по старому стилю.

⁴ «Дворец Искусств» — одно из послереволюционных творческих объединений художников и литераторов, размещавшееся в бывшем особняке графа Соллогуба (ныне улица Воровского, 52).

⁵ Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, переводчик, драматург, историк.

⁶ Соллогуб Федор Кузьмич (настоящая фамилия Тетерников, 1863—1927) — поэт, прозаик, драматург, переводчик.

⁷ Японская поэтесса.

⁸ Мастер кукол, персонаж сказки Э. Т. А. Гофмана (1776—1822) «Шелкунчик».

⁹ Дочь М. И. Цветаевой, Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975).

¹⁰ Дочь К. Д. Бальмонта и Е. К. Цветковской.

¹¹ Цветковская Елена Константиновна (1880—1943), последняя жена К. Д. Бальмонта.

¹² Кусевский Сергей Александрович (1874—1951) — дирижер, виртуоз-контрабасист, музыкальный деятель.

¹³ Мейчик Марк Наумович (1880—1950) — пианист, автор популярной биографии А. Н. Скрябина и воспоминаний о композиторе.

¹⁴ По-видимому, речь идет об одном из братьев Эйгесов, Константине Романовиче (1875—1950), композиторе, пианисте, педагоге.

¹⁵ Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876—1921) — писательница, жена Ф. К. Соллогуба.

¹⁶ Дочь К. Д. Бальмонта от второго брака.

¹⁷ Любопытно сравнить это описание юбилея Бальмонта с дневниковой записью, посвященной тому же событию, девятилетней дочери Цветаевой Ариадны (см.: А. Эфрон, «Страницы воспоминаний». — «Звезда», 1973, № 3)

¹⁸ То есть по старой орфографии. Цветаева не перешла на новое правописание ни в России, после орфографической реформы 1918 года, ни позднее, живя за границей.

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ: ПРОЗА, СТИХИ

«Колымские рассказы» — главная книга Варлама Тихоновича Шаламова (1907—1982). Он провел в тюрьмах и лагерях семнадцать лет. С 1929 по 1932 год — в североруральских лагерях. С 1937-го по 1951-й — в колымских.

Мы печатаем семь рассказов Шаламова.

Вместо предисловия — несколько мыслей писателя о своей прозе.

Автор «КР» («Колымских рассказов». — Рег.) считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растрясение для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики.

В «КР» взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего. Похоже ли их настоящее на звериное или это человеческое настоящее?

В «КР» нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра, — если брать вопрос в большом плане, в плане искусства.

Если бы я имел иную цель, я бы нашел совсем другой тон, другие краски — при том же самом художественном принципе.

«КР» — это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями.

Потребность в такого рода документах чрезвычайно велика. Ведь в каждой семье, и в деревне и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян, были люди, или родственники, или знакомые, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель — да и не только русский, — который ждет от нас ответа...

Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, — для которых овладение материалом, его художественное преобразование не является чисто литературной задачей — а долгом, нравственным императивом.

Подобно тому как Экзюпери открыл для людей воздух, — из любого края жизни придут люди, которые сумеют рассказать о знаемом, о пережитом, а не только о виденном и слышанном.

Есть мысль, что писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо и близко знать свой материал. Что писатель должен рассказывать читателю на языке тех самых читателей, от имени которых писатель пришел исследовать этот материал. Что понимание виденного не должно уходить слишком далеко от нравственного кодекса, от кругозора читателей.

Орфей, спустившийся в ад, а не Плутон, поднявшийся из ада.

По этой мысли, если писатель будет слишком хорошо знать материал, он перейдет на сторону материала. Изменятся оценки, сместятся масштабы. Писатель будет измерять жизнь новыми мерками, которые непонятны читателю, пугают, тревожат. Неизбежно будет утрачена связь между писателем и читателем.

По этой мысли — писатель всегда немножко турист, немножко иностранец, литератор и мастер чуть больше, чем нужно.

Образец такого писателя-«туриста» — Хемингуэй; сколько бы

он ни воевал в Мадриде. Можно воевать и жить активной жизнью и в то же время быть «вовне», все равно — «над» или в стороне.

Новая проза отрицает этот принцип туризма. Писатель — не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли.

Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад. Выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преобразенное и освещенное огнем таланта.

Писатель становится судьей времени, а не «подручным» чьим-то, и именно глубочайшее знание, победа в самых глубинах живой жизни дает право и силу писать. Даже метод подсказывает.

Как и мемуаристы, писатели новой прозы не должны ставить себя выше всех, умнее всех, претендовать на роль судьи.

Напротив, писатель, автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех. Только здесь — успех и доверие. Это — и нравственное и художественное требование современной прозы.

Писатель должен помнить, что на свете — тысяча прав.

Чем достигается результат?

Прежде всего серьезностью жизненно важной темы. Такой темой может быть смерть, гибель, убийство, Голгофа... Об этом должно быть рассказано ровно, без декламации.

Краткостью, простотой, отсечением всего, что может быть названо «литературой».

Проза должна быть простой и ясной. Огромная смысловая, а главное, огромная нагрузка чувства не дает развиться скороговорке, пустяку, погремашке. Важно воскресить чувство. Чувство должно вернуться, побеждая контроль времени, изменение оценок. Только при этом условии возможно воскресить жизнь.

Проза должна быть простым и ясным изложением жизненно важного. В рассказ должны быть введены <нрзб>, подсажены детали — необычные новые подробности, описания по-новому. Само собой новизна, верность, точность этих подробностей заставит поверить в рассказ, во все остальное не как в информацию, а как в открытую сердечную рану. Но роль их гораздо больше в новой прозе. Это всегда деталь-символ, деталь-знак, переводящая весь рассказ в иной план, дающая «подтекст», служащий воле автора, важный элемент художественного решения, художественного метода...

«Колымские рассказы» — попытка поставить и решить какие-то важные нравственные вопросы времени, вопросы, которые просто не могут быть разрешены на другом материале.

Вопрос встречи человека и мира, борьба человека с государственной машиной, правда этой борьбы, борьба за себя, внутри себя — и вне себя. Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда.

Автор разрушает рубежи между формой и содержанием, вернее, не понимает разницы. Автору кажется, что важность темы сама диктует определенные художественные принципы. Тема «КР» не находит выхода в обыкновенных рассказах. Такие рассказы — опшленные темы. Но вместо мемуара «КР» предлагают новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же время — преобразенная действительность, преобразенный документ.

Так наз. лагерная тема — это очень большая тема, где разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно.

Автор «КР» стремится доказать, что самое главное для писателя — это сохранить живую душу¹.

¹ Из неопубликованного фрагмента «О прозе», хранящегося в ЦГАЛИ СССР.

1

НАДГРОБНОЕ СЛОВО

Все умерли...

Николай Казимирович Барбэ <один из организаторов российского комсомола>², товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, бригадир, расстрелян за невыполнение плана участком, на котором работала его бригада, расстрелян по рапорту молодого начальника участка, молодого коммуниста Арма — он получил орден за 1938 год и позже был начальником прииска, начальником управления — большую карьеру сделал Арм. У Николая Казимировича Барбэ была бережно хранимая вещь — верблюжий шарф, голубой, длинный, теплый шарф, настоящий шерстяной. Его украли в бане воры — просто взяли, да и все, когда Барбэ отвернулся. И на следующий день Барбэ поморозил щеки, сильно поморозил — язвы так и не успели зажить до его смерти...

Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной «работяги» не хотели работать. А Иоська работал. Он был гораздо сильнее, ловчее меня. Но он понимал хорошо, зачем нас сюда привезли. И не обижался на меня, работавшего плохо. В конце концов старший смотритель (так и назывались горные чины в 1937 году — как в царское время) велел дать мне «одиночный замер» — что это такое, будет рассказано особо. А Иоська работал в паре с кем-то другим. Но места наши в бараке были рядом, и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа:

— Рютин! Одевайся.

И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнущий бараном человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногого нашлись шахматы, и кожаный человек отложил их в сторону.

— Это — мои, — сказал торопливо Рютин. — Моя собственность. Я платил деньги.

— Ну и что же? — сказала овчина.

— Оставьте их.

Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила:

— Тебе они больше не понадобятся...

Умер Дмитрий Николаевич Орлов, бывший референт Кирова. С ним мы пилили дрова в ночной смене, на прииске, и, обладатели пилы, работали днем на пекарне. Я хорошо помню, сколь критическим взглядом обвел нас инструментальщик-кладовщик, выдавая пилу, обыкновенную поперечную пилу.

— Вот что, старик, — сказал инструментальщик. Нас всех в то время звали стариками, не то что двадцать лет спустя. — Можешь наточить пилу?

— Конечно, — сказал Орлов поспешно. — А разводка есть?

— Топором разведешь, — сказал кладовщик, уразумевший уже в нас людей знающих, не то что эти интеллигенты.

Орлов шел по тропке согнувшись, засунув руки в рукава. Пилу он держал под мышкой.

— Послушайте, Дмитрий Николаевич, — сказал я, догоняя Орлова вприпрыжку. — Я ведь не умею. Никогда пилы не точил.

Орлов повернулся ко мне, воткнул пилу в снег и надел рукавицы.

— Я думаю, — сказал он назидательным тоном, — что всякий человек с высшим образованием обязан уметь точить и разводить пилу.

Я согласился с ним.

² Наиболее важные разночтения, варианты текста сохранены и отмечены при публикации угловыми скобками.

Умер экономист Семен Алексеевич Шейнин, напарник мой, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти. Мужества у него хватало. Как-то я получил посылку — то, что посылка дошла, было великой редкостью, и в ней были авиационные фетровые бурки и больше ничего. Как плохо знали наши родные условия, в которых мы жили. Я понимал отлично, что бурки украдут, отнимут у меня в первую же ночь. И я их продал, не выходя из комендатуры, за сто рублей десятнику Андрею Бойко. Бурки стоили семьсот, но это была выгодная продажа. Ведь я мог купить сто килограммов хлеба, а если не сто, то купить масла, сахару. Масло и сахар последний раз я ел в тюрьме. И я купил в магазине целый килограмм масла. Я помнил о его полезности. Сорок один рубль стоило это масло. Я купил днем (работали ночью) и побежал к Шейнину — мы жили в разных бараках — отпраздновать посылку. Купил я и хлеба...

Семен Алексеевич взволновался и обрадовался.

— Ну как же я? Какое я имею право? — бормотал он, взволнованный чрезвычайно. — Нет, нет, я не могу...

Но я уговорил его, и, радостный, он побежал за кипятком.

И тотчас я упал на землю от страшного удара по голове.

Когда я вскочил, сумки с маслом и хлебом не было. Метровое листовичное полено, которым меня били, валялось около койки. И все кругом смеялись. Прибежал Шейнин с кипятком. Много лет потом я не мог вспомнить об этой краже без страшного, почти шокового волнения. А Семен Алексеевич — умер.

Умер Иван Яковлевич Федяхин. Мы с ним ехали одним поездом, одним пароходом. Попали на один прииск, в одну бригаду. Он был философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза. Колхозы, как известно, первые организовывались эсерами в двадцатых годах, а группа Чайнова — Кондратьева представляла их интересы наверху. Иван Яковлевич и был деревенским эсером — в числе того миллиона, который голосовал за эту партию в 1917 году. За организацию первого колхоза он и получил срок — пятилетний срок заключения.

Как-то в самом начале, первой колымской осенью 1937 года, мы работали с ним у грабарки — стояли на знаменитом приисковом конвейере. Тележек-грабарок было две, отцепных, пока коногон вез одну на промысловый прибор, двое рабочих едва успевали насыпать другую. Курить не успевали, да и не разрешалось это зрителями. Наш коногон зато курил — огромную сигарку, свернутую чуть не из полпачки махорки (махорка еще тогда была), и оставлял на борту забоя нам затянуться.

Коногоном был Мишка Вавилов, бывший заместитель председателя треста «Промимпорт», а забойщиками Федяхин и я.

Не спеша, подбрасывая грунт в грабарку, мы говорили друг с другом. Я рассказал Федяхину об уроке, который давался декабристам в Нерчинске, по «Запискам Марии Волконской» — три пуда руды на человека.

— А сколько, Василий Петрович, весит наша норма? — спросил Федяхин.

Я подсчитал — 800 пудов примерно.

— Вот, Василий Петрович, как нормы-то выросли...

Позднее, во время голода зимой, я доставал табак — выпрашивал, копил, покупал — и менял его на хлеб. Федяхин не одобрял моей «коммерции»:

— Не идет это вам, Василий Петрович, не надо вам это делать...

Последний раз я его видел зимой у столовой. Я дал ему шесть обеденных талонов, полученных мной в этот день за ночную переписку в конторе. Хороший почерк мне иногда помогал. Талоны пропадали — на них были штампы чисел. Федяхин получил обеды. Он

сидел за столом и переливал из миски в миску юшку — суп был предельно жидким, и ни одной жиринки в нем не плавало... Каша-шрапнель со всех шести талонов не наполнила одной полулитровой миски... Ложки у Федяшина не было, и он слизывал кашу языком. И плакал.

Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Кайенны. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно — он не хотел верить, как может он, член Коминтерна, попасть сюда, на советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем он умирал. Это был маленький, слабый человек, побои входили уже в моду... Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся. Он умер одним из первых, из самых счастливых. В Москве он работал в ТАССе одним из редакторов. Русским языком владел хорошо.

— В Кайенне было тоже плохо,— сказал он мне как-то.— Но здесь — очень плохо.

Умер Фриц Давид. Это был голландский коммунист, работник Коминтерна, обвинявшийся в шпионаже. У него были прекрасные выходящие волосы, синие глубокие глаза, ребяческий вырез губ. Русского языка он почти не знал. Я встретился с ним в бараке, набитом людьми так тесно, что можно было спать стоя. Мы стояли рядом, Фриц улыбнулся мне и закрыл глаза.

Пространство под нарами было набито людьми до отказа, надо было ждать, чтоб присесть, опуститься на корточки, потом привалиться куда-нибудь к нарам, к столбу, к чужому телу — и заснуть. Я ждал, закрыв глаза. Вдруг рядом со мной что-то рухнуло. Мой сосед Фриц Давид упал. Он поднялся в смущении.

— Я заснул,— сказал он испуганно.

Этот Фриц Давид был первым человеком из нашего этапа, получившим посылку. Посылку ему послала его жена из Москвы. В посылке был бархатный костюм, ночная рубашка и большая фотография красивой женщины. В этом бархатном костюме он и сидел на корточках рядом со мной.

— Я хочу есть,— сказал он, улыбаясь и краснея.— Я очень хочу есть. Принесите мне что-нибудь поесть.

Фриц Давид сошел с ума, и его куда-то увели.

Ночную рубашку и фотографию у него украли в первую же ночь. Когда я рассказывал о нем позднее, я всегда недоумевал и возмущался. Зачем, кому нужна была чужая фотография?

— Всего и вы не знаете,— однажды сказал некий хитрый собеседник мой.— Догадаться нетрудно. Эта фотография украдена блатными, и как говорят блатные, «для сеанса». Для онанизма, наивный друг мой...

Умер Сережа Кливанский, товарищ мой по первому курсу университета, с которым мы встретились через 10 лет в этапной камере Бутырской тюрьмы. Он был исключен из комсомола в 1927 году за доклад о китайской революции в кружке текущей политики. Университет ему удалось окончить, и он работал экономистом в Госплане, пока там не накалилась обстановка, и Сереже пришлось оттуда уйти. Он поступил по конкурсу в оркестр Театра имени Станиславского и был второй скрипкой — до ареста в 1937 году. Он был сангвиник, остряк, ирония его никогда не покидала. Интерес к жизни, к событиям ее — также.

В этапной камере все ходили почти голыми, поливались водой, спали на полу. Только герои выдерживали сон на нарах. И Кливанский острял:

— Это пытка выпариванием. После нее нас подвергнут пытке вымораживанием на Севере.

Это было точное предсказание, но это не было нытьем труса. На прииске Сережа был весел, общителен. С энтузиазмом стремился овладеть блатным словарем и радовался, как ребенок, выговаривая в надлежащей интонации блатные выражения.

— Вот сейчас я, кажется, припухну,— говорил Сережа, заползая на верхние нары.

Он любил стихи, в тюрьме читал их часто на память. В лагере он не читал стихов.

Он делился последним куском, вернее, еще делился... Это значит, что он так и не успел дожить до времени, когда ни у кого не было последнего куска, когда никто ничем ни с кем не делился.

Умер бригадир Дюков. Я не знаю и не знал его имени. Он был из «бытовиков», к пятьдесят восьмой статье не имел никакого отношения. В лагерях на материке он был так называемым председателем коллектива, настроен был не то что романтически, но собирался «играть роль». Он приехал зимой и выступил с удивительной речью на первом же собрании. У «бытовиков» бывали собрания — ведь и совершившие бытовые и служебные преступления, а равно и рецидивисты-воры считались «друзьями народа», подлежащими исправлению, а не карательному воздействию. В отличие от «врагов народа» — осужденных по 58-й статье. Позднее, когда рецидивистам стали давать четырнадцатый пункт 58-й статьи — саботаж (за отказы от работы), — весь параграф четырнадцатый был изъят из пятьдесят восьмой статьи и избавлен от многолетних и многообразных карательных мер. Рецидивисты считались «друзьями народа» всегда — до знаменитой бериевской амнистии 1953 года включительно. В жертву теории и крыленковской «резинки» и пресловутой «перековки» были принесены многие сотни тысяч несчастных людей.

На том, первом собрании Дюков предложил взять под свое руководство бригаду пятьдесят восьмой статьи — обычно бригадир политических был из их же среды. Дюков был неплохой парень. Зная, что крестьяне работают в лагерях отлично, лучше всех, помня, что пятьдесят восьмой статьи среди крестьян было очень много. В этом следует видеть особую мудрость Ежова и Берии, понимавших, что трудовая ценность интеллигенции весьма невысока, а стало быть, производственную задачу лагеря могут не выполнить, в отличие от политической задачи. Но Дюков в такие высокие соображения не вдавался, вряд ли ему приходило в голову что-либо, кроме рабочих качеств людей. Он отобрал себе бригаду — исключительно из крестьян — и приступил к работе. Это было весной 1938 года. Дюковские крестьяне пробыли всю голодную зиму 37/38 года. Он не бывал со своими бригадниками в бане, а то бы давно понял, в чем дело.

Они работали плохо, их надо было только подкормить. Но в этой просьбе Дюкова начальство отказало самым резким образом. Голодная бригада героически вырабатывала норму, работая через силу. Тогда Дюкова стали обсчитывать: замерщики, учетчики, смотрители, прорабы; он стал жаловаться, протестовать все резче и резче, выработка бригады все падала и падала, питание делалось все хуже. Дюков попробовал обратиться к высокому начальству, но высокое начальство посоветовало соответствующим работникам приписать бригаду Дюкова, вместе с самим бригадиром, к известным спискам. Это было сделано, и все были расстреляны на знаменитой «Сerpантинной».

Умер Павел Михайлович Хвостов. Самое страшное в голодных людях — это их поведение. Все как у здоровых, и все же это — полусумасшедшие. Голодные всегда яростно отстаивают справедливость (если они не слишком голодны, не чересчур истощены). Они — вечные спорщики, отчаянные драчуны. Обычно лишь одна тысячная часть поругавшихся между собой людей (на самых предельных нотах) доводит дело до драки. Голодные вечно дерутся. Споры вспыхивают

по самым диким, самым неожиданным поводам: «Зачем ты взял мое кайло, занял мое место?» Кто покорооче, пониже, норовит дать подножку и сбить с ног противника. Кто повыше — навалиться и уронить врага своей тяжестью, а потом царапать, бить, кусать... Все это бесцельно, не больно, не смертельно — и слишком часто, чтобы заинтересовать окружающих. Драк не разбирают.

Вот таким был Хвостов. Он дрался с кем-нибудь каждый день — в бараке и в той глубокой отводной траншее, которую копала наша бригада. Он был моим з и м н и м знакомым — я не видел его волос. А шапка у него была ушанка с изорванным белым мехом. И глаза — темные, блестящие, голодные глаза. Я читал иногда стихи, и он смотрел на меня как на полоумного.

Он вдруг начал отчаянно бить кайлом по камню траншеи. Кайло было тяжелым, Хвостов бил наотмашь, почти без перерыва бил. Я подивился такой силе. Мы давно были вместе, давно голодали. Потом кайло упало и зазвенело. Я оглянулся. Хвостов стоял, расставив ноги, и шатался. Колени его сгибались. Он качнулся и упал лицом вниз. Он вытянул далеко вперед руки в тех самых рукавицах, которые он каждый вечер сам штопал. Руки открылись — на обоих предплечьях была татуировка. Павел Михайлович был капитан дальнего плавания.

Роман Романович Романов умирал на моих глазах. Когда-то он был у нас кем-то вроде «командира роты», выдавал посылки, следил за чистотой в лагерной зоне — словом, был на таком привилегированном положении, о каком и мечтать не мог никто из нас, пятьдесят восьмой статьи и литёрок, как говорят блатные, или литерников, как произносят это слово высшие чиновники лагерей. Предел наших мечтаний — работа прачки в бане или починочным ночным портным. Все, кроме камня, было нам запрещено московскими «особыми указаниями». Такая бумага шла при деле каждого из нас. А вот Роман Романович был на такой недоступной должности. И даже быстро освоился с ее секретами: как открывать посылочный ящик, чтобы сахар сыпался на пол. Как разбить банку с вареньем, закатить под топчан сухари и сушеные фрукты. Всему этому Роман Романович обучился быстро и знакомств с нами не поддерживал. Он был строго официален и держался, как вежливый представитель того высокого начальства, с которым мы личного общения иметь не могли. Он никогда ничего не советовал нам. Он только разъяснял: письмо можно посылать одно в месяц, посылки выдаются с 8 до 10 вечера в лагерной комендатуре и такое подобное. Мы не завидовали Роману Романовичу, мы только удивлялись. Очевидно, тут сыграло роль какое-то личное случайное знакомство Романова. Впрочем, он был недолго, всего месяца два, командиром роты. Прошла ли очередная поверка штата (время от времени и обязательно к новому году такие поверки устраиваются), или кто-либо дунул, пользуясь красочным лагерным выражением. Но Роман Романович исчез. Он был военный работник, полковник, кажется. И вот через четыре года я попал на «витаминную» командировку, где собирали хвою стланика — единственного вечнозеленого растения здесь. Эту хвою свозили за много сотен верст на витаминный комбинат. Там ее варили, и хвоя превращалась в тягучую коричневую смесь невыносимого запаха и вкуса. Ее заливали в бочки и развозили по лагерям. Тогдашней местной медициной это считалось главным общедоступным и обязательным средством от цинги. Цинга свирепствовала, да еще в сочетании с пеллагрой и прочими авитаминозами. Но все, кому доводилось проглотить хоть каплю этого страшного снадобья, соглашались лучше умереть, чем лечиться подобной чертовщиной. Но были приказы, а приказ есть приказ, и пищу в лагерях не давали до той поры, пока порция лекарства не будет проглочена. Дежурный стоял тут же со специальным крошечным черпачком. Войти в столовую было нельзя, минуя раздатчика стланика, и так то самое, чем особенно дорожил арестант — обед, пи-

ща,— было непоправимо испорчено этой предварительной обязательной зарядкой. Так длилось более десяти лет...

Врачи пограмотней недоумевали — как может сохраняться в этой клейкой мази витамин С, чрезвычайно чувствительный ко всяким переменам температуры. Толку от лечения не было никакого, но экстракт продолжали раздавать. Тут же, рядом со всеми поселками, было очень много шиповника. Но шиповник никто и не рещался собирать — о нем ничего не говорилось в приказе. И только много позже, после войны, в 1952, кажется, году, было получено, опять-таки от имени местной медицины, письмо, где категорически запрещалась выдача экстракта стланика как разрушающе действующего на почки. Витаминный комбинат был закрыт. Но в то время, когда я встретился с Романовым, стланик собирали вовсю. Собирали его доходяги — приисковый шлак, отбросы золотых забоев, полуинвалиды, голодающие хроника. Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои... В бригаду включались новые люди, и молох жевал...

К концу сезона в бригаде Иванова не оставалось никого, кроме бригадира Иванова. Остальные шли в больницу, «под сопку» и на «витаминные» командировки, где кормили один раз в день и хлеба больше 600 грамм ежедневно получить было нельзя. Мы с Романовым работали в ту осень не на сборе хвой. Мы работали на «строительстве». Мы строили себе дом на зиму — летом мы жили в рваных палатках.

Была отмерена шагами площадь, поставлены колышки, и мы втыкали редкую изгородь в два ряда. Промежуток заполнялся кусками заледеневшего мха и торфа. Внутри были нары из жердей, одноэтажные. Посредине стояла железная печка. На каждую ночь нам давали порцию дров, вычисленную эмпирически. Однако у нас не было ни пилы, ни топора — эти острорежущие предметы хранились у бойцов охраны, которые жили в отдельной утепленной и обитой фанерой палатке. Пилы и топоры выдавались только по утрам при разводе на работу. Дело в том, что на соседней «витаминной» командировке несколько уголовников напали на бригадира. Блатные чрезвычайно склонны к театральности, внося ее в жизнь так, что им позавидовал бы Евреинов. Бригадира решено было убить, и предложение одного из блатарей — отпилить голову бригадиру — было встречено с восторгом. Голова была стпилена обыкновенной поперечной пилой. Вот поэтому-то был приказ, запрещающий оставлять у заключенных на ночь топоры и пилы. Почему на ночь? Но в приказах никто никогда не искал логики.

Как же резать дрова, чтоб поленья влезли в печку? Более тонкие ломались ногами, а толстые целым пучком с тонкого конца вкладывались в отверстие горячей печки и постепенно сгорали. Кто-нибудь ногой подвигал их глубже — всегда было кому присмотреть. Этот свет открытой печной двери и был единственным светом в нашем доме. Пока не выпал снег, домик продувало насквозь, но кругом стен нагребли снега, залили водой — и зимовка наша была готова. Дверь завешивалась обрывком брезента.

Здесь, в этом самом сарае, я и встретился с Романом Романовичем. Он не узнал меня. Одет он был как огонь, как говорят блатные — как всегда, метко,— клочья ваты торчали из телогрейки, из брюк, из шапки. Немало раз, верно, приходилось Роману Романовичу бегать «за уголочком», чтобы разжечь папиросу какого-нибудь блатаря... Глаза его блестели голодным блеском, а щеки были такими же румяными, как и раньше, только не наломинили воздушные шары, а туго обтягивали скулы. Роман Романович лежал в углу и с шумом втягивал в себя воздух. Подбородок его поднимался и опускался.

— Кончается,— сказал Денисов, сосел его.— ^v него потяньки жо-рошие.— И ловко сдернув с ног умирающего бурки, Денисов отмо-

тал еще крепкие зеленые одеяльные портянки... — Вот так, — сказал он, грозно глядя на меня. Но мне было все равно.

Труп Романова выносили, когда нас выстраивали перед разводом на работу. Шапки у него тоже не было. Полы расстегнутого бушлата волочили по земле.

Умер ли Володя Добровольцев, пойнтист? Пойнтист — работа это или национальность? Это была работа, вызывающая зависть в бараках пятьдесят восьмой статьи. (Отдельные бараки для политических в общем лагере, где были бараки и бытовиков и уголовников-рецидивистов, за общей проволокой, были, конечно, юридическим издевательством. От нападений шпаны и кровавых блатных расчетов это никого не защищало.)

Пойнт — это железная труба с горячим паром. Этот горячий пар разогревает каменную породу, смерзшийся галечник, рабочий время от времени выгребает разогретый камень металлической ложкой величиной с человеческую ладонь, с трехметровой рукояткой.

Работа считается квалифицированной, поскольку пойнтист должен открывать и закрывать краны с горячим паром, который идет по трубам из будки, от бойлера — примитивного парового приспособления. Быть бойлеристом еще лучше, чем пойнтистом. Не всякий инженер-механик с пятьдесят восьмой статьей мог мечтать о подобной работе. И не потому, что это было квалификацией. Работа пойнтиста была связана с теплом. Чистой случайностью было то, что из тысяч людей на эту работу был направлен Володя. Но это преобразило его. Ему не приходилось думать о том, как бы согреться — вечная мысль... Леденящий холод не пронизывал все его существо, не останавливал работу мозга. Горячая труба спасала его. Вот почему все и завидовали Добровольцеву.

Были разговоры и о том, что неспроста он сделан пойнтистом — это верное доказательство, что он осведомитель, шпион... Конечно, блатные всегда говорили: раз санитаром работал в лагере, значит, пил трудовую кровь, — и цену подобным суждениям люди знали: зависть — плохая советчица. Володя сразу как-то безмерно вырос в наших глазах — как будто среди нас обнаружился замечательный скрипач. А то, что Добровольцев — это было надо по условиям работы — уходил один и, выходя из лагеря через вахту, открыв вахтенное окошечко, кричал туда свой номер «двадцать пять» таким радостным голосом, громким голосом — от этого мы уже давно отвыкли.

Иногда он работал близ нашего забоя. И мы по праву знакомства бегали по очереди греться к трубе. Труба была дюйма полтора в диаметре, ее можно было схватить рукой, сжать в кулаке, и тепло ощутимо переливалось из рук в тело, и не было сил оторваться, чтобы возвращаться в забой, в мороз...

Володя не гнал нас, как другие пойнтисты. Никогда он не говорил нам ни слова, хотя и знаю, что пойнтистам было запрещено пускать греться около труб нашего брата. Он стоял, окруженный облаками густого белого пара. Одежда его заледенела. Каждая ворсинка бушлата блестела, как хрустальная игла. Он никогда с нами не разговаривал — все же цена этой работы была, очевидно, слишком дорогой.

В рождественский вечер этого года мы сидели у печки. Железные ее бока по случаю праздника были краснее, чем обыкновенно. Человек ощущает разницу температуры мгновенно. Нас, сидящих за печкой, тянуло в сон, в лирику.

— Хорошо бы, братцы, вернуться нам домой. Ведь бывает же чудо... — сказал коногон Глебов, бывший профессор философии, известный в нашем бараке тем, что месяц назад забыл имя своей жены. — Только, чур, правду.

— Домой?

— Да.

— Я скажу правду,— ответил я.— Лучше бы в тюрьму. Я не шучу. Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным, я знаю, что это пустяк. То, что важно мне — то небольшое, что у меня осталось,— ни понять, ни почувствовать им не дано. Я принесу им новый страх, еще один страх к тысяче страхов, переполняющих их жизни. То, что я видел,— человеку не надо видеть и даже не надо знать. Тюрьма — это другое дело. Тюрьма — это свобода. Это единственное место, которое я знаю, где люди, не боясь, говорили все, что они думали. Где они отдыхали душой. Отдыхали телом, потому что не работали. Там каждый час существования был осмыслен.

— Ну, замолол,— сказал бывший профессор философии.— Это потому, что тебя на следствии не били. А кто прошел через метод номер три, те другого мнения...

— Ну а ты, Петр Иванович, что скажешь?

Петр Иванович Тимофеев, бывший директор уральского треста, улыбнулся и подмигнул Глебову.

— Я вернулся бы домой, к жене, к Агнии Михайловне. Купил бы ржаного хлеба — буханку! Сварил бы каши из магара — ведро! Суп «галушки» — тоже ведро! И я бы ел все это. Впервые в жизни наелся бы досыта этим добром, а остатки заставил бы есть Агнию Михайловну.

— А ты? — обратился Глебов к Звонкову, забойщику нашей бригады, а в первой своей жизни — крестьянину не то Ярославской, не то Костромской области.

— Домой,— серьезно, без улыбки ответил Звонков.— Кажется, пришел бы сейчас и ни на шаг бы от жены не отходил. Куда она, туда и я, куда она, туда и я. Вот только работать меня здесь отучили — потерял я любовь к земле. Ну, устроюсь где-либо...

— А ты? — Рука Глебова тронула колено нашего дневального.

— Первым делом пошел бы в райком партии. Там, я помню, окурков бывало на полу — бездна...

— Да ты не шути...

— Я и не шучу.

Вдруг я увидал, что отвечать осталось только одному человеку. И этим человеком был Володя Добровольцев. Он поднял голову, не дожидаясь вопроса. В глаза ему падал свет рдеющих углей из открытой дверцы печки — глаза были живыми, глубокими.

— А я,— и голос его был покоен и нетороплив,— хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами...

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА

От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени: ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами — так велик опыт, человеческий опыт, приобретаемый там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. В этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез, любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад-рапорт местного начальника об этом событии успеваает доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь «высшие сферы».

Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посетовал, что культработа в лагере хромает на обе ноги, культорг майор Пугачев сказал гостю:

— Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Кольма о нем заговорит.

Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Браудэ, командированного из центральной больницы в район военных действий.

Можно начать также с письма Яшки Кученя, санитаря из заключенных, лежавшего в больнице. Письмо его было написано левой рукой — правое плечо Кученя было прострелено винтовочной пулей навывлет.

Или с рассказа доктора Потаниной, которая ничего не видала и ничего не слыхала и была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь определил как ложное алиби, как преступное бездействие или как это еще называется на юридическом языке.

Аресты тридцатых годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессорсов, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли, — словом, таких качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего «правосудия». Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо было умереть. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И, разобщенные, они умирали в белой колымской пустыне — от голода, холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами.

На смену им после войны пароход за пароходом шли репатриированные — из Италии, Франции, Германии прямой дорогой на крайний северо-восток.

Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны, — со смелостью, умением рисковать, веривших только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики...

Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности «троцкистов», нимало не беспокоилась и не ждала ничего нового.

Новички спрашивали у уцелевших «аборигенов»:

— Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?

Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам:

— Через две недели каждый из вас поймет и будет делать так же.

Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода, голода многолетнего, ломающего волю, и что нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить возможно дольше процесс еды: в бараке с кружкой горячей, безвкусной снеговой «топленой» воды доест, дососать свою пайку хлеба в величайшем блаженстве.

Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону.

Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть — сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью — глядя на зиму никуда не побежишь; но летом если и не убежать вовсе, то умереть — свободными.

И всю зиму плелась сеть этого, чуть не единственного за двадцать лет, заговора.

Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто не будет работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда.

Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в обслугу. Солдатов стал поваром, сам Пугачев — культторгом, был фельдшер, два бригадира, а бывший механик Иващенко чинил оружие в отряде охраны.

Но без конвоя их не выпускали никого за проволоку.

Началась ослепительная колымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения птиц. Исчез помаленьку снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах так и лежал, как слитки серебряной руды, до будущего года.

И намеченный день настал.

В дверь крошечного помещения вахты у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь лагеря и наружу за лагерь, где по уставу всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы-ходики. Было пять часов утра. «Только пять», — подумал дежурный.

Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар, заключенный Солдатов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте, и трижды в день повар Солдатов ходил за этими ключами. Потом приносил обратно.

Надо бы дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что контролировать повара безнадежное дело, что никакие замки не помогут, если повар захочет украсть, и доверял ключи повару. Тем более в пять часов утра.

Дежурный проработал на Колыме больше десятка лет, давно получал двойное жалование и тысячи раз давал в руки поварам ключи.

— Возьми. — И дежурный взял линейку и склонился графить утреннюю рапортничку.

Солдатов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась и на вахту, в дверь со стороны лагеря, вошел Иващенко, механик. Иващенко помог Солдатову задушить надзирателя и затащить его труп за шкаф. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Иващенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. Второй дежурный открыл дверь и шагнул в темную конуру вахты. В ту же минуту он был схвачен, задушен и брошен за шкаф.

Солдатов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. Все шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена второго надзирателя, тоже за ключами, которые случайно унес муж.

— Бабу не будем душить, — сказал Солдатов. И ее связали, затолкали полотенце в рот и положили в угол.

Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший на вахту, был сразу обезоружен и связан двумя «надзирателями». Винтовка попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев.

Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели.

Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на Севере может сказать, что рано и что поздно. Кажется, чуть раньше. А может быть, чуть позже.

Бригада — десять человек — строем по два двинулась по дороге в

забой. Впереди и сзади в шести метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях, один из них с винтовкой в руках.

Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы — весь отряд в шестьдесят человек.

Спальня конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамида с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, что какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны.

«Это, наверное, Черненко, — не узнавая конвоира, подумал дежурный. — Обязательно напишу на него рапорт». Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы возможности сделать кому-нибудь пакость на законном основании.

Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали три солдата. Двое бросились к дверям спальни, а третий застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты, все бросились к пирамиде — винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев с силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы, еще в белье, босые, кинулись было к двери, но две автоматных очереди в потолок остановили их.

— Ложись, — скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчик остался караулить у порога.

Бригада не спеша стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запастись оружием и патронами.

Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружия и патронов было взято сколько можно.

Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи. Беглецы почувствовали себя снова солдатами.

Перед ними была тайга, но страшнее ли она болот Стохода?

Они вышли на трассу, на шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик.

— Вылезай! — Он открыл дверцу кабины грузовика.

— Да я...

— Вылезай, тебе говорят.

Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе, рядом с ним — Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался.

— Как будто здесь поворот.

— Бензин весь!..

Пугачев выругался.

Они вошли в тайгу, как ныряют в воду, — исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая напрямик через удивительный здешний бурелом.

Деревья на Севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, отходили тысячи мелких щупалец-отростков. Каждое лето мерзлота чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вползал и укреплялся там коричневый корень-щупалец.

Деревья здесь достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, мощное тело на этих слабых корнях.

Поваленные бурей деревья падали навзничь, головами все в одну сторону, и умирали, лежа на мягком толстом слое мха яркого розового или зеленого цвета.

Стали устраиваться на ночь, быстро, привычно.

И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться.

— Что вы там? — спросил Пугачев.

— Да вот Ашот мне все доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали.

— Как на Цейлон?

— Так у них, магометан, говорят,— сказал Ашот.

— А ты что — татарин, что ли?

— Я не татарин, жена татарка.

— Никогда не слыхал,— сказал Пугачев, улыбаясь.

— Вот-вот, и я никогда не слыхал,— подхватила Малинин.

— Ну, спать!

Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на колени, весь — внимание. Пугачев лег на спину, отыскал глазами Полярную звезду — любимую звезду пешеходов. Созвездия здесь располагались не так, как в Европе, в России, — карта звездного неба была чуть скошенной, и Большая Медведица отползала к линии горизонта. В тайге было молчаливо, строго; огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают; лесная тишина для него была трижды тревожна.

Это была первая его ночь на свободе, первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал, как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех двенадцати жизней Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись «конец фильма» — они на свободе. И начало борьбы, игры, жизни...

Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночью к линии фронта и встреча-допрос в особом отделе. Обвиненис в шпионаже, приговор — двадцать пять лет тюрьмы.

Майор Пугачев вспомнил приезды эмиссаров Власова с его «Манифестом», приезды к голодным, измученным, истерзанным русским солдатам.

— От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный — изменник в глазах вашей власти,— говорили власовцы. И показывали московские газеты с приказами, речами.

Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылки. Французы, американцы, англичане — пленные всех национальностей — получали посылки, письма, у них были землячества, дружба; у русских не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. Не мудрено, что «Русскую освободительную армию» вступало много заключенных из немецких лагерей военнопленных.

Майор Пугачев не верил власовским офицерам до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась.

Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем — многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима.

Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних вовлеченных в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец Солдатов!

У ног его лежит летчик капитан Хрусталева, судьба которого сходна с пугачевской. Подбитый немцами самолет, плен, голод, по-

бег — трибунал и лагерь. Вот Хрусталева повернулся боком — одна щека краснее, чем другая, налегая щеку. С Хрусталевым с первым несколько месяцев назад заговорил о побеге майор Пугачев. О том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных.

И Хрусталева и майор были людьми дела, и тот ничтожный шанс, ради которого жизнь двенадцати людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом. План был в захвате аэродрома, самолета. Аэродромов было здесь несколько, и вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой.

Хрусталева и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд, — Пугачев не хотел уходить без ближайшего друка. Вон он спит, Хрусталева, спокойно и крепко.

А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки охраны. Иващенко узнал все нужное для успеха: где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Иващенко — бывший разведчик.

Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович — оба летчики, товарищи капитана Хрусталева.

Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей — гиганта Георгадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин, лагерный — раньше военный — фельдшер, собственный фельдшер особой пугачевской группы.

Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что все шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие. Есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет теней.

Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть — они не боялись смерти.

И никто ведь не выдал, думал Пугачев, до последнего дня. О предполагавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачев говорил откровенно, отказывались, но никто не побежал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью.

— Вот молодцы, вот молодцы, — шептал он и улыбался.

Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропа вела их.

— Медвежья, — сказал Селиванов, сибирский охотник.

Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал, к картографической треноге, и стали смотреть в бинокль вниз на две серые полосы — реку и шоссе. Река была как река, а шоссе на большом пространстве в несколько десятков километров было полно грузовиков с людьми.

— Заключенные, наверно, — предположил Хрусталева.

Пугачев взгляделся.

— Нет, это солдаты. Это за нами. Придется разделить, — сказал Пугачев. — Восемь человек пусть ночуют в стогах, а мы вчетвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, если все будет хорошо.

Они, минуя подлесок, вошли в русло ручья. Пора назад.

— Смотри-ка, слишком много, давай по ручью вверх.

Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча.

Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз.

Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат, ненадолго — автомат его умолк, и стреляла только винтовка.

Хрусталева и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал.

— Иди один, — сказал Хрусталева майору, — постреляю.

Он бил не спеша каждого, кто показывался. Хрусталева вернулся, крича:

— Идут! — И упал.

Из-за большого камня выбежали люди.

Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им в падении, грохотали, не долетев еще до низу.

Он шел тайгой, без дороги, пока не обессилел.

А над лесной поляной поднялось солнце, и тем, кто прятался в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме со всех сторон поляны.

— Конец, что ли? — сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем.

— Зачем конец? — сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел, упал солдат на тропе.

Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам.

Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны.

Атака была отбита. Несколько раненых лежали в болотных кочках.

— Санитар, ползи, — распорядился какой-то начальник.

Из больницы был предусмотрительно взят санитар из заключенных Яшка Кучень, житель Западной Белоруссии. Ни слова не говоря, арестант Кучень пополз к раненому, размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кученя на поддороге.

Выскочил не боясь начальник отряда охраны — того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал:

— Эй, Иващенко, Солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены! Вам некуда деться!

— Иди принимай оружие! — закричал Иващенко из стога.

И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту, к стогам.

Когда он пробежал половину тропы, щелкнул выстрел Иващенко — пуля попала Бобылеву прямо в лоб.

— Молодчик, — похвалил товарища Солдатов. — Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему все равно: его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Ну, держись!

Отовсюду стреляли. Зататакали привезенные пулеметы.

Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова убитого Иващенко.

Другой стог молчал. С десяток трупов лежало в болоте.

Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его в голову, и он потерял сознание.

Николай Сергеевич Браудэ, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением генерал-майора Артемьева, одного из четырех колымских генералов, начальника охраны всего Колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с «двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом», как говорилось в телефонограмме.

Браудэ, не гадая понапрасну, быстро собрался, и полуторатон-

тый, выдавший виды больничный грузовичок двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную машину непрерывно обгоняли мощные «студебекеры», груженные вооруженными солдатами. Надо было сделать всего сорок километров, но из-за частых остановок, из-за скопления машин где-то впереди, из-за непрерывных проверок документов Браудэ добрался до цели только через три часа.

Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. И Браудэ и Артемьев были старые колымчане, и судьба их сводила вместе уже не в первый раз.

— Что тут, война, что ли? — спросил Браудэ у генерала, когда они поздоровались.

— Война не война, а в первом сражении двадцать восемь убитых. А раненых — посмотрите сами.

И пока Браудэ умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему о побеге.

— А вы, — сказал Браудэ, закуривая, — вызвали бы самолеты, что ли? Две-три эскадрильи, и бомбили, бомбили... Или прямо атомной бомбой.

— Вам все смешки, — сказал генерал-майор. — А я без всяких шуток жду приказа. Да еще хорошо — уволят из охраны, а то ведь с преданием суду. Всякое бывало.

Да, Браудэ знал, что всякое бывало. Несколько лет назад три тысячи человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей. Пока «этап» шел, из трех тысяч человек в живых осталось человек триста. И заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе «этапа», был принесен в жертву и отдан под суд.

Браудэ с фельдшерами до вечера извлекал пули, ампутировал, перевязывал. Раненые были только солдаты охраны — ни одного беглеца среди них не было.

На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны, два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Браудэ. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменной кости. Беглец был без сознания.

Браудэ оказал ему первую помощь и по приказу Артемьева вместе с конвоирами повез раненого к себе в большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции.

Все было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом, там были сложены тела убитых беглецов. И рядом — вторая машина с телами убитых солдат.

Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам двухтысячекилометрового шоссе.

Двенадцатого — майора Пугачева — не было.

Солдатово долго лечили и вылечили, чтобы расстрелять. Впрочем, это был единственный смертный приговор из шестидесяти — такое количество друзей и знакомых беглецов угодило под трибунал. Начальник местного лагеря получил десять лет. Начальница санитарной части доктор Потанина по суду была оправдана, и едва закончился процесс, она переменяла место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел — он был снят с работы, уволен со службы в охране.

.....
Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры — это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который давно уже вышел

и бродит по тайге. На стенах пещеры и на камнях ее дна попадались медвежьи волоски.

«Вот как скоро все кончилось,— думал Пугачев.— Приведут собаку и найдут. И возьмут».

И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь — трудную мужскую жизнь, жизнь, которая кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил людей — всех, кого он уважал и любил, начиная с собственной матери. Вспомнил школьную учительницу Марию Ивановну, которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой порыжевшем вытертым черным бархатом. И много, много людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он.

Но лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни.

Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне у самого входа в пещеру. Сизая морщинистая прошлогодняя ягода лопнула у него в пальцах, и он облизал пальцы. Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему языку.

Да, это были лучшие люди. И Ашота фамилию он знал теперь — Хачатурян.

Майор Пугачев припомнил их всех — одного за другим — и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил.

СТАНИК

На Крайнем Севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными светло-желтыми водянистыми ягодами, среди шестисотлетних лиственниц, что достигают зрелости в триста лет, живет особенное дерево — стланик. Это дальний родственник кедра, кедрач — вечнозеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческой руки, длиной в два-три метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна.

Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтеках, тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тихим. Пахнет снегом? Нет. Не будет снега. Стланик еще не ложился. И дни проходят за днями, снега нет, тучи бродят где-то за сопками, и на высокое небо вышло бледное маленькое солнце, и все по-осеннему...

А стланик гнется. Гнется все ниже как бы под безмерной, все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута, одетого в зеленые перья. Лежа, он ждет день, другой, и вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег, и стланик погружается в зимнюю спячку, как медведь. На белой горе взбухают огромные снежные волдыри — это кусты стланика легли зимовать.

А в конце зимы — когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег — люди тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю весне пора уж прийти. Но день неотличим от зимнего — воздух разрежен и сух и ничем не отличен от январского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять — этого недостаточно для предсказаний и угадываний.

Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру толь-

ко в ту реку, где была выметана икринка, из которой развилась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений-барометров, цветов-барометров известно нам немало.

И вот среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадёжности вдруг встает стланик. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледенелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит не уловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на Севере. Зима кончилась.

Бывает и другое: костер. Стланик слишком легковверен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой рядом с согнувшимся, скрюченным по-зимнему кустом стланика развести костер — стланик встанет. Костер погаснет, и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. И его занесет снегом.

Нет, он не только предсказатель погоды. Стланик — дерево надежд, единственное на Крайнем Севере вечнозеленое дерево. Среди белого блеска снега матово-зеленые хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромн и незаметен — все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в безудержном бурном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголая лиственницы, палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет, и тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы стланика.

Мне стланик представлялся всегда наиболее поэтичным русским деревом, получше, чем прославленные плакучая ива, чинара, кипарис. И дрова из стланика жарче.

ПЕРВЫЙ ЧЕКИСТ

Синие глаза выцветают. В детстве — васильковые, превращаются с годами в грязно-мутные, серо-голубые обывательские глазки, либо в стекловидные щупальца следователей и вахтеров, либо в солдатские стальные глаза — оттенков бывает много. И очень редко глаза сохраняют цвет детства...

Пучок красных солнечных лучей делился переплетом тюремной решетки на несколько меньших пучков; где-то посреди камеры пучки света вновь сливались в сплошной поток, красно-золотой. В этой световой струе густо золотились пылинки. Мухи, попавшие в полосу света, сами становились золотыми, как солнце. Лучи заката били прямо в дверь, окованную серым глянцеви́тым железом.

Звякнул замок — звук, который в тюремной камере слышит любой арестант, бодрствующий и спящий, слышит в любой час. Нет в камере разговора, который мог бы заглушить этот звук, нет в камере сна, который отвлек бы от этого звука. Нет в камере такой мысли, которая могла бы... Никто не может сосредоточиться на чем-либо, чтобы пропустить этот звук, не услышать его. У каждого замирает сердце, когда он слышит этот звук замка, стук судьбы в двери камеры, в души, в сердца, в умы. Каждого этот звук наполняет тревогой. И спутать его ни с каким другим звуком нельзя.

Звякнул замок, дверь открылась, и поток лучей вырвался из камеры. В открытую дверь стало видно, как лучи пересекли коридор, кинулись в окно коридора, перелетели тюремный двор и разбились на оконных стеклах другого тюремного корпуса. Все это успели разглядеть все шестьдесят жителей камеры в то короткое время, пока дверь была открыта. Дверь захлопнулась с мелодичным звоном, похожим на звон старинных сундуков, когда захлопывают крышку. И сразу все арестанты, жадно следившие за броском светового потока, за движеньем луча, как будто это было живое существо, их брат и товарищ, поняли, что солнце снова заперто вместе с ними.

И только тогда все увидели, что у двери, принимая на свою широкую черную грудь поток золотых закатных лучей, стоит человек, щурясь от резкого света.

Человек был немолод, высок и широкоплеч, густая шапка светлых волос покрывала всю голову. Только приглядевшись, можно было понять, что седина давно уже высветлила эти желтые волосы. Морщинистое, похуже на рельефную карту лицо было покрыто множеством глубоких оспин вроде лунных кратеров.

Человек был одет в черную суконную гимнастерку без пояса, растянутую на груди, в черных суконных брюках галифе, в сапогах. В руках он мял черную шинель, изрядно потертую. Одежда держалась на нем кое-как — пуговицы были все спороты.

— Алексеев,— сказал он негромко, повертывая большую волосатую руку ладонью к своей груди.— Здравствуйте...

Но к нему уже шли, ободряя его нервным взрывчатым арестантским смехом, хлопали его по плечам, пожимали ему руки. Уже приближался староста камеры, выборное начальство, чтобы указать место новичку.

— Гавриил Алексеев,— повторял медведеобразный человек. И еще: — Гавриил Тимофеевич Алексеев...

Черный человек отодвинулся в сторону, и солнечный луч уже не мешал видеть глаза Алексеева — крупные васильковые детские глаза.

Камера скоро узнала подробности жизни Алексеева — начальника пожарной команды наро-фоминской фабрики, оттуда и черный, казенный костюм. Да, член партии с лета 1917 года. Да, солдат-артиллерист, принимал участие в октябрьских боях в Москве. Да, исключен из партии в двадцать седьмом году. Был восстановлен. И снова исключен — неделю тому назад.

Разно себя держат арестанты при аресте. Разломать недоверие одних — очень трудное дело. Исполдволь, день ото дня привыкают они к своей судьбе, начинают кое-что понимать.

Алексеев был другого склада. Как будто он молчал много лет и вот арест, тюремная камера возвратили ему дар речи. Он нашел здесь возможность понять самое важное, угадать ход времени, угадать собственную свою судьбу и понять, почему... Найти ответ на то огромное, нависшее над всей его жизнью и судьбой, и не только над жизнью и судьбой его, но и сотен тысяч других, огромное, исполинское «почему».

Алексеев рассказывал, не оправдываясь, не спрашивая, а просто стараясь понять, сравнить, угадать.

С утра и до вечера он ходил взад-вперед по камере, огромный, медведеобразный, в черной гимнастерке без пояса, обняв кого-нибудь за плечи своей огромной лапой, и спрашивал, спрашивал... Или рассказывал.

— За что ж тебя исключили, Гаврюша?

— Да понимаешь как. Было занятие политкружка. Тема — Октябрь в Москве. А я ведь — мураловский солдат, артиллерист, две раны получил. Я лично наводил орудия на юнкеров, что были у Никитских ворот. Мне говорит преподаватель на занятии: «Кто командовал войсками советской власти в Москве в момент переворота?» Я говорю: «Муралов Николай Иванович». Я хорошо его знал, лично. Как я скажу иначе? Что я скажу?

— Это был провокационный вопрос, Гавриил Тимофеевич. Ведь ты знал, что Муралов объявлен врагом народа.

— Да ведь как иначе скажешь. Я ведь это не из политграмоты знаю. В ту же ночь меня и арестовали.

— А как ты попал в Наро-Фоминск? В пожарную охрану?

— Пил очень. Демобилизовали меня из Чека еще в восемнадцатом году. Муралов же меня туда и направил. Как особо надежного.. Ну, и болезнь у меня там началась.

— Какая болезнь, Гаврюша? Ты такой здоровый медведь...

— Увидите еще. Я и сам не знаю, что у меня за болезнь... Не могу ее запомнить. Что со мной бывает, не помню. А что-то бывает... Тревога начинается, злоба, и приходит Она...

— От водки?

— Нет, не от водки... От жизни. Водка само собой.

— А учиться бы... Дороги были все открыты.

— Да ведь как учиться? Одним учиться, а другим — учебу эту защищать. Не красно я говорю, а, землячок? А потом года прошли — не на рабфак же идти. Остался этот ВОХР проклятый. Да водка. Да Она.

— А дети у тебя есть?

— Была дочь от первой жены. Ушла от меня. Сейчас живу с одной ткачихой. Ну, мой арест испугает ее до полусмерти, если не до смерти. А мне арест — сразу легко. Ни о чем думать не надо. Все будет решено без меня. Подумают без меня. Как дальше жить Гаврюше Алексееву?

Прошло немного дней, всего несколько дней. Пришла Она.

Алексеев жалобно крикнул, размахнул руки и рухнул на нары навзничь. Лицо его посерело, пузырчатая пена текла из его синего рта, ослабевших губ. Теплый пот выступил на серых щеках, на волосяной груди. Соседи ухватили за руки, навалились на ноги Алексееву. Тело его дрожало крупной дрожью.

— Голову, голову ему берегите.— И кто-то подsunул черную шишель под потную голову Алексеева с всклокоченными волосами.

Пришла Она. Припадок падучей продолжался очень долго, мощные клубки мускулов все вздувались, кулаки кого-то били, и неловкие пальцы соседей разнимали эти могучие кулаки. Ноги куда-то бежали, но навалившаяся тяжесть нескольких человек удерживала Алексеева на нарах.

Вот мускулы постепенно ослабели, пальцы разжались. Алексеев спал.

Все это время дежурные по камере стучали в дверь, яростно вызывая врача. Ведь должен же быть хоть какой-нибудь врач в Бутырках. Какой-нибудь Федор Петрович Гааз. Или просто дежурный военврач какого-то там ранга, лейтенант медицинской службы.

Вызвать врача оказалось не просто, но врач все-таки пришел. Врач явился в халате, надетом на офицерский мундир, в сопровождении двух дюжих помощников фельдшерского вида. Врач взобрался на нары и осмотрел Алексеева. Приступ за это время прошел, и Алексеев спал. Врач, не сказав ни слова и не ответив ни на один вопрос, которыми его осыпали окружившие арестанты, ушел. Вслед за ним ушли его безмолвные помощники. Звякнул замок — и вызвал взрыв возмущения. И когда первое волнение стихло, открылась кормушка в тюремной двери, и дежурный надзиратель, сгибаясь, чтоб заглянуть в кормушку, сказал:

— Врач сказал: ничего делать не надо. Это — эпилепсия. Следите, чтобы язык не западал... Будет следующий приступ — вызывать не надо. Лечить эту болезнь нечем.

Камера и не вызывала больше врача к Алексееву. А приступов эпилепсии у него было еще очень много.

Алексеев отлеживался после припадков, жалуясь на головную боль. Проходил день-два, и снова выползала огромная медведеобразная фигура в черной суконной гимнастерке и в черных суконных брюках галифе и шагала, шагала по цементному полу камеры. Снова сверкали синие глаза. После двух тюремных дезинфекций-прожарок черное сукно одежды Алексеева побурело и уже не казалось черным.

А Алексеев все шагала, шагала — простодушно рассказывал о своей прошлой жизни, о жизни до болезни, торопясь выложить очеред-

ному своему собеседнику то, что еще не было им сказано в этой мере.

— ...Сейчас, говорят, специальные исполнители есть. А знаешь, как у Дзержинского было поставлено дело?

— Как?

— Если коллегия выносит вышка, приговор должен привести в исполнение тот следователь, который вел дело... Тот, который докладывал и требовал высшей меры. Ты требуешь смертной казни для этого человека? Ты убежден в его виновности, уверен, что он — враг и подлежит смерти? Убей своей рукой. Разница очень большая — подписать бумажку, утвердить приговор или убить самому...

— Большая...

— Кроме того, каждый следователь должен был сам найти и время и место для этих своих дел... Разно было. Одни в кабинете, другие в коридоре, в подвале каком-нибудь. Все это при Дзержинском следователь подготовлял сам... Тыщу раз подумаешь, пока станешь просить для человека смерти...

— Гаврюша, а расстрелы ты видал?

— Ну, видал. Кто их не видал.

— А правда, что тот, кого расстреливают, падает лицом вперед?

— Да, правда. Когда он смотрит на тебя.

— А если сзади стрелять?

— Тогда упадет спиной, навзничь...

— А тебе приходилось?.. Так...

— Нет, я следователем не был. Я ведь малограмотный. Просто был в отряде. Боролся с бандитизмом и так далее. Заболел вот этой штукой, и демобилизовали меня. Как припадочного. Да выпивать стал. Тоже, говорят, не способствует излечению.

Тюрьма не любит хитрецов. В камере каждый двадцать четыре часа в сутки у всех на глазах. Человеку не хватит сил скрыть свой истинный характер — притвориться не тем, что он есть, в следственной камере тюрьмы, в минутах, часах, сутках, неделях, месяцах напряженности, нервности, когда все лишнее, показное слетает с людей, как шелуха. И остается истина — созданная не тюрьмой, но тюрьмой проверенная и испытанная. Воля, еще не сложенная, не раздавленная, как почти неизбежно бывает в лагере. Но кто думал тогда о лагере, о том, что это такое? Некоторые, может быть, знали и рады были рассказать о лагере, предупредить новичка. Но человек верит тому, чему хочет верить.

Вот сидит чернобородый Вебер, силезский коммунист, коминтерновец, которого привезли с Колымы на допрос. Он знает, что такое лагерь. А вот Александр Григорьевич Андреев, бывший генеральный секретарь общества политкаторжан, правый эсер, знавший и царскую каторгу и советскую ссылку. Андреев — тот знает какую-то истину, незнакомую большинству. Рассказать об этой истине нельзя. Не потому, что она — секрет, а потому, что в нее нельзя верить. Поэтому и Вебер и Андреев молчат. Тюрьма — это тюрьма. Следственная камера — это следственная тюрьма. У каждого свое дело, своя борьба, свое поведение, которого не подсказешь, свой долг, свой характер, своя душа, свой запас душевных сил, свой опыт. Человеческие качества испытываются не только и не столько в тюремной камере, а за стенами камеры, в каком-нибудь кабинетике следовательском. Судьба, которая зависит от цепи случайностей, а чаще вовсе от случайностей не зависит.

Даже следственная тюрьма — не только срочная — любит простодушных, откровенных. К Алексею камера относилась доброжелательно. Любили ли его? Разве в следственной камере могут кого-нибудь любить? Ведь это следствие, транзитка, пересылка. К Алексею камера относилась доброжелательно.

Шли недели, месяцы, Алексеева все не вызывали на допросы. И Алексеев все шагал, шагал.

Есть две школы следователей. Первая считает, что арестованного нужно ошарашить, оглушить немедленно. Эта школа строит свой успех на быстрой психологической атаке, напоре, подавлении воли следственного арестанта, пока тот не очухался, не огляделся, не собрался с силами нравственными. Допросы следователи этой школы начинают в ночь ареста, многочасовые, с всевозможными угрозами. Вторая школа считает, что тюремная камера только измучит, ослабит волю арестованного к сопротивлению. Чем дольше пробудет в следственной камере арестант до встречи со следователем — тем это выгоднее следователю. Арестованный готовится к допросу, первому в его жизни допросу, напрягаясь изо всех сил. А допроса нет. Нет недели, месяц, два месяца. Всю работу по подавлению психики арестанта за следователя делает тюремная камера.

Неизвестно, как использует первая и вторая школа такое эффективное оружие, как пытки. Рассказ этот относится к началу тридцать седьмого года, а пытать стали только со второй половины года.

Следователь Гавриила Тимофеевича Алексеева принадлежал ко второй школе.

К концу третьего месяца алексеевского хождения по камере прибежала девушка в военной гимнастерке и вызвала Алексеева — «с инициалом, но без вещей», стало быть, на допрос. Алексеев причесал свои светлые кудри собственной пятерней — и, поправив свою побуревшую гимнастерку, шагнул за порог камеры.

С допроса он пришел скоро. Допрашивали, значит, в особом корпусе допросном, никуда не возили. Алексеев был удивлен, подавлен, поражен, потрясен и испуган.

— Что-нибудь случилось, Гавриил Тимофеевич?

— Да, случилось. Новое на допросе. Обвиняют в заговоре против правительства.

— Спокойнее, Гаврюша. В этой камере всех обвиняют в заговоре против правительства.

— Убить, говорят, хотел.

— И это часто бывает. А в чем тебя раньше обвиняли?

— Да в Наро-Фоминске после ареста. Я начальником пожарной охраны на текстильной фабрике был. Невелик чин, стало быть.

— Чинов тут не разбирают, Гаврюша.

— Вот и допрашивали про занятия политкружка. Что хвалил Муралова. А я ведь у него в отряде в Москве был. Как скажу... А сейчас вдару совсем и не о Муралове речь.

Оспины и морщины обозначились резче. Алексеев улыбался как-то нарочито спокойно и в то же время неуверенно, и синие глаза его вспыхивали все реже. Но, странное дело, эпилептические припадки стали реже. Близкая опасность, необходимость бороться за жизнь отодвинули, что ли, в сторону припадки.

— Что делать... Они угробят меня.

— Ничего не надо делать. Говори только правду. Показывай правду, пока в силах.

— Так ты думаешь, что ничего не будет?

— Напротив, обязательно что-нибудь будет. Без этого отсюда не выпускают, Гаврюша. Но расстрел не одно и то же, что десять лет срока. А десять лет — не пять.

— Я понял.

Гавриил Тимофеевич стал чаще петь. А пел он чудесно. Тенор был такой чистый, светлый. Пел Алексеев негромко, в дальнем углу от волчка:

Как хороша была та ночка голубая,
Как ласково светила бледная луна...

Но чаще, все чаще другая:

Отворите окно, отворите,
Мне недолго осталось жить.
И меня на свободу пустите,
Не мешайте страдать и любить.

Алексеев обрывал песню, вскакивал и шагал, шагал...

Ссорился он очень часто. Тюремная жизнь, следственная жизнь, располагается к ссорам. Это надо знать, понимать, все время держать себя в руках или уметь отвлекаться... Гавриил Алексеев не знал этих тюремных тонкостей и лез на ссору, на драку. Тот что-то сказал Гавриилу, Алексееву поперек, тот оскорбил Муралова. Муралов был богом Алексеева. Это был бог его юности, бог всей его жизни.

Когда Вася Жаворонков, паровозный машинист из савеловского депо, сказал что-то о Муралове — в стиле последних партийных учебников, — Алексеев бросился на Васю, схватил медный чайник, в котором раздавали в камере чай.

Этот чайник, оставшийся в Бутырской тюрьме еще с царских времен, был огромным медным цилиндром. Начищенный кирпичом, чайник сверкал, как закатное солнце. Приносили этот чайник на палке, а наши дежурные, когда разливали чай, держали чайник вдвоем.

Силач, геркулес, Алексеев смело ухватился за ручку чайника, но не мог его сдернуть с места. Чайник был полон воды — еще до ужина, когда чайник уносили, было далеко.

Так все смехом и кончилось, хотя Вася Жаворонков, побледнев, готовился встретить удар. Вася Жаворонков был почти одиодец Гавриила Тимофеевича. Его тоже арестовали после занятий политкружка. Ему задал вопрос руководитель занятий: «Что бы ты делал, Жаворонков, если бы советской власти внезапно не стало?» Простодушный Жаворонков ответил: «Как что? Работал бы машинистом в депо, как и сейчас. У меня четверо детей». На следующий день Жаворонков был арестован, и следствие уже было закончено — машинист ждал приговора. Дело было сходное, и Гавриил Тимофеевич консультировался у Жаворонкова, и были они друзьями. Но когда обстоятельства Алексеевского дела изменились — его стали обвинять в заговоре против правительства, — трусоватый Жаворонков отдался от приятеля. И замечание насчет Муралова не преминул вставить.

Только успокоили Алексеева в этой полукомической схватке с Жаворонковым, как вспыхнула новая ссора. Алексеев вновь обозвал кого-то хитрованом. Снова Алексеева оттаскивали от кого-то. Уже вся камера понимала и знала: скоро должна была прийти Она. Товарищи ходили рядом с Алексеевым, взяв его под руки, готовые ежесекундно ухватить его руки, ноги, поддержать голову. Но Алексеев вдруг вырвался, вспрыгнул на подоконник, вцепился обеими руками в тюремную решетку и тряс ее, тряс, ругаясь и рыча. Черное тело Алексеева висело на решетке, как огромный черный крест. Арестанты отрывали пальцы Алексеева от решетки, разгибали его ладони, спешили, потому что часовой на вышке уже заметил возню у открытого окна.

И тогда Александр Григорьевич Андреев, генеральный секретарь общества политкаторжан, сказал, показывая на черное сползающее с решетки тело:

— Первый чекист...

Но в голосе Андреева не было злорадства.

ТИФОЗНЫЙ КАРАНТИН

Человек в белом халате протянул руку, и Андреев вложил в растопыренные, розовые, вымытые пальцы с остриженными ногтями свою соленую, ломкую гимнастерку. Человек отмахнулся, затряс ладонью.

— Белья у меня нет, — сказал Андреев равнодушно.

Тогда фельдшер взял андреевскую гимнастерку обеими руками, ловким, привычным движением вывернул рукава и взгляделся...

— Есть, Лидия Ивановна.— И заорал на Андреева: — Что же ты так обовшивел, а?

Но врачиха Лидия Ивановна не дала ему продолжать.

— Разве они виноваты? — сказала Лидия Ивановна негромко и укоризненно, подчеркивая слово «они», и взяла со стола стетоскоп.

На всю свою жизнь запомнил Андреев эту рыженькую Лидию Ивановну, тысячу раз благословлял ее, вспоминая всегда с нежностью и теплотой. За что? За то, что она подчеркнула слово «ОНИ» в этой фразе — единственной, которую Андреев слышал от нее. За доброе слово, сказанное вовремя. Дошли ли до нее эти благословения?

Осмотр был недолог. Стетоскоп не нужен был для этого осмотра.

Лидия Ивановна подняла на фиолетовую печать и с силой, обеими руками прижала ее к типографскому какому-то бланку. Она вписала туда несколько слов, и Андреева увели.

Конвоир, ждавший в сенях санчасти, повел Андреева не обратно в тюрьму, а в глубь поселка, к одному из больших складов. Двор возле склада был огорожен колючей проволокой в десять законных рядов, с калиткой, около которой ходил часовой в тулупе и с винтовкой. Они вошли во двор и подошли к пакгаузу. Яркий электрический свет бил из дверной щели. Конвоир с трудом распахнул дверь, огромную, сделанную для автомашин, а не для людей, и исчез в пакгаузе. На Андреева пахло запахом грязного тела, лежащих вещей, кислым человеческим потом. Смутный гул человеческих голосов наполнял эту огромную коробку. Четырехэтажные сплошные нары, рубленые из цельных лиственниц, были строением вечным, рассчитанным навечно, как мосты Цезаря. На стеллажах огромного пакгауза лежало более тысячи людей. Это был один из двух десятков больших складов, доверху набитых новым, живым товаром,— в порту был тифозный карантин, и вывоза, или, как говорят по-тюремному, этапа, из него не было уже более месяца. Лагерное кровообращение, где эритроциты — живые люди, было нарушено. Транспортные машины простаивали. Прииски увеличивали рабочий день заключенных. В самом городе хлебозавод не справлялся с выпечкой хлеба — ведь каждому надо было дать по пятьсот граммов ежедневно, и хлеб пытались печь на частных квартирах. Злость начальства нарастала тем более, что из тайги понемногу попадал в город арестантский шлак, который выбрасывали прииски.

В секции, как по-модному называли тот склад, куда привели Андреева, было более тысячи человек. Но сразу это множество не было заметным. Люди лежали на верхних нарах голыми от жары, на нижних нарах и под нарами — в телогрейках, бушлатах и шапках. Большинство лежало навзничь или ничком (никто не объяснит, отчего арестанты почти не спят на боку), и их тела на массивных нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся доской.

Или они сдвигались в тесные группы возле или вокруг рассказчика-«романиста» либо вокруг случая — а случай возникал со всей необходимостью ежеминутно при такой прорве людей. Люди лежали здесь уже больше месяца, на работу они не ходили — ходили только в баню для дезинфекции вещей. Двадцать тысяч рабочих дней, ежедневно потерянных, сто шестьдесят тысяч рабочих часов, а может быть, и триста двадцать тысяч часов — рабочие дни бывают разные. Или двадцать тысяч сохраненных дней жизни.

Двадцать тысяч дней жизни. По-разному можно рассуждать о цифрах, статистика — наука коварная.

Когда раздавалась пища — все были на местах (питание выдавалось по десяткам). Людей было так много, что раздачики пищи едва успевали раздать завтрак, как наступало время раздачи обеда. И едва закончив раздачу обеда, принимались выдавать ужин. В секции с

утра до вечера раздавали пищу. А ведь утром выдавался только хлеб на весь день и чай — теплая кипяченая вода — и через день по полседьки, в обед — только суп, в ужин — только каша.

И все-таки на выдачу этого не хватало времени.

Нарядчик подвел Андреева к нарам и показал на вторые нары. — Вот твое место!

Вверху запротестовали, но нарядчик выругался. Андреев, уцепясь обеими руками за край нар, пытался безуспешно закинуть правую ногу на нары. Сильная рука нарядчика подкинула его, и он тяжело плюхнулся посреди голых тел. Никто не обращал на него внимания. Процедура «прописки» и въезда была закончена.

Андреев спал. Он просыпался только тогда, когда давали пищу, и после, аккуратно и бережно вылизав свои руки, снова спал, только некрепко — вши не давали крепко спать.

Никто его не расспрашивал, хотя во всей этой транзитке немногочисленные люди из тайги — а всем остальным суждена была туда дорога. И они это понимали. Именно поэтому они не хотели ничего знать о неотвратимой тайге. И это было правильно, как рассудил Андреев. Все, что видел он, им не надо было знать. Избежать ничего нельзя — ничего тут не предусмотреть. Лишний страх — к чему он? Здесь были еще люди — Андреев был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться.

Дня через два настал банный день. Дезинфекции и бани всем уже надоели, и собирались неохотно, но Андрееву очень хотелось расправиться со своими вшами. Времени у него теперь было сколько угодно, и несколько раз в день он просматривал все швы своей побелевшей гимнастерки. Но окончательный успех могла дать только дезкамера. Поэтому он шел охотно, и хоть белья ему не дали, сырую гимнастерку пришлось надеть на голое тело, но привычных укусов он не чувствовал.

В бане давали воды по норме: таз горячей и таз холодной, — но Андреев обманул банщика и еще лишний таз получил.

Кусочек мыла крошечный давали, но на полу можно было собрать обмылки, и Андреев постарался вымыться как следует. За последний год это была лучшая баня. И пусть кровь и гной текли из цинготных язв на голених Андреева. Пусть шарахаются от него в бане люди. Пусть брезгливо отодвигаются от его вшивой одежды.

Выдали из дезкамеры вещи, и сосед Андреева Огнев вместо овчинных меховых чулок получил игрушечные — так села кожа. Огнев заплакал — меховые чулки были его спасением на Севере. Но Андреев недоброжелательно смотрел на него. Столько он видел плачущих мужчин по самым различным причинам. Были хитрецы — притворщики, были нервноболезные, были потерявшие надежду, были обозленные. Были плачущие от холода. Плачущих от голода Андреев не видал.

Обратно шли по темному молчаливому городу. Алюминиевые лужи застыли, но воздух был свежий, весенний. После этой бани Андреев спал особенно крепко, «сытно поспал», как говорил его сосед Огнев, уже забывший про свое банное приключение.

Никого нигуда не выпускали. Но все же в секции была единственная должность, позволявшая выход за проволоку. Правда, здесь шла речь не о выходе из лагерного поселка за внешнюю проволоку — три забора по десять ниток колючки, да еще запретное пространство, обнесенное низко натянутой проволокой. О том никто и не мечтал. Здесь шла речь о выходе из проволочного двора. Там была столовая, кухня, склады, больница — словом, иная, запретная для Андреева жизнь. За проволоку выходил единственный человек — ассенизатор. И когда он умер внезапно (жизнь полна благодетельных случайностей), Огнев — сосед Андреева — проявил чудеса энергии и

догадливости. Он два дня не ел хлеба, затем выменял на хлеб большой фибровый чемодан.

— У барона Манделя, Андреев!

Барон Мандель! Потомок Пушкина! Вон там, там. Барон — длинный, узкоплечий, с крошечным лысым черепом — был далеко виден. Но познаться с ним не пришлось Андрееву.

У Огнева сохранился коверкотовый пиджак еще с воли, в карантине Огнев был всего несколько месяцев.

Огнев преподнес нарядчику пиджак и фибровый чемодан и получил должность умершего ассенизатора. Недели через две блатные придушили Огнева в темноте — не до смерти, к счастью, — и отняли у него около трех тысяч рублей деньгами.

Андреев почти не встречался с Огневым в расцвет его коммерческой карьеры. Избитый и истерзанный, Огнев исповедовался Андрееву ночью, заняв старое место.

Андреев мог бы ему рассказать кое-что из того, что он видел на прииске, но Огнев ничуть не раскаивался и не жаловался.

— Сегодня они меня, завтра я их. Я их... обыграю... В стос, в терц, в буру обыграю. Все верну!

Огнев ни хлебом, ни деньгами не помог Андрееву, но это и не было принято в таких случаях — с точки зрения лагерной этики все обстояло нормально.

В один из дней Андреев удивился, что он еще живет. Подниматься на нары было так трудно, но все же он поднимался. Самое главное — он не работал, лежал, и даже пятьсот граммов ржаного хлеба, три ложки каши и миска жидкого супа в день могли воскрешать человека. Лишь бы он не работал.

Именно здесь он понял, что не имеет страха и жизнью не дорожит. Понял и то, что он испытан великой пробой и остался в живых. Что страшный приисковый опыт суждено ему применить для своей пользы. Он понял, что, как ни мизерны возможности выбора, свободной воли арестанта, они все же есть; эти возможности — реальность, они могут спасти жизнь при случае. И Андреев был готов к этому великому сражению, когда звериную хитрость он должен противопоставить зверю. Его обманывали. И он обманет. Он не умрет, не собирается умирать.

Он будет выполнять желания своего тела, то, что ему рассказало тело на золотом прииске. На прииске он проиграл битву, но это была не последняя битва. Он — шлак, выброшенный с прииска. И он будет этим шлаком. Он видел, что фиолетовый отпечаток, который сделан на какой-то бумаге руками Лидии Ивановны, — отпечаток трех букв: «ЛФТ» — легкий физический труд. Андреев знал, что на эти метки не обращают внимания на приисках, но здесь, в центре, он собирался извлечь из них все что можно.

Но возможностей было мало. Можно было сказать нарядчику: «Вот я, Андреев, здесь лежу и никуда не хочу ехать. Если меня пошлют на прииск, то на первом перевале, как затормозит машина, я прыгаю вниз, пусть конвой меня застрелит — все равно на золото я больше не поеду».

Возможностей было мало. Но здесь он будет умнее, будет больше доверять телу. И тело его не обманет. Его обманула семья, обманула страна. Любовь, энергия, способности — все было растоптано, разбито. Все оправдания, которые искал мозг, были фальшивы, ложны, и Андреев это понимал. Только разбуженный прииском звериный инстинкт мог подсказать и подсказывал выход.

Именно здесь, на этих циклопических нарах, понял Андреев, что он кое-чего стоит, что он может уважать себя. Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии, ни в лагере. Ему удалось много сказать правды, ему удалось подавить в себе

страх. Не то что он ничего вовсе не боялся, нет, моральные барьеры определялись яснее и четче, чем раньше, все стало проще, ясней. Ясно было, например, что нельзя выжить Андрееву. Прежнее здоровье утеряно бесследно, сломано навеки. Навеки ли? Когда Андреева привезли в этот город, он думал, что жизни его две-три недели. А для того, чтобы вернулась прежняя сила, нужен полный отдых, многомесячный, на чистом воздухе, в курортных условиях, с молоком, с шоколадом. И так как совершенно ясно, что такого курорта Андрееву не видать, ему придется умереть. Что опять-таки не страшно. Умерло много товарищей. Но что-то сильнее смерти не давало ему умереть. Любовь? Злоба? Нет. Человек живет в силу тех же самых причин, почему живет дерево, камень, собака. Вот это понял и не только понял, а почувствовал хорошо Андреев именно здесь, на городской транзитке, во время тифозного карантина.

Расчесы на коже зажили гораздо раньше, чем другие раны Андреева. Исчезал понемногу черепаховый панцирь, в который превратилась на приiske человеческая кожа; ярко-розовые кончики отмороженных пальцев потемнели: тончайшая кожица, покрывавшая их после того, как лопнул пузырь отморожения, чуть загубела. И даже — самое главное — кисть левой руки разогнулась. За полтора года работы на приiske обе кисти рук согнулись по толщине черенка лопаты или кайла и заостренились, как казалось Андрееву, навсегда. Во время еды рукоятку ложки он держал, как и все его товарищи, кончиками пальцев, щепотью, и забыл, что можно держать ложку и иначе. Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движения протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы Андреев молился богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе. Раны его души не были так легко залечены. Они никогда не были залечены.

Но руку-то Андреев все-таки разогнул. Однажды в бане пальцы левой руки разогнулись. Это удивило Андреева. Дойдет очередь и до правой, еще согнутой по-старому. И ночами Андреев тихонько трогал правую, пробовал отогнуть пальцы, и ему казалось, что вот вот она разогнется. Он обкусал ногти самым аккуратным образом и теперь грыз грязную, толстую, чуть размягчившуюся кожу по кусточку. Эта гигиеническая операция была одним из немногих развлечений Андреева, когда он не ел и не спал.

Кровяные трещины на подошвах ног уже не были такими болезненными, как раньше. Цинготные язвы на ногах еще не зажили и требовали повязок, но ран оставалось все меньше и меньше — их место занимали сине-черные пятна, похожие на тавро, на клеймо рабовладельца, торговца неграми. Не заживали только большие пальцы обеих ног — там отморожение захватило и костный мозг, оттуда понемногу вытекал гной. Конечно, гноя было гораздо меньше, чем раньше, на приiske, где гной и кровь так натекали в резиновую галошечку, летнюю обувь заключенных, что нога хлюпала при каждом шаге, как будто в луже.

Много еще лет пройдет, пока пальцы эти заживут у Андреева. Много лет после заживления будут напоминать они о северном приiske ноющей болью при малейшем холоде. Но Андреев не думал о будущем. Он, выученный на приiske не рассчитывать жизнь дальше чем на день вперед, старался бороться за близкое, как делает всякий человек на близком расстоянии от смерти. Сейчас он хотел одного — чтобы тифозный карантин длился бесконечно. Но этого не могло быть, и пришел день, когда карантин кончился.

Этим утром всех жителей секции выгнали на двор. Не один час заключенные молча толкались за проволочной изгородью, мерзли. Нарядчик, стоя на бочке, хриплым, отчаянным голосом выкрикивал

фамилии. Вызванные выходили в калитку — безвозвратно. На шоссе гудели грузовики, гудели так громко в морозном утреннем воздухе, что мешали нарядчику.

«Только бы не вызвали, только бы не вызвали», — детским заклинанием умолял судьбу Андреев. Нет, ему не будет удачи. Если даже не вызовут сегодня, то вызовут завтра. Он поедет опять в золотые забой, на голод, побои и смерть. Заныли отмороженные пальцы рук и ног, заныли уши, щеки. Андреев переступал с ноги на ногу все чаще и чаще, согнувшись и дыша в сложенные трубочкой пальцы, но онемевшие ноги и больные руки не так просто было согреть. Все бесполезно. Он бессилен в борьбе с этой исполинской машиной, зубья которой перемалывали его тело.

— Воронов! Воронов! — надрывался нарядчик. — Воронов! Здесь ведь, сука!.. — И нарядчик злобно швырнул тоненькую желтую папку «дела» на бочку и придавил «дело» ногой.

И тогда Андреев все понял сразу. Это был грозовой молниенный свет, указавший дорогу к спасению. И сейчас же, разгорячившись от волнения, он осмелел и двинулся вперед, к нарядчику. Тот называл фамилию за фамилией, люди уходили со двора один за другим. Но толпа была еще велика. Вот сейчас, сейчас...

— Андреев! — крикнул нарядчик.

Андреев молчал, разглядывая бритые щеки нарядчика. После созерцания щек взгляд его перешел на папки «дел». Их было совсем немного. «Последняя машина», — подумал Андреев.

Нарядчик подержал андреевскую папку в руке и, не повторяя вызова, отложил в сторону, на бочку.

— Сычев! Обзывайся — имя и отчество!

— Владимир Иванович, — ответил по всем правилам какой-то пожилой арестант и растолкал толпу.

— Статья? Срок? Выходи!

Еще несколько человек откликнулись на вызов, ушли. И за ними ушел нарядчик. Заключенных вернули в секцию.

Кашель, тонот, выкрики сгладились, растворились в многоголосом говоре сотен людей.

Андреев хотел жить. Две простых цели поставил он перед собой и положил добиваться их. Было необыкновенно ясно, что здесь надо продержаться как можно дольше, до последнего дня. Постараться не делать ошибок, держать себя в руках... Золото — смерть. Никто лучше Андреева в этой транзитке не знает этого. Надо во что бы то ни стало избежать тайги, золотых забоев. Как этого может добиться он, бесправный раб Андреев? А вот как. Тайга за время карантина обезлюдела — холод, голод, тяжелая многочасовая работа и бессонница лишили тайгу людей. Значит, в первую очередь из карантина будут отправлять машины в «золотые» управления, и только тогда, когда заказ присков на людей («Пришлите две сотни деревьев», как пишут в служебных телеграммах) будет выполнен, — только тогда будут отправлять не в тайгу, не на золото. А куда — это Андрееву все равно. Лишь бы не на золото.

Обо всем этом Андреев не сказал никому ни слова. Ни с кем он не советовался, ни с Огневым, ни с Парфентьевым, присковым товарищем, ни с одним из этой тысячи людей, что лежали с ним вместе на нарах. Ибо он знал — каждый, кому он расскажет свой план, — выдаст его начальству — за похвалу, за махорочный окурочок, просто так... Он знал, что такое тяжесть тайны, секрет, и мог его сберечь. Только в этом случае он не боялся. Одному было легче, вдвое, втрое, вчетверо легче проскочить сквозь зубья машины. Его игра была его игрой — этому тоже он был хорошо выучен на приiske.

Много дней Андреев не отзывался. Как только карантин кончился, заключенных стали гонять на работы, и на выходе надо было словчить так, чтобы не попасть в большие партии — тех водили обыч-

но на земляные работы с ломом, кайлом и лопатой; в маленьких же партиях по два-три человека была всегда надежда заработать лишний кусок хлеба или даже сахару — более полутора лет Андреев не видел сахару. Этот расчет был немудрен и совершенно правилен. Все эти работы были, конечно, незаконными, заключенных числили на этапе, и находилось много желающих пользоваться бесплатным трудом. Те, кто попадал на земляные работы, ходили туда из расчета где-либо выпросить табаку, хлеба. Это удавалось, даже у прохожих. Андреев ходил в овощехранилище, где вволю ел свеклу и морковь, и приносил «домой» несколько сырых картофелин, которые жарил в золе печи и полусырыми вытаскивал и съедал, — жизнь здешняя требовала, чтоб все пищевые отправления производились быстро — слишком много было голодных вокруг.

Начались дни почти осмысленные, наполненные какой-то действительностью. Ежедневно с утра приходилось простоять часа два на морозе. И нарядчик кричал: «Эй вы, обзывайся, имя и отчество». И когда ежедневная жертва молоху была закончена, и все, топоча, бежали в барак — оттуда выводили на работу. Андреев побывал на хлебозаводе, носил мусор на женской пересылке, мыл полы в отряде охраны, где в полутемной столовой собирал с оставшихся тарелок липкие и вкусные мясные остатки с командирских столов. После работы на кухню выносили большие тазы, полные сладкого киселя, горы хлеба, и все садились вокруг, ели и набивали хлебом карманы.

Только один раз расчет Андреева оказался неверным. Чем меньше группа — тем лучше: вот была его заповедь. А всего лучше — одному. Но одного редко куда-либо брали. Однажды нарядчик, уже запомнивший Андреева в лицо (он знал его как Муравьева), сказал:

— Я тебе такую работу нашел, век будешь помнить. Дрова пилить к высокому начальству. Вдвоем с кем-нибудь пойдешь.

Они весело бежали впереди провозжатога в кавалерийской шинели. Тот в сапогах скользил, оступался, прыгал через лужи и потом догонял их бегом, придерживая полы шинели обеими руками. Вскоре они подошли к небольшому дому с запертой калиткой и колючей проволокой поверх забора. Провожатый постучал. Во дворе залаяла собака. Им отпер дневальный начальника, молча отвел их в сарай, закрыл их там и выпустил на двор огромную овчарку. Принес ведро воды. И пока арестанты не перепилили и не перекололи всех дров в сарае — собака держала их взаперти. Поздно вечером их увели в лагерь. На следующий день их посылали туда же, но Андреев спрятался под нары и вовсе не ходил на работу в этот день.

На другой день утром перед раздачей хлеба ему пришла в голову одна простая мысль, которую Андреев сразу же осуществил.

Он снял бурки со своих ног и положил их на край нар одна на другую подошвами наружу — так, как если бы он сам лежал в бурках на нарах. Рядом он лег на живот и голову опустил на локоть руки.

Раздатчик быстро сосчитал очередной десяток и выдал Андрееву десять порций хлеба. У Андреева осталось две порции. Но такой способ был ненадежен, случаен, и Андреев вновь стал искать работу вне барака.

<Людей на транзитке становилось все меньше. В тайгу уже не отправляли, по слухам, но Андреев решил тормозиться до конца. Скоро он обрел постоянную работу — ходил ежевечерне мыть полы в МХЧ — материально-хозяйственную часть лагеря.

На третьих и на четвертых нарах уже давно никого не было. И под нарами тоже.>

Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой. Именно в это время он встретил капитана Шнайдера.

Блатные занимали место поближе к печке. Нары были застланы грязными ватными одеялами, покрыты множеством пуховых подушек разного размера. Ватное одеяло — неперменный спутник удачливого вора, единственная вещь, которую вор таскает с собой по тюрьмам и лагерям, ворует ее, отнимает, когда не имеет, а подушка — подушка не только подголовник, но и ломберный столик во время бесконечных карточных сражений. Этому столику можно придать любую форму. И все же он — подушка. Картежники раньше проигрывают брюки, чем подушку.

На одеялах и подушках располагались главари — вернее, те, кто на сей момент был вроде главарей. Еще повыше, на третьих нарах, где было темно, лежали еще одеяла и подушки — туда затаскивали каких-то женоподобных молодых воришек, да и не только воришек — педерастом был чуть не каждый вор.

Воров окружала толпа холопов и лакеев — придворные рассказчики, ибо блатные считают хорошим тоном интересоваться «романами»; придворные парикмахеры с флакончиком духов есть даже в этих условиях, и еще толпа служащих, готовых на что угодно, лишь бы им отломали корочку хлеба или налили супчику.

— Тише! Сенечка говорит что-то. Тише — Сенечка ложится спать...

Знакомая приисковая картина.

Вдруг среди толпы попрошаек, вечной свиты блатарей, Андреев увидел знакомое лицо, знакомые черты лица, услышал знакомый голос. Сомнения не было — это был капитан Шнайдер, товарищ Андреева по Бутырской тюрьме.

Капитан Шнайдер был немецкий коммунист, коминтерновский деятель, прекрасно владевший русским языком, знаток Гёте, образованный теоретик-марксист. В памяти Андреева остались беседы с ним, беседы «высокого давления» долгими тюремными ночами. Весельчак от природы, бывший капитан дальнего плавания поддерживал боевой дух тюремной камеры.

Андреев не верил своим глазам.

— Шнайдер!

— Да? Что тебе? — обернулся капитан. Взгляд его тусклых голубых глаз не узнавал Андреева.

— Шнайдер!

— Ну, что тебе? Тише! Сенечка проснется.

Но уже край одеяла приподнялся, и бледное нездоровое лицо высунулось на свет.

— А, капитан, — томно зазвенея тенор Сенечки. — Заснуть не могу, тебя не было.

— Сейчас, сейчас, — засуетился Шнайдер.

Он влез на нары, отогнул одеяло, сел, засунул руку под одеяло и стал чесать пятки Сенечке.

Андреев медленно шел к своему месту. Жить ему не хотелось. И хотя это было небольшое и нестрашное событие по сравнению с тем, что он видел и что ему предстояло увидеть, — он запомнил капитана Шнайдера навек.

А людей становилось все меньше. Транзитка пустела. Андреев столкнулся лицом к лицу с нарядчиком.

— Как твоя фамилия?

Но Андреев уже давно подготовил себя к такому.

— Гуров, — сказал он смиренно.

— Подожди!

Нарядчик полистал папиросную бумагу списков.

— Нет, нету.

— Можно идти?

— Иди, скотина, — проревел нарядчик.

<На работу гоняли каждый день — это была дармовая, неучтенная и транзитная рабочая сила — не настоящая работа по нормам. Выгодней всего было попасть в небольшие партии — лучшим вариантом был один-два человека, и Андреев старался попасть в такие группы.

Это было не так сложно. Нужно было только держаться в задних рядах перед воротами. Строили человек триста — четыреста, сначала на невыгодные земляные работы в городе большими партиями, потом все меньше, меньше. Наконец наступала андреевская минута. Так он побывал на хлебозаводе, на женской командировке.> Однажды он попал на уборку и мытье посуды в столовую пересылки уезжающих освобожденных, окончивших срок наказания людей. Его партнером был изможденный фитиль, доходяга неопределенного возраста, только что выпущенный из местной тюрьмы. Это был первый выход доходяги на работу. Он все спрашивал — что они будут делать, покормят ли их и удобно ли попросить что-нибудь съестное хоть немного раньше работы. Доходяга рассказал, что он — профессор-невропатолог, и фамилию его Андреев помнил.

Андреев по опыту знал, что лагерные повара, да и не только повара, не любят Иван Ивановичей, как презрительно называли они интеллигенцию. Он посоветовал профессору ничего заранее не просить и грустно подумал, что главная работа по мытью и уборке достанется на его, андреевскую, долю — профессор был слишком слаб. Это было правильно, и обижаться не приходилось — сколько раз на прииске Андреев был плохим, слабым напарником для своих тогдашних товарищей, и никто никогда не говорил ни слова. Где они все? Где Шейнин, Рютин, Хвостов? Все умерли, а он, Андреев, ожил. Впрочем, он еще не ожил и вряд ли оживет. Но он будет бороться за жизнь.

Предположения Андреева оказались правильными — профессор действительно оказался слабым, хотя и суетливым помощником.

Работа была кончена, и повар посадил их на кухне и поставил перед ними огромный бачок густого рыбного супа и большую железную тарелку с кашей. Профессор всплеснул руками от радости, но Андреев, выдавший на прииске, как один человек съедает по двадцать порций обеда из трех блюд с хлебом, покосился на предложенное угощение неодобрительно.

— Без хлеба, что ли? — спросил Андреев хмуро.

— Ну, как без хлеба, дам понемножку, — и повар вынул из шкафа два ломтя хлеба.

С угощением было быстро покончено. В таких «гостях» предусмотрительный Андреев всегда ел без хлеба. И сейчас он положил хлеб в карман. Профессор же отламывал хлеб, глотал суп, жевал, и крупные капли грязного пота выступали на его стриженной седой голове.

— Вот вам еще по рублю, — сказал повар. — Хлеба у меня нынче нет.

Это была превосходная плата.

На пересылке была лавчонка, ларек, где можно было купить вольнонаемным хлеб. Андреев сказал об этом профессору.

— Да-да, вы правы, — сказал профессор. — Но я видел: там торгуют сладким квасом. Или это лимонад? Мне очень хочется лимонаду, вообще чего-нибудь сладкого.

— Дело ваше, профессор. Только я бы в вашем положении лучше хлеба купил.

— Да-да, вы правы, — повторил профессор, — но очень хочется сладкого. Выпейте и вы.

Но Андреев наотрез отказался от кваса.

В конце концов Андреев добился одиночной работы — стал мыть полы в конторе пересыльной хозчасти. Каждый вечер за ним приходил дневальный, чьей обязанностью и было поддерживать контору в чистоте. Это были две крошечные комнатки, заставленные столами,

метра четыре квадратных каждая. Полы были крашенные. Это была пустая десятиминутная работа, и Андреев не сразу понял, почему дневальный нанимает рабочего для такой уборки. Ведь даже воду для мытья дневальный приносил через весь лагерь сам, чистые тряпки тоже были всегда приготовлены раньше. А плата была щедрая — махорка, суп и каша, хлеб и сахар. Дневальный обещал дать Андрееву даже легкий пиджак, но не успел.

Очевидно, дневальному казалось зазорным мыть самому полы — хотя бы и пять минут в день, когда он в силах нанять себе работягу. Это свойство, присущее русским людям, Андреев наблюдал и на прииске: даст начальник на уборку барака дневальному горсть махорки. Половину махорки дневальный высыплет в свой кисет, а за половину наймет дневального из барака пятьдесят восьмой статьи. Тот в свою очередь переполовинит махорку и наймет работягу из своего барака за две папиросы махорочных. И вот работяга, отработав 12—14 часов в смену, моет полы ночью за эти две папиросы табаку. И еще считает за счастье — ведь на табак он выменяет хлеб.

Валютные вопросы — самая сложная теоретическая область экономики. И в лагере валютные вопросы сложны — эталоны удивительны: чай, табак, хлеб — вот поддающиеся курсу ценности.

Дневальный хозчасти платил Андрееву иногда талонами в кухню. Это были куски картона с печатью, вроде жетонов — десять обедов, пять вторых блюд и т. п. Так дневальный дал Андрееву жетон на двадцать порций каши, и эти двадцать порций не покрыли дна жестяного тазика.

Андреев видел, как блатные совали вместо жетонов в окошечко сложенные жетонообразно ярко-оранжевые тридцатирублевки. Это действовало без отказа. Тазик наполняется кашей, выскакивая из окошечка в ответ на «жетон».

Людей на транзитке становилось все меньше и меньше. Настал наконец день, когда после отправки последней машины на дворе осталось всего десятка три человек.

На этот раз их не отпустили в барак, а построили и повели через весь лагерь.

— Все же не расстреливать ведь нас ведут, — сказал шагавший рядом с Андреевым огромный большерукий одноглазый человек.

Именно это — не расстреливать же — подумал и Андреев. Всех привели к нарядчику в отдел учета.

— Будем вам пальцы печатать, — сказал нарядчик, выходя на крыльцо.

— Ну, если пальцы, то можно и без пальцев, — весело сказал одноглазый. — Моя фамилия Филипповский, Георгий Адамович.

— А твоя?

— Андреев Павел Иванович.

Нарядчик отыскал личные дела.

— Давненько мы вас ищем, — сказал он беззлобно. — Идите в барак, я потом вам скажу, куда вас назначат.

Андреев знал, что он выиграл битву за жизнь. Просто не могло быть, чтоб тайга еще не насытилась людьми. Отправки если и будут, то на ближние, на местные командировки. Или в самом городе — это еще лучше. Далеко отправить не могут — не только потому, что у Андреева «легкий физический труд». Андреев знал практику внезапных перекомиссовок. Не могут отправить далеко, потому что наряды тайги уже выполнены. И только ближние командировки, где жизнь легче, проще, сытнее, где нет золотых забоев, а значит есть надежда на спасение, — ждут своей, последней очереди. Андреев страдал это своей двухлетней работой на прииске. Своим звериным напряжением в эти карантинные месяцы. Слишком много было сделано. Надежды должны сбыться во что бы то ни стало.

Ждать пришлось всего одну ночь.

После завтрака нарядчик влетел в барак со списком, с маленьким списком, как сразу облегченно отметил Андреев. Приисковые списки были по двадцать пять человек на автомашину, и таких бумажек было всегда несколько.

Андреева и Филипповского вызвали по этому списку; в списке было людей больше — немного, но не две и не три фамилии.

Вызванных повели к знакомой двери учетной части. Там стояло еще три человека — седой, важный, неторопливый старик в хорошем овчинном полушубке и в валенках и грязный вертлявый человек в ватной телогрейке, брюках и резиновых галошах с портянками на ногах. Третий был благообразный старик, глядящий себе под ноги. Поодаль стоял человек в военной бекеше, в кубанке.

— Вот все, — сказал нарядчик. — Подойдут?

Человек в бекеше поманил пальцем старика.

— Ты кто?

— Нагибин Юрий Иванович, статья пятьдесят восьмая. Срок двадцать пять лет, — бойко отрапортовал старик.

— Нет, нет, — поморщилась бекеша. — По специальности ты кто? Я ваши установочные данные найду без вас...

— Печник, гражданин начальник.

— А еще?

— По жестяному могу.

— Очень хорошо. Ты? — Начальник перевел взор на Филипповского.

Одноглазый великан рассказал, что он — кочегар с паровоза из Каменец-Подольска.

— А ты?

Благообразный старик пробормотал неожиданно несколько слов по-немецки.

— Что это? — сказала бекеша с интересом.

— Вы не беспокойтесь, — сказал нарядчик. — Это столяр, хороший столяр Фризоргер. Он немножко не в себе. Но он опомнится.

— А по-немецки-то зачем?

— Он из-под Саратова, из автономной республики...

— А-а-а... А ты? — Это был вопрос Андрееву.

«Ему нужны специалисты и вообще рабочий народ, — подумал Андреев. — Я буду кожевником».

— Дубильщик, гражданин начальник.

— Очень хорошо. А лет сколько?

— Тридцать один.

Начальник покачал головой. Но так как он был человек опытный и видывал воскрешение из мертвых, он промолчал и перевел глаза на пятого.

Пятый, вертлявый человек, оказался ни много ни мало как деятелем общества эсперантистов.

— Я, понимаете, вообще-то агроном, по образованию агроном, даже лекции читал, а дело у меня, значит, по эсперантистам.

— Шпионаж, что ли? — равнодушно сказала бекеша.

— Вот-вот, вроде этого, — подтвердил вертлявый человек.

— Ну как? — спросил нарядчик.

— Беру, — сказал начальник. — Все равно лучших не найдешь. Выбор нынче небогат.

Всех пятерых повели в отдельную камеру — комнату при бараке. Но в списке было еще две-три фамилии — это Андреев заметил очень хорошо. Пришел нарядчик.

— Куда мы едем?

— На местную командировку, куда же еще, — сказал нарядчик. — А это ваш начальник будет.

— Через час и отправим. Три месяца припухали тут, друзья, пора и честь знать.

Через час их вызвали, только не к машине, а в кладовую. «Очевидно, заменять обмундирование»,— думал Андреев. Ведь весна на носу — апрель. Выдадут летнее, а это зимнее, ненавистное, приисквое, он сдаст, бросит, забудет. Но вместо летнего обмундирования им выдали зимнее. По ошибке? Нет — на списке была метка красным карандашом: «зимнее».

Ничего не понимая, в весенний день они оделись во второсрочные телогрейки и бушлаты, в старые, чиненные валенки. И, прыгая кое-как через лужи, в тревоге добрались до барачной комнаты, откуда они пришли на склад.

Все были встревожены чрезвычайно и все молчали, и только Фризоргер что-то лопотал и лопотал по-немецки.

— Это он молитвы читает, мать его...— шепнула Филипповский Андрееву.

— Ну, кто тут что знает? — спросил Андреев.

Седой, похожий на профессора печник перечислил все ближние командировки: порт, четвертый километр, семнадцатый километр, двадцать третий, сорок седьмой...

Дальше начинались участки дорожных управлений — места немногим лучше золотых приисков.

— Выходи! Шагай к воротам!

Все вышли и пошли к воротам пересылки. За воротами стоял большой грузовик, закрытый зеленой парусиной.

— Конвой, принимай!

Конвоир сделал переключку. Андреев чувствовал, как холодеют у него ноги, спина...

— Садись в машину!

Конвоир откинул край большого брезента, закрывавшего машину, — машина была полна людей, сидевших по всей форме.

— Полежай!

Все пятеро сели вместе. Все молчали. Конвоир сел в машину, затарахтел мотор, и машина двинулась по шоссе, выезжая на главную трассу.

— На четвертый километр везут,— сказал печник.

Верстовые столбы уплывали мимо. Все пятеро сдвинули головы около щели в брезенте, не верили глазам...

— Семнадцатый...

— Двадцать третий...— считал Филипповский.

— На местную, сволочи! — злобно прохрипел печник.

Машина давно уже вертелась витой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат, которым тащили море к небу. Тащили горы — бурлаки, согнув спину.

— Сорок седьмой,— безнадежно пискнул вертявый эсперантист. Машина пролетела мимо.

— Куда мы едем? — спросил Андреев, ухватив чье-то плечо.

— На Атке, на двести восьмом будем ночевать.

— А дальше?

— Не знаю... Дай закурить.

Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблоновского хребта.

ПОЕЗД

На иркутском вокзале я лег под свет электрической лампочки, ясный и резкий,— как-никак в поясе у меня были защиты все мои деньги. В полотняном поясе, который мне шили в мастерской два года назад, и ему наконец предстояло сослужить свою службу. Осторожно ступая через ноги, выбирая дорожки между телами грязными, вонючими, рваными, ходил по вокзалу милиционер, и — что было еще

лучше — военный патруль с красными повязками на рукавах, с автоматами. Конечно, милиционеру было бы не справиться со шпаной — и это, вероятно, было установлено гораздо ранее моего появления на вокзале. Не то что я боялся, что у меня украдут деньги. Я давно уже ничего не боялся, а просто с деньгами было лучше, чем без денег. Свет падал мне в глаза, но тысячи раз ранее падал мне свет в глаза, и я выучился превосходно спать при свете. Я поднял воротник бушлата, именуемого в официальных документах полупальто, всунул руки в рукава покрепче, чуть-чуть опустил валенки с ног, пальцам стало свободно, и я заснул. Сквозняков я не боялся. Все было привычно: паровозные гудки, двигавшиеся вагоны, вокзал, милиционер, базар около вокзала, — как будто я видел только многолетний сон и сейчас проснулся. И я испугался, и холодный пот выступил на коже. Я испугался страшной силе человека, желанью и умению забывать. Я увидел, что я готов забыть все, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что не позволю моей памяти забыть все, что я видел. И я успокоился и заснул.

Я проснулся, перевернул портянки сухой стороной, умылся снегом — черные брызги летели во все стороны — и отправился в город. Это был первый настоящий город за 18 лет. Якутск был большой деревней. Лена отошла от города далеко, но жители боялись ее возвращения, ее размывов, и песчаное русло-поле было пустым, там была только вьюга. Здесь, в Иркутске, были большие дома, беготня жителей, магазины.

Я купил там пару трикотажного белья — такого белья я не носил 18 лет. Мне доставляло несказанное удовольствие стоять в очередях, платить, протягивать чек. Номер? Я забыл номер. Самый большой. Продавщица неодобрительно покачала головой. 55? Вот-вот. И она завернула мне белье, которого и носить не пришлось, ибо мой номер был 51 — это я выяснил уже в Москве. Продавщицы были одеты все в синие одинаковые платица. Я купил еще помазок и перочинный нож. Эти чудесные вещи стоили баснословно дешево. На Севере все такое было самодельным — и помазки и перочинные ножи.

Я зашел в книжный магазин. В букинистическом отделении продавали «Русскую историю» Соловьева — за 850 рублей все тома. Нет, книг я покупать до Москвы не буду. Но подержать книги в руках, постоять около прилавка книжного магазина — это было как хороший мясной борщ... Как стакан живой воды.

В Иркутске наши дороги разделились. Еще в Якутске вчера мы ходили по городу все вместе, и билеты на самолет брали все вместе, в очередях стояли все вместе, вчетвером, — доверять кому-либо деньги не приходило в голову. Это было не принято в нашем мире. Я дошел до моста и посмотрел вниз на кипящую, зеленую, прозрачную до дна Ангару — могучую, чистую. И трогая замерзшей рукой холодные бурые перила, вдыхая запах бензина и зимней городской пыли, я глядел на торопливых пешеходов и понял, насколько я горожанин. Я понял, что самое дорогое, самое важное для человека время — когда рождается родина, пока семья и любовь еще не родились, — это время детства и ранней юности. И сердце мое сжалось. Я слал привет Иркутску от всей души. Иркутск был моей Вологдой, моей Москвой.

Когда я подходил к вокзалу, кто-то ударил меня по плечу.

— С тобой будут говорить, — сказал беленький мальчик в телогрейке и отвел меня в темноту.

Немедленно из мрака вынырнул невысокий человек, внимательно на меня глядя.

Я увидел по взгляду, с кем я имею дело. Трусливый и наглый, льстивый и ненавидящий был этот так хорошо знакомый мне взгляд. Из темноты виднелись еще какие-то рожи, мне их знать было не надо, они появятся в свое время — с ножами, с гвоздями, с пиками в ру-

как... Сейчас передо мной было только одно лицо с бледной, землистой кожей, с опухшими веками, с крошечными губами, как бы приклеенными к скошенному выбритому подбородку.

— Ты кто? — Он выставил грязную руку с длинными ногтями. Отвечать было необходимо. Никакой защиты ни патруль, ни милиционер тут оказать не могли. — Ты — с Колымы?

— Да, с Колымы.

— Ты где работал там?

— Фельдшером на партиях.

— Фельдшером? Лепилой? Кровь, значит, пил нашего брата. Есть с тобой разговор.

Я сжимал в кармане купленный новенький перочинный ножик и молчал. Надеяться можно было только на случай, на какой-нибудь случай. Терпение и случай — вот что спасало и спасает нас. И случаи пришеел. Два кита, на которых стоит арестантский мир.

Тьма расступилась.

— Я знаю его.

На свет появилась новая фигура, вовсе мне не знакомая. У меня была великая память на лица. Но этого человека я не видел никогда.

— Ты? — Палец с длинным ногтем описал полукруг.

— Да, он работал на Кудыме, — сказал неизвестный. — Говорят, человек. Помогал нашим. Хвалили.

Палец с ногтем исчез.

— Ну, иди, — злобно сказал вор. — Мы подумаем.

Счастье было в том, что ночевать мне в вокзале было больше не надо. Поезд на Москву отходил сегодняшним вечером.

Утром был тяжелый свет электрических ламп — мутных, никак не хотевших погаснуть. В хлопающие двери виднелся иркутский день, холодный, светлый. Тучи людей, загромаждавшие проходы, заполнявшие всякий квадратный сантиметр цементного пола, засаленной скамейки, — если кто-нибудь встанет, двинется, уйдет. Нескончаемое стояние в очереди перед кассой — билет на Москву, на Москву, а там видно будет... Не в Джамбул, как указано в документах. Но кому нужны эти колымские документы в этой свалке людей, в этом бесконечном движении. Наступившая наконец моя очередь у окошка, судорожные движения, чтобы достать деньги, просунуть пачку блестящих кредиток в кассу, где они исчезнут — неминуемо исчезнут, как исчезла вся жизнь до этой минуты. Но чудо продолжало совершаться, и окошечко выбросило какой-то твердый предмет, шероховатый, твердый, тоненький, как ломтик счастья, — билет на Москву. Кассирша что-то кричала вроде того, что это — поезд смешанный, что плацкартное место — в смешанном вагоне, что настоящее можно взять только на завтра или на послезавтра. Но я не понял ничего, кроме слов «завтра» и «сегодня». Сегодня, сегодня. И сжимая крепко билет, пытаюсь ощупать все его грани своей бесчувственной, от мороженной кожей, я выдрался, выбрался на свободное место. Я был человек с самолета, у меня не было лишних вещей — только небольшой фанерный баульчик. Я был человек с Дальнего Севера, у меня не было лишних вещей — только маленький фанерный чемодан, тот самый, который я безуспешно пытался продать в Адыгалахе, собирая деньги на поездку в Москву. Дорогу мне не оплатили — я уезжал нищим, но это все было пустяками. Главное — это твердая картонная дощечка железнодорожного билета.

Отдышавшись где-то в вокзальном углу — место мое под яркой лампой было, конечно, занято, — я пошел через город к вокзалу.

Посадка уже началась. На горке стоял игрушечный поезд, неправдоподобно маленький. Просто несколько грязных картонных коробок поставлены были рядом — среди сотен других, где жили дорожники или эксплуатационники, где было развешено замороженное белье, хлопавшее под ударами ветра.

Мой поезд ничем не отличался от этих вагонных составов, превращенных в общежития.

Состав не был похож на поезд, следующий во столько-то часов в Москву, а был похож на общежитие. И там и тут спускались со ступенек вагонов люди, и там и тут по воздуху двигались какие-то вещи над головами движущихся людей. Я понял, что у поезда нет самого главного, нет жизни, нет обещания движения — нет паровоза. Действительно, ни у одного из общежитий не было паровоза. Мой состав был похож на общежитие. И я не поверил бы, что эти вагоны могут увезти меня в Москву, — но посадка уже шла.

Бой, страшный бой у входа в вагон. Кажется, что работа вдруг кончилась на два часа раньше, чем надо, и все прибежали домой, в барак, к теплой печке и рвутся в двери.

Какие там проводники... Каждый искал свое место сам, сам закреплялся и укреплялся. Моя плацкартная средняя полка была, конечно, занятой каким-то пьяным лейтенантом, непрерывно рыгающим. Я стащил лейтенанта и показал ему свой билет.

— У меня тоже билет на это место есть, — миролюбиво объяснил лейтенант, икнул, соскользнул на пол и тут же заснул.

Вагон все набивался и набивался людьми. Вверх поднимались и исчезали где-то вверх огромные какие-то токи, чемоданы. Запахло резкой вонью овчинных тулупов, людского пота, грязи, карболки.

«Пересылка, пересылка», — повторял я, лежа на спине, вдвинутый в узкое пространство между средней и верхней полкой. Снизу вверх прополз мимо меня лейтенант с расстегнутым воротом, с красным помятым лицом. Лейтенант уцепился за что-то сверху, подтянулся на руках и исчез...

В суматохе, в крике вагонной этой транзитки я так и не услышал самого главного, что мне хотелось и надо было услышать, о чем я мечтал семнадцать лет, что стало для меня неким символом материка, символом жизни, символом Большой земли. Я не услышал гудка паровоза. Я и не подумал о нем во время сражения за место в вагоне. Гудка я не услышал. Но дрогнули и качнулись вагоны, и вагон наш, наша пересылка, начал куда-то перемещаться, как будто я начинаю засыпать и барак плывет перед моими глазами.

Я заставил себя понять, что я еду — в Москву.

На стрелочном каком-то перегоне, тут же у Иркутска, вагон трянуло, и сверху вывалилась и повисла фигура лейтенанта, крепко, впрочем, вцепившегося в верхнюю полку, на которой он спал. Лейтенант рыгнул, и прямо на мое место, а также и на полку моего соседа обрушилась блевотина. Блевотина была неудержимой. Сосед снял свою шубу — не телогрейку, не бушлат, а пальто-москвичку с меховым воротником и, матерясь неудержимо, стал счищать блевотину.

У соседа моего было бесконечное количество каких-то плетеных корзин, зашитых в рождугу и не зашитых. Время от времени из глубоины вагона появлялись какие-то женщины, укутанные в деревянные платки, в полушубках, с точно такими же плетеными корзинами на плечах. Женщины что-то кричали моему соседу, тот махал им приветственно рукой.

— Своячения! В Ташкент к родным поехала, — объяснял он мне, хотя я и не требовал никаких объяснений.

Ближайшую свою плетенку сосед охотно раскрывал и показывал. Кроме пиджачной потрепанной пары да еще кое-каких вещичек в плетенке ничего не было. Зато было много фотографий — семейных и групповых — на огромных паспарту, фотографий, часть которых была еще дагерротипами. Фотография покрупнее извлекалась из плетенки, и сосед мой охотно и подробно объяснял, кто где тут стоит, кто убит на войне, а кто получил орден, кто учится на инженера. «А вот — я», — непременно тыкал он в фотографию куда-то посередине, и все, кому

он показывал эти фотографии, покорно, вежливо и сочувственно кивала головой.

На третий день совместной жизни в этом трясущемся вагоне сосед мой, составив обо мне представление полное, ясное и безусловно правильное, хотя я ничего о себе не рассказывал, сказал мне быстро, пока внимание других соседей было чем-то отвлечено:

— У меня в Москве пересадка. Ты сможешь мне одну плетенку вытащить через проходную? Сквозь весы?

— Меня же встречают в Москве.

— Ах, да. Я и забыл, что у вас — встреча.

— А что ты везешь?

— Что? Семечки. А из Москвы галоши повезем...

Ни на одной из станций я не выходил. Еда у меня была. Я боялся, что поезд обязательно уйдет без меня, что случится что-нибудь плохое, — не может же счастье быть бесконечным.

Напротив на средней полке лежал какой-то человек в шубе, бесконечно пьяный, без шапки и рукавиц. Пьяные друзья посадили его в вагон, вручили билет проводнице. Сутки он ехал, потом где-то слез, вернулся с бутылкой какого-то темного вина, выпил ее прямо из горлышка, бросил бутылку на пол вагона. Бутылку ловко подхватила проводница и унесла ее в свое проводничье логово, заваленное одеялами, которых никто не брал в смешанном вагоне, простынями, которые никому не понадобились. За барьером из одеял в том же купе проводников на верхней, третьей полке обосновалась проститутка, едущая с Колымы, а может быть, и не проститутка, а превращенная Колымой в проститутку... Дама эта сидела недалеко от меня на нижнем месте, и качающийся свет тусклой вагонной свечи по временам падал на бесконечно утомленное лицо, на покрашенные чем-то, только не губной помадой, губы. Потом к ней кто-то подходил, что-то говорил, и она исчезала в купе проводников.

— Пятьдесят рублей, — сказал лейтенант, уже протрезвившийся и оказавшийся весьма милым молодым человеком.

Мы играли с ним в очень интересную игру. Когда в вагон садился новый пассажир, каждый из нас старался угадать профессию этого пассажира, возраст, занятие. Мы обменивались наблюдениями, потом он садился к пассажиру, заговаривал с ним и приходил ко мне с ответом.

Так дама с накрашенными губами, но с ногтями без следа лака была нами определена как медицинский работник, а леопардовая шуба, в которую дама была одета, — явно искусственная, поддельная шубка — говорила, что ее обладатель — скорее медицинская сестра или фельдшер, но не врач. Врач не носил бы искусственную шубку. О нейлоне, синтетике тогда еще не слыхивали. Заключение наше оказалось верным.

Время от времени мимо нашего купе пробегал откуда-то изнутри вагона двухлетний ребенок на кривых ножках, грязный, оборванный, голуболазый. Бледные щечки его были покрыты какими-то лишаями. Через минуту-две вслед за ним шагал уверенно и твердо молодой отец — в телогрейке, с тяжелыми, крепкими, рабочими темными пальцами. Он ловил мальчика. Мальш смеялся, улыбаясь отцу, и отец улыбался мальчику и в радостном восторге возвращал мальчика на место — в одном из купе нашего вагона. Я узнал их историю. Обычную колымскую историю. Отец — бытовик какой-то, только что освобожден, уезжал на материк. Мать ребенка не захотела возвращаться, и отец ехал с сыном, твердо решив вырвать ребенка, а может быть, и себя из цепких объятий Колымы. Почему не поехала мать? Может быть, это была обычная история. Нашла другого, полюбила колымскую вольную жизнь — она уже была вольняшкой и не хотела попадать на материке в положение человека второго сорта... А может быть, молодость отцветала. Или любовь, колымская любовь кончи-

лась — мало ли что? А может быть, и еще страшнее. Мать отбывала по пятьдесят восьмой статье — самой бытовой из всех бытовых — и знала, чем ей грозит возвращение на Большую землю. Новым сроком, новыми мученьями. На Колыме тоже нет гарантий от срока — но ее не будут ловить, как ловили всех на материке.

Я ничего не узнал и ничего не хотел узнавать. Благородство, порядочность, любовь к своему ребенку, которого отец и видел-то, наверно, немного — ведь ребенок был в яслях, в детском саду.

Неумелые руки отца, расстегивающие детские штанишки, огромные разноцветные пуговицы, пришитые грубыми, неумелыми, но добрыми руками. Счастье отца и счастье мальчика. Этот двухлетний малыш не знал слово «мама». Он кричал: «Папа, папа!» И он и темнокожий слесарь играли друг с другом, с трудом находя место среди пьяных, среди картежников, среди спекулянтских корзин и тюков. Эти-то два человека в нашем вагоне были, конечно, счастливы.

Пассажиру, который спал вторые сутки от Иркутска, который проснулся лишь затем, чтобы выпить, проглотить новую бутылку водки, или коньяка, или настойки, дальше спать не пришлось. Поезд тряхнуло. Спящий пьяный пассажир рухнул на пол и застонал, застонал. Вызванная проводниками медицинская помощь определила, что у пассажира перелом плеча. Его уволокли на носилках, и он исчез из моей жизни.

Внезапно в вагоне возникла фигура моего спасителя, или сказать «спаситель» будет слишком громко — дело ведь тогда не дошло до чего-нибудь важного, кровавого. Знакомый мой сидел, меня не узнавая и как бы не желая узнавать. Все же мы переглянулись с ним, и я подошел к нему. «Хочу хоть до дому доехать, посмотреть родных» — вот последние слова этого бладаря, которые я слышал.

Вот это все: и резкий свет лампы на иркутском вокзале, и спекулянт, везущий с собой чужие фотографии для камуфляжа, и блевотина, которую извергала на мою полку глотка молодого лейтенанта, и грустная проститутка на третьей полке купе проводников, и двухлетний грязный ребенок, счастливо кричащий «папа, папа!», — вот это все и запомнилось мне как первое счастье, непрерывное счастье воли.

<Ярославский вокзал. Шум, городской прибор Москвы — города, который мне роднее всех городов мира. Остановившийся вагон. Родное лицо жены, встречающей меня — так же, как и раньше, когда я возвращался из многочисленных своих поездок. На этот раз командировка была длительной — почти семнадцать лет. А самое главное, я возвращался не из командировки. Я возвращался из ада.>

СЕНТЕНЦИЯ

Надежде Яковлевне Мангельштам.

Люди возникали из небытия — один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костяловому плечу, отдавая свое тепло — капли тепла — и получая взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейки, и поутру я глядел на соседа как на мертвеца и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. У меня было мало тепла. Не много мяса осталось на моих костях. Этого мяса было достаточно только для злости — последнего из человеческих чувств. Не равнодушные, а злость была последним человеческим чувством — тем, которое ближе к костям. Человек, возникший из небытия, исчезал днем — на угольной разведке было много участков, — и исчезал навсегда. Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им

вопросов, и не потому, что следовал арабской поговорке: не спрашивай — и тебе не будут лгать. Мне было все равно — будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи. У блатных на сей предмет есть жесткая, яркая, грубая поговорка, пронизанная глубоким презрением к задающему вопрос: не веришь — прими за сказку. Я не расспрашивал и не выслушивал сказок.

Что оставалось со мной до конца? Злоба. И храня эту злобу, я рассчитывал умереть. Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была замещена смерть, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью. Каждый день, каждый восход солнца приносил опасность нового, смертельного толчка. Но толчка не было. Я работал кипятильщиком — легчайшая из всех работ, легче, чем быть сторожем, но я не успевал нарубить дров для титана, кипятильщика системы «титан». Меня могли выгнать — но куда? Тайга далеко, поселок наш, командировка по-колымскому, — это как остров в таежном море. Я еле таскал ноги, расстояние в двести метров от палатки до работы казалось мне бесконечным, и я не один раз садился отдыхать. Я и сейчас помню все выбоины, все ямы, все рытвины на этой смертной тропе, ручей, перед которым я ложился на живот и лакал холодную вкусную целебную воду. Двуручная пила, которую я таскал то на плече, то волоком, держа за одну ручку, казалась мне грузом невероятной тяжести.

Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы титан закипал к обеду.

Но никто из рабочих, из вольняшек, — все они были вчерашними заключенными — не обращал внимания, кипела ли вода или нет. Колыма научила нас всех различать питьевую воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипяченая и сырая.

Нам не было дела до диалектического скачка перехода количества в качество. Мы не были философами. Мы были работягами, и наша горячая питьевая вода этих важных качеств скачка не имела.

Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза, — обрезки, обломки съестного, прошлогодние ягоды на болоте. Вчерашний или позавчерашний суп из вольного котла. Нет, вчерашнего супа у наших вольняшек не оставалось.

В палатке нашей было два ружья, два дробовика. Куропатки не боялись людей, и первое время птицу били прямо с порога палатки. Добыча запекалась целиком в золе костра или варилась, когда ошипана бережно. (Пух-перо — на подушку, тоже коммерция, верные деньги — приработок вольных хозяев ружей и таежных птиц.) Выпотрошенные, ошипанные куропатки варились в консервных банках — трехлитровых, подвешенных к кострам. От этих таинственных птиц я никогда не находил никаких остатков. Голодные вольные желудки измельчали, смололи, иссосали все птичьи кости без остатка. Это тоже было одно из чудес тайги.

Я никогда не попробовал ни кусочка от этих куропаток. Мое — были ягоды, корни травы, пайка. И я — не умирал. Я стал все более равнодушно, без злобы смотреть на холодное красное солнце, на горы-гольцы, где все — скалы, повороты ручья, лиственницы, тополя — было угловатым и недружелюбным. По вечерам с реки поднимался холодный туман — и не было часа в таежных сутках, когда мне было бы тепло.

Отмороженные пальцы рук и ног ныли, гудели от боли. Ярко-розовая кожа пальцев так и оставалась розовой, легкоранимой. Пальцы были вечно замотаны в какие-то грязные тряпки, оберегая руку от новой раны, от боли, но не от инфекций. Из больших пальцев на обеих ногах сочился гной, и не было гною конца.

Меня будили ударом в рельс. Ударом в рельс снимали с работы. После еды я сразу ложился на нары, не раздеваясь, конечно, и засы-

пал. Палатка, в которой я спал и жил, виделась мне как сквозь туман — где-то двигались люди, возникала громкая матерная брань, возникали драки, наступало мгновенно безмолвие перед опасным ударом. Драки быстро угасали — сами по себе, никто не удерживал, не разнимал, просто глохли моторы драки. и наступала ночная холодная тишина с бледным высоким небом сквозь дырки брезентового потолка, с храпом, хрипом, стонами, кашлем и беспамятной руганью спящих.

Однажды ночью я ощутил, что слышу эти стоны и хрипы. Ощущение было внезапным, как озарение, и не обрадовало меня. Позднее, вспоминая эту минуту удивления, я понял, что потребность сна, забытья, беспамятства стала меньше, — я выспался, как говорил Моисей Моисеевич Кузнецов, наш кузнец, умница из умниц.

Появилась настойчивая боль в мышцах. Какие уж у меня были тогда мышцы — не знаю, но боль в них была, злила меня, не давала отвлечься от тела. Потом появилось нечто иное, чем злость или злоба, существующее вместе со злостью. Появилось равнодушие — бесстрашие. Я понял, что мне все равно — будут меня бить или нет, будут давать обед и пайку или нет. И хотя в разведке, на бесконвойной командировке, меня не били — бьют только на приисках, — я, вспоминая прииск, мерил свое мужество мерой прииска. Этим равнодушием, этим бесстрашием был переброшен мостик какой-то от смерти. Сознание, что бить здесь не будут — не бьют и не будут бить, — рождало новые силы, новые чувства.

За равнодушием пришел страх — боязнь лишиться этой спасительной жизни, этой спасительной работы кипятивщика, высокого холодного неба и ноющей боли в изношенных мускулах. Я понял, что боюсь уехать отсюда на прииск. Боюсь — и все. Я никогда не искал лучшего от хорошего в течение всей своей жизни. Мясо на моих костях день ото дня росло. Зависть — вот как называлось следующее чувство, которое вернулось ко мне. Я позавидовал мертвым своим товарищам — людям, которые погибли в тридцать восьмом году. Я позавидовал и живым соседям, которые что-то жуют, соседям, которые что-то закуривают. Я не завидовал начальнику, прорабу, бригадиру — это был другой мир.

Любовь не вернулась ко мне. Ах как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь! Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней — да и возвращается ли она? Но не только равнодушие, зависть и страх были свидетелями моего возвращения к жизни. Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям.

Как самый слабый в этом мире шурфов и разведочных канав, я работал с топографом — таскал за топографом рейку и теодолит. Бывало, что для скорости передвижения топограф прилаживал ремни теодолита за свою спину, а мне доставалась только легчайшая раскрашенная цифрами рейка. Топограф был из заключенных. С собой для смелости — тем летом было много беглецов в тайге — топограф таскал мелкокалиберную винтовку, выпросив оружие у начальства. Но винтовка нам только мешала. И не только потому, что была лишней вещью в нашем трудном путешествии. Мы сели отдохнуть на поляне, и топограф, играя мелкокалиберкой, прицелился в красногрудого снегиря, подлетевшего рассмотреть поближе опасность, увести в сторону. Если надо — пожертвовать жизнью. Самочка снегиря сидела где-то на яйцах — только этим и объяснялась безумная смелость птички. Топограф вскинул винтовку, и я отвел ствол в сторону:

— Убери ружье!

— Да ты что? С ума сошел?

— Оставь птицу, и все.

— Я начальнику доложу.

— Черт с тобой и с твоим начальником.

Но топограф не захотел ссориться и ничего начальнику не сказал. Я понял: что-то важное вернулось ко мне.

Не один год я не видел газет и книг и давно выучил себя не сожалеть об этой потере. Все пятьдесят моих соседей по палатке, по брезентовой рваной палатке, чувствовали так же — в нашем бараке не появилось ни одной газеты, ни одной книги. Высшее начальство — прораб, начальник разведки, десятник — спускалось в наш мир без книг.

Язык мой, приисковский грубый язык, был беден — как бедны были чувства, еще живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, «гражданин начальник», «разрешите обратиться», лопата, шурф, «слушаюсь», бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, «оставь покурить» — двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. Существовал в юности, в детстве анекдот, как русский обходился в рассказе о путешествии за границу всего одним словом в разных интонационных комбинациях. Богатство русской ругани, ее неисчерпаемая оскорбительность раскрылись передо мной не в детстве и не в юности. Анекдот с ругательством выглядел здесь как язык какой-нибудь институтки. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.

Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут — я это ясно помню, — под правой теменной костью, родилось слово, вовсе не пригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности.

— Сентенция! Сентенция! — И я захохотал. — Сентенция! — орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретоно вновь — тем лучше! Тем лучше! Великая радость переполняла мое существование. — Сентенция!

— Вот псих!

— Псих и есть! Ты — иностранец, что ли? — язвительно спрашивал горный инженер Вронский, тот самый Вронский, Три табачинки.

— Вронский, дай закурить.

— Нет, у меня нету.

— Ну хоть три табачинки.

— Три табачинки? Пожалуйста.

Из кيسета, полного махорки, извлекались грязным ногтем три табачинки.

— Иностранец? — Вопрос переводил нашу судьбу в мир провокаций и доносов, следствий и добавок срока.

Но мне не было дела до провокационного вопроса Вронского. Находка была чересчур огромной.

— Сентенция!

— Псих и есть!

Чувство злости — последнее чувство, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уж о траве, деревьях, реке. Река была не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью. Ее вечное движение, рокот неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Река, которая меняла высушенное солнцем, обнаженное русло и чуть-чуть видной ниточкой водной пробиралась где-то в камнях, повинувшись извечному своему долгу, ручейком, потерявшим надежду на помощь неба — на спасительный дождь. Первая гроза, первый ливень — и вода меняла берега, ломала скалы, кидала вверх деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой...

Сентенция! Я сам не верил себе, боялся, засыпая, что за ночь это вернувшееся ко мне слово исчезнет. Но слово не исчезало.

Сентенция! Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка Рио-рита. Чем это лучше Сентенции? Дурной вкус хозяина земли — картографа ввел на мировые карты Рио-риту. И исправить нельзя.

Сентенция — что-то римское, твердое, латинское было в этом слове. Древний Рим для моего детства был историей политической борьбы, борьбы людей, а Древняя Греция была царством искусства. Хотя и в Древней Греции были политики и убийцы, а в Древнем Риме было немало людей искусства. Но детство мое обострило, упростило, сузило и разделило два этих очень разных мира. Сентенция — римское слово.

Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал его, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода... А через неделю понял — и содрогнулся от страха и радости. Страх — потому, что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости — потому, что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.

Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова, одно за другим. Каждое приходило с трудом, каждое возникало внезапно и отдельно. Мысли и слова не возвращались потоком. Каждое возвращалось поодиночке, без конвоя других знакомых слов, и возникало раньше на языке, а потом — в мозгу.

А потом настал день, когда все, все пятьдесят рабочих бросили работу и побежали в поселок, к реке, выбираясь из своих шурфов, канав, бросая недопиленные деревья, недоваренный суп в котле. Все бежали быстрее меня, но и я доковыляла вовремя, помогая себе в этом беге с горы руками.

Из Магадана приехал начальник. День был ясный, горячий, сухой. На огромном листовничном пне, что у входа в палатку, стоял патефон. Патефон играл, преодолевая шипенье иглы, играл какую-то симфоническую музыку.

И все стояли вокруг — убийцы и конокрады, блätные и фраера, десятники и работяги. А начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таежной командировки. Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученный на целых триста лет...

2

ЛУЧШАЯ ПОХВАЛА

В моей жизни я получил две похвалы, которые я считаю самыми лучшими, самыми лестными. Одну — от генерального секретаря общества политкаторжан, бывшего эсера Александра Григорьевича Андреева, с которым я несколько месяцев вместе был в следственной камере Бутырской тюрьмы в 1937 году. Андреев уходил раньше меня, мы поцеловались, и Андреев сказал: «Ну, Варлам Тихонович, что сказать вам на прощанье — только одно: вы можете сидеть в тюрьме».

Вторую похвалу я получил почти через двадцать лет — в ноябре 1953 года при встрече с Пастернаком в Лаврушинском переулке: «Могу сказать вам, Варлам Тихонович, что ваше определение рифмы как поискового инструмента — это пушкинское определение. Теперь любят ссылаются на авторитеты. Вот я тоже ссылаюсь — на авторитет Пушкина». Конечно, Борис Леонидович был увлекающийся человек, и скидка тут нужна значительная, но мне было очень приятно.

Поэту

(Отрывок)

Борису Пастернаку.

В моем еще недавнем прошлом,
 На солнце камни раскаля,
 Босые, пыльные подошвы
 Палила мне моя земля.

И я стонал в клещах мороза,
 Что ногти с мясом вырвал мне,
 Рукой обламывал я слезы,
 И это было не во сне.

Там я в сравнениях избитых
 Искал избитых правоту,
 Там самый день был средством пыток,
 Что применяются в аду.

Я мям в ладонях, полных страха,
 Седые потные виски,
 Моя соленая рубаха
 Легко ломалась на куски.

Я ел, как зверь, рыча над пищей.
 Казался чудом из чудес
 Листок простой бумаги писчей,
 С небес слетевший в темный лес.

Я пил, как зверь, лакая воду,
 Мочил отросшие усы.
 Я жил не месяцем, не годом,
 Я жить решался на часы.

И каждый вечер в удивленье,
 Что до сих пор еще живой,
 Я повторял стихотворенья
 И снова слышал голос твой.

И я шептал их, как молитвы,
 Их почитал живой водой,
 И образком, хранящим в битве,
 И путеводною звездой.

Они единственную связью
 С иною жизнью были там,
 Где мир душил житейской грязью
 И смерть ходила по пятам...

* * *

Не жалея меня, Таня, не пугай моей славы,
 От бумаги не отводи.
 Слышишь — дрогнуло сердце, видишь — руки ослабли,
 Останавливать погоди.

Я другим уж не буду, я и думать не смею,
 Невозможного не захочу.
 Или птицей пою, или камнем немею —
 Мне любая судьба по плечу.

Эти письма — не бред, и не замок воздушный,
И не карточный домик мой.
Это крепость моя от людского бездушья,
Что построена нынче зимой.

* * *

Свой дом родимый брошу,
Бегу, едва дыша;
По первой по пороше
Охота хороша.

Мир будет улюлюкать:
Ату его, ату...
Слюна у старой суки
Пузырится во рту.

Мир песьих красноглазых
Зайндевевших морд,

Где каждый до отказа
Собачьей ролью горд.

И я, прижавши уши,
Бегу, бегу, бегу,
И сердце душит душу
В блистающем снегу.

И в вое кобелином,
Гудящем за спиной,
Игрой такой старинной
Закончу путь земной.

* * *

Я много лет дробил каменья
Не гневным ямбом, а кайлом,
Я жил позором преступления
И вечной правды торжеством.

Пусть не душой в заветной лире —
Я телом тленья убегу
В моей нетопленной квартире,
На обжигающем снегу,

Где над моим бессмертным телом,
Что на руках несла зима,
Металась вьюга в платье белом,
Уже сошедшая с ума,

Как деревенская кликуша,
Которой вовсе невдомек,
Что здесь хоронят раньше душу,
Сажая тело под замок.

Моя давнишняя подруга
Меня не чтит за мертвеца,
Она поет и пляшет — вьюга,
Поет и пляшет без конца.

* * *

Слабеют краски и тона,
Слабеет стих.
И жизнь, что прожита до дна,
Видна, как миг.

И некогда цветить узор,
Держать размер,
Ведь старой проповеди с гор
Велик пример.

Публикация и подготовка текста И. П. СИРОТИНСКОЙ³.

³ От публикатора. Проза и стихи В. Т. Шаламова печатаются по подлинным рукописям автора, хранящимся в ЦГАЛИ СССР. Рассказы относятся к концу 50-х — началу 60-х годов, стихи отобраны из «Колымских тетрадей» Шаламова (1949—1956)

ПУБЛИЦИСТИКА

В. БЕЛОВ

★

РЕМЕСЛО ОТЧУЖДЕНИЯ

Бюрократия и экология. Размышления при разборе бумаг

Эксплуатация, истощение, утилизация вынуждают задаться вопросом: ради чего на какую потребу истощаются многовековые запасы земли? И оказывается, что все это нужно для производства игрушек и безделушек, для забавы и игры. Приходить от этого в негодование, конечно, нельзя; нужно всегда помнить, что мы имеем дело с еще несовершеннолетними, хотя бы они и назывались профессорами, адвокатами и т. п.

Н. Федоров, «Философия общего дела».

До начала третьего тысячелетия осталось сто тридцать восемь месяцев. Много или мало? Этот вопрос хочется заменить каким-нибудь другим, не таким приторным. Хотя бы так: хорошо это или плохо? Лично на меня любая цифирь, будь она юбилейной или какой иной, всегда навеивает скуку. Не случайно же в русском народном быту ни юбилей, ни дни рождения не отмечались. Нынче от цифр, особенно юбилейных, человеку некуда деться.

Футурология тоже не уклонялась от числовых методов. Вспоминается, например, начало 60-х годов, когда в Москве во многих местах висели оптимистические плакаты: «Нынешнее поколение будет...» — и т. д. Все было расписано не только по пятилеткам, но и по годам.

Осмеливаюсь утверждать, что в смысле питания у москвичей основания для оптимизма тогда действительно были. На Бутырском хуторе, где находилось наше студенческое общежитие, в продовольственных магазинах продавалось пять-шесть сортов превосходных колбас, добротная сельдь, треска горячего копчения, буженина, различные сыры вплоть до рокфора. В пятьдесят девятом году в Москве можно было купить икру и красную рыбу, причем относительно недорого. Очевидец, как говорится, не даст соврать!

Да, основания для оптимизма действительно были. В особенности у москвичей, обладающих привилегиями, но не у моих земляков-володжан. Все пять лет студенческой жизни я возил вологодское масло для себя и своих родственников из Москвы обратно в Вологду. Вожу его и теперь.

Справедлив ли такой порядок, пусть рассудят госплановские москвичи, поскольку володжане-то уже давно рассудили. Не существует двух мнений на сей счет и у наших соседей: у ярославцев, вятичей, новгородцев, как, впрочем, и у рязанцев и тверичей. Все эти древние и звучные названия не спасают иногородних покупателей от раздраженных взглядов некоторых москвичей. Нетрудно представить, что может чувствовать покупатель, теряющий время на поездку в столицу, переплачивающий за свои же продукты, стоимость которых увеличена на стоимость проездного билета.

Но поставим вопрос шире. Не то ли же самое чувство горечи, чувство унижения испытываем мы, уже как граждане своей страны, своего государства, покупая финские яйца и сметану, кубинскую картошку, голландское масло, канадскую муку на блины и аргентинское мясо на котлеты? Не знаю кто как, но я не испытываю при этом особого восторга.

Происходят удивительные, можно сказать, необъяснимые вещи. Великая страна, обладающая грандиозными сельскохозяйственными угодьями, более чем тысячелетним опытом хлебопашества, мощным научным потенциалом и развитой промышленностью, неспособна к продовольственному обеспечению? Чуть и нелепость! В чем же тогда дело?

На этот вопрос не хотят отвечать даже дефицитные «Московские новости». Можно, конечно, сослаться на дефицит информации. Но для настоящего журналиста подобная ссылка звучит как признание в профессиональной беспомощности. Нынче хотя бы по «Поднятой целине» всем известно, как загоняли в колхоз наганями. Но мало кому из молодых читателей известно о том, что колхозы были и... до колхозов. Об этих доколхозных колхозах наши историки говорят сквозь зубы либо вообще помалкивают. Хотелось бы знать — почему? Почему о расстрелах тридцать седьмого года говорят все от мала до велика, а о расстрелах, начавшихся в конце двадцать девятого года, молчат? Информации достаточно, она есть даже в газетах того времени.

Широкой публике совсем неизвестен такой, например, на первый взгляд совершенно странный момент коллективизации, когда колхозы и создавались и разрушались одновременно. Одни и те же силы загоняли в колхоз и в то же время не пускали в колхоз. Тысячи крестьянских семей очутились в безвыходном положении. И в единоличниках оставаться нельзя, и в колхоз не пускают. И так ты не нужен, и так нехорош. Нелепость? Но было именно так. Газета «Правда Севера» № 114 от 6 октября 1929 года в тассовской заметке сообщает: «Саратов. 5. По постановлению Камышинского окружкома партии, весь материал комиссии, обследовавшей лжеколхоз «Красный мелиоратор», передан прокуратуре для привлечения виновных к ответственности. Из колхоза исключено 23 человека во главе с председателем Понасенко. Бюро Нижневолжского крайкома ВКП(б) признало недопустимым прием кулаков и других лишенцев в колхозы и предложило провести чистку всех колхозов. Окружком партии предложено взять под свое наблюдение ячейки крупных колхозов. Бывших руководителей Николаевского укома, Камышинского окрколхозсоюза, зав. отделом по работе в деревне Астраханского окружкома, председателя Астраханского крайколхозсоюза постановлено снять с работы. Кроме того, бюро постановило ввиду того, что бывший руководитель окрколхозсоюза, работающий ныне в Колхозцентре, Чиркунов, и имевший в течение пребывания в «Красном мелиораторе» возможность изучать действительный облик последнего, явно не способен руководить колхозным строительством, сообщить в соответствующие органы для обсуждения вопроса о его дальнейшей работе».

Это всего лишь один момент. Сколько их было, этих моментов, с 1928 года!

По одним выпискам из газет можно выработать более или менее объективное представление об истории нашего сельского хозяйства. К сожалению, история эта выглядит как одна сплошная полоса экспериментирования.

Однажды, лет двадцать назад, поехала я на озеро Кубенское за рыбой. Вспоминается предвесенняя небесная глубь, мартовская ясность воздуха и голубоватые холмины снежных полей, окантованные темно-зелеными ельниками. В глазах и до сих пор грунтовая дорога к селу Никольскому. Запах первой талой воды, вернее готового к таянию снега, напоминал запах только что выловленной рыбы. И я был уверен, что без рыбы в Вологду не вернусь. Да и в рыбе ли дело? Душа моя жаждала не столько свежей ухи, сколько весеннего общения с настоящими, а не любительскими рыбаками.

Рассчитывая попить чаю из нехлорированной воды, я остановился напротив деревеньки из пяти, может, шести домов. Заглушил машину и подошел к первому дому. У крыльца нет ни следа. Подошел ко второму — замок. У третьего дома замка на воротах нет, но стекла в окнах выбиты. Деревня была разорена и брошена, но мне не хотелось этому верить, я побежал к последнему крайнему дому. Нет, и этот дом пуст! Ворота оказались открытыми, в сених в беспорядке валялись вилы, осиновая дупля, ухват и сломанная корзина. Я вошел в избу. Там в левом углу все было разворочено. Туристы таким способом добывают иконы. Печь, однако ж, стояла целехонька. Шкаф в горнице был настежь, на полочках еще стояла какая-то посуда. Пол в горнице был сплошь завален... налоговыми обязательствами и квитанциями. Я поднял с пола снимок какого-то военного, схватил наугад горсть этих бумажек, сунул в карман и по своему старому следу вернулся к машине. Завел и долго сидел, согреваясь.

Частенько сюжеты, использованные давным-давно, повторяются, подтверждаются, так сказать, документально.

Хорошо помню, как бегад смотреть первый трактор. Тот самый, который был едва ли не единственным доводом при агитации за колхоз. (Правда, причина оказалась позади следствия, сперва несколько лет был колхоз и никакого трактора, и только потом, уже благодаря колхозу, явился трактор.) Так или иначе, с помощью трактора предполагалось раз и навсегда покончить со всеми проблемами сельского хозяйства.

Мы называем землю матерью, матушкой, кормилицей, поем ей гимны и словами. Это лишь на словах. На деле мы поступаем с ней безнравственно и жестоко, мы давно забыли, что она живая. Как все живое, она ждала милосердия. Но произошло отчуждение. Вместо любви и милосердия земле было уготовано презрение и равнодушие. Ныне человек не только травит ее химией изнутри, но и калечит физически: топят, сверлит, роет, терзает гусеницами, то есть наносит ей раны физически, раны в прямом смысле.

Что такое ну хотя бы современный карьер? Это обширная зияющая рана, которую не залечит и миллион лет. А шахты? А свалки и затопленные территории? Строители газопроводов и линий электропередач, нефтяники, лесорубы — никому нет дела до более земли! Что им этот крохотный, тончайший плодородный слой, кормящий человечество? Им не до него, ежели существует уже десятикилометровая скважина и почти наладились лететь на Марс. Некоторые ученые всерьез толкуют об искусственном интеллекте. Но пока они его придумывают, они вполне могут остаться без глотка чистой воды, без куска хлеба насущного. Призрак голода не исчезает с ростом технического комфорта. Сейчас на планете более 4 миллиардов гектаров пустынь. Пустыня с помощью человека расширяется со скоростью 4 гектара в минуту. К 2000 году площадь пустынь увеличится на 20 процентов. На границе 50—60-х годов лес занимал более 30 процентов суши. Но уже в 1965 году этот процент уменьшился до 22! Безжалостно и стремительно вырубаются леса Африки и Южной Америки, русского Северо-Запада и Сибири. Большая часть атмосферного кислорода пополняется лесами Земли. Чем же будут дышать земляне, когда леса исчезнут?

Почти всю массу продовольствия, необходимого людям, производит тончайший гумусный слой. Гумус — явление удивительное, может быть, единственное во вселенной. Но как безжалостна современная технология по отношению к этому нежнейшему чуду природы! Планета Земля как бы слегка всего лишь припудрена гумусом, так он тонок и незащищен. И непонятно, чем же мы будем питаться, если его то и дело раздувают пыльные бури да расплывают наши рукотворные моря и потоки? Переходить в питание на океанские водоросли ни физиологически, ни технологически мы не готовы.

...Оставшись вдовой, моя бабка Фоминична пахала надел босиком. Тот факт, что лошадь Карюха ходила бороздой тоже босиком, немаловажен, если учесть, в какие башмаки обуты нынешние железные лошади «С-100», «С-80». Особенностью отвалного хлебопашества на конной тяге было то, что конь шел бороздой. Пахарь тоже ступал бороздой, но уже второй бороздой. Борозда, по которой шел конь, заваливалась рыхлой землей. Ни конь, ни пахарь не ступали на эту рыхлую землю, они ходили по твердому подошвенному слою. Нынче пахоту мы не столько рыхлим, сколько утрамбовываем. Колеса и тяжкие гусеницы по многу раз в год утюжат почву.

Любителям гигантских машин нет до этого дела... В Италии я видел такую картину: фермер пахал землю на лошади, а новенький трактор, похожий на наш «Беларусь», стоял у дома. Может быть, трактор был неисправен? Или экономят солярку? Так или иначе, наши создатели гигантских машин не прочь закупать зерно, выращенное западноевропейскими фермерами.

Чем мощней и сложней наша сельскохозяйственная техника, тем больше отчуждается хлебопашец от земли. Да, земля отчуждена от человека, поскольку единый цикл выращивания урожая раздроблен на множество операций. Интимные отношения человека и земли, необходимые для успешного дела, давно нарушены. Отчуждение коснулось и других, непродовственных сторон жизни. Отчуждение от родины, от дома, от семьи... Отчуждение от земли подкреплено отчуждением от жилья. Люди в сельской местности разучились строить себе дома. Жилье во многих местах уже не принадлежит хлебопашцу. Так что же может удержать его на одном месте? Миграция — бич сельского хозяйства! (Одного ли сельского хозяйства?) Отчуждение произошло и в административной среде, в системе руководства. Хорошо помню, как председатели небольших, компактных колхозов краснели на колхозных собраниях. Народ разберет поведение руководства по косточкам, но и ободрит, подсобит, подскажет, как

лучше. Нынче руководитель заслонился от жизни машиной и кабинетом. Он руководит с помощью зама, телефона и бездушных бумаг. И чем выше пост, тем опасней такое отчуждение. Оно всегда оборачивается неопределенностью, неясностью положения, ошибками. Отчуждение — признак современности. Но все виды этого отчуждения начались с отчуждения от земли...

Бабка моя Александра Фоминична овдовела в мирное время, с тремя детьми, но духом не пала. Поставила деток на ноги, успела и внуков поняичить. Моя мать овдовела тоже очень рано, в тридцать восемь, но во время войны, растила пятерых.

Что во все времена помогало выстоять миллионам русских, украинских, белорусских вдов? Оглядываясь на годы Отечественной войны, я думаю сейчас, что выжили мы благодаря многовековой, устойчивой и непосредственной связи с землей. Помню, как ежедневно ходил смотреть на ячмень, посеянный матерью в огороде около бани. В белые летние ночи он рос буквально не по дням, а по часам. Вкус тех ячменных лепешек, испеченных на широких капустных листьях, до сих пор во рту. Земля подлинно на глазах являла невыразимое чудо: за какие-то сорок северных дней она превращала сморщенный картофельный обрезок в 10—12 помятых белых или розовых клубней, утолявших наш волчий голод. Нас не было бы, вероятно, в живых, если бы отец в 1935—1938 годах перевез нашу семью в Москву, куда уезжал плотничать. Не зря он колебался. В городе мы не выжили бы, ну пусть не мы, другие. Ведь ячмень тот не был бы посеян и те грядки картофеля не были бы засажены. Надо очень много дьявольской хитрости, чтобы уморить человека с голоду, не отрывая его от земли.

Передо мной книга «Коллективизация сельского хозяйства в Северном районе (1927—1937)» (Северо-Западное книжное издательство, 1964). На странице 681 читаем:

«31 января 1930 г. бюро Северного крайкома ВКП(б) на внеочередном закрытом заседании приняло план расселения кулачества¹ в Северном крае. Планом предусмотрено: общее количество 70 000 семейств из 350 000 человек расселить по округам:

Архангельский	30 000 семейств
Вологодский	10 000 семейств
Северо-Двинский	9500 семейств
Няндомский	8500 семейств
Коми область	12 000 семейств

Трудоспособных мужчин партиями в 500—1000 человек направить в районы постоянного поселения для использования на лесозаготовках, сплаве и на постройке поселков... Всех нетрудоспособных членов семей разместить в специально приспособленных помещениях: церкви, монастыри, бараки и т. п.»

Были разработаны «нормы хозяйственного вооружения», по коим каждой семье дозволялось иметь: «...лошадь — 0,5, коров — 0,4, сбруи, саней и телег по 0,5 комплекта, плугов — 0,25, борон — 0,1, кос — 2, серпов — 1, мотыг — 2, заступов — 1, топоров — 2, пил поперечных — 1, пил продольных — 0,1».

Почему лошадей 0,5, а коров 0,4? Не совсем ясно. Неясно покамест и то, сколько украинских детей, стариков, женщин и мужчин было зарыто на импровизированных лесных кладбищах вдоль всей Северной железной дороги.

Жутковато становится, когда безымянный кто-то где-то планирует мою жизнь, решает, не спрашивая меня, быть моей деревне или не быть, течь ли моей речке, шуметь ли сосновому бору. Куда потечет и потечет ли вообще река Сухона в следующем десятилетии?

В 1937 году репрессии и раскулачивания еще продолжались, но уже перестали быть массовыми. Перст судьбы передвинулся с крестьянства на иные слои. В числе репрессированных по логике непримиримой борьбы оказались многие из тех, кто только что раскулачивал. Такой поворот негрудно было предвидеть, ведь в мире все это бывало и раньше. Но в азарте борьбы кто учитывает уроки истории? Бывшие палачи, оказавшись на положении жертв, недоумевали: кто бы мог подумать, что так обернется?

Крестьянство примирилось с перегибами 30-х годов, вернее, приспособилось к новым условиям: жить-то надо. Даже сосланные и раскулаченные как-то приноровились

¹ Речь идет об украинских семьях, выселенных к нам. Наше местное раскулачивание началось чуть позже. наших крестьян высылали еще дальше, на Колу и на Печору.

на новых местах и вновь без обиды обратились к земле-кормилице. Строили жилье, вырубали и корчевали тайгу, снова сеяли хлеб, выращивали скот. Были случаи, когда таких тружеников вновь раскулачивали. В 1937 году Вологодская область имела три с половиной тысячи колхозов. Каждый из них насчитывал в своем составе от 16 до 60 дворов. Были колхозы либо с меньшим, либо с большим количеством дворов, но преобладали как раз те, у которых от 16 до 60. Выработался оптимальный, как говорят ученые, вариант по количеству дворов — хорошо управляемый и компактный, так как хозяйства строились по ландшафтному принципу. Худо-бедно, армию пополняли, войны выстояли, города прокормили, несмотря на жесточайшие налоги. Но после войны вместе с отменой непосильных налогов кому-то до зарезу понадобилась новая коллективизация: началось объединение уже самих колхозов.

Отчуждение продолжается и сейчас, болезнь зашла далеко. Так далеко, что одними разговорами о перестройке ее не вылечишь.

В моих шкафах тысячи писем от читателей, сотни писем, в коих люди обращаются с просьбой помочь. Но моя власть слишком мала, чтобы не обрезать приусадебные участки. Вот пенсионерка из Новгородской области жалуется: «Земли-то у нас глазом не окинуть. Все знают, что без земли нет жизни, она даст мясо, молоко, овощи, а местами в достаточном количестве фрукты. Нет, не дадим народу, пусть растет ольшаник и осина. А что можно сделать на шести сотках?» Хотел я обратиться в Новгородский облисполком, но в конце письма стояла такая приписка: «Ну, Василий Иванович, уж меня не подведите, а то обрежут у меня и остаток, скажут, много стала каркать».

Она вложила в письмо свою районную газету «Коммунист» (Пестовский район). Вместо передовой там было напечатано письмо пенсионера И. Кудрявцева: «Если посмотреть на карту сегодня и сравнить ее с картой пятнадцатилетней давности, недосчитаешься десятков населенных пунктов. Возьмем совхоз «Авангард». Теперешние же специалисты уж и не знают, пожалуй, где были деревни Иваши, Тарасово, Аносово, Фомкино, Козлово. Только старожилы колхоза «Рассвет» помнят такие названия, как Езжино, Пищугино, Рахино, только в книгах двадцатилетней давности можно найти запись о том, что в Богословском сельсовете были деревни Опалево, Плоское, Никитское и другие».

Новгородские и прочие письма вновь напоминали мне поездку за рыбой. В Вологде, помнится, я вложил собранные в избе бумаги в почтовый пакет не глядя и не читая... Сколько же их, таких вот пакетов, в моих шкафах! И все они терпеливо лежат, сохнут под спудом, ждут своего часа. И зывают к совести.

В прошлом, восемьдесят седьмом году я вздумал упорядочить наконец свою бумажную жизнь. Толчком к тому явился телефонный звонок из редакции «Огонька»: у меня вежливо просили рассказ. Или даже повесть. Но где их возьмешь, рассказ или повесть? Нынче они не валяются, как тогда, в молодости. Помню, двадцать восемь лет тому назад принес я в редакцию «Огонька» четыре своих лучших рассказа... Вежливый старичок Ступинкер вежливо вернул их обратно. Впрочем, зачем заглядывать так далеко, не лучше ли рассказать про свежие «завороты»? Недавно по настойчивой просьбе одного журнала я послал в редакцию рукопись. Надо признаться, не ахти что. Я даже был рад, что не напечатали. Но ведь не напечатали-то совсем по иным причинам... Сейчас по всем правилам гласности я должен бы назвать и журнал и редактора, возвратившего рукопись. Но я честно скажу, что делать это побаиваюсь, предельному документализму по-прежнему мешает угроза будущих «заворотов»...

Рассказ начинался с такого абзаца: «Эпоха космоса, а точнее интеркосмоса, иными словами — НТР, сопровождается не только ядерными, но и другими взрывами (например, демографическими). Все эти взрывы и революции (хотя бы сексуальная) подробно описаны в общедоступной печати. Но до сих пор, кажется, никто не говаривал о взрыве документальном, вернее документалистском, или документалистическом, а в общем, бумажно-бюрократическом. В самом деле, документ по своей значимости в жизни человека вышел теперь на первое место. Что мы значим без документа? Ночевать в гостиницу и то не пускают. Если нет командировочного удостоверения, с тобой даже не станут разговаривать. Без соответствующей бумажки невозможно выйти не только на пенсию, но даже из больницы. (Не зря говорят, что из больницы выпи-сан.) Все мы только и делаем что куда-нибудь записываемся, выписываемся, прописываемся...»

Нет, я не могу отрезаться от такого абзаца.

Сила бумаги безжалостна к человеку. Отчуждение личности начинается с документа, душевная безответственность охотно маскируется документом. В бумагах то и дело прячется нечистая совесть. «Без бумажки я — букашка, а с бумажкой — человек» — говорится в народе. Какой человек? Человек с бумажкой. Фронтовики, уходя в разведку, освобождались от всех документов, от всех бумаг. Человек становился как бы свободным от мелочных обязательств, оставался наедине с собственной совестью. Точно так же крестьянин, если ему не мешать, всегда без всяких бумаг выполнит свой долг хлебороба.

Так что же такое документ?

Пайцзу, хранящуюся в Эрмитаже, эту серебряную планку с дырочкой и вертикальными уйгурскими строчками, мне разрешили посмотреть только после того, как я показал служителям писательский билет. Так тщательно ее охраняют. Это не потому, что серебряная, а потому что документ, первое известное нам командировочное удостоверение. По этому документу разрешалось ездить бесплатно от Амура и до Дуная, сажать на кол и рубить головы, отбирать скот, продавать в рабство нищих и холопых. А как не беречь, например, петровские указы, под страхом смерти обязывающие русских людей носить немецкое платье? В приказном порядке царь понуждал наших предков брить бороды, курить и пить хмельное.

Наверное, уже в петровское время все документы с определенной долей условности можно было разделить на три главных разряда: научно-техническая документация, административно-бухгалтерская и, так сказать, индивидуально-бытовая, превратившаяся нынче в беду хуже всякой чумы. С годами она, эта бумажная чума, все совершенствовалась, но особенно большие возможности открылись для нее в нынешние времена. Документ все больше внедряется в быт, в личную и в интимную жизнь. На этом и держалась моя неудачная попытка составить (а не создать) документальный рассказ о маленьком человеке, перехитрившем почти всех своих недругов. Речь шла о подлинных «Договоре», «Акте», «Расписке», «Заявлении», «Объяснительной записке» и «Медицинской справке», выстроившихся в достаточно четком сюжетном порядке. Здесь все было настоящим, не моим. Я лишь расставил упущенные запятые. Конечно, судьба моего документального персонажа не ограничивалась упомянутыми бумагами: множество документов из экономии места я не использовал (среди них протокол товарищеского суда, выписки из трудовой книжки и т. д.). Подлинники всех документов и сейчас хранятся в архивах соответствующих учреждений. Сюжет заключался в том, что мужика пытаются посадить за пьянку, а он успешно с помощью таких же бумажек выкручивается (в медицинской справке говорилось, что «внутренние органы без изменений») и что он «может быть использован на тяжелых и земляных работах»). Но.. скрутили-таки! Справка райбольницы была вовсе не решающим и не заключительным документом в этой обычной, ничем не примечательной, хотя и печальной истории. А чтобы рассказать, что такое принудительное лечение в ЛТП и как оно подействовало на героя и его семью, нужно было читать и выписывать новые документы, еще более многочисленные. Они, эти безликие, жалкие и беспомощные с виду бумажки, как тараканы, плодят вороха себе подобных, от этих ворохов появляются новые вороха, и мало кому удается остановить эту цепную реакцию...

Читатель, вероятно, догадывается, что тот документальный рассказ я так и забросил, дело не довел до конца. Не интересует меня эта рукопись и сейчас. Я ищу иные бумаги...

Мне непонятны писатели, в поисках сюжетов требующие от начальства спецкомандировок, рыскающие туда и сюда. Сюжетный дефицит, как многие прочие дефициты, дефицит мнимый. Вокруг столько сюжетов, что с лихвой хватит на все десять тысяч членов СП. Еще и останется. Хороший писатель может обойтись и совсем без сюжета. Евгений Носов, тонкий стилист и знаток детской души, написал превосходный рассказ о девочке, что жила «за лесами, за долами». Каково продолжение ее судьбы?

Однажды я видел, как срочно, самолетом, отправляли из Вологды донорскую кровь. Я знал, что из крови нынче делают много дефицитных лекарств, знал и о том, что существует наука геронтология. Носовская героиня выросла, уехала в город. Работая в магазине, она научилась пить, и когда денег у нее не было, она сдавала свою кровь. Получалось, что она пропивала свою же кровь, а из ее крови делали где-то де-

фицитные лекарства, которых в Вологде простому человеку не купить, и вологодского масла тоже. Масло у нас продается крестьянское, и то по талонам.

Кстати, ведь ГОСТы тоже бывают разные, и вологодский кефир совсем не похож на московский. С чего бы это? Почему в городе Соколе нет ни стущенки, ни сыра, если Сокол сам производит эти продукты, если действует здесь крупнейший молочный комбинат? Увы, почти вся продукция этого комбината куда-то увозится. Вологодским детишкам нечем полакомиться. Услышав наши жёлобы, один высокопоставленный товарищ, имеющий отношение к республиканскому и союзному фондированию, порекомендовал нам активнее развивать частный сектор, за счет чего и увеличивать продажу молочных продуктов.

Чуть ли не семьдесят лет мы всякими путями третировали этот самый частный сектор. Нынче вдруг наше отношение к нему начисто изменилось. К несчастью (а может, и к счастью), не все зависит от нашего отношения к чему-либо. Существует объективная реальность, это она диктует свои собственные сроки для положительных изменений (например, сколько лет страна училась пить, столько же лет, если еще не больше, придется и отвыкать).

Возродить частный сектор не так-то просто. Люди уже привыкли не верить обещаниям сверху, а местное руководство научилось игнорировать самые серьезные постановления центральных органов.

Помню, во время войны косить для своего скота разрешалось только день-два, и то глубокой осенью, когда полетят белые мухи. Дальше косили за так называемые проценты: в 50-е годы за 10, в 60-е за 15, в 70-е за 20, в 80-е за 30. Если так дело пойдет и дальше, то к 2000 году мои земляки станут испольщиками. Боюсь, что к этому времени сено не потребует, так как многие молодые люди, живя в сельской местности, уже не желают и не умеют заниматься животноводством. Ни куры, ни коровы, ни овцы, ни телята их не интересуют. Вся эта живность требует, во-первых, небрежливой природы, во-вторых, животных надо кормить. А для того чтобы их кормить, надо заготавливать корма, но косить в дождь нельзя, а когда нет дождя, то жарко. Сельское хозяйство всегда было зависимо от желания трудиться физически. От погоды оно тоже зависит, но про погоду-то в программе «Время» как раз и говорится в самую последнюю очередь. Сперва шахматы и фигурное катание, а уж погоде что останется.

Но допустим, что еще не все селяне утратили вкус к животноводству. Отчего же в нашей области поголовье личных коров сокращается на две тысячи голов ежегодно? Да как раз оттого, что это частный сектор! Оттого, что для животноводства нужна не только вода, но и земля. Можем мы дать землю животноводу? Хотя бы лесную, заброшенную? Такого закона пока нет.

С другой стороны, вместе с гласностью явились на свет и те крикуны, которые в зуде преобразований хотят все на свете переделать, переворочить, поставить с ног на голову. Одним словом, революция. Даешь новизну! Нечего, мол, цепляться за эти колхозы, надо их вообще разогнать.

А между прочим, стоит вологодским колхозам доить не по 2—3 тысячи молока в год от коровы, а всего по три с половиной — и дефицит молочных продуктов в Вологде и Череповце моментально исчезнет. Конечно, при условии, что из Госплана тотчас же не поступит команда увеличить поставки в союзный и республиканский фонды. Если такая команда поступит — опять не видать вологодским детишкам стущенки с Сухонского молкомбината.

Но я больше чем уверен, что поступит именно такая команда.

Разбираю бумажные вороха, ищу и не нахожу то, что надо. Многим из нас, по правде говоря, приятно жить в бумажном плену. Уж так мне хочется еще раз рассказать про мою переписку со светилами медицины! Правда, академик Н. Н. Блохин на мое личное письмо не ответил, зато ответил ученый секретарь. Он-то и отфутболил меня Институту психиатрии, а с этим институтом мы не нашли общего языка. (Впрочем, не нашел этот институт общего языка и со Всемирной организацией здравоохранения: ВОЗ говорит, что алкоголь — это наркотик, Институт имени Сербского говорит, что нет.) Бумаги на алкогольную тему не вмещаются в три толстые папки. Ни в какие административные ворота они пока не влезают... Приходится заводить еще одну отдельную папку. Сестра Александра Ивановна принесла такую вот выписку из «Занимательной зоологии»: «Появление жучка ломехуза в муравейнике нарушает все свя-

зи в этой дружной семье. Жучки поедают муравьев и откладывают свои яйца в муравьиные куколки. Личинки жука очень прожорливы и поедают «муравьиные яйца», но хозяева их терпят, т. к. ломехуза поднимает задние лапки и подставляет влажные волоски, которые муравьи с жадностью облизывают. Жидкость на волосках содержит наркотик, и, привыкая, муравьи обрекают на гибель и себя и свой муравейник. Они забывают о работе, и для них теперь не существует ничего, кроме влажных волосков. Вскоре большинство муравьев уже не в состоянии передвигаться даже внутри муравейника; из плохо накормленных личинок выходят муравьи-уроды, и все население муравейника постепенно вымирает. А жучок, сделавший свое «черное» дело, перебирается в соседний муравейник».

«Каков жук!» — я в сердцах затаакиваю папку подальше в шкаф. И все же «Занимательной зоологией» не стоит брезговать. В детстве я несколько сезонов работал на колхозной пасеке. Помню, как в конце лета пчелы выгоняли из домиков трутвей. Мне было жалко этих голстых и беззащитных пчелиных нахлебников. Теперь я сравниваю их с одной очень многочисленной прослойкой общества, но мне почему-то жалко и тех и других. Отчего такая вот жалость частенько не только не вызывает ответного чувства альтруизма, но и воспринимается как нравственная и физическая слабость и даже поощряет новый всплеск удивительного нахальства? Меня не устраивает стройная иерархия пчелиной семьи, запрограммированной в своих действиях, не устраивает и анархическая кутерьма. Но 18 миллионов чиновников, по-моему, не имеют отношения ни к тому, ни к другому. Они сами по себе. По-прежнему боюсь чиновника. Почти все беды, испытанные мною, были связаны с канцелярией, с бумагой, то есть с бюрократизмом. Начать хотя бы с того, что в сельсовете не записали день моего рождения (я не могу выяснить его до сих пор). Год в колхозной похозяйственной книге тоже был перепутан, и я устанавливал его дважды: в сорок девятом на медицинской комиссии и в восемьдесят втором с помощью милиции и народного суда. Помню, какой испытывал страх, когда, будучи второклассником, потерял табель успеваемости. Этот эпизод снился мне многие годы. Трусость? Не надо спешить с выводами. Для сельской жизни начала 30-х годов очень характерно было такое понятие, как «копия» или даже «копия с копии». Бумага или ее отсутствие могли отправить на Соловки, убить, уморить голодом. И мы, дети, уже знали эту суровую истину. Не зря составлять документы учили нас на уроках. Хорошо помню, как Николай Ефимович Мартянов, наш сельский учитель, заставлял писать образцы документов.

В седьмом или шестом классе, помнится, мы учили наизусть стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда». «Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям». Н. А. Некрасов называл холопским недугом обычное подхалимство. Но можно ли называть холопским недугом страх беспаспортного деревенского мальчика, стоящего перед всесильным чиновником? Дважды, в сорок шестом и сорок седьмом годах, я пытался поступить учиться. В Риге, в Вологде, в Устюге. Каждый раз меня заворачивали. Я получил паспорт лишь в сорок девятом, когда сбежал из колхоза в ФЗО. Но за пределами деревенской околицы чиновников было еще больше...

Честные люди не ведают о своей честности, для них это обычное нормальное состояние; добрые даже не подозревают, что они добрые. Скромные потому и скромные, что не знают о своей скромности и, что всего важнее, не стремятся узнать. А вот чиновник, вернее бюрократ, потому и чиновник, что он всегда помнит, что он — чин. Первый признак бюрократа — это тщеславие. Гордость по отношению к более низшему чину, смешанная с подострастием по отношению к более высшему чину.

Крестьянин больше всего в своей жизни боялся человека с бумагой, то есть чиновника. Тать в ночи или разбойник и тот был не так страшен для землепашца! Подписать какую-нибудь бумагу значило заложить душу. Посылать жалобу значило навлекать на себя новую, еще большую опасность. Вспомним, чем кончился Шемякин суд. Вспомним уж заодно и ту пору, когда одна полевая сумка, раскрывавшаяся финагентом Министерства заготовок, вызывала в душе тоскливое чувство обреченности (я сам не однажды испытывал это чувство).

В конце двадцать девятого года хлеброб в нашей стране оказался гонимым, беззащитным и ошельмованным.

Стереотипы вульгарно-социологического мышления и до сего дня подпитываются ложными, а точнее лживыми, представлениями о крестьянской психологии, фиктивными образами. Фигура в смазных сапогах и полосатых штанах, в жилетке и рубашке го-

рошком, в картузе на подстриженной в кружок голове тотчас встает в воображении газетного художника, когда произносится слово «кулак». В 30-х годах слово это, набранное всеми шрифтами, не сходило с газетных страниц, оно склонялось по всем шести падежам. Образы тургеневских Хоря и Калиныча были начисто похерены в литературе. Их заменил портовый вор Челкаш и стяжатель Гаврила. Вскоре даже дирижеры и оперные певцы предпочли сусанинской дочери лесковскую леди Макбет. «Сеятель твой и хранитель» обернулся вдруг убийцей из-за ула, поджигателем. Некрасовский мужичок с ноготок быстренько превратился в Павла Морозова. Что за странные метаморфозы?

От литературы до экономики не такое уж долгое расстояние. Вздурораженные революцией горячие головы вздумали раз и навсегда освободиться от «власти земли». Что и было, в общем-то, достигнуто. Связанные с землей нравственные ценности были оболганы. Подмена произошла довольно шустро (примерно с такой же скоростью, с какой Лысенко подменил Вавилова). В сельском хозяйстве тысячелетний народный опыт быстро уступил место восторженному прожектерству, невежественной псевдоучености, волонтаризму и бюрократическому командованию. Но солнце светило по своим прежним законам. Дождь падал из туч, как тысячу лет назад, и ветер дул тоже в собственную дуду. Тайна чудесного превращения солнечного луча в зеленую хлорофилловую частицу зывала к совести земледельца. Но почтительное отношение к земле, то бишь к тончайшему, такому нежному слою гумуса на планете, к природному круговороту воды, к естественному и потому безопасному для людей движению жизни стремительно исчезало.

Земля оказалась так же незащищена, как сам хлебопашец. Мы самоуверенно решили выйти из-под природной зависимости, твердо задумали где только можно заменить естественное искусственным... Снобизм по отношению к природе то и дело подкреплялся лихорадочными успехами технического прогресса: энерговооруженностью, концентрацией, химизацией и т. д. Но в году по-прежнему оставалось триста шестьдесят пять дней, и солнце по-прежнему не могло (не имело права?) светить больше чем положено. Можно ли сократить цикл образования белка, ускорить природный круговорот? Наверное, можно, но тогда это будет уже не тот белок... Говорят, что кто-то когда-то за изобретение искусственной икры получил Государственную премию. Вот и пусть бы он ее ел, эту свою икру. На здоровье. Но зачем же других-то потчевать?

Если годовой цикл крестьянских работ, соответствующий солнечному круговороту, сократить не удалось никому, то технологию этих работ сокращали. В нее вмешивались все кому только не лень. Выработался кампанейский авральный стиль. К примеру, в двадцать восьмом году вдруг все газеты дружно начали учить крестьянство силосованию кормов. С началом коллективизации совпала и кампания по поднятию целины, так живописно показанная Шолоховым. Сколько было подобных кампаний! У читателя среднего возраста, вероятно, еще свежи воспоминания о кукурузном периоде, о кроликах и торфоперегнойных горшочках, о травопольщиках и т. д. Все эти авралы могли бы остаться всего лишь темой для авторов «Крокодила», если б... если б в продовольственных магазинах Москвы продавалась хотя бы половина из того, чем торгуют в любом самом провинциальном финском магазинчике (очевидец опять же не даст соврать).

Тот, кто командовал колхозами, нередко не понимал в сельском хозяйстве, как говорят, ни уха ни рыла. Например, молоко и навоз, хлеб и навоз в сознании многих преобразователей были понятиями антагонистическими, взаимоисключающими друг друга.

Комсомолец 30-х годов и ветеран партии С. В. Проничев из Грязовца рассказывал мне анекдотический случай с председателем колхоза, посланным в деревню одновременно с шолоховским матросом Давыдовым. Семен Давыдов хоть пахать выучился. Этот же, увидев в окно навозный бург, возмутился и назвал навоз грязью и бескультурьем. Уже в те времена открылась борьба за чистоту на фермах, обернувшаяся борьбой с навозом. В централизованном порядке быстренько ликвидировали подстилку. Начали строить скотные дворы с деревянными полами, а термин «навозоудаление» до сих пор в полных правах. Но разве зря народ испокон веку называл животные испражнения ночным золотом? Позволю себе напомнить читателям: богатство и состоятельность русского северного (и не только северного) крестьянства измерялось раньше не тем, сколько у него зерна в амбаре или денег в кармане, а тем, сколько навоза в хлеву! (Говорили, кстати, не навоз, а назём.) По количеству возов навоза, ежегодно

вывозимых на поле, судили об экономической мощности крестьянской семьи. Скот держали не только, а подчас и не столько для производства мяса, молока, кожевенного и рогового сырья, сколько для производства навоза. Хозяин, у коего по каким-то причинам не было скота, навоз покупал, отработывая дни.

Не буду вспоминать многих пословиц, бытовавших в народе по этому поводу. Земля тщательно унавоживалась. Ведь от нее зависела жизнь не только человека, но и всей домашней живности, осуществлялся круговорот органических веществ с помощью солнца и дождевой воды. Человек не мешал естественным циклам, он осторожно к ним приравнивался. И вдруг — навозоудаление... Все встало с ног на голову.

В заграничных поездках я везде стремился если не побывать на фермах, то хотя бы узнать что и как. И повсюду — в ФРГ, Швеции, Англии, Югославии, Венгрии, Финляндии, Франции — навоз не удаляют, а копят и берегут. Одни мы внедряем навозоудаление и травим навозом реки. Такова безнавозная технология производства молока, основанная на бесподстилочном содержании животных, диктуемом в свою очередь конструкциями гигантских коровников, так называемых комплексов. Кто их придумал, эти комплексы? Кто рекомендовал правительству? Ищи теперь свищи. Как сказал поэт, одних уж нет, а те далече...

В двадцать девятом году в моей деревне Тимонихе имелось: домов — 23, гумен — 14, амбаров — 12, бань — 16, сенных сараев в лесу и в полях — около 20. Но уже со времени Великой Отечественной войны осталось всего 12 домов. Сейчас — 7, да и то в двух из них живут только летом, 5 жилых домов, а в них пенсионеры. Трудоспособный, как у нас говорят, всего один человек, детей совсем нет. 5 домов и 5 бань. Ни гумен, ни амбаров, ни сеновалов — все сожжено или сгнило.

Судьба Тимонихи типична для многих тысяч русских деревень, для всего Нечерноземья. За последние пятилетки в одной нашей области более 7 тысяч деревень исчезло. Там, где со времен Даниила Заточника звучали песни и бегали ребятишки, дымились трубы и мычали коровы, теперь одна трава и кусты. Некоторые люди, даже в партийной среде, считают, что так и должно быть, что это прогрессивное явление.

Давайте, однако же, разберемся, что такое подобный прогресс. Из 332 тысяч воюющих, ушедших на фронт, чуть не половина (147 тысяч) осталась лежать в чужой земле. Пусть будет им пухом эта чужая земля. Посмотрим на их родную, оставшуюся. Я не знаю, сколько погибло всего в нашем Харовском районе, знаю, что с войны в мою деревню не вернулось ни одного. В соседнюю Вахруниху тоже ни один не вернулся. Я спрашивал в областном военкомате, сколько в настоящее время осталось в живых из тех, которые уцелели на фронте. Ссылаясь на миграцию, мне ответили, что эта цифра неизвестна, но мне кажется, она очень невелика, большинство фронтовиков умерли от ран и болезней.

Читатель, конечно, понимает, что от тех, кто лежит в могилах, дети не рождаются. Что же, может быть, сейчас, когда прошло сорок два года после великой опустошительной войны, наше Нечерноземье, как окрестили половину России, стало наконец и многолюдным и многодетным? Нет, это не так. В доказательство предлагаю всего одну цитату из статьи, опубликованной в «Литературной газете»: «За девять лет между переписями 70 и 79 годов сельское население Костромской области уменьшилось на 28 процентов, Орловской — на 30, а Таджикистана — увеличилось на 36 процентов».

Может быть, это компенсируется ростом городского населения? Нет, не компенсируется. В той же статье сообщается, что в России в двенадцатой пятилетке на 100 человек рабочих, выходящих на пенсию, молодых придет только 85. В Узбекистане же взамен этих 100 придет 302, а в Таджикистане и того больше. И вот в таких условиях, сидя в Москве, ученые-демографы дают безапелляционные рекомендации нашим планирующим органам, придумывают термин «бесперспективный населенный пункт!» Лукавство этого термина не сразу и разглядишь.

Столичные экономисты, плановики и демографы, объявив неперспективными тысячи русских, украинских, белорусских, литовских, мордовских и других селений, первое время демагогически ссылались на то, что, мол, нынешний крестьянин давно не тот, что был прежде. Он, мол, не станет пахать без теплого плужника. Нет, я совсем не за то, чтобы у меня на родине, в Азее, или в Шапше, или в Пустораменье, не строить отдельных домов с канализацией и паровым отоплением. Наоборот, я подниму за это руки и ноги. Я даже скажу, что строили в деревне слишком мало. И говорили об

этом слишком робко, а вот объявить неперспективными тысячи деревень у многих почему-то хватило и смелости и находчивости.

Но позвольте, что значит бесперспективная деревня? Стояла на земле полтысячи лст — и вдруг на тебе! Долой ее, под бульдозер. Что, разве там земли нет? Или воды? Я скажу читателю на ушко: все там есть. И земля, и вода, и люди, и дома. Не было власти, чтобы за нее заступиться.

«Надо прямо сказать, что кое-кому даже из местного районного начальства выгодна эта бесперспективность. Ведь что получается? Под ширмой «бесперспективности» бюрократу-руководителю полная воля. Ему легче жить, у него меньше забот, можно даже и в сенокос являться в контору не раньше восьми. Можно руководить по телефону, не надо заботиться и думать о десятках дальних деревень. Построил два-три комплекса, сселил всех в одно место — и живи себе, в ус не дуй. Именно об этом мечтает руководящий сторонник сселения. И что самое страшное — вскоре он же и оказывается прав, бесперспективные деревни действительно после этого появляются. Но, товарищи, дайте мне на два часа кресло Новомира Николаевича² — и я за два часа сделаю бесперспективными не только всю Катрому и Азлу с Мужурками, но и Сорожино с Пустораменем. Как? Очень просто.

Первое: надо сказать председателям колхозов, секретарям парткомов и председателям сельсоветов, что районные внутриколхозные дороги — это ерунда, их пока можно не строить.

Второе: позвонить заведующему роно и сказать, что все дети района должны учиться в двух-трех интернатах, школы в колхозах строить больше не будем.

Третье: сказать главврачу районной больницы, чтобы он прикрыл с десяток сельских медпунктов, нечего гонять старух на уколы за шесть — восемь километров.

Четвертое: дать указание в отдел культуры, чтобы закрыли с десяток сельских клубов.

Пятое, и самое главное: надо связаться с райпотребсоюзом и порекомендовать укрупнить 5—6 селло, как это сделали с Шапшей, Азлой и Кумзером. Заодно необходимо закрыть мелкие пекарни, ликвидировать сельские лавки и магазины, которые не справляются с финансовым планом. Ну, и вдобавок я сократил бы в районе почтовых работников и сэкономил бы на автобусных рейсах.

Все. Через неделю половина Харовского района окажется бесперспективной»³.

Странным образом термин «бесперспективность» быстро приобрел равноправие среди прочих, и ему как бы даже обрадовался сельскохозяйственный чиновник. Ликвидация деревень, подобно укрупнению колхозов в хрущевские времена, оказалась сродни раскулачиванию 30-х годов. Да-да, по многим статьям это были сходные явления! Под прикрытием концентрации производства сколько крестьянских дворов перестало существовать! Были заброшены луга и пастбища, пашня тоже зарастала дикой травой и кустарником. Совмин РСФСР то и дело то у одной области, то у другой оптом списывал такие земли. Но что значило списать землю, которую обрабатывали и изобихаживали тысячу лет? Прежде чем списать землю, надо было списать тех, кто на ней трудился. Но списать живых людей трудно, хотя и возможно. И бывшие пахари само собой скорехонько превратились в горновых, штукатуров, в крановщиков и сталепрокатчиков. Поначалу они даже не очень и обижались, что в Вологде и Череповце трудно купить масло и колбасу, поскольку хорошо знали, как там, в деревнях, достается мясо и молоко. Но вот выросли их сыновья, внуки, правнуки и заговорили совсем по-иному...

Да и впрямь: чем лучше ленинградский станочник череповецкого, а московский шофер ярославского или тульского? Почему вологжанину приходится возить из столицы свое же масло?

Оставим пока в стороне качество вологодского масла, поговорим о количестве. Кое-кто думает: значит, худо работаете, если у самих масла нет в магазинах Мол, как потопашешь так и полопашешь Нет, в этом случае дело не в работе! Вологжане и в оставшихся деревнях работают не хуже и не меньше кубанских казаков или таджикских дехкан Мы выреливаем достаточно скота и на свинину и на говядину, доим молока также порядочно. Но все дело в том, что себе мы можем оставлять только то, что производим сверх плановых поставок в союзные и республиканские

² Предрайисполкома.

³ Цитирую собственное выступление на районной партийной конференции в Харовске.

фонды. А план? А план устанавливается сверху, от достигнутого в лучшую пору. Но циклоны с Атлантики идут и крутятся отнюдь не по плану. Они все еще непредсказуемы и центральным ведомствам неподвластны. Один год хлеба и травы вырастут хорошие, другой — не очень, третий — совсем худо. Это в одних чиновничьих головах и бумагах гарантированные удои и гарантированные урожаи. И если уж честно, то сюрпризы погодных условий, их магазинные последствия должны бы делиться поровну хотя бы между вологодскими и московскими агропромовцами.

Итак, из 13—14 тысяч тонн масла, которые ежегодно производятся в области, самим вологжанам остается всего 5—6 тысяч. Билет до Москвы и обратно стоит двадцать рублей. Пенсия моей матери 40 рублей в месяц. Поедут ли такие пенсионеры в Москву за продуктами? Работающим у станков и на стройках разрезать вообще некогда. Значит, сыр и московскую отдельную колбасу покупают одни командированные вроде меня, то есть привилегированные, остальные довольствуются тем, что бог пошлет. Ни сыра, ни творога, ни сосисок в Вологде не купить.

Существуют так называемые научно обоснованные нормы питания. Они тоже устанавливаются неизвестно где и неизвестно кем. Я, конечно, благодарен московской науке за то, что она установила мне точную цифру — 80 килограммов мяса в год. (Интересно, сколько съедает в месяц собака моего знакомого доцента, причастного к выяснению научно обоснованных норм?) Но, во-первых, 80 кило в год — норма явно заниженная. Во-вторых, вологжане потребляют всего 56 кило мяса в год на душу. В-третьих, рыба и фрукты в Вологде тоже не ахти какие. Те, кто командует фондами, видимо, устыдясь этой цифры (56), начали с нами спорить и установили цифру 68. Откуда у них взялись 12 кило дополнительно? Очень просто, двенадцатикилограммовая добавка образовалась якобы из тех покупок, что вологжане везут из Москвы и Ленинграда. На компьютере все можно высчитать (хотя очень все это сомнительно: 12 кило на душу в год вологжанам из Москвы при всем желании не вывезти).

«Такие вот пироги», — всегда говорит вологодский агропромовец, с которым частенько вместе возвращаемся из столичных командировок. Ездим уже лет двадцать. И в наших толстых портфелях отнюдь не одни бумаги. Пока он ездит в Москву «выбивать фонды», в уцелевших деревнях выросли поколения, вообще не желающие иметь дело с животными. Отчуждение крестьянина от земли продолжалось быстрыми темпами. Оно закреплялось сверху государственными мерами, многие из них периодически официально признавались ошибочными. Но сколько раз можно ошибаться?

Термин «крестьянская страна» и нынче подразумевает нечто ущербно-отсталое, в противовес чему говорится о промышленно развитом государстве. Но это противопоставление во многом искусственное..

В конце 20-х годов Сталину внушали мысль о перенаселенности украинской и русской деревни. Раскулачивание по некоторым причинам переродилось в рассредотачивание, а иной раз и в разбеднячивание. Точнее эту не лишнюю элементов геноцида трагедию можно назвать раскрестьяниванием.

Раскулачивание, начавшееся в январе 1930 года по типу расказачивания, проведенного троцкистами на Дону, продолжалось вплоть до 1937 и даже до 1941 года, о чем скромно умалчивают наши уважаемые историки.

Великая Отечественная война (разумеется, на свой лад) углубила процесс раскрестьянивания, одновременно троцкистские методы руководства сельским хозяйством жили и здравствовали. Продолжались они не только во время войны, но и после войны.

Эти высказывания не безответственны. Я могу подтвердить их документами, а также свидетельством живущих ныне очевидцев. Я и сам был очевидцем! В мои неполные пятнадцать лет, когда мои попытки поступить на учебу провалились, меня вдруг поставили счетоводом нашего колхоза «4-я пятилетка». (Счетовод в колхозе в то время был вторым руководящим лицом, после председателя.) Итак, я счетовод, но счетовод беспаспортный. Мне же хотелось продолжить образование и стать полноправным, то есть небеспаспортным. Не только послевоенный голод и жесточайшая нужда, но больше всего эти два обстоятельства заставили меня покинуть родную деревню. (Городская нужда в первые послевоенные годы была не меньше деревенской.) Миллионы моих сверстников уехали в города и лесные поселки как раз из-за ощущения своей второсортности. Быть крестьянином считалось позорным вообще, а колхозником, в частности, — бесперспективным.

1949 год, я составляю годовой колхозный отчет. Всю войну колхоз выращивал и сдавал государству сотни пудов зерна. Все, до последнего зернышка, увозилось! На трудодень начисляли по три-четыре копейки и по 100—120—200 граммов зерна. Не зерна, а третьего сорта, то есть костера, отходов от веялки. Что оставалось делать колхозникам? Ясно что. Или уезжать, или идти воровать. Так и поступали, смотря по тому, кто на что способен. Уехавшие не возвращались. Воров сажали в тюрьму, и расказачивание, то бишь раскрестьянивание, шло полным ходом.

Интересен один факт, о коем я уже упомянул выше. То, что произошло на рубеже 20—30-х годов с индивидуальными крестьянскими хозяйствами, грубо говоря, повторилось в 50-х, но уже с самими колхозами. Тогдашнее укрупнение северных колхозов можно назвать «коллективизацией» колхозов.

Я хорошо помню, как из десятков сельскохозяйственных артелей, сложившихся исторически и ландафтно, стоявших даже во время войны, сделали в наших местах один, всего один колхоз! Из конца в конец протяженность его была около пятидесяти километров. Что тогда началось — долго рассказывать. Вскоре пришла директива разъединяться. Но укрупнение успело развалить бывшие жизнеспособные колхозы, не укрепив маломощных. Когда стряслось это гигантское укрупнение, народ в наших местах правдами и неправдами начал бросать обжитые родные места.

От того укрупнения оставалось два шага до так называемой бесперспективности. Объявление тысяч деревень неперспективными смахивало на преднамеренное, обдуманное преступление перед страной. Кто дал ход, кто подписал рекомендации о бесперспективности?

Бюрократ — это чиновник с расплывчатыми обязанностями. Он оправдывает свое безделье мифической общественной необходимостью. Он сам для себя придумывает работу. Но самый распространенный вид бюрократа составляют люди, искренне считающие себя необходимыми и полезными. Чиновник, осознавший свою никчемность, бесполезность для общества и все так же спокойно получающий зарплату, становится циником. Иногда он начинает изобретать новые способы самозащиты, незаурядный его интеллект работает уже не на общество, а на личность. Такого не так просто вышибить из седла. Вернее, из канцелярского кресла.

Бюрократ испытывает жажду иметь заместителя, но заместитель-то тоже ведь не прочь иметь заместителя. Заместителю необходим свой заместитель, на худой конец помощник, а помощнику тоже нужна секретарша.

Чтобы отыскать в этой системе ответственного виновного, нужно перебрать всех, надо подняться или опуститься по всей иерархической лестнице. Но каждый или ссылается на верхнего, или отсылает к нижнему. Концов не найдешь!

Бюрократическая организация — это коллективная безответственность, она гарантирует защиту каждому ее члену.словно грибница в болотной почве, невидимая обычным глазом, она самостоятельна и независима. Возможен ли в этой системе честный чиновник? Конечно! Но он быстро перерождается. Иначе система выталкивает его из своей среды как инородное тело.

Ясно любому, что анархия равносильна гибели государства. Государство не может существовать совсем без чиновников. Вопрос в том, сколько их должно быть в такой стране, как наша. 8 миллионов или 18? А может, и 18 мало? Или вполне обойдемся двумя-тремя миллионами? Тут-то опять и обнаруживается жесткая и всегдашняя взаимосвязь качества и количества⁴. Выбранный народом умный, способный к самопожертвованию чиновник не станет искать себе зама, чтобы разделить тяжесть ответственности. Чем больше чиновников, тем они безответственнее себя ведут, чем меньше, тем легче их контролировать сверху и снизу.

Формальное, чиновничье-бюрократическое отношение к миру из канцелярии и кабинетов распространялось и на сферу физического труда, непосредственно к станкам, тракторам и довальным аппаратам. Вот несколько примеров. Шофер сидит в кабине, скучает и ждет, когда грузчики сделают свое дело. Он не обязан грузить, ему платят по путевому листу. Доярки, придя на ферму, отказываются доить, поскольку ночной сторож, иначе скотник, пьяный проспал и не отгреб в лотки жидкую фракцию. Приемщик молока, он же завфермой, он же ответственный за транспортер, уже не берет в руки накидной ключ, чтобы устранить течь в трубе. Он звонит в райцентр. И

⁴ На этот счет в русском народе бытовала поговорка: лучше грозный царь, чем семибоярщина.

вот за шестьдесят километров из-за плеовой неисправности шпарит в колхоз ремонтная летучка, поскольку ферма поставлена на централизованное техническое обслуживание.

Нет, при такой централизации, регламентации, организации у нас никогда не будет безработицы! Вспоминаю одну свою поездку во Францию. В Париже в министерстве культуры за пять минут решили все организационно-туристические формальности. Сотрудница, которая нас опекала, совмещала в одном лице сразу три должности: гида, переводчика и... шофера. Возможно ли такое сочетание у нас в Москве? Не знаю, может, и будет возможно, когда перестроимся.

Особенно опасна бюрократическая обезличка в сельском хозяйстве, когда землематюшке служат не родные сыны, а пасынки. Один вспашет кое-как, другой посеет шалая-валяя. Третий заборонит, может быть, и добросовестно. Четвертый опять кой-как раскидает химию. Пятый... Пятому достанется жать. Но что выросло? Шестой подсчитывает, подбивает бабки. Седьмой деньги платит всем, в том числе и самому себе. А земля-то одна! И кто только ее, бедную, не корежит, не мнет, не давит, кто только не травит ее, не полощет, не сверлит в ней дыры, не паскудит свалками.

Как-то я возвращался в деревню, ехал по лесной узкоколейке. Машинист вдруг затормозил. На наших глазах на полотно выскочила молодая лисица, она начала судорожно крутиться на одном месте. Что-то ее корежило, мучило страшно. Наконец она свернулась в клубок и затихла. Мы сошли. Лисица была мертва. «Съела отравленного зайца», — сказал моторист. Спрашиваю: «А чем заяц отравлен?!» Моторист кивнул на небо и уехал, а я пошел через лес. До деревни оставалось километров семь. Шел, вспоминал, как шли мы однажды по этому же маршруту с Шукшиным и говорили громко и обо всем (никто не мог нас услышать, кроме медведя или лося). Нынче я ступал по лесу один... Не дойдя до поля примерно с километр, я услышал гул самолета, и мне стало страшно. Он пролетел низко над лесом, потом исчез. В деревне мне сказали, что в лес ходить нельзя, что вся морошка, черника и клюква отравлены... Через месяц, вернувшись в Вологду, пошел я в наш объединенный авиаотряд. Спрашиваю: «Чем это вы лес опрыскиваете?» «Бутиловым эфиром», — «Но это же яд!» — «Ну и что? У нас договор с лесхозом на химвработку».

Авиаторы травили все живое и неживое несколько лет. Люди жаловались, писали куда-то. Включилась местная печать — самолеты продолжали летать и опрыскивать! Был такой случай: заготовленные бочки с ядом оказались простреленными. Кто-то их расстрелял, чтобы выпустить ядовитую жидкость.

Наконец облисполком принял решение — запретить химвработку. И что же вы думаете? Минлесхоз республике пишет гневное письмо в Вологду и требует возобновить! Метод, дескать, научно разработан, рекомендован и проверен!

Ведомственная демагогия и вседозволенность всегда опираются на «научные» разработки. Только после этого включается оперативный механизм, основанный в свою очередь на отчуждении и централизации. Местные органы советской власти прямо-таки заворожены такими терминами, как «головной», «центральный» и т. д. Все зацентрализовано, следовательно, отчуждено.

Существует ли предел отчуждения централизации? Нет. Во всяком случае, ее «неиспользованные резервы» явили бы миру новые, доселе невиданные явления, если бы не подоспевшие времена перестройки. Впрочем, рано радоваться. Многие годы сверху, централизованно насаждается и распространяется по стране не только «передовая» технология, но и «передовая» культура — низкопробная музыка и читабельная газетная информация, рекомендации для проведения клубных вечеров (два притопа, три прихлопа) — все это и еще многое соответствующие центральные ведомства навязывают областным, те — районным, а уж район двигает подобный прогресс непосредственно в народ. Ведь до чего дошло дело! Вологда заказывает в Ленинграде не только проект собственной застройки, но и просит художественного оформления, причем платит ленинградским хаптурщикам большие деньги. Может, в Вологде нет своих оформителей? Есть. Все есть. И художники и скульпторы. Но уж так повелось, что нет пророка в своем отечестве. Да и куда деть эту прорву ленинградских оформителей и проектировщиков? Им же кормиться надо... И вот в центре Вологды (на площади Революции) водружается дорогостоящий шедевр безвкусицы, прозванный вологжанами зубом мудрости (памятник действительно очень похож на зуб). Шире — дале. В Октябрьском скверике неожиданно для горожан появились бетонные лягушки, затем два крокодила. Откуда в Вологде земноводные и рептилии? Все оттуда же. Распространяются централизованно. Оказывается, в Москве существует целый скульптурный комбинат, где провинциаль-

ный градоначальник может выбрать для своего города любую скульптуру. Наш выбрал крокодилов и Карабаса Барабаса с компанией. Дороговато, зато сделано крепко и напоминает противотанковые надолбы.

Централизованное снабжение бетонными крокодилами напомнило мне некоторые явления нашей литературы. Вот критик Бенедикт Сарнов пишет: «Дико слышать из уст русского писателя, что его не взволновали...» Далее перечисляются десятка два авторов и публикаций восемьдесят седьмого года. Что же делать? Есть пословица: кому нравятся поп, кому попадья, а кому и попова дочка. «Котлован» и «Собачье сердце» я читал в рукописях лет эдак двадцать назад. А «Дети Арбата» и впрямь почему-то не взволновали. Сие от меня не зависит. Вполне допускаю, что кому-то не нравятся и мои книги. Не стоит читать зеваючи, лучше закрыть и отложить. Я не вижу в том особой обиды.

Аббревиатуры с началом на «Ц» у нас в большой моде. Дом литератора не какой-нибудь, а Центральный, есть ЦДРИ, ЦДКЖ и прочие дома. А центральных союзов просто не счесть. И все эти центровики пишут директивы, указания, инструкции, рассылают рекомендации на места. Я не говорю, что все эти рекомендации дурные, но ведь не все и хорошие! И если Вологодский облисполком выдержал мощный нажим Минлесхоза, то нажим Минводхоза он выдержать не смог. Товарищи Полад-заде и Алексанкин оказались проворней и разворотливей всех вологжан, вместе взятых. Спротивление Вологды пресловутому перебросу было спокойно ими нейтрализовано.

Бюрократ закрывает глаза на будущее, он не желает думать и отвечать за последствия своих глобальных свершений. Когда его прижмут, он перекладывает ответственность на другого, смежного бюрократа. Вся беда в том, что он сам себя контролирует, он свободен в своих действиях. Он всегда находит возможность вывернуться... Вот, к примеру, поставлена задача обеспечить к определенному году квартирами каждую семью. Но ведь эту задачу можно решить двумя способами: строительством жилья или... сокращением числа женихб. Второй способ легче, проще, надежней!

К числу многих сельскохозяйственных авральных кампаний, как я уже говорил, относится и так называемая концентратия⁵. Сия концентрация и обернулась этой самой неперспективностью. Навязанная сверху из госплановских кабинетов, она была родной и любимой дочерью гигантомании (кто был папаша, судить трудно). Госстрой в срочном порядке утвердил диковинные и дорогостоящие проекты животноводческих комплексов. Я повторяю, что за все годы, которые я помню (начиная с 1935-го), в Тимонихе не построено ни одного дома. Зато было возведено три скотных двора, две обширных конюшни и два телятника. Это не считая водогреек и других подсобных помещений.

Такая практика (правда ведь интересная?) продолжается и сейчас: мы вначале строим животноводческий комплекс, то есть жилье для животных, а уж потом начинаем задумываться о жилье для людей. (Точь-в-точь как с дорогами: сперва объект, потом дорогу к нему. Но каково строить объект без дороги? Вся лесная промышленность десятилетиями работала «от нуля», именно по такому принципу.)

Но что же такое животноводческий комплекс? Бюрократу, мечтающему о безнавозной корове, казалось, что вот построит он молочную ферму на 600 голов, механизует доение, подачу кормов, навозоудаление— и все у него пойдет как по маслу. И начали строить. Усиленная производственная концентрация, специализация, урбанизация — подходило любое название, — конечно же, влетели государству в копеечку.

5 декабря 1986 года Госагропром РСФСР утвердил такие вот нормативы по строительству скотных дворов:

стоимость одного скотопомещения — 2799 рублей

в том числе:

- 1) строительно-монтажные работы — 2271 рубль
- 2) оборудование — 189 рублей

Стоимость скотопомещения для откорма телят соответственно 1181, 985 и 74 рубля

Впору было руками всплеснуть: неужто построить скотный двор стоит меньше 3 тысяч, а телятник — тысячу с небольшим? Увы, есть здесь небольшая словесная хит-

⁵ Об этом явлении можно говорить и относительно всей страны, целые регионы оказались неперспективными. Автор ограничивается малой концентрацией, касающейся сельской местности.

рость. В агропромовских бумагах скотопомещением названо одно скотоместо. Леонид Иванов («Октябрь», 1984, № 2) пишет о стоимости одного коровьего стойла в 3330 рублей и добавляет, что есть и по 4 тысячи. Вдохнуть поглубже только и остается...

Люди, сроду в глаза не видевшие живую корову, придумывают способы доения, подачи кормов и опять же навозоудаления. Газеты пишут: «На ферме завтрашнего дня предусмотрена стойлово-выгульная беспривязная система содержания коров. Принцип обслуживания — индивидуальный (раздача кормов индивидуально-групповая), метод содержания — бесподстилочный (разрядка моя.— В. Б.), способ обслуживания — самообслуживание на автоматизированных постах. Раздача фуража координатными кормораздатчиками прямо из хранилищ и кормоцеха по групповому методу. Для раздачи концентратов в каждой секции оборудованы автоматические станции кормления по специальной программе и командам, поступающим от ЭВМ. На линии доения — установка УДА-8 с автоматическими манипуляторами и снабженная санитарной станцией на входе. Сигнал о животном поступает на ЭВМ фермы. Проект линии доения в перспективе предусматривает применение доильного робота. Для обеспечения очистки воздуха на втором этаже фермы предусмотрена гидропонная теплица. Специалисты ленинградской фирмы «Лето» рекомендовали высаживать здесь розы как растения, более активно потребляющие углекислый газ. Кроме того, розы являются дополнительным источником дохода. Оператор машинного доения выполняет и работу цветовода. По расчетам ученых, затраты труда на производство одного центнера молока на ферме-автомате составят 0,6 человеко-часа, а на ферме с поголовьем 400 коров всего 0,4». И так далее в том же духе (я привел всего одну выдержку из вологодской газеты «Красный Север»). Гигантские и дорогостоящие дворцы для коров внедрялись сверху под благовидным предлогом: высвободятся рабочие руки и улучшится культура труда.

К сожалению, во многих местах не произошло ни того, ни другого. Заменить слово «доярка» на «оператора машинного доения» намного легче, чем придумать безнавозную технологию. Кадровый дефицит не исчезает при ликвидации тысяч деревень и недорогих, не громоздких (на 60—80 голов) ферм. Нет, не исчезает! Продуктивность не увеличивается при удалении от пастбищ, себестоимость кормов не уменьшается тоже. Я уже говорил, что, бывая в заграничных поездках, я каждый раз стремился узнать: как же обстоит дело у капиталистов? Ферму, где содержится более 40 коров, они считают экономически невыгодной. И везде — подстилка! Везде навозонакопление, а не навозоудаление! Там же, где нет подстилки, жидкая фракция тут же, немедля компостируется, ее берегут как зеницу ока. У нас жидкую фракцию выпускают самотеком за пределы коровника, выбрасывают с помощью транспортера, смывают водяной струей из шланга. Только бы от нее избавиться! Можно ли уберечь драгоценные органические вещества на комплексе в 600 или 1000 голов? Жидкая фракция сохнет на солнышке, выветривается, размывается дождем, но больше всего стекает в реки, откуда берут питьевую воду. Разбавленная водой, вместе с изрядным количеством хлора, она попадает наконец в суп и в чай тех самых городских проектантов, которые придумывали безнавозные технологии.

Мы и всего-то отказались от подстилки, а каков результат? Результат таков: 1) земля не получила то, что положено ей по праву; 2) вода отравлена, люди начинают болеть; 3) нужны новые срочные капиталовложения на строительство химических гигантов для производства минеральных удобрений, и мы строим вместо домов новые заводы; 4) эти гиганты и эти удобрения в свою очередь травят вокруг себя уже все и вся, добавляя в водопровод новые химические элементы. А Минводхоз с воплями о дефиците воды тут как тут, и вот Гипроводхозу опять работа, опять миллиардные заказы на Ржевское и другие водохранилища.

Так возник порочный круг, и разорвать его, кажется, никому не под силу... А ведь мы не вспомнили при этом буровиков, порчу подземных вод, ливневую канализацию и прочее и прочее.

Что такое порочный круг? У Даля нет ему объяснения, нет и в энциклопедии Брокгауза. В одном из словарей я нашел-таки заметку о порочном круге, но в ней говорилось всего лишь как о логической ошибке при доказательстве чего-либо, хотя о таком круге стоило бы рассказать и подробнее. В древности это явление символизировала змея, заглывающая собственный хвост. Ныне представление о порочном круге связано у некоторых людей с самоуничтожающейся петлей (чем активней, мол, сопротивление, тем сильнее она затягивается). Да и зачем нам сейчас философские и научные определения? Примеры из жизни намного нагляднее и доступнее.

Взять хотя бы наркоманию в ее алкогольном варианте. Тут как на ладони сразу несколько таких порочных кругов:

1. в медицинско-психологическом смысле: попробовал — понравилось — повторил — привык — впал в зависимость — начал пробовать часто;

2. в смысле физиологическом: интоксикация — выброс катехоломинов — их дефицит в организме — перепроизводство — необходимость новой интоксикации для их расходования (попросту говоря, потребность в опохмелке) — еще большая интоксикация;

3. в экономическом, вернее в торгово-финансовом, смысле — почти то же, что и в первом пункте: попробовал — понравилось — повторил — привык — впал в зависимость. Да так впал, что и торговать разучился! Нельзя же называть торговлей поспешную выдачу бутылок с алкогольным наркотиком и не менее поспешное вытряхивание народных карманов. Дензнаки, как выражаются финансисты, оборачивались со скоростью сучьего вращения Земли: заводская касса — карманы трудящихся — винный ларек — инкассаторская сумка — и вновь заводская касса! В банковских сейфах деньги почти не задерживались. Мы так наострились жить, так торговать, что дело шло все быстрее и быстрее. Змея заглатывала свой хвост глубже и глубже... Если взять продажу алкогольных напитков в 1940 году за 100 процентов, то в 1980 году эта продажа составила уже 780 процентов!

Примерно так же рождаются и другие порочные круги, связанные с экономикой, с женской занятостью, с опасным обилием незанятых рабочих мест. Например: не хватает рабочих рук — женщины идут к станкам — страдает семья — снижается рождаемость — дефицит рабочих рук усиливается еще больше — возникает необходимость еще большей женской занятости. Это один кружок. Можно проследить, как рождается и другой, связанный с пьянством и с потолком мужской заработной платы, тут тоже дело оборачивается разводами и низкой рождаемостью. А результат? Да один результат: пустеют деревни, «стареют» города и поселки, стоят станки, копятя незавершенные объекты строительства.

Один такой порочный круг перекрещивается с Другим, с третьим, с четвертым, так вот и клепаются незримое звено цепи, сковывающей общественную жизнь и все государство! Пока не разорвана эта цепь, говорить о перестройке явно преждевременно. Но особенно опасна система порочных кругов, возникающая с использованием природных ресурсов: леса, нефти, газа, драгоценной руды и всяческих минералов. Как соблазнительно, например, продать (по-блатному — загнать) сырье и купить готовую продукцию! Куда ни взглянешь — везде тому подтверждение. Вот на моем столе лезвие «Нева», выпущенное объединением «Спутник» в Ленинграде. Еще с десяток лет тому назад это были отличные лезвия, ничуть не уступающие иностранным, можно было бриться без мыла. Нынче «Нева» даже с мыльной пеной дерет шею до крови. Следовательно, приехав в Москву, я спешу на Сиреневый бульвар, чтобы купить шведские либо голландские лезвия. У входа в «Березку» на посетителя роем набрасываются энергичные люди, судя по всему, из южных республик. Эти «подберезовики» хватают за полы, униженно кланчат чеки. Почему наш рубль так дешево ценится, если мы продаем лес, газ, нефть и руду? На этот вопрос нет времени отвечать, я тороплюсь за голландскими лезвиями. Я покупаю лезвия и фломастеры, но мне, владельцу этих самых чеков, почему-то стыдно. До меня никак не доходит и другое: почему наши строители едут строить за границу, когда у себя дома не хватает именно строителей и число незавершенных объектов не сокращается? Ну, я понимаю, можно продать лицензию, чертежи какого-то там завода, целого предприятия. Но почему же самих-то строителей менять на валюту?

Попробовал — понравилось — привык. Впал в зависимость. Требуется перестройка. Но перестройка в таких случаях не вмещается в предпенсионный период, и многие руководители не желают никаких перестроек. Дожить бы до пенсии, а там пусть другие перестраиваются. После нас хоть потоп.

Раскроем стенограмму XVI партконференции. Многие хозяйственные и финансовые руководители говорили тогда, в 1929 году, что продажа леса на валюту — мера временная, необходимая для того, чтобы индустриализировать страну. Мол, как только встанем на ноги в промышленном смысле, так сразу и сократим лесной экспорт. И что же? Лесозспорт не только не сокращался, а рос из года в год, и сегодня, почти через шестьдесят лет, когда промышленность давно создана, сокращать этот экспорт никто и не собирается. Между тем зона тайги в европейской части страны практиче-

ски исчезла. Лесотундра соединилась с лесостепью. Сбылись худшие предсказания вихровской лекции из книги Леонида Максимовича Леонова. Чем не порочный круг, если говорить о Госплане и о Министерстве внешней торговли? Примером служит и бюрократическая система контроля, действующая точь-в-точь по Твардовскому: «...чтобы сократить, нужно увеличить». Тот же круг намечился в системе наших международных отношений и т. д.

В какой-то мере и какое-то время можно было объяснять все это издержками 30-х годов, сталинским культом, но ведь с 30-х уже прошло столетие. Куда девались, к примеру, те миллиарды, которые затратило государство на сельское хозяйство? Миллиарды по спецназначению? За последние двадцать лет затраты эти составили умопомрачительную цифру. Даже теперь, во времена гласности, наши агропромовцы боятся обнародовать эту зловещую цифру.

Размышляя о странностях, происходящих с сельским хозяйством, вспоминаю сюжет одной русской народной сказки. Сталкиваясь с обезличенным, ускользающе-неопределенным злом, сказочный герой нарушает запрет проникновения в тайну и, пользуясь запретным ключом, открывает комору. Ту самую, входить в которую было никому не позволено. Что же он там увидел? А увидел он двух «звирей»: сначала коня, потом льва. Оба-два на цепи. В зубах коня торчит кусок мяса, а из пасти льва клок сена. Постигнув секрет разлада, герой делает очень немногое: он всего лишь устраняет неелесть, возвращая сено коню, а мясо льву. «Звири» глотают еду и тотчас без посторонней помощи, сами освобождаются от цепей. Надо ли добавлять, что они верой и правдой служат сказочному герою?..

При виде студентов, одетых в фирменные куртки стройотрядовцев, я всегда вспоминаю эту сказку. Ведь студент на то и студент, чтобы учиться (студентов в царское время не брали в армию). У нас даже профессора и доценты, вместо того чтобы создавать малую механизацию, сами убирают сено и копают картошку. Еще своеобразнее выглядит целый завод электронной аппаратуры, вынужденный просить у колхоза землю, чтобы выращивать корма, разводить коров и свиней для собственного питания. И создатели новейшей компьютерной техники пользуются на сенокосе примерно теми же орудиями, что были во времена Александра Невского.

Гриппозное состояние чиновничьего ума вызывается вирусом гигантомании, но не только. Механический перенос промышленных способов в сельскохозяйственное производство обычно ничем не заканчивается. Индустриальные методы в сельском хозяйстве чаще всего остаются голубой мечтой. Там же, где эта мечта с грехом пополам все же сбывается, возникают новые неразрешимые проблемы. Кто только не брался раз и навсегда решить продовольственную задачу! Вспомним, как веселый премьер одним махом отменил лесозащитные полосы, виновные только в том, что начинались при угрюмом генсеке. Вытравить травопольщиков оказалось намного проще, чем внедрить кукурузу на землях нынешнего Нечерноземья. Было множество больших и малых промежуточных прожектов, пока научная мысль не сконцентрировалась в Институте по переброске северных и сибирских вод на засушливый юг, пока Министерство мелиорации не заграбастало в свой карман миллиарды народных рублей⁶. Речь шла ни много ни мало как о создании антирек, о глобальном беспрецедентном вмешательстве в тот беззащитный и, в общем-то, довольно хрупкий почвенно-водный распорядок, на создание которого природа затратила миллиарды лет.

Разыскивая нужный мне документ, то и дело натыкаюсь на бумаги, связанные с Министерством мелиорации. Их не меньше, чем «алкогольных». Что делать с ними?

Нерусское слово «досье» почему-то так и просится на язык. Хотя оно родственно больше не журналистской, а прокурорской терминологии, я не могу назвать по-другому полпуда разных документов, связанных с поворотом северных и сибирских рек. Начало этому «досье» положила пресс-конференция в Вологодском обкоме лет двадцать тому назад. Интервью давали инженеры Ленгипроводхоза. Они с гордостью и едва сдерживаемым восторгом докладывали о проекте века. Вологодские журналисты лихорадочно и с не меньшим восторгом записывали... Позднее из технико-экономического обоснования выяснилось, что на первом этапе будет перебрасываться 24,4 ку-

⁶ Это единственное сельскохозяйственное министерство, не вошедшее почему-то в Агропром. Хотя Агропром командует нынче даже кондитерскими фабриками, министр Н. Ф. Васильев сохранил себе полную автономию. Как тот Колобок: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. И от тебя, Агропром, тоже уйду».

бокилометра, а на втором — 31 кубокилометр северной воды в год. Намечено, мол, только на Сухоне построить пять гидроузлов и подлежит затоплению около 3 тысяч гектаров сельхозугодий. Объем земляных работ лишь по Сухоне и Северной Двине составит 166 да на Онежском озере и Волго-Балте 159 миллионов кубических метров. По проекту общая площадь потерь сельхозугодий составит 11,1 тысячи гектаров, но эти потери, дескать, с лихвой окупятся южными поливными урожаями и каспийской севрюгой... Еще раньше того, в 1961 году, в журнале «Юный техник» появилась заметка с таким названием: «Печора будет впадать в Каспий!» Смущало не то, что в детективную историю переброса включались две реки, давшие имена знаменитым литературным героям Пушкина и Лермонтова. Смущал неожиданный поворот поворотчиков (и переворотчиков, как говорит В. Г. Распутин) от восточного варианта к западному. Журнал сообщал:

«Работники московского научно-исследовательского института «Гидропроект» разработали проект переброски части стока северных рек Печоры и Вычегды через Каму и Волгу в Каспийское море. Великая русская река и седой Каспий будут ежегодно получать от северных рек около 40 км³ студеной воды...

Печору перегорудит Усть-Войская земляная плотина высотой в 80 м, на реке Вычегде будет сооружен 34-метровый подпорный гидроузел, а на Каме, у города Боровска, построят водосливную плотину высотой 30 м с однокамерным шлюзом. Здесь же будет сооружена ГЭС мощностью в 700 тыс. квт. Кроме того, на водоразделах рек Нибель и Ижмы должны быть возведены заградительные Нибель-Ижемские дамбы длиной около 16 км и высотой до 11 м — они укрепят пониженные левобережные участки Печорского водохранилища.

Через водоразделы будут прорыты два канала: Печоро-Вычегодский длиной 62 км и Вычегодско-Камский протяженностью 99 км.

Так будет создано Печоро-Вычегодско-Камское водохранилище, самое большое из всех построенных человеком. Для наполнения его потребуется около пяти лет. Каждый год водохранилище сможет аккумулировать 70 кубических километров паводковых вод из стока верховьев Печоры, Вычегды и Камы. Из этого количества 40 км³ оно будет отдавать Волге.

На строительстве предстоит выполнить более 700 млн. м³ земляных работ, уложить около 1,3 млн. м³ бетона и свести с огромной территории вековой лес.

Далее, для того чтобы «сжечь» лес, предназначенный под затопление, журнал «Юный техник» предлагал спроектировать грандиозный комбайн, способный заменить целый леспромхоз с годовой производительностью 250—300 тысяч кубических метров. «Ценно то, что лес можно сводить уже после затопления водохранилища», — сообщали инженеры Ю. Николаев и А. Сафронов.

Республика Коми дала перебросчикам достойный отпор. Тогда они ловко переключались на западный вариант. Не важно, что перебрасывать, лишь бы перебрасывать. Тогда же явился миру призрак грандиозной дамбы для Белого моря.

После упомянутой пресс-конференции материалы, связанные с «проектом века», начали копиться в моем архиве с быстротою невероятной. Теперь этих толстых папок уже не одна и не две. Заглянем? «Время для них еще не пришло», — подсказывает мне мой внутренний голос. «Нет, ты просто трус, — вмешивается какой-то другой голосок. — Ты боишься. Не можешь — не берись...»

Признаюсь честно: боюсь. Не могу и боюсь так долго, так много повторять одно и то же, писать на самый верх, телеграфировать, звонить, наконец, читать правду о перебросчиках! Что толку в том, что они давно разоблачены и пропечатаны? Ведь они уже привыкли к этим разоблачениям. Они читают эти разоблачения, усмеваются и... продолжают спокойно проектировать, тратить народные миллиарды и даже получать государственные ордена.

Бюрократический панцирь непробиваем, журналистские, печатные стрелы просто от него отскакивают, ломаются, как лучинки. Пишите, пишите, мол, а комиссия академика Коптюга вот что говорит, а Госплан в деньгах не отказывает, а перепрофилировать специалистов мы все равно не станем. Истратили 60 миллиардов и еще 40 истратим, а воду все равно заберем. И вообще, что вам от нас надо? Нет, нынешний бюрократ уже не спорит, он соглашается с критикой, он даже признает иногда свою неправоту и ошибки. Но делает все равно по-прежнему и по-своему.

Логика перебросчиков, поддержанных и одобренных покойным академиком Е. К. Федоровым, была проста: дескать, сотни кубокилометров пресной воды, ежегодно стекающих в Ледовитый океан, пропадают зря. Надо использовать их в народном хозяйстве, надо исправить ошибку природы... Не в первый раз вместо того, чтобы признать и исправлять собственные ошибки, наладиться исправлять «ошибки» природы! Помню, на совещании в сельхозотделе ЦК, куда мы были приглашены вместе с Ю. Бондаревым, С. Зальгиним и В. Солоухиным, я спросил академика Федорова, а нельзя ли создать такой проект, чтобы выпрямить ось земного вращения? Тогда не будет ни зимы, ни лета. Останется один сплошной сельскохозяйственный сезон. «А зачем?» — искренне удивился лишенный юмора академик. Пришлось вспоминать тогда и о гитлеровском проекте, предполагавшем вывезти в Германию курский и воронежский чернозем. Ведь если нравственно глобальная переброска воды, почему безразлична глобальная переброска земли?

Нет, эти доводы и другие, уже опирающиеся на объективные научные данные, на перебросчиков и переворотчиков не подействовали. Они, перебросчики, росли и копились, как грибы после дождя, укреплялись, тратили все новые миллиарды. О «проекте века» трубила многочисленная журналистская рать. Комитет по метеорологии и гидрологии (почему он?) контролировал печатные публикации, останавливая любые высказывания противников «проекта века». Редакция газет и радио были даны негласные указания не допускать двух мнений об этом проекте. Пока общественность выводила перебросчиков на чистую воду, мелиораторы поспешно тратили народные денюжки. Из двадцати видов мелиорации они облюбовали водную. Кто будет спорить с тем, что такая мелиорация тоже необходима? Да никто. Но ведь все дело в том, сколько денег останется на другие виды мелиорации, например агротехническую и лесную. Такие виды мелиорации необходимы нашей стране не меньше, а может быть, больше. Но многим тысячам перебросчиков-проектировщиков отнюдь не хотелось оставлять свои кульманы, вернее теплые места, в институтах и руководящие кресла. Загрязненные способы освоения средств устраивали и мелиоративных строителей. Перепрофилирование до сих пор не входит в планы министра Васильева, хотя односторонняя мелиорация не дала ожидаемых скорых перемен в сельском хозяйстве. Явилась даже новая беда — засоление земель. И снова спросим: куда же ушли миллиарды, отпущенные государством? И долго ли придется нам кланяться заокеанским толстосумам, покупая хлеб и фураж на колымское золото?

Однажды директор Института водных проблем Г. В. Воропаев во всеуслышание назвал Северо-Запад России заброшенным и богом забытым районом. По его мнению, не стоит даже ориентироваться на наше северное земледелие. Это заявление выглядело лживо, беспомощно и демагогично. На моей родине колхоз «Большевик» (Харовский район) в 1984 году собрал более 150 пудов зерна с гектара, по 5,2 центнера льноволокна, по 3,1 центнера льносемян, по 51 центнеру сена и многолетних трав, картофеля по 140 центнеров. Государство только от одного этого колхоза получило 2145 тонн молока. Копию моего письма директору Института водных проблем я храню для будущего вместе с другими бумагами:

«Уважаемый Григорий Васильевич!

Российский Север, который Вы называете краем, богом забытым (доклад на конференции ИВП), еще в XVI веке производил товарный хлеб, поставляя его скандинавским странам. Ваше утверждение о том, что нынче Северо-Запад вообще утратил традиционную сельскохозяйственную культуру, также неверно (многие наши колхозы снимают урожай от 20 до 40 ц с гектара).

Ориентация только нажное, да еще по преимуществу орошаемое, земледелие антинаучно и антинародно. Все это и многое другое я мог бы подтвердить документами и высказываниями ученых, которым тов. Израэль, присвоив права Главлита, запрещал публикации.

Упорство, с каким Ваш институт отстаивает ошибочные идеи, достойно иного и более лучшего применения.

По-видимому, сохранение среды обитания русского народа, его тысячелетние хозяйственные и культурные ценности мало интересуют энтузиастов т. н. переброса. Я призываю Вас трезво взглянуть на упомянутые проблемы, отмежеваться от научного экстремизма и сохранить для потомков доброе имя ученого...»

Я подписался, поставил дату (15 апреля 1985 года) и отправил. Но товарищ Воропаев не ответил.

Странно, что судьба мелких селений Северо-Запада зависит порой от любого, даже малозначительного столичного ведомства, только не от местных исполкомов.

Институт «Вологдагражданпроект» (со ссылкой на Госстрой РСФСР) разослал как-то по райисполкомам одну директиву. Получили эту бумагу и в нашем райцентре. В приложении к ней Харовскому райисполкому предлагалось сселить 37 деревень. Спрашивается: почему сселять и почему 37, а не 7 и не 137? Директива не дает ответов на такие вопросы. Моя Тимониха в эту директиву не попала, а деревня Семеновская, где жителей больше, почему-то попала. Пошел я в институт, пошел в облисполком. И там и тут столько директив начитался, что голова кругом. Видимо, учитываемая перспективность термина «бесперспективность», то ли в Госстрое, то ли еще где сделали такую поправку: «В дальнейшем именовать перспективные пункты развиваемыми, неперспективные — сохраняемыми» (решение облисполкома № 454 от 17 августа 1983 года). Что в лоб, что по лбу! Ведь ясно, что сохраняемый, но не развиваемый равносителен неперспективному.

Говоря о хлебе насущном, газеты сообщают, что за последние годы миграция из деревни в город уменьшилась на 20 с лишним процентов. По-моему, потому уменьшилась, что уезжать стало уже некому. Обезлюживание деревень продолжается во многих районах России. По-прежнему под видом концентрации производства ликвидируются фермы и бригады, запускаются пахотные и сенокосные земли. В нашей области из 12 тысяч деревень около 7 тысяч заброшено. В Харовском районе ликвидированы целые сельсоветы, такие, как Дружининский, Низовский, Ильинский, Фроловский, Катромский. До войны в районе засеивалось 24,5 тысячи гектаров пашни. Сейчас же только 18 тысяч, несмотря на то, что Главнечерноземводстрой ежегодно осваивает многие миллионы из тех миллиардов, которые так щедро отпускаются Министерству мелиорации.

Впрочем, вирус гигантомании, время от времени посещающий сельскохозяйственного бюрократа, не щадит никого. Особенно яростно внедряется он в безымянных режиссеров массовых зрелищ. Посещает и некоторых скульпторов, воздвигающих грандиозные по своим размерам монументы. Это они прививают нашим руководителям эстетику глобализма. Многие журналисты стали активными носителями и разносчиками того же вируса. «Самая крупная в Европе», «не имеющий аналогов», «ресторан на тысячу посадочных мест», «грандиозное представление в Лужниках» и т. д. И невдомек иному, что самое большое не значит самое лучшее, а скорее наоборот, по половицам: мал золотник, да дорог; велика Федора, да дура. Но восторженные репортеры знают, как угодить начальству. Славословие самого-самого — это бальзам на душевные раны руководителя, из года в год не справляющегося с выполнением заданий, например по строительству очистных сооружений. Коров доят всего по 2—3 тысячи в год, зато здание обкома выше соборной колокольни. Какое мне дело до художественной цельности архитектурного облика города! Хочу выше и шире! И вот в центре двух-трехэтажной Вологды, несмотря на протесты общественности, подымается облисполкомовский небоскреб⁷. Знай наших: не хуже, чем в Нью-Йорке.

Сказочный сюжет вспоминается мне не только при виде кибернетиков, трудящихся на овощных базах. Разве не достойно изумления то, что люди везут яйца и сметану, и даже капусту, из города в деревню? «Деревенский дом горожанина» — читаем заголовки статьи в солидной газете. Разве не логично после такой статьи говорить и о «квартире колхозника в городе»? Демократия распространяется, по нашему мнению, не только ведь на город, но и на деревню. Или автор «Литгазеты» думает иначе? Но о городской квартире для колхозника он почему-то ни слова не говорит. Между прочим, напрасно не говорит, так как жизнь все равно берет свое. Почин в этом деле уже сделали многие председатели колхозов и руководители совхозов. Они обосновались как раз по этому принципу. Ночевать к жене ездят в город, а руководить — в деревню (Не буду приводить многочисленных примеров, хотя и следовало бы.) Что думают колхозники об этих руководителях? Честное слово, это не так уж трудно представить.

И уж если пять-шесть раз в неделю руководителя возят в деревню из города, то

⁷ Этот небоскреб выстроили уже после того, как было сооружено обширное здание для Агропрома. Если ты переселяешься в новое, то отдай хоть старое, ну, например, под детскую областную больницу. Но, по слухам, облисполком не собирается никому ничего уступать, заняты будут кабинетами все три обширных здания.

почему бы ежедневно не возить и рядового колхозника? Судя по многим строительным организациям, ПМК, Агрохимии, ремонтным и прочим службам, такая мистифицированная обстановка уже начинает складываться.

Ведомственную несогласованность в Центре можно бы легко устранить на местах с помощью областных, районных и местных Советов. Да вот беда, у местных властей власти-то как раз и нет. Все фонды, финансирование, снабжение, распределение, все деньги, кадры, товары, наука, информация — все стремится снизу вверх, все концентрируется в Центре. Если это движение повернуть в обратную сторону, начнется возвращение Тимоники...

Где же все-таки тот нужный мне пакет с документами? Он так бы пригодился сейчас! Писать статью труднее, чем что-либо другое, потому что нужна полная точность. Точность в цифрах, фамилиях и датах. Мне необходим документ. Но для того чтобы найти нужную бумагу, надо перебрать все бумаги подряд. С книжек, что ли, начать? Сердце начинает щемить при виде отложенных для обязательного прочтения книг. Они копились у моего изголовья быстрее, чем я их читал. Под натиском неотложных дел я перекладывал их на журнальный столик. Потом под кровать, а они все копятся... В начале этого года я, так же как в начале восьмидесяти шестого (и восьмидесяти пятого), перевожу их в разряд чтения необязательного, откладываю еще дальше...

На этом месте меня настигает сочувствие к руководителям, по своей натуре не склонным к бюрократизму. У них, вероятно, также откладываются серьезнейшие дела и бумаги. В результате вместо общей проблемы большой руководитель решает множество частных, будничных, отличающихся назойливостью и постоянством. Есть масса способов украсть его время, отвлечь его от государственных, неотложных дел. Разве так уж трудно занять его время делом с виду неотложным, но все же второстепенным, а то и просто ненужным? Например, ежедневным приемом зарубежных гостей...

Ужасны и свойства бумаг! Любую из них можно задержать или подsunуть вне очереди. Бумагу можно перетолковать, наконец, отложить до завтра, а потом совсем о ней позабыть, я знаю это по своему опыту. И вот общение большого руководителя с низами начинает действовать по принципу выпрямителя переменного тока: в одну сторону ход есть, в другую нет. То, что думают жалобщики, руководитель знать будет, и причем досконально. А то, что думает сам руководитель, так и останется за семью замками.

Да мало ли и других бюрократических казусов припасает бумажное общение! Например, пишется письмо-жалоба, а на поверку выходит донос. И наоборот бывает: человек взывает о помощи, а его называют доносчиком. Можно выпятить одно и сделать вид, что другого не существует. Много всяких способов! Критик А. Бочаров («Вопросы литературы»), косвенно оправдывая снос деревень, твердит о каком-то велении времени, о требовании времени, об исторической необходимости. Да не было этой необходимости запускать пахоту и бросать дома! Сносили деревни, закрывали целые сельсоветы определенные люди (их можно назвать по фамилиям), определенные общественные группы (их тоже можно назвать). Собственные веления они всегда преподносили как веление времени.

Время не та категория, которой можно манипулировать безнаказанно. Время подобно живой природе, оно способно к самоочищению, если не перегружено ложью и тайнами, как вода и земля могут быть перегружены химией и отбросами нашей деятельности. Мы еще не дожили до критической точки, хотя перегруз уже чувствуется. Еще есть возможность освободиться от исторической лжи, заполнить временные провалы в памяти. Пока есть жизнь, будет и правда (Оставить нераскрытыми тайны мира способна только всеобщая гибель.) Раскроются со временем и фамилии действовавших инкогнито ученых, социологов, плановиков, экономистов чьи рекомендации ЦК и правительству на протяжении многих лет оправдывали пьяный бюджет, узаконивали снос деревень и переброс воды, создавали дефицит лезвий, мыла и простынь и т. д. и т. п.

Кстати, как часто в наше время звучит, пишется, произносится слово «дефицит». В старинном справочнике иностранных слов говорится, что «дефицит» происходит от латинского deficit — не хватает. Так бы и говорить — недостаток либо нехватка. Но для многих из нас почему-то приятнее называть свои собственные недостатки ино-

странными терминами. Вроде легче становится. Увы, нехватка, как ее ни называй, все равно остается нехваткой. Например, нехватка доярок. По-современному, дефицит мастеров машинного доения.

И вот дефицит доярок и пастухов мы вздумали устранять с помощью освобожденных рецидивистов и проституток, высланных из больших городов. Казалось бы, с какой стати? Где девчонку споили и развратили, там бы и перевоспитывали. Так нет, ее высылают в те места, где проституции сроду не было. Таких «мастеров» машинного доения много перебивало в моем родном колхозе «Родина». Но ни доярок, ни жен для наших ребят из этих прелестниц почему-то не получается.

Недавно слышу, как матерится бригадир. Нарочно напротив моих окон остановился и шпарит. Спрашиваю: в чем дело? «Да вот коров доить некому! Отпустил дояра на три дня зубы дергать, а его уже неделю нет. Опять сударушку ищет!» Ферма в нашей деревне почти мужская. Работают трое холостяков, но в радиусе семи-восьми километров нет ни одной девчонки, жениться ребятам не на ком. Иногда в Тимонику ездят доить коров студентки из стройотрядов или еще кто-нибудь. Как они доят, не стоит рассказывать. Предполагалось, что строительство современных комплексов устранило кадровую проблему. Не устранило! Дефицит доярок существует и на центральных усадьбах... Более того, в совхозе «Харовский» одно время пустовали дома с канализацией и центральным отоплением. Тут-то в чем дело?

Десятки лет деревня была неравноправна с городом не только экономически, но и духовно. Я сам видел, как заведующие клубами не разрешали молодежи плясать. Клубная девушка отбирала баян или гармонь и включала проигрыватель. Слово «диско» произносится с ощущением умильного служебного подобоострастия. Народ нынче поделен на зрителей и художественную самодеятельность. Но петь и плясать по графику, да еще на возвышении, хочется далеко не каждому⁸. Клуб и самодеятельность всегда подразумевают многочисленный актив и многочисленный пассив (зритель, посетитель). Всенародное гулянье исчезло. Бюрократ приложил руку и тут. Вековая народная культура ошелмлена. Куда при таких условиях стремится юная девичья душа? Конечно, любимы путями в город, где звучат академические хоры и на стадионах гигантские зрелища. Там, как ей представляется, все намного лучше, возвышеннее, прекрасней. А тут ферма, жидкая фракция, рано вставать. Нет, лучше продавцом, швейей на фабрику. но не дома...

В итоге наши дояры-холостяки пьют от одиночества, коровы стоят недоеными, а в городских магазинах очереди за молоком. К сожалению, многих писателей, журналистов, режиссеров, редакторов, особенно столичных, мало волнует то, что волнует нашего бригадира.

А каково влияние средств массовой информации на народную нравственность? За что ратуют наши кинематографисты, редакторы телевидения, радио, фирма «Мелодия», а также организаторы концертно-эстрадной деятельности и массовых физкультурных и туристических мероприятий? Глобальная эмоционально-«художественная» информация такова, что способна не только ослабить, но и обескровить духовную и физическую потенцию подрастающих поколений. И в городе и в селе. Сексуальная, музыкально-спортивная, эстрадно-цирковая белиберда заполонила эфир. Взгляды и критерии псевдогероев тотчас усваиваются подростком. О чем начинает мечтать хотя бы деревенская девочка? О том, как она станет актрисой, геологом, танцовщицей на льду, циркачкой, в крайнем случае кулинарум.

Нынче все средства массовой информации кинулись учить отдыхать. Проблема свободного времени вдруг оказалась наиглавнейшей. (У нормального культурного человека не бывает этой проблемы. Наоборот, у него всегда нехватка времени.) Развлекательность — главная особенность нашего, в особенности ленинградского, телевидения. Развлекательность любима, порой довольно пошлыми, средствами. 20 сентября прошлого года, например, Ленинград в телепередаче «Открытая дверь» показал студентов на «ярмарке». В лесу, за городом студенты дружно демонстрировали так называемый художественный храп (тот самый храп, который некоторые животные, например лошади, издают во время случки). В деревне, помнится, имитация этого звука была

⁸ Областная молодежная газета сообщает, что в восемьдесят четвертом — восемьдесят пятом годах клубные учреждения посетили всего 6 человек из тысячи (0,6 процента). Отчуждение здесь особенно наглядно.

выражением наивысшего неприличия и цинизма. А тут... Студенты ленинградских вузов создают «хор», и ТВ транслирует его на Москву и весь Северо-Запад.

Радио также довольно часто выпускает в эфир халтуру. Чтобы услышать русскую, грузинскую или эстонскую народную песню, нужно обращаться в редакцию специальным письмом... А театр? Он перестраивается уже несколько лет, но все никак не перестроится. Посмотрим репертуар хотя бы нашего Вологодского ТЮЗа. Пьеса «Ящерица» — каменный век. Пьесы «Дикарь», «Домовой», наконец, «Держись, поросята!» (не думайте, что речь идет о сельском хозяйстве), «Буратино в стране дураков» и т. д. По одним названиям можно судить, чем потчуют наших детей вологодские тюзовцы. В других местах не лучше. И весь этот театральный и концертный репертуар формируется опять же сверху и распространяется централизованно! Тему труда заслонила тема досуга. Шкала нравственных ценностей современного подростка формируется под знаком государственной необходимости развлечений. Для многих юношей и девушек на первом месте стоят спорт, туризм, художественная самодеятельность, путешествия. Труд и семья — в самом конце...

Ну а что же наши философы, искусствоведы, критики? Неужели и они «перестроились» вдогонку за ленинградским храпом? Доктор юридических наук Софья Келина пишет: «Что значит ввести уголовную ответственность, например, за проституцию?.. Подсудна ли безнравственность?.. Мы и предлагаем не вводить уголовную ответственность за проституцию... нельзя вводить уголовную ответственность и за употребление наркотиков... Мы предлагаем отменить статью об ответственности за мужеложество» («Московские новости», 1987, № 34).

До этих ли проблем моим землякам? Рассчитывать на возвращение невест в родную деревню нашим женихам при нынешних обстоятельствах, увы, очень и очень трудно. А без невест женихи наши быстро сопьются, и ферму в Тимонихе придется закрыть. А посему исчезнет и вся четвертая бригада колхоза «Родина» вместе с моей Тимонихой. И хотя чужой кусок иной раз просто в горло не лезет, мы опять будем вынуждены есть по утрам импортную булку с импортным маслом...

Самым дорогим гостям на Руси и до сих пор преподносят хлеб-соль. «Хлеб да соль!» — говорили при входе в избу, если семья была за столом. Хлеб и соль всегда были святыми понятиями. Что же случилось с народом, дети которого играют в футбол буханками хлеба? Соль же мы горстями сыплем под ноги. Она разъедает пока одни шины да подошвы наших башмаков, но «все болезни с ног», как когда-то говаривали. Багоны и засохшие булки на городских помойках, тонны несъеденного гарнира... Между тем в богатейших странах Запада редко где можно обнаружить брошенную хлебную корку. Не зря в наших городах так много развелось ворон и галок. Эта неуправляемая биомасса плодится в лесах, но питается в городах.

В деревне хлеб тоже не берегут. Однажды в лавке моя деревенская сверстница, с которой вместе учились в первом классе, купила полмешка баранок. «Куда тебе столько, — говорю, — ведь засохнут». «А телянку! Размочу, дак и съест».

Бабушки из соседней деревни берут рис, но не для себя, а для кур. Печеный хлеб, привезенный за шестьдесят километров из райцентра, несут из лавки мешками. Зимой — на санках. Берут по пятнадцать — двадцать буханок, скармливая овцам и коровам. И это при том, что ежегодно на больших площадях не скашивается трава! Луга и лесные покосы год за годом не скашиваются, зарастают лозой. Мои соседи недоумевают: в чем дело? Корова опять скинула. В другом дворе корова осталась яловая, пришлось сдать на мясо. И невдомек иной хозяйке, что корова-то не свинья, ее надо кормить не хлебом, а соломой и сеном.

Весной кило сена иной раз дороже, чем кило печеного хлеба. Подождем обвинять старух и пенсионеров, скармливающих скотине печеный хлеб, если не разрешают косить траву. Чтобы прокормить одну гольку корову, необходимо накопить минимум 40 стогов. Вручную, поскольку промышленности, старательно выпускающей туристические, охотничьи и ВИА-принадлежности, до сих пор нет времени заняться малой сельскохозяйственной механизацией. Владимирский навесной трактор продается в основном за границу. Чешские и гдээрзовские косилки дороги и малодоступны. Приходится косить так же, как косили во времена Даниила Заточника. Сможет ли накопить 40 стогов инвалид или пенсионер, пусть даже и с помощью городских зятьев? «Сможет!» — веско заявляют в конторе. поголовье личных коров в области сокращается ежегодно

на две тысячи, коровы для нынешнего чиновника по-прежнему делятся на общественных и личных. Количество коров сокращается, количество руководителей увеличивается...

Когда-то на моей родине на территории нынешнего Азлецкого сельсовета проживало более 3 тысяч людей, а командовало ими всего трое: урядник, писарь да волостной старшина Кузьма Иванович. Нынче на этой же территории проживает и всего-то около 200 человек. А начальства... Считать — не пересчитать. Трактористы у нас с юмором: «Кресла в конторе все заняты, так садятся на подоконники. Сидят и катышками кидаются. Из чего катышки? А из конфетных бумажек».

Но еще гуще всяких контор с креслами в райцентре. Пересчитать их в точности можно по списку организаций, который печатает районная газета, когда закрепляют шефов на сенокос. Однажды я насчитал больше 30 всевозможных контор. Куда такая прорва начальства? Вспомним, что каждая такая контора имеет свое многочисленное начальство в областном центре. Выйдите в центр Вологды осенним вечером — вас поразят мрачность и безмолвие окружающих зданий. Окна темны, потому что вокруг сплошь конторы. Целые кварталы контор, и почти все сгрудились в центре. Достаточно их и на городской периферии, но там жилья все же больше и жизнь течет веселее. У всех этих организаций имеются свои центральные и республиканские органы, главки, министерства. Сколько народу кормится в этих ведомствах?

И вот считайте меня хоть демагогом, хоть ретроградом, но я не могу при этом не вспомнить тысячи ферм с кадровым дефицитом и тысячи сельских парней, коим грозит вечная холостяцкая жизнь. Пропаганда чисто городских, зачастую весьма сомнительных ценностей и молох централизации особенно сильно влекут молодых женщин. За ними следом и все остальное. Из бригады стремятся переехать на центральную усадьбу, с центральной — куда-нибудь в райцентр, а еще лучше в областной центр, отсюда не прочь в Ленинград и в Москву. Движения в обратную сторону нет и в ближайшие времена, видимо, не будет.

Существует и основной закон бюрократии: ни один служащий не стремится вниз по служебной лестнице, каждому охота ступить еще на ступеньку повыше. Удивительно живуча и плодovита эта вертикально-централизованная административно-бюрократическая система, способная к самовоспроизводству и самообеспечению! Одна моя знакомая работала экономистом в Вологде. Она рассказывала, как однажды прикрыли в Москве ихний главк. Прикрыть-то прикрыли, но сразу же почти рядом открыли новое учреждение, и большинство служащих немедля перекочевали туда. Сократить этот контингент невозможно, никто из них не хочет ни на завод, ни тем более в колхоз. Конторы имеют способность к размножению, они плодятся. Они делятся, словно перестягивающиеся медузы. Они живучи и, однажды возникнув, уже не могут исчезнуть, но перевоплощаются, переформируются, принимают новые названия.

Да, работать в полях и на фермах желающих меньше, чем в кабинетах. Дефициты возникают один за другим. Если доярочный дефицит можно (и нужно!) устранить за счет мужского пола, то как, за счет кого избавляться от дефицита невест?

Странная и очень загадочная это вещь — дефицит.

Захожу как-то в знаменитую булочную-кондитерскую, что около Театра имени Ермоловой.

— Овсяное печенье есть?

— Нет.

— Почему?

Продавщица глядит на меня как на жалкого дилеганта, но я не унимаюсь и спрашиваю:

— Вы считаете, что овес — дефицит?

— Конечно. Это же не пшеница.

Я вспомнил обширнейшие поля с прекрасным овсом у себя на родине. Комбайнеры молотят его по 30—40 центнеров с гектара. Уж чего другого, а овса-то в стране достаточно. А столичная продавщица убеждена, что овса в колхозах нет, потому и печенье овсяного нет. Дефицит на геркулес, то бишь на овсяную кашу, и совсем непонятен. Знают ли работники торговли и пищевой промышленности, что когда-то на Руси бытовало более двух десятков овсяных блюд, что такую еду давали роженицам и больным, что от овсяного настоя быстрее заживляются раны?

Достаточно одну бумажку положить под сукно, задержать на один день или по ошибке отправить не по тому адресу — и вся наша грандиозная страна останется без овсяной каши. Не на день-два, на целую пятилетку.

Оставим в покое овсяную кашу, возьмем нехватку металла. Одна 5-я домна в Череповце льет столько чугуна, что трудно даже вообразить. Отчего же в стране всю дорогу нехватка металла? Ответить обязаны ученые. Может, у нас нехватка ученых? Нет. Их в стране 1 400 тысяч. Почти половина мирового состава. При таких условиях говорить о дефиците научных кадров значит совсем погореть совесть. Итак, одна наша вологодская «северянка» пожирает ежесуточно более 200 вагонов руды и угля, день и ночь изливаясь огненной рекой чугуна. Казалось бы, с пуском таких гигантов никакого дефицита металла не должно быть. Так почему же он все-таки есть? Долго не мог я понять, в чем тут дело. Доктор экономических наук Михаил Яковлевич Лемешев, эксперт ООН по окружающей среде, объяснил мне эту загвоздку. Допустим, что в стране после разлуки образовалась нехватка гвоздей. Почему нет гвоздей? Не хватает металла. Почему не хватает металла? Да потому что не хватает руды. Что ж, станем добывать больше руды! Но для того чтобы добыть больше руды, надо больше железных лопат. А чтобы снабдить рудокопов лопатами, пусть они поднапрягутся и увеличат добычу, пока инженеры не создадут экскаватор. Наконец экскаватор создан. Добыча руды сразу подскочила. Но и для сборки экскаваторов тоже нужен металл. Одного передельного не хватает, опять получается дефицит руды. Как его устранить? Очень просто. Надо увеличить объем экскаваторного ковша с полутора до трех кубометров. Но ведь ковши и двигатели тоже делают не из дерева, для них опять нужен металл. И вот мы добываем руду уже не пяти-, а восьми-, а затем пятнадцатикубовыми экскаваторами. Наконец шагнул на рудник шагающий, за ним — роторный.

А металла как не хватало, так и не хватает...

Сколько тонн весит роторный экскаватор? Самое интересное то, что о дефиците гвоздей давно позабыли... Есть дела поважнее. Система, созданная для снабжения народного хозяйства обычными гвоздями и подковами, начинает работать уже не на народное хозяйство, а сама на себя. Дефицит металла как тень следовал за техническим прогрессом, а в этой системе он, этот дефицит, увеличен уже в десятки, а то и в сотни раз. Та же картина с дефицитом электроэнергии...

Хочется спросить ученых: существует ли предел промышленно-экономического роста? где он? имеются ли вообще научно обоснованные нормы и самого научно-технического прогресса?

Ежегодно из недр планеты Земля мы изымаем с помощью всяческих экскаваторов 20 миллиардов тонн живой земной плоти, которая создавалась не нами. И только 2 процента (2!) составляет то, что создаем мы из 20 миллиардов тонн. Остальное отбрасываем⁹. В слепой, как говорят, природе никогда не было никаких отходов. У человека, вооруженного знаниями, получается 98 процентов отходов. Если это прогресс, то что такое регресс? Если это научно, то что такое не научно?

Человечество то и дело пытается перехитрить природу. Кое-что удается, но конфуз тоже достаточно. Научные и общественно-политические журналы 20-х годов всерьез и усиленно разрабатывали тему «омоложения». Мода вроде бы совершенно науке противопоказана, а вот поди ж ты! М. Булгаков ехидничал на эту тему в «Роковых яйцах» и в «Собачем сердце», но «омоложение», возглавленное Лепешинской, из мечты быстро превратилось в теорию. Теория же тотчас начала взаимодействовать с практикой... Академик Лысенко проводил яровизацию семян с помощью не тепла, а холода. Существовало еще множество не менее утопических проектов. Гигантомания торжествовала не только в плане научно-техническом, но и в социально-экономическом.

Конечно, наши селекционеры двигались главным образом в направлении взвин-

⁹ Безотходное, экологически чистое производство возможно только в сельском хозяйстве, причем в его домашинном, дохимическом варианте. Об этом еще в прошлом веке говорил философ Н. Федоров: «В санитарном отношении города производят только гниль и затем почти не превращают ее в растительные продукты; следовательно, отдельное существование городов должно давать перевес процессам гниения над процессами жизни. По мере увеличения городов вопросы санитарный и продовольственный будут принимать все более острую форму, становиться все жгучее и жгучее».

чивания веса и объема, то есть количества. Качество замалчивалось. Вопреки диалектике замалчивается оно и теперь. Его величество Количество свирепствует не только у нас, но и на Западе. Кто не удивлялся невыразительности вкуса и запаха западноевропейского хлеба? Красиво, пышно, бело. Но жуешь, как резину, никаких нюансов. Впрочем, нюансы-то есть, их немало. В одной ФРГ выпекается более 200 сортов хлеба. Я, разумеется, не занимался дегустацией всех сортов. Сужу по общему впечатлению от западного, причем общедоступного, непривилегированного хлеба. Мудрено ли потерять вкус и запах, если урожайность в Англии дошла уже до 70 центнеров с гектара? Во Франции и Германии урожайность меньше, но технология зернового производства там также не обходится без минеральных удобрений, иными словами — без химии. Весь мир «химичит». Фермерское движение за полное освобождение зернового хозяйства от химии в Европе только начинается. Но уже сейчас оно имеет широкую общественную поддержку. Само собой, фермерам, которые поставили задачу обходиться без минеральных удобрений, без гербицидов и других химических препаратов, приходится несладко. Но за ними будущее.

Еще одна газетная вырезка:

«Без химии выгоднее»

Английские сельскохозяйственные эксперты предсказывают, что в последующие несколько лет возрастет производство продовольственных культур без использования искусственных удобрений и химикатов. Уже резко увеличилось, например, число членов кооператива фермеров, употребляющих только органические удобрения. Чтобы вступить в этот кооператив, необходимо на протяжении двух лет не применять никаких химикатов, то есть накопить достаточный опыт. Одновременно становится дороже зерно, выращенное с применением только органических удобрений: за пшеницу платят на 30 процентов, а за овес — на 40—50 процентов больше обычного».

Эту заметку в «Советской России» надо было бы поместить не в «Интеркурьере», а на первой полосе и набрать не петитом, а крупным шрифтом.

Химический состав хлеба (мы едим его значительно больше, чем западноевропейцы) вызывает тревогу медиков. На отравленной земле не может вырасти не отравленный колос, не отравленный корнеплод! А то, что земля наша уже сейчас перенасыщена ядами гербицидного и иного происхождения, не вызывает сомнения. Об этом говорил мне академик Терентий Семенович Мальцев. Немецкий профессор Лотар Финке также утверждает, что «аккумуляция отрицательных факторов в почвах продолжится, если даже прекратить вносить химические вещества» (доклад на Дортмундской встрече советских и западногерманских экологов и писателей).

Говоря проще, даже однократное внесение в почву химического вещества вызывает в ней длительный отрицательный процесс. По словам академика Т. С. Мальцева, необходимы серьезные капиталовложения для избавления пахотных земель от ядов и химикатов. Но у нас даже не существует подобных технологий! И, самое главное, использование химии в сельском хозяйстве все нарастает. Одновременно мы спускаем навоз в реки и озера, вместо того чтобы вернуть его земле, мы шуруем котлы наших ТЭЦ ассигнациями, точнее торфом. Даже полуграмотному агротехнику ясно, что навоз, особенно в сочетании с торфом, легко, словно бы походя восстанавливает всю плодородную силу земли!

Однажды Юрий Александрович Прилежаев (бывший секретарь Белозерского райкома) нарисовал мне «бочку Либиха». Эта бочка просто и образно объясняет смысл химической подкормки земли. Пусть каждая клепка будет помечена химическим элементом: натрий, бор, азот, железо, калий и т. д. (чем больше клепок, тем лучше). «Так вот, — объясняет Юрий Александрович, — допустим, что бочка до краев заполнена химическими удобрениями. Но если в ней окажется недостаток хотя бы одного элемента (например, бора или фосфора), все содержимое бочки, расположенное выше минимальной отметки, будет использовано впустую. Урожай не получится».

Это каким же академиком должен быть каждый наш агроном, каждый тракторист и сеяльщик, чтобы в точности рассчитать химический состав удобрений, вносимых в почву! При этом ведь надо знать еще и химический состав самой почвы — по участкам, полям и по районам

Всем известно, как используются химические удобрения на практике. Миллиардные затраты на строительство химических гигантов не окупаются, их продукция все

больше отравляет землю, воздух, воду и нашу еду. Я видел, как удобрения смывало весенним половодьем, как мешки с нитрофоской бросали под колеса буксующих автомобилей...

Человечеству, если оно хочет выжить, рано или поздно придется вернуться к простому, проверенному веками, естественному крестьянскому, замкнутому и потому безвредному циклу: земля — зерно и корм для скота — навоз — земля. В этом убеждены участники европейского «зеленого движения».

По существу, «зеленое движение» уже обозначилось и в нашей стране. Судя по всему, ни на Западе, ни у нас сторонникам этого движения судьба не припасла легких путей. Им необходимо двойное мужество, поскольку времени на спасение осталось очень немного...

Каждый день на Земле исчезает один из биоиндикаторов, как называют виды животного мира. Природа штурмуется с двух сторон: истощением и отбросами человеческой деятельности. Упомянутый выше профессор Лотар Финке, говоря о приближающейся экологической катастрофе, напоминает о сравнительно новом дефиците — дефиците исполнения законов. Власти ФРГ, по его словам, во многом игнорируют исполнение законов по охране среды. А разве у нас мало принято хороших законов?

Главная общая мысль, выраженная на Дортмундской встрече: вид homo sapiens вошел в противоречие со всеми остальными видами живой природы. «Философия экономики опирается пока на философию благосостояния, — говорит далее профессор Финке, — Но разве не ради человека необходима охрана среды? Мы должны быть готовы к ограничениям в комфорте».

Японский писатель Хироси Нома на советско-японском симпозиуме в Иркутске напомнил о докладе ООН, где говорится, что «к 2000 году угроза исчезновения нависнет над одной третью видов живых существ». Комитет ООН подчеркнул исключительную ценность лесов для жизни на нашей планете. О том, что говорилось в Иркутске о воде, лучше пока умолчать, нужна отдельная и основательная статья...

Но времени на раздумья у нас нет. Безвредных доз радиации не существует. Поливальщики всего за несколько лет выхлебали целое Аральское море. Байкальское море выхлебать потруднее, но отравить можно в одну неделю. Шексна недавно была отравлена еще быстрее. Статистика кишечных и прочих заболеваний в Вологде читателям неизвестна, как неизвестна и статистика промышленных и сельскохозяйственных сбросов в питьевые источники. Химический состав картофеля, овощей, фруктов, которые мы едим, также нам неизвестен. Не зря же, придя на базар или в овощной магазин, некоторые люди предпочитают покупать яблоки с червоточинами. Но это, в общем-то, наивно, потому что червяки, личинки и вирусы легко приспосабливаются к химии, а тараканам, говорят, не страшна и сама радиация. Стоит ли нам перенимать опыт жуков и личинок? Не лучше ли отказаться от самой химии в производстве продуктов, вернуться к биологической защите таких наших кормильцев, как плод, клубень и колос?

Все эти возгласы отчаяния специалисты-плановики называют растерянными криками обывателя. Подобное мнение плановиков и хозяйственников подкрепляется многими безответственными учеными

Ученых, имеющих совесть, не так уж и много. Ведь что ни говори, а лихо у нас поставлено дело не по самому научному производству, а по производству рабочих мест. В стране созданы если не сотни, то, во всяком случае, десятки научно-исследовательских институтов. Количество академиков, профессоров, кандидатов, старших научных сотрудников и лаборантов измеряется шестизначными числами. Но чем бы измерить нам качество всей этой грандиозной научной армии?

Иные журналисты и черновильскую трагедию преподносят как стихийное бедствие вроде землетрясения. Позвольте, друзья, какое же оно стихийное, ежели электростанция создана нашими же руками? Кто-то ее придумывал, давал чертежи, строил. И кто-то должен был хотя бы ответить за эту трагедию! В одном из репортажей по радио говорилось аж о пользе случившегося. Репортер взалхб рассказывал о том, как закалились на этом деле многие партработники. Как тут не вспомнить грибоведовского Скалозуба. Говоря о Москве, он заявляет:

По моему суждению,

Пожар способствовал ей много к украшению.

Мы навестились жить так, что зачастую тратим деньги на устранение следствий и тем самым на еще большее укрепление причин. Примеров вполне достаточно. (Взять хотя бы создание того же Детского фонда У кого язык повернется сказать что-либо против детей? Но детские дома и сироты при живых родителях — это уже следствие, а не причина беды. Видя гуманное отношение государства к брошенным детям, матери-кукушки и отцы-побегушки не исчезают, они увеличиваются в числе. Или: под благовидным предлогом борьбы со злом мы строим пресловутые АТП, расширяем сеть наркологических пунктов, тратя на это народные деньги. Но это то же самое, что увеличивать количество тюрем для того, чтобы сократить количество преступлений.)

Есть английская пословица: мы не настолько богаты, чтобы покупать плохие вещи. А мы? Неужели мы настолько богаты, чтобы продавать сырье и покупать не только лезвия и колготки, но и зарубежную, иногда огнюдь не передовую, технологию, устаревшее оборудование и залежалое натовское масло?

Уже шестьдесят лет мы продаем лес. Торгуем нефтью и газом, вывозим кольскую и другую руду. В погоне за иностранной валютой все у нас идет в ход: меха, сибирские панты, женьшень, вологодская брусника и клюква, икра каспийская и дальневосточная, осетрина и красная рыба. Ничего не оставляем себе. (Тот, кто торгует, вряд ли сидит за обедом без икры и лосося.) Да бог с ней, с икрой, была бы простая баранина! Но ведь нет в Вологде и баранины, хотя только в одном Кумзере содержится многотысячная отара романовских овец.

Да, госплановские работники не жалеют природных деликатесов для заграницы, не жалеют и других природных ресурсов. Подстегиваемые контрактами, они то и дело подгоняют нашу добывающую промышленность: давай, давай! Больше леса и газа, больше пушнины! И промышленность дает. Сверхплановая пушнина, сверхплановая рыба, сверхплановая древесина. Что значат они для нашей страны? Представим себе дозора, который решил ежемесячно сдавать полкило сверхплановой крови...

Леспромхоз, продвигающийся широким фронтом, охватывающий Тимонику с трех сторон, с непостижимым упорством перекачивает мои родные леса в чрево зарубежной и нашей промышленности. Одновременно рубли и червонцы перекачиваются в бесчисленные карманы трактористов, чокеровщиков, крановщиков, лебедчиков. Эти давно разучились пахать. Потомки северных и украинских хлеборобов, одетые в яркие японские куртки, рубят и рубят. В республике Коми создано целое государство для лесорубов-болгар. На Дальнем Востоке... Но я уже и сам себе надоел со своими жалобами. Как бы мне сбиться с критического занудного тона и перейти на иной лад? Конструктивный, как говорят на собраниях...

Написав эту строчку, я вдруг взглянул на часы. Утро давно позади, но штора задернута и горит мощная настольная лампа. Я, конечно, выключаю лампу, но ведь это нужно было сделать намного раньше. Час или полтора она горела напрасно. На улице — солнце. Зимнее, пушкинское. Однако весь день горят мощные фонари. Сколько раз я видел, слышал, как дизельный трактор часами молотит в заулке, пока тракториста угощают за привезенное сено так называемым чаем! Как много горит ламп средь бела дня, крутятся электромоторов, чихает компрессоров, полыхает газовых факелов! Вместо того чтобы вовремя выключить двигатель, мы спешим строить себе новые Чернобыли и новые Чебоксарские ГЭС. При этом затапливаем драгоценную нашу Землю. Площадь Нидерландов — 36,9 тысячи квадратных километров. Площадь одного Куйбышевского водохранилища 6450 квадратных километров. Затоплен только под одним Куйбышевом шестая часть Нидерландов, чьи фермы чуть ли не весь натовский союз обеспечивают сыром и маслом.

Возникает порочный круг, связанный с техническим прогрессом.

То, что в природе все взаимосвязано, мы начали понимать только теперь, да и то не каждый. Нам до сих пор кажется, что природа неисчерпаема. Мы все еще убеждены, что она вынесет любое наше деяние и сама по себе залечит любую рану. Какое поразительное легкомыслие, какое безответственное мироощущение, свойственное детскому возрасту! Еще ужаснее королевский размах, выраженный в циничной фразе: «После нас хоть потоп». Живи Людовик XIV сейчас, он мог бы погордиться: выживаемость подобного отношения к миру оказалась намного универсальной, чем он думал. Роскошные версальские анфилады, конечно, величественней нынешних министерских кабинетов, но они почти не отапливались, французский король тратил на свое личное согревание меньше калорий, чем любой нынешний парижский мусорщик.

(Ко всему прочему, проблема туалетов в Версальском дворце решалась намного проще и примитивней. В этом смысле король и маркизы были ближе к природе, чем нынешние коровы на наших животноводческих комплексах.)

Итак, «после нас хоть потоп», или более родственное «на наш век хватит», или нечто научно-романтическое, вроде: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». А то и совсем уж радостные лозунги, призывающие перевыполнить план по рубке леса, по вылову рыбы, по заготовке пушнины. Только пора бы уже нам понять, что плановое заимствование у природы равносильно плановой с нею расправе, плановому ее убийству. Человек, как утверждают ученые, сам часть природы. Что ж, не логично ли тогда и такое выражение: «плановое самоубийство»? Тогда что это — ошибки планирования или планирование ошибок?

На Западе, в обществе потребления, где якобы царит анархия рыночного хозяйства, подобное самоубийство тоже ведь происходит планово. Там грабят природу еще более обдуманно, обворовывают сами себя еще более умно и рационально. Воровство это замаскировано дальностью расстояний: например, мебель производится в США, а дерево везут с Амазонки, бычков откармливают в Европе, а корма завозят из Африки.

Говорят, что американцы законсервировали собственные нефтеносные месторождения, сберегают их про черный день. Но разве не из той же планеты выкачивается арабская нефть? Завороженное техническим прогрессом общество потребления, увы, тоже не ведает, что творит. Французский клерк, сидя не в «ягуаре», нет, — сидя в самом затрапезном «ситроенчике», не подозревает, что он — расточитель. Причем расточитель похлеще самого Людовика, поскольку тот, как известно, ездил на лошадях.

Чудовищная трата энергии сопровождается людей в их неудержимой, ничем не контролируемой погоне за комфортом. Во имя комфорта мы безжалостно терзаем земную плоть, сжигаем вместе с газом, углем и нефтью атмосферный кислород, запасы которого уже не успевают пополнять вырубаемые нами леса. Но всем нам, любопытным народам Земли, мало одних гонок за все усложняющимся комфортом. Мы придумываем еще и военные игры, загрязняем уже и околоземное пространство... И все это, вместе взятое, назвали цивилизацией. Движение к собственной гибели кличет прогрессом, а тех, кто предостерегает, кто требует охладить пыл, обзываем ретроградями, мракобесами, обскурантами.

Конечно, я ни за что не осмелюсь сказать, что в жизни нет ни ретроградов, ни мракобесов, ни обскурантов. Минуло десять лет после начала изнурительной, затяжной бумажной войны с перебросчиками: кажется, за эти годы я стал заправским доносчиком... Моя первая бумага, посланная в Совмин, уже пожелтела. Бегут годы, вернее, улетают куда-то. Тот премьер давно лежит в Кремлевской стене, а его замечания и резолюция на моем письме сделаны словно вчера. Пожелтел, пересох и пакет с такой вот надписью: «Для документального рассказа. Собрано на полу в разрушенном домике в брошенной деревне 25 марта 1975 года в Усть-Кубенском районе». Этот конверт набит налоговыми обязательствами и квитанциями. Тут же снимок военного летчика. На фотокарточке, как раз на лбу, след резинового каблука.

Но я ищу другой, не этот конверт. Вот же он, целехонек... Я держу его в руках, но почему-то не вскрываю, снова откладываю. Ничто не проходит бесследно. Когда-нибудь понадобятся и эти бумаги. Да кто же тебе мешает? — опять говорю сам себе Восьми и вскрой! Вскрыть?

Пусть полежит еще...

Вологда.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Ф. И. ШАЛЯПИН

★

МАСКА И ДУША*

МОИ СОРОК ЛЕТ НА ТЕАТРАХ

Главы из книги

Обычная наша театральная публика, состоявшая из богатых, зажиточных и интеллигентных людей, постепенно исчезла. Залы наполнялись новой публикой. Перемена эта произошла не сразу, но скоро солдаты, рабочие и простонародье уже господствовали в составе театральных зал. Тому, чтобы простые люди имели возможность наслаждаться искусством наравне с богатыми, можно, конечно, только почувствовать. Этому, в частности, должны содействовать национальные театры. И в том, что столичные русские театры во время революции стали доступны широким массам, нельзя в принципе видеть ничего, кроме хорошего. Но напрасно думают и утверждают, что до седьмого пота будто бы добивался русский народ театральных радостей, которых его раньше лишали, и что революция открыла для народа двери театра, в который он раньше безнадежно стучался. Правда то, что народ в театр не шел и не бежал по собственной охоте, а был подталкиваем либо партийными, либо военными ячейками. Шел он в театр «по наряду». То в театр наряжат такую-то фабрику, то погонят такие-то роты. Да и то сказать: скучно же очень какому-нибудь фельдфебелю слушать Бетховена в то время, когда все сады частных домов объявлены общественными и когда в этих садах освобожденная прислуга под гармонику славного Яшки Изумрудова откальывает кадрили!..

Я понимаю милого фельдфебеля. Я понимаю его. Ведь когда он танцует с Олимпиадой Акакиевной и в азарте танца ее крепко обнимает, то он чувствует нечто весьма осязательное и бесконечно волнующее. Что же может осязательного почувствовать фельдфебель от костлявого Бетховена? Надо, конечно, оговориться. Не весь народ танцевал в новых общественных садах. Были среди народа и люди, которые приходили молча вздохнуть в залу, где играют Бетховена. Они приходили и роняли чистую, тяжелую слезу. Но их, к несчастью, было ничтожнейшее меньшинство. А как было бы хорошо для России, если бы это было наоборот <...>

В это тяжелое время однажды утром в ранний весенний день пришла ко мне группа рабочих из Марининского театра. Делегация. Во главе делегации был инженер Э.¹, который управлял театром. Дела б. Марининского театра шли плохо. За недостатком средств у правительства театр был предоставлен самому себе. Сборов не было. Публику мало интересовали запасные прапорщики искусства. И вот решено было снова обратиться к «генералу» Шаляпину... Речь рабочих и их сердечное желание, чтобы я опять вместе с ними работал, возбудили во мне дружеские чувства, и я решил вернуться в труппу, из которой меня недавно столь откровенно прогнали... Рабочие оценили мое решение, и когда я в первый раз пришел за кулисы родного театра, меня ждал чрезвычайный сюрприз. Рабочие выпилили тот кусок сцены — около метра в окружности, — на котором я, дебютируя на этой сцене в 1895 году, в первый раз в качестве Мефистофеля поднялся из преисподней в кабинет Фауста. И этот кусок сцены мне поднесли в подарок! Более трогательного подарка для меня не могло

* Окончание Начало см «Новый мир» № 5 с. г.

¹ Экскузович И. В. — по образованию гражданский инженер, с 1918 года управляющий петроградскими государственными театрами

быть в целом, вероятно, свете. Сколько волнений, какие бичения сердца испытал я на этом куске дерева, предстая перед Фаустом и перед публикой со словами: «И я здесь!..» Где теперь этот подарок? Не знаю. Вместе со всем моим прошлым я оставил его в России, в петербургской моей квартире, которую я покинул в 1922 году и в которую не вернулся.

Но эти сентиментальные минутные переживания не облегчали жизни. Жизнь была тяжела и с каждым днем становилась тяжелее. В России то здесь, то там вспыхивала гражданская война. От этого продовольствие в столицах делалось скудным, понижаясь до крайнего минимума. Была очень трудна и работа в театре. Так как были еще в России кое-какие города на юге, где хлеба было больше, то многие артисты, естественно, устремились туда, где можно не голодать. Другим как-то удалось вырваться за границу. Так что одно время я остался почти без труппы. А играть надо. Кое-как с уцелевшими остатками когда-то огромной труппы мы разыгрывали то ту, то иную оперу... Удовлетворения это не давало.

Тяготило меня еще одно обстоятельство. Конечно, положение всех «граждан» в то время было очень тяжелое, не исключая самих революционеров. Все служащие получали пайки. Пайки были скудные. Скудны были пайки и актеров и мой собственный паек. Но я все-таки время от времени выступал то здесь, то там, помимо моего театра, и за это получал то муку, то другую какую-нибудь провизию. Так что, в общем, мне было сравнительно лучше, чем другим, моим товарищам. В тогдашних русских условиях меня это немного тяготило. Тяжело было чувствовать себя как бы в преимущественном положении.

Признаюсь, что не раз у меня возникало желание куда-нибудь уйти, просто бежать куда глаза глядят. Но мне в то же время казалось, что это будет нехорошо перед самим собою. Ведь революции-то ты желал, красную ленточку в петлицу вдевал, кашу-то революционную для «накопления сил» едал, говорил я себе, а как пришло время, когда каши-то не стало, а осталась только мякина,—бежать?! Нехорошо.

Говорю совершенно искренне: я бы, вероятно, вообще оставался в России, не уехал бы, может быть, и позже, если бы некоторые привходящие обстоятельства день ото дня не стали вспухать перед моими глазами. Вещи, которых я не замечал, о которых не подозревал, стали делаться все более и более заметными.

Материально страдая, я все-таки кое-как перебивался и жил. Если я о чем-нибудь беспокоился, так это о моих малолетних детях, которым зачастую не хватало того-другого, а то даже просто молока. Какие-то бывшие парикмахеры, ставшие впоследствии революционерами и завладевшие продовольственными организациями, стали довольно неприлично кричать на нашу милую старую служанку и друга нашего дома Пелагею, называя меня буржуем, капиталистом и вообще всеми теми прилагательными, которые полагались людям в галстуках. Конечно, это была частность, выходка невежественного и грубого партийца. Но таких невежественных и грубых партийцев оказывалось, к несчастью, очень много и на каждом шагу. И не только среди мелкой сошки, но и среди настоящих правителей. Мне вспоминается, например, петербургский не то воевода, не то губернатор тов. Москвин. Какой-то из моих импресарис расклевал без его разрешения афишу о моем концерте в Петербурге. Допускаю, что он сделал оплошность, но ведь ничего противозаконного: мои концерты обыкновенно разрешались. И вот в день концерта в 6 часов вечера узнаю: концерт запрещен. Почему? Кто запретил? Москвин. Какой Москвин? Я знаю Москвина из Московского Художественного театра, тот этим не занимается. Оказывается, есть такой губернатор в Петербурге. А половину денег, полученных авансом за концерт, я уже израсходовал. И вдруг — запрещен! А еще страшно, что вообще чем-то, значит, провинился!

Позвонил по телефону, вызываю губернатора Москвина:

— Как это, товарищ (а сам думаю, можно ли говорить «товарищ» — не обидится ли, приняв за издевательство?), слышал я, что вы концерт мой запретили.

— Да-с, запретил, запретил-с, сударь! — слышу я резкий злой крик.

— Почему же? — упавшим голосом спрашиваю.

— А потому, чтобы вы не воображали много о себе. Вы думаете, что вы Шалляпин, так вам все позволено?

Голос губернатора звенел так издевательски громко, что мои семейные все слышали, и по мере того как я начинал бледнеть от возмущения, мои бедные дети и жена стали дрожать от страха. Повисли на мне и шепотом умоляли не отвечать

ему резко. И то сам я понимал, что отвечать в том духе, в каком надо бы,— не надо. И мне пришлось закончить беседу просьбой:

— Уж не взыщите на этот раз, товарищ Москвин. Не поставьте мне моей ошибки в фальшь и разрешите концерт.

— Пришлите кого-нибудь — посмотрим,— смилоствился наконец воевода.

Эти господа составляли самую суть режима и отравляли российским людям и без того печальное существование.

Итак, я — буржуй. В качестве такового я стал подвергаться обыскам. Не знаю, чего искали у меня эти люди. Вероятно, они думали, что я обладаю исключительными россыпями бриллиантов и золота. Они в моей квартире перерывали все ковры. Говоря откровенно, вначале это меня немного забавляло и смешило. С умеренными дозами таких развлечений я готов был мириться, но мои милые партийцы скоро стали развлекать меня уже чересчур настойчиво.

Купил я как-то у знакомой балерины 15 бутылок вина, и с приятелем его попробовали. Вино оказалось качеством ниже среднего. Лег спать. И вот в самый крепкий сон, часа в два ночи, мой испуганный Николай, именовавшийся еще поваром, хотя варить уже нечего было, в подштанниках, на босую ногу вбегает в спальную:

— Опять пришли!

Молодые солдаты с ружьями и штыками, а с ними двое штатских. Штатские мне рапортуют, что по ордеру революционного районного комитета они обязаны проинформировать меня об обыске.

Я говорю:

— Недавно у меня были, обыскивали.

— Это другая организация, не наша.

— Ну валяйте обыскивайте. Что делать?

Опять поднимают ковры, трясут портьеры, ощупывают подушки, заглядывают в печку. Конечно, никакой литературы у меня не было, ни капиталистической, ни революционной. Вот эти 13 бутылок вина.

— Забрать вино,— скомандовал старший.

И как я ни уговаривал милых гостей вина не забирать, а лучше тут же его со мною отвезти, добродетельные граждане против искушения устояли. Забрали. В игральном столе нашли карты. Не скрою, занимаюсь этим буржуазным делом. Преферансом или бриджем. Забрали. А в ночном столике моем нашли револьвер.

— Позвольте, товарищи! У меня есть разрешение на ношение этого револьвера. Вот смотрите: бумага с печатью.

— Бумага, гражданин, из другого района. Для нас она необязательна.

Забавна была процедура составления протокола об обыске. Составлял его молодой парень, начальник из простых.

— Гриша, записал карты?

— Записал,— угрюмо отвечает Гриша.

— Правильно записал бутылки?

— Правильно. 13.

— Таперича, значит, пиши: револьвер системы... системы... какой это, бишь, системы?

Солдат все ближе к огню, старается прочитать систему, но буквы иностранные — не разумеет.

— Какой системы, гражданин, ваш револьвер?

— Веблей Скотт,— отвечаю.

— Пиши, Гриша, системы библейской.

Карты, вино, библейскую систему — все записали, забрали и унесли.

А то случались развлечения еще более забавные.

Так, какой-то архангельский комиссар со свежей семгой с полпуда под мышкой, вдребезги пьяный, пришел раз часов в 5—6 вечера, но не застал меня дома. Будучи начальством важным, он довольно развязно распорядился с Марией Валентиновной². Он сказал ей, чтобы она вообще держала своего мужа в решпекте и порядке, дабы он, когда его спрашивает начальство, был дома,— особенно когда начальство пришло к нему выпить и закусить семгой, привезенной из Архангельска... Семгу он, впрочем,

² Ш а л я п и н а М. В. (урожд. Элухен, по первому мужу Петцольд) — вторая жена Ф. И. Шалапина.

оставил тут до следующего визита, так как ему тяжело ее носить. Сконфуженная Мария Валентиновна сказала, что она постарается его советы и рекомендации исполнить, и прелестный комиссар, оставив семгу, ушел. Каково же было мое удивление, когда в три часа ночи раздался оглушительный звонок по телефону. Когда я взял трубку, я услышал:

— Что ж это ты, раз-так-такой,— спишь?

— Сплю,— робко каюсь я, оглушенный столь неожиданным приветствием.

— А я к тебе сейчас еду.

— Да как же, друг, сейчас? Мы спим.

— Так на кой же черт я семгу оставил?

Много стоило мне усилий уломать нетерпеливого гостя приехать завтра. Но приехав на другой день и снова не застав меня, он, забирая семгу, обругал жену такими словами, что смысл некоторых слов был ей непонятен.

Я принял решение положить конец такого рода развлечениям и избавиться раз навсегда от надоедливых гостей. Я решил пойти к высшему начальству, каковым был тогда Зиновьев. Долго мне пришлось хлопотать о свидании в Смольном. Наконец я получил пропуска. Их было несколько. Между прочим, это была особенность нового режима. Дойти при большевиках до министра или генерал-губернатора было так же трудно, как при старом режиме получить свидание с каким-нибудь очень важным и опасным преступником. Надо было пройти через целую кучу бдительных надзирателей, патрулей и застав.

В одной из комнат третьего этажа принял меня человек в кожаном костюме, бритый, среднего роста, с интеллигентным лбом и шевелюрой музыканта — вологодский любимец публики. Деловито спросил меня, что мне нужно. Я объяснил ему, что творится в моей квартире,— рассказал о вине, картах, револьвере, семге и т. д. Я сказал при этом, что в необходимости и полезности обысков не сомневаюсь, но просил, чтобы они производились в более подходящее для меня время. Нельзя ли, тов. Зиновьев, устроить так, чтобы это было от 8 до 10 часов вечера? Я готов ждать.

Тов. Зиновьев улыбнулся и обещал принять меры. На прощанье я ему ввернул:

— Тов. Зиновьев, Совет солдатских и матросских депутатов Ялты снял с моего текущего счета там около 200 000 рублей. Не можете ли вы также похлопотать, чтобы мне вернули эти деньги ввиду продовольственного, денежного и даже трудового кризисов?

— Ну, это уж! — недовольно пожал плечами тов. Зиновьев, которому я показался, вероятно, окончательно несерьезным человеком — Это не в моем ведении.

А по телефону я слышал (во время беседы со мною), он говорил:

— С ними церемониться не надо. Принять самые суровые меры... Эта сволочь не стоит даже хорошей пули...

Посещение Зиновьева оказалось не бесполезным. Через два дня после моего визита в Смольный мне, к моему великому удивлению, солдаты, и уже не вооруженные, принесли 13 бутылок вина очень хорошего качества и револьвер. Не принесли только карты. Пригодились унтерам в казарме. <...>

Я очень серьезно захворал. От простуды я очень серьезно заболел ишиасом. Я не мог двигаться и слег в постель. Не прошло и недели этого вынужденного отдыха без заработков, как мое материальное положение стало весьма критическим. Пока пел, то помимо пайков я на стороне прирабатывал кое-каких дешевых денег; перестал петь — остались одни только скудные пайки. В доме нет достаточного минимума муки, сахара, масла. Нет и денег, да и немногого они стоили. Я отыскал у себя несколько завалявшихся иностранных золотых монет, это были подарки дочерям, привезенные мною из различных стран, где приходилось бывать во время гастрольных поездок. Но Арсений Николаевич³, мой старый друг и эконоом, особенно наклонив голову на правое плечо и взяв бородку штопором в руки, многозначительно помолчал, а потом сказал:

— Эх, Федор Иванович, на что нужны эти кругляшечки? Была игрушка, да сожрала чушка. Ничего мы не купим на это, а ежели у тебя спинжачок али сапоги есть — дай: достану. И мучки принесу, и сахар будет.

А Мария Валентиновна приходит и говорит:

— Что же мы будем делать? Сегодня совсем нет денег. Не с чем на базар послать.

³ К о р е щ е н к о А. Н. — композитор, пианист.

— Продавайте что есть.

— Больше уже нечего продавать,— заявляет Марья Валентиновна. И намекает, что продать дорогие бриллиантовые серьги не решается, опасно — обвинят в спекуляции: укрыли, дескать, спрятали.

И никто, никто из друзей, из театра, никто не интересовался и не спрашивал, как Шаляпин. Знали, что болен, и говорили: «Шаляпин болен»,— и каменное равнодушие. Ни помощи, ни привета, ни простого человеческого слова. Мне, грешному человеку, начало казаться, что кое-кому, пожалуй, доставит удовольствие, если Шаляпин будет издыхать под забором. И вот эта страшная мысль, пустота и равнодушие испугали меня больше лишений, больше нужды, больше любых репрессий. В эти дни и укоренилась во мне преступная мысль — уйти, уехать. Все равно куда, но уйти. Не ради самого себя, а ради детей. Затаил я решение, а пока надо было жить, как живется.

Была суровая зима, и районному комитету понадобилось выгружать на Неве затонувшие барки для дров. Сами понимаете, какая это работа, особенно при холодах. Районный комитет не придумал ничего умнее, как мобилизовать для этой работы не только мужчин, но и женщин. Получается приказ Марии Валентиновне, ее камеристке и прачке отправляться на Неву таскать дрова.

Наши дамы приказа, естественно, испугались — ни одна из них к такому труду не была приспособлена. Я пошел в районный комитет не то протестовать, не то ходатайствовать. Встретил меня какой-то молодой человек с всклокоченными волосами на голове и с опущенными вниз мокрыми усами и, выслушав меня, правоучительно заявил, что в социалистическом обществе все обязаны помогать друг другу.

Вижу, имею дело с болваном, и решаю льстить. Многозначительно сморщив брови, я ему говорю:

— Товарищ, вы — человек образованный, отлично знаете Маркса, Энгельса, Гегеля и в особенности Дарвина. Вы же должны понимать, что женщина в высшей степени разнится от мужчины. Доставать дрова зимою, стоять в холодной воде — слабым женщинам!

Невежа был польщен, поднял на меня глаза, почмокал и рек:

— В таком случае я сам завтра приду посмотреть, кто на что способен.

Пришел. Забавно было смотреть на Марью Валентиновну, горничную Пелагею, прачку Анисью, как они на кухне выстраивались перед ним во фронт и как он громко им командовал.

— Повернись направо.

Бабы поворачивались направо.

— Переворачивайся, как следует.

Бабы переворачивались, как следует.

Знарок Гегеля и Дарвина с минуту помолчал, потупил голову, исподлобья еще раз посмотрел и... сдался, кажется, не совсем искренне, решив покривить революционной совестью.

— Ну, ладно. Отпускаю вас до следующей очереди. Действительно как быто не способны...

Но зато меня, буржуя, хоть на работу в воде не погнали, считали, по-видимому, способным уплатить казне контрибуцию в пять миллионов рублей. Мне присылали об этих миллионах повестки и назначали сроки для уплаты. Я грузно соображал, что пяти миллионов я во всю свою карьеру не заработал. Как же я могу платить? Взять деньги из банка? Но то, что у меня в банке хранилось, «народ» уже с моего счета снял. Что же это — недоразумение или глупость?

Однако приходили вооруженные люди и требовали. Ходил я в разные комитеты объясняться, урезонивать.

— Хм... У вас куры денег не клюют,— говорили мне в комитетах.

Денег этих я, конечно, не платил, а повестки храню до сих пор на добрую память.

А то получаю приказ: «Сдать немедленно все оружие». Оружие у меня действительно было. Но оно висело на стенах. Пистолеты старые, ружья, копыя. Коллекция. Главным образом подарки Горького. И вот домовой комитет требует сдачи всего этого в 24 часа, предупреждая, что иначе я буду арестован. Пошел я раньше в комитет. Там я нашел интереснейшего человека, который просто очаровал меня тем, что жил совершенно вне темпов бурного времени. Кругом кипели страсти и обнажен-

ные нервы метали искры, а этот комитетчик — которому все уже, по-видимому, опостылело до смерти — продолжал жить тихо-тихо, как какой-нибудь Ванька-дурачок в старинной сказке.

Сделал он у стола, подперши щеку ладонью, и, скучая, глядел в окно, во двор. Когда я ему сказал: «Здравствуйте, товарищ!» — он не шелохнулся, как будто даже и не посмотрел в мою сторону, но я все же понял, что он ждет объяснений, которые я ему и предъявил.

— Ннадо сдать,— задумчиво, со скукой, не глядя процедил сквозь зубы комиссар.

— Но...

— Бесть декрет,— в том же тоне.

— Ведь...

— Ннадо исполнить.

— А куда же сдать?

— Мможно сюда.

И тут комиссар за все время нашей беседы сделал первое движение. Но все-таки не телом, не рукой, не головой — из-под неподвижных век он медленно покосплся глазами в окно, как будто приглашая меня посмотреть. За окном в снегу валялось на дворе всякое оружие — пушки какие-то негодные, ружья и всякая дрянь.

— Так это же сгниет! — заметил я, думая о моей коллекции, которую годами грел в моем кабинете.

— Да, сгниет,— невозмутимо согласился комитетчик.

Я мысленно плюнул, ушел и, разозлившись, решил отправиться к самому Петерсу⁴.

— Оружие у меня есть,— заявил я великому чекисту,— но оно не действует: не колет, не режет и не стреляет. Подарки Горького.

Петерс милостиво оружие мне оставил. «Впредь до нового распоряжения».

Стали меня очень серьезно огорчать и дела в театре. Хотя позвали меня назад в театр для спасения дела и в первое время с моими мнениями считались, но понемногу закулисные революционеры опять стали меня одолевать. У меня возник в театре конфликт с некоей дамой, коммунисткой, заведовавшей каким-то театральным департаментом⁵. Пришел в Мариинский театр не то циркуляр, не то живой чиновник и объявляет нам следующее: бывшие Императорские театры обьяелись богатствами реквизиции, костюмов, декораций. А народ в провинции живет-де во тьме. Не ехать же этому народу в Петербург в Мариинский театр просвещаться! Так вот, видите ли, костюмы и декорации столицы должны быть посланы на помощь неимущим. Пусть обслуживают районы и провинцию.

Против этого я резко восстал. Единственные в мире по богатству и роскоши мастерские, гардеробные и декоративные Императорских театров Петербурга имеют свою славную историю и высокую художественную ценность. И эти сокровища начнут растаскивать по провинциям и районам, и пойдут они по рукам людей, которым они решительно ни на что не нужны, ни они, ни их история. Я с отвращением представлял себе, как наши драгоценные костюмы сворачивают и суют в корзинки. «Нет!» — сказал я категорически. Помню, я даже выразился, что если за эти вещи мне пришлось бы сражаться, то я готов взять в руки какое угодно оружие.

Но бороться «буржую» с коммунистами нелегко. Резон некоммуниста не имел права даже называться резонном... А петербургская высшая власть была, конечно, на стороне ретивой коммунистки.

Тогда я с управляющим театров⁶, мне сочувствовавшим, решил съездить в Москву и поговорить об этом деле с самим Лениным. Свидание было получить не очень легко, но менее трудно, чем с Зиновьевым в Петербурге.

В Кремле в палате, которая в прошлом называлась, кажется, Судебной, я подымался по бесчисленным лестницам, охранявшимся вооруженными солдатами. На каждом шагу проверялись пропуска. Наконец я достиг дверей, у которых стоял патруль.

Я вошел в совершенно простую комнату, разделенную на две части, большую

⁴ Петерс Я. Х. — член коллегии ВЧК, зам. председателя ВЧК.

⁵ Малиновская Е. К. — с 1918 года управляющая московскими государственными (с 1920 года академическими) театрами, член дирекции а в 1920—1924 годах директор Большого театра.

⁶ И. В. Экскузовичем.

и меньшую. Стоял большой письменный стол. На нем лежали бумаги, бумаги. У стола стояло кресло. Это был сухой и трезвый рабочий кабинет.

И вот из маленькой двери из угла покати́лась фигура татарского типа с широкими скулами, с малой шевелюрой, с бородкой. Ленин. Он немного картавил на «р». Поздоровались. Очень любезно пригласил сесть и спросил, в чем дело. И вот я как можно внятнее начал рассусоливать очень простой, в сущности, вопрос. Не успел я сказать несколько фраз, как мой план рассусоливания был немедленно расстроен Владимиром Ильичем. Он коротко сказал:

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я все отлично понимаю.

Тут я понял, что имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов, и что разжевывать дел ему не надо. Он меня сразу покори́л и стал мне симпатичен. «Это, пожалуй, вождь», — подумал я.

А Ленин продолжал:

— Поезжайте в Петроград, не говорите никому ни слова, а я употреблю влияние, если оно есть, на то, чтобы ваши резонные опасения были приняты во внимание в вашу сторону.

Я поблагодарил и откланялся. Должно быть, влияние было, потому что все костюмы и декорации остались на месте и никто их больше не пытался трогать. Я был счастлив. Очень мне было жалко, если бы эта приятная театральная вековая пыль была выбита невежественными палками, выдернутыми из обтертых метел⁷...

А в это самое время в театр приходили какие-то другие передовые политики — коммунисты, бывшие буафоры, делали кислые лица и говорили, что вообще это искусство, которое разводят оперные актеры, — искусство буржуазное и пролетариату не нужно. Так, зря получают пайки актеры. Работа день ото дня становилась тяжелее и неприятнее. Рука, которая хотела бы бодро подняться и что-то делать, получала удар учительской линейки.

Театральные дела, недавно побудившие меня просить свидания у Ленина, столкнули меня и с другим вождем революции — Троцким. Повод, правда, был другой. На этот раз вопрос касался непосредственно наших личных актерских интересов.

Так как гражданская война продолжалась, то с пайками становилось неладно. Особенно страдали актеры от недостатка жиров. Я из Петербурга иногда ездил на гастроли в московский Большой театр. В один из таких приездов московские актеры, жалуясь на сокращение пайков, просили меня за них при случае похлопотать.

Случай представился. Был в театре большой коммунистический вечер, на котором, между прочим, были представители правящих верхов. Присутствовал в театре и Троцкий. Он сидел в той самой ложе, которую раньше занимал великий князь Сергей Александрович. Ложа имела прямое соединение со сценой, и я как делегат от труппы отправился к военному министру. Министр меня, конечно, принял. Я представлял себе Троцкого брюнетом. В действительности это скорее шатен-блондин со светловатой бородкой, с очень энергичными и острыми глазами, глядящими через блестящее пенсне. В его позе — он, кажется, сидел на скамейке — было какое-то грузное спокойствие.

Я сказал:

— Здравствуйте, тов. Троцкий!

Он не двигаясь просто сказал мне:

— Здравствуйте!

— Вот, — говорю я, — не за себя, конечно, пришел я просить у вас, а за актеров. Трудно им. У них уменьшили паек, а мне сказали, что это от вас зависит — прибавить или убавить.

После секунды молчания, оставаясь в той же неподвижной позе, Троцкий четко, буква к букве, ответил:

— Неужели вы думаете, товарищ, что я не понимаю, что значит, когда не хватает хлеба? Но не могу же я поставить на одну линию солдата, сидящего в траншеях, с балериной, весело улыбающейся и танцующей на сцене.

⁷ В 1919 году Мариинский и Александринский театры в Петрограде, Малый и Художественный в Москве стали подвергаться хлестким демагогическим нападкам сторонников Пролеткульта: их упрекали в приверженности к классике, «буржуазным традициям», требовали закрытия. Руководители театров решили встретиться в Москве, обсудить ситуацию, учредить Ассоциацию академических театров. Летом 1919 года Ленин принял Луначарского, Шалыпина и Экскузовича в Москве. 26 августа 1919 года В. И. Ленин подписал Декрет об объединении театрального дела, сыгравший огромную роль в развитии советского театра.

Я подумал: «Печально, но резонно». Вздыхнул и сказал:

— Извините.— И как-то ступешался.

Я замечал не раз, что человек, у которого не удаётся просьба, всегда как-то ступешается...

Комиссара народного просвещения А. В. Луначарского я однажды — задолго до революции — встретил на Капри у Горького. Мы сидели за завтраком, когда с книжками в руках пришел на террасу довольно стройный полублондин, рыжеватого оттенка, в пенсне и в бородке à la Генрих IV. Вид он имел «нигилистический» — ситцевая косоворотка, белая в черных мушках, подпоясанная каким-то простым пояском, может быть, даже тесемкой. Он заговорил с Горьким по поводу какой-то статьи, которую он только что написал, и в его разговоре я заметил тот самый южный акцент, с которым говорят в Одессе. Человек этот держался очень скромно, деловито и мне был симпатичен. Я потом спросил Горького, кто это такой, хотя и сам понял, что это журналист. Не помню, кто в то время был в России царским министром просвещения; мне, во всяком случае, не приходила в голову мысль, что этот молодой в косоворотке — его будущий заместитель и что мне когда-нибудь понадобится его властная рекомендация в моем Петербурге.

А в начале большевистского режима понадобилась. Не раз А. В. Луначарский меня выручал.

В Петербурге жил он конспиративно, и долго пришлось мне его разыскивать. Нашел я его на какой-то линии Васильевского острова. Высоко лез я по грязным лестницам и застал его в маленькой комнате, стоящим у конторки, в длинном жеваном скюртуке.

— Анатолий Васильевич, помогите! Я получил извещение из Москвы, что какие-то солдаты без надлежащего мандата грабят мою московскую квартиру. Они увезли сундук с подарками — серебряными ковшками и проч. Ищут будто бы больничное белье, так как у меня во время войны был госпиталь. Но белье я уже давно роздал, а вот мое серебро пропало, как пропали 200 бутылок хорошего французского вина.

Луначарский послал в Москву телеграмму, и мою квартиру оставили в покое. Вино, впрочем, от меня не совсем ушло. Я потом изредка в ресторанах открывал бутылки вина с надписью — «*envoie Speciale pour M^r. Chaliarpine*»⁸, и с удовольствием распивал его, еще раз оплачивая и стоимость его, и пошлины... А мое серебро еще некоторое время беспокоило социалистическое правительство. Приехав через некоторое время в Москву, я получил из Дома Советов бумагу, в которой мне сказано было очень внушительным языком, что я должен переписать все серебро, которое я имею дома, и эту опись представить в Дом Советов для дальнейших распоряжений. Я понимал, конечно, что больше уже не существует ни частных ложек, ни частных вилок — мне внятно и несколько раз объяснили, что это принадлежит народу. Тем не менее я отправился в Дом Советов с намерением как-нибудь убедить самого себя, что я тоже до некоторой степени народ. И в Доме Советов я познакомился по этому случаю с милейшим, очаровательнейшим, но довольно настойчивым, почти резким Л. Б. Каменевым, шурином Троцкого.

Тов. Каменев принял меня очень любезно, совсем по-европейски, что меня не удивило, так как он был по-европейски очень хорошо одет, но, как и прочие, он внятно мне объяснил:

— Конечно, тов. Шалапин, вы можете пользоваться серебром, но не забывайте ни на одну минуту, что в случае если это серебро понадобилось бы народу, то народ не будет стесняться с вами и заберет его у вас в любой момент.

Как Подколесин в «Женитьбе» Гоголя, я сказал:

— Хорошо, хорошо. Но... Но позвольте мне, тов. Каменев, уверить вас, что ни одной ложки и ни одной вилки я не утаю и в случае надобности отдам все вилки и все ложки народу. Однако разрешите мне описи не составлять, и вот почему...

— Почему?

— Потому, что ко мне уже товарищи приезжали и серебро забирали. А если я составлю опись оставшегося, то отнимут уже по описи, то есть решительно все...

Весело посмотрел на меня мой милый революционер и сказал:

— Пожалуй, вы правы. Жуликов много.

Лев Борисович приятельски как-то расположился ко мне сразу и по поводу на-

⁸ Сохранена орфография Ф. И. Шалапина.

рода и его нужд говорил со мною еще минут 15. Мило и весело объяснял он мне, что народ исстрадался, что начинается новая эра, что эксплуататоры и вообще подлецы и империалисты больше существовать не будут не только в России, но и во всем мире.

Это говорилось так приятно, что я подумал: вот с такими революционерами как-то и жить приятнее: если он и засадит тебя в тюрьму, то по крайней мере у решетки весело помет руку..

Пользуясь расположением сановника, я ему тут бухнул:

— Это вы очень хорошо говорили о народе и империалистах, а надпись над Домом Советов вы сделали нехорошую.

— Как нехорошую?

— «Мир хижинам, война дворцам». А по-моему, народу так надоели эти хижинны. Вот я много езжу по железным дорогам и уже сколько лет проезжаю то мимо одного города, то мимо другого, и так неприглядно смотреть на эти мирные нужники. Вот написала бы: «мир дворцам, война хижинам» — было бы, пожалуй, лучше.

А. Б., по-моему, не очень мне на мою бутаду возражал: это, мол, надо понимать духовно. <...>

Читатель, вероятно, заметил, что мои отрывочные встречи с вождями революции — министрами, градоправителями, начальниками Чека — носили почти исключительно деловой характер. Вернее, я всегда являлся к ним в качестве просителя и ходатая то за себя, то за других. Эта необходимость «просить» была одной из самых характерных и самых обидных черт советского быта. Читатель, конечно, заметил и то, что никакими серьезными привилегиями я не пользовался. У меня, как и у других горемычных русских «граждан», отняли все, что отнять можно было и чего так или иначе нельзя было припрятать. Отняли дом, вклады в банк, автомобиль. И меня, сколько могли, грабили по мандатам и без мандатов, обыскивали и третируют «буржуем». А ведь я все же был в некотором смысле лицо привилегированное благодаря особенной моей популярности как певца. Для меня были открыты многие двери, которые для других были крепко и безнадежно закрыты. И на что же мне приходилось тратить силу престижа? Большею частью на ограждение себя от совершенно бессмысленных придинок и покушений. В конце концов все это было так ничтожно. Несколько неурочных обысков, несколько бутылок вина, немного серебра, несколько старых пистолетов, несколько повесток о «контрибуциях». Если я об этом рассказываю, то только потому, что эти мелочи лучше крупных событий характеризуют атмосферу русской жизни под большевиками. Если мне, Шаляпину, приходилось это переносить, что же переносил русский обыватель без связей, без протекций, без личного престижа — мой старый знакомый обыватель с флюсом и с подвязанной щекой?.. А кто тогда в России ходил без флюса? Им обзавелись буквально все люди, у которых у самих еще недавно были очень крепкие зубы...

Шел я однажды летом с моего Новинского бульвара в Кремль, к поэту Демьяну Бедному. Он был ко мне дружески расположен, и так как имел в Кремле большой вес, то часто оказывал мне содействие то в том, то в другом. И на этот раз надо было мне о чем-то его просить. Около театра «Парадиз» на Никитской улице ко мне приблизился человек с окладистой седой бородой, в широкой мягкой шляпе, в крылатке и в поношенном платье. Подошел и бухнулся на колени мне в ноги. Я остановился пораженный, думая, что имею дело с сумасшедшим. Но сейчас же по устремленным на меня светлым голубым глазам, по слезам, отчаянию жестов и складу просительных слов я понял, что это вполне нормальный, только глубоко потрясенный несчастьем человек.

— Г. Шаляпин! Вы — артист. Все партии, какие есть на свете, должны вас любить. Только вы можете помочь мне в моем великом горе.

Я поднял старика и расспросил его, в чем дело. Его единственному сыну, прошедшему войну в качестве прапорщика запаса, угрожает смертная казнь. Старик клялся, что сын его ни в чем не повинен, и так плакал, что у меня разрывалось сердце. Я предложил ему зайти ко мне через два дня и в душе решил умолять, кого надо, о жизни арестованного, как старик умолял меня.

К Демьяну Бедному я пришел настолько взволнованный, что он спросил меня, что со мной случилось...

— Вы выглядите нездоровым.

И тут я заметил знакомого человека, которого я раз видал в Петербурге: это был Петерс.

— Вот,— говорит Бедный,— Петерс приехал из Киева «регулировать дела». А я думаю, куда Петерс ни приезжает, там дела «иррегулируются».

Пусть он «регулирует дела» как угодно, а Петерсу я на этот раз очень обрадовался. Я рассказал им случай на Никитской улице.

— Сердечно прошу вас, тов. Петерс, пересмотрите это дело. Я глубоко верю этому старику.

Петерс обещал. Через два дня пришел ко мне радостный, как бы из мертвых воскресший старик и привел с собой освобожденного молодого человека. Я чувствовал, что старик из благодарности отдал бы мне свою жизнь, если бы она мне понадобилась. Спасибо Петерсу. Много, может быть, на нем грехов, но этот праведный поступок я ему никогда не забуду. Молодой человек оказался музыкантом, поступил в какую-то военную часть, дирижировал и, вероятно, не раз с того времени в торжественных случаях исполнял великий «Интернационал», как исполняет, должно быть, и по сию пору.

Кто же был этот беспомощный и беззащитный старик, падающий на колени перед незнакомым ему человеком на улице на глазах публики?

Бывший прокурор Виленской судебной палаты...

Вскоре после этой встречи с Петерсом случилось мне увидеть и самого знаменитого из руководителей Чека, Феликса Дзержинского.

<...> Дзержинский произвел на меня впечатление человека сановитого, солидного, серьезного и убежденного. Говорил с мягким польским акцентом. Когда я пригляделся к нему, я подумал, что это революционер настоящий, фанатик, революционный импонирующий. В деле борьбы с контрреволюцией для него, очевидно, не существует ни отца, ни матери, ни сына, ни св. Духа. Но в то же время у меня не получилось от него впечатления простой жестокости. Он, по-видимому, не принадлежал к тем отвратительным партийным индивидуумам, которые раз навсегда заморозили свои губы в линию ненависти и при каждом движении нижней челюсти скрежещут зубами. <...>

Бедный — псевдоним Демьяна. Псевдоним, должен я сказать, несколько ему не идущий ни в каком смысле. Бедного в Демьяне очень мало, и прежде всего в его вкусах и нраве. Он любит посидеть с приятелями за столом, хорошо покушать, выпить вина — не осуждаю, я сам таков,— и поэтому носит на костях своих достаточное количество твердой плоти. <...>

Этот несомненно даровитый в своем жанре писатель был мне симпатичен. Я имею много оснований быть ему признательным. Не раз пригодилась мне его протекция, и не раз меня трогала его предупредительность.

Квартира Бедного в Кремле являлась для правящих верхов чем-то вроде клуба, куда важные, очень занятые и озабоченные сановники забегали на четверть часа не то поболтать, не то посоветоваться, не то с кем-нибудь встретиться. <...>

У Бедного же я встретился с преемником Ленина, Сталиным. В политические беседы гостей моего приятеля я не вмешивался и даже не очень к ним прислушивался. Их разговоры я мало понимал, и они меня не интересовали. Но впечатление от людей я все-таки получал.

Когда я впервые увидел Сталина, я не подозревал, конечно, что это — будущий правитель России, «обожаемый» своим окружением. Но и тогда я почувствовал, что этот человек в некотором смысле особенный. Он говорил мало, с довольно сильным кавказским акцентом. Но все, что он говорил, звучало очень веско — может быть, потому, что это было коротко.

— Нужно, чтоб они бросили ломать дурака, а зделали то, о чем было уже говорено много раз...

Из его неясных для меня по смыслу, но энергичных по тону фраз я выносил впечатление, что этот человек шутить не будет. Если нужно, он так же мягко, как мягка его беззвучная поступь легины в мягких сапогах, и станцует, и взорвет храм Христа Спасителя, почту или телеграф — что угодно. В жесте, движениях, звуке, глазах — это в нем было. Не то что злодей — такой он родился.

Вождей армии я встретил не в квартире Д. Бедного, но все же благодаря ему. Однажды Бедный мне сказал, что было бы хорошо запросто съездить к Буденному, в его поезд, стоящий под Москвой на запасном пути Киево-Воронежской железной дороги. Он мне при этом намекнул, что поездка может доставить мне лишний пуд

муки, что в то время было огромной вещью. Любопытно мне было познакомиться с человеком, о котором так много говорили тогда, а тут еще пуд муки!

В Буденном, знаменитом кавалерийском генерале, приковали мое внимание сосредоточенные этакие усы, как будто вылитые, скованные из железа, и совсем простое со скулами солдатское лицо. Видно было, что это как раз тот самый российский вояка, которого не устрашает ничто и никто, который если и думает о смерти, то всегда о чужой, но никогда о своей собственной.

Ярким контрастом Буденному служил присутствовавший в вагоне Клим Ворошилов, главнокомандующий армией: добродушный, как будто слепленный из теста, рыхловатый. Если он бывший рабочий, то это был рабочий незаурядный, передовой и интеллигентный. Меня в его пользу подкупило крепкое, сердечное пожатие руки при встрече и затем приятное напоминание, что до революции он приходил ко мне по поручению рабочих просить моего участия в концерте в пользу их больничных касс. Заявив себя моим поклонником, Ворошилов с улыбкой признался, что он также выпрашивал у меня контрамарки.

Я знал, что у Буденного я встречу еще одного военачальника, Фрунзе, про которого мне рассказывали, что при царском режиме он во время одной рабочей забастовки, где-то в Харькове, с колена расстреливал полицейских. Этим Фрунзе был в партии знаменит. Полемизируя с ним однажды по какому-то военному вопросу, Троцкий на партийном съезде иронически заметил, что «военный опыт тов. Фрунзе исчерпывается тем, что он застрелил одного полицейского пристава»... Я думал, что встречу человека с низким лбом, взъерошенными волосами, сросшимися бровями и с узко поставленными глазами. Так рисовался мне человек, с колена стреляющий в родовых. А встретил я в лице Фрунзе человека с мягкой русой бородкой и весьма романтическим лицом, горячо вступающего в спор, но в корне очень добродушного.

Такова была «головка» армии, которую я нашел в поезде Буденного.

Вагон II класса, превращенный в комнату, был прост, как жилище простого фельдфебеля. Была, конечно, «собрана» водка и закуска, но и это было чрезвычайно просто, опять-таки как за столом какого-нибудь фельдфебеля. Какая-то женщина, одетая по-деревенски, кажется, это была супруга Буденного, приносила на стол что-то такое: может быть, селедку с картошкой, а может быть, курицу жареную — не помню, так это было все равно. И простой наш фельдфебельский пир начался. Пили водку, закусывали и пели песни — все вместе. Меня просили запевать, а затем и спеть. Была спета мною «Дубинушка», которой подпевала вся «русская армия». Затем я пел старые русские песни: «Лучинушку», «Как по ельничку да по березничку», «Снеги белые пушисты». Меня слушали, но особенных переживаний я не заметил. Это было не так, как когда-то, в ранней молодости моей, в Баку. Я пел эти самые песни в подвальном трактире, и слушали меня тогда какие-то беглые карторжники — те подпевали и плакали. <...>

Я не могу быть до такой степени слепым и пристрастным, чтобы не заметить, что в самой глубокой основе большевистского движения лежало какое-то стремление к действительному переустройству жизни на более справедливых, как казалось Ленину и некоторым другим его сподвижникам, началах. Не простые же это были в конце концов «воры и супостаты». Беда же была в том, что наши российские строители никак не могли унзить себя до того, чтобы задумать обыкновенное человеческое здание по разумному человеческому плану, а непременно желали построить «башню до небес» — Вавилонскую башню!.. Не могли они удовлетвориться обыкновенным здоровым и бодрым шагом, каким человек идет на работу, каким он с работы возвращается домой, — они должны рвануться в будущее семимильными шагами... «Отречемся от старого мира» — и вот, надо сейчас же вымести старый мир так основательно, чтобы не осталось ни корня, ни пылинки. И главное — удивительно знают всё наши российские умники. Они знают, как горбатенького сапожника сразу превратить в Аполлона Бельведерского; знают, как научить зайца зажигать спички; знают, что нужно этому зайцу для его счастья; знают, что через двести лет будет нужно потомкам этого зайца для их счастья. Есть такие заумные футуристы, которые на картинах пишут какие-то сквороды со струнами, какие-то треугольники с селезенкой и сердцем, а когда зритель недоумевает и спрашивает, что это такое? — они отвечают: «Это искусство будущего»... Точно такое же искусство будущего творили наши российские строители. Они знают! И так непости-

жимо в этом своем знании они уверены, что самое малейшее несогласие с их формулой жизни они признают зловредным и упрямым кощунством и за него жестоко карают.

Таким образом, произошло то, что все «медали» обернулись в русской действительности своей оборотной стороной. «Свобода» превратилась в тиранию, «братство» — в гражданскую войну, а «равенство» привело к принижению всякого, кто смеет поднять голову выше уровня болота. Строительство приняло форму сплошного разрушения, и «любовь к будущему человечеству» вылилась в ненависть и пытку для современников.

Я очень люблю поэму Александра Блока «Двенадцать», несмотря на ее конец, который я не чувствую: в большевистской процессии я Христа «в белом венчике из роз» не разглядел. Но в поэме Блока замечательно сплетение двух различных музыкальных тем. Там слышна сухая, механическая поступь революционной жандармерии:

Революционный держите шаг —
Неугомонный не дремлет враг...

Это — «Капитал» Маркса, Лозанна, Ленин...

И вместе с этим слышится лихая, озорная русская завируха-метель:

В кружевном белье ходила?
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила?
Поблуди-на, поблуди!
Помнишь, Катя, офицера?
Не ушел он от ножа.
Аль забыла ты, холера,
Али память коротка?..⁹

Это наш добрый знакомый — Яшка Изумрудов. <...>

Однообразие и пустота существования так сильно меня тяготили, что я находил удовольствие даже в утомительных и малоинтересных поездках на концерты в провинцию. Все-таки ими изредка нарушался невыносимый строй моей жизни в Петербурге. Самое передвижение по железной дороге немного развлекало. Из окна вагона то вольного бродягу увидишь, то мужика на поле. Оно давало какую-то иллюзию свободы. Эти поездки были, впрочем, полезны и в продовольственном отношении. Приедет, бывало, какой-нибудь человек из Пскова за два-три дня до Рождества. Принесет с собою большой сверток, положит с многозначительной улыбкой на стол, развяжет его и покажет А там — окорок ветчины, две-три копченых колбасы, кусок сахару фунта в три-четыре...

И человек этот скажет:

— Федор Иванович! Все это я с удовольствием оставляю вам на праздники, если только дадите слово приехать в Псков, в мае, спеть на концерте, который я организую. Понимаю, что вознаграждение это малое для вас, но если будет хороший сбор, то я после концерта еще и деньжонок вам уделю.

— Помилуйте, какие деньги! — бывало, ответишь на радостях. — Вам спасибо. Приятно, что подумали обо мне

И в мае я отпел концерт, «съеденный» в декабре...

Такие визиты доставляли мне и семье большое удовольствие. Но никогда в жизни я не забуду той великой жадной радости, которую я пережил однажды утром весной 1921 года, увидев перед собою человека, предлагающего мне выехать с ним петь концерт за границу. «Заграница»-то, положим, была доморощенная — всего только Ревель, еще недавно русский губернский город, но теперь это как-никак столица Эстонии, державы иностранной, — окно в Европу. А что происходит в Европе, как там люди живут, мы в нашей советской черте оседлости в то время не имели понятия. В Ревеле — мелькнуло у меня в голове — можно будет узнать, что делается

⁹ Ф. И. Шаляпин цитирует неточно. У А. А. Блока:

Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

В цитатах из Блока сохранена пунктуация Шаляпина.

в настоящей Европе. Но самое главное — не сон это: передо мною был живой человек во плоти, ясными русскими словами сказавший мне, что вот он возьмет меня и повезет не в какой-нибудь Псков, в заграницу, в свободный край.

— Отпустят ли? — усомнился я.

Я вспомнил, сколько мне стоило хлопот получить разрешение для моей заболевшей дочери, Марины, выехать в санаторию, в Финляндию, и как долго длились тогда мои хождения по департаментам.

— Об этом не беспокойтесь. Разрешение я добуду.

Действительно меня отпустили. Поехали мы втроем: я, виолончелист Вольф-Израэль и в качестве моего аккомпаниатора еще один музыкант, Маратов, инженер по образованию. Захватил я с собою и моего приятеля Исайку¹⁰. Что банальнее переезда границы? Сколько я их в жизни моей переехал! Но Гулливер, вступивший впервые в страну лилипутов, едва ли испытал более сильное ощущение, чем я, очутившись на первой заграничной станции. Для нас, отвыкших от частной торговли, было в высшей степени сенсационно то, что в буфете этой станции можно было выпить сколько угодно хлеба. Хлеб был хороший — весовой, хорошо испеченный и посыпанный мучкой. Совестно было мне смотреть, как мой Исайка, с энтузиазмом набросившись на этот хлеб, стал запихивать его за обе щеки сколько было технически возможно.

— Перестань! — весело закричал я на него во весь голос. — Приеду — донесу, как ты компрометируешь свою родину, показывая, будто там голодно.

И сейчас же, конечно, последовал доброму примеру Исайки.

Мои ревельские впечатления оказались весьма интересными.

Узнал я, во-первых, что меня считают большевиком. Я остановился в очень малом старом доме в самом кремле, а путь к этому дому лежал мимо юнкерского училища. Юнкера были, вероятно, русские. И вот, проходя как-то мимо училища, я услышал:

— Шаляпин!

И к этому громко произнесенному имени были прицеплены всевозможные прилагательные, не особенно лестные. За прилагательными раздалась свистки. Я себя большевиком не чувствовал, но крики эти были мне неприятны. Для того же чтобы дело ограничилось только словами и свистками, я стал изыскивать другие пути сообщения с моим домом. Меня особенно удивило то, что мой импресарио предполагал возможность обструкции во время концерта. Но так как в жизни я боялся только начальства, но никогда не боялся публички, то на эстраду я вышел добрый и веселый. Страхи оказались напрасными. Меня хорошо приняли, и я имел тот же успех, который мне, слава Богу, во всей моей карьере сопутствовал неизменно. <...>

...Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей, но если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве. Все культурные русские люди знают, какой это был замечательный художник. Всем известна его удивительно яркая Россия, звенящая бубенцами и масленой. Его балаганы, его купцы Сусловы, его купчихи Пискулины, его сдобные красавицы, его уха-ри и молодцы — вообще все его типические русские фигуры, созданные им по воспоминаниям детства, сообщают зрителю необыкновенное чувство радости. Только неизмеримая любовь к России могла одарить художника такой веселой меткостью рисунка и такою аппетитной сочностью краски в неутомимом его изображении русских людей... Но многие ли знали, что сам этот веселый, радующий Кустодиев был физически беспомощный мученик-инвалид? Нельзя без волнения думать о величии нравственной силы, которая жила в этом человеке и которую иначе нельзя назвать как героической и доблестной.

Когда возник вопрос о том, кто может создать декорации и костюмы для «Вражьей Силы», заимствованной из пьесы Островского «Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит»¹¹, — само собою разумеется, что решили просить об этом

¹⁰ Дворищнн И. Г. — артист Марининского театра, секретарь и друг Ф. И. Шаляпина.

¹¹ В Петроградском (б. Марининском) театре премьера оперы А. Н. Серова «Вражья сила» состоялась 23 октября 1920 года. Пьеса А. Н. Островского называется «Не так живи, как хочется».

Кустодиева. Кто лучше его почувствует и изобразит мир Островского? Я отправился к нему с этой просьбой.

Жалостливая грусть охватила меня, когда я, пришедши к Кустодиеву, увидел его прикованным к креслу. По неизвестной причине у него отяжались ноги. Лечили его, возили по курортам, оперировали позвоночник, но помочь ему не могли.

Он предложил мне сесть и руками передвинул колеса своего кресла поближе к моему стулу. Жалко было смотреть на обездоленность человека, а вот ему как будто она была незаметна: лет сорока, русский, бледный, он поразил меня своей духовной бодростью — ни малейшего оттенка грусти в лице. Блестяще горели его веселые глаза — в них была радость жизни.

Я изложил ему мою просьбу.

— С удовольствием, с удовольствием,— отвечал Кустодиев.— Я рад, что могу быть вам полезным в такой чудной пьесе. С удовольствием сделаю вам эскизы, займусь костюмами. А пока что ну-ка вот попозируйте мне в этой шубе. Шуба у вас больно такая богатая. Приятно ее написать.

— Ловко ли? — говорю я ему.— Шуба-то хороша, да возможно — краденая.

— Как краденая? Шутите, Федор Иванович.

— Да так,— говорю,— недели три назад получил ее за концерт от какого-то государственного учреждения. А вы ведь знаете лозунг: «грабь награбленное».

— Да как же это случилось?

— Пришли, предложили спеть концерт в Маринском театре для какого-то, теперь уже не помню какого, «Дома» и вместо платы деньгами али мукой предложили шубу. У меня хотя и была моя татарка кенгуровая, и шубы мне, пожалуй, брать не нужно было бы, но я заинтересовался. Пошел в магазин. Предложили мне выбрать. Экий я мерзавец — буржуй! Не мог выбрать похуже — выбрал по-лучше.

— Вот мы ее, Федор Иванович, и закрепим на полотне. Ведь как оригинально: и актер, и певец, а шубу свистнул.

Посмеялись и условились работать. Писал Кустодиев портрет, отлого наклоняя полотно над собою, неподвижным в кресле... Написал быстро. Быстро написал он также эскизы декораций и костюмов к «Вражьей Силе». Я занялся актерами. И начались репетиции. Кустодиев пожелал присутствовать на всех репетициях. Изо всех сил старался я каждый раз доставать моторный грузовик, и каждый раз с помощью его сына или знакомых мы выносили Кустодиева с его креслом, усаживали в мотор и затем так же вносили в театр. Он с огромным интересом наблюдал за ходом репетиций и, казалось мне, волновался, ожидая генеральной. На первом представлении Кустодиев сидел в директорской ложе и радовался. Спектакль был представлен всеми нами старательно и публике понравился.

Недолго мне пришлось любовно глядеть на этого удивительного человека. Портрет мой был написан им в 1921 году зимою, а в 1922 году я уехал из Петербурга. Глубоко я был поражен известием о смерти, скажу — бессмертного Кустодиева. Как драгоценнейшее достояние я храню в моем парижском кабинете мой знаменитый портрет его работы и все его изумительные эскизы к «Вражьей Силе»¹².

Мой концерт в Ревеле не прошел незамеченным для международных театральных антрепренеров. Какой-нибудь корреспондент, вероятно, куда-то о нем телеграфировал, и через некоторое время я получил в Москве письмо от одного американского импресарио. Оно пришло ко мне не прямо по почте, а через А. В. Луначарского, который переслал его при записке, в которой писал, что вот, мол, какой-то чудак приглашает вас в Америку, петь. Чудаком он назвал антрепренера не без основания: тот когда-то возил по Америке Анну Павлову, и потому на его бланке была выгравирована танцовщица в позе какого-то замысловаго па.

Обрадовался я этому письму чрезвычайно, главным образом как хорошему предлогу спросить Луначарского, могу ли я вступить с этим импресарио в серьезные переговоры и могу ли я рассчитывать, что меня отпустят за границу. Луначарский мне это обещал. <...>

¹² Портрет Ф. И. Шаляпина работы Б. М. Кустодиева ныне находится в шаляпинской квартире в Ленинграде, на улице Графтио, дом 26.

Однако в Москве оставалась моя дочь, которая замужем, моя первая жена и мои сыновья¹³. Я не хотел подвергать их каким-нибудь неприятностям в Москве и поэтому обратился к Дзержинскому с просьбой не делать поспешных заключений из каких бы то ни было сообщений обо мне иностранной печати. Может ведь найтись предприимчивый репортер, который напечатает сенсационное со мною интервью, а оно мне и не снилось.

Дзержинский меня внимательно выслушал и сказал:

— Хорошо.

Спустя две-три недели после этого, в раннее летнее утро, на одной из набережных Невы, поблизости от Художественной Академии, собрался небольшой кружок моих знакомых и друзей. Я с семьей стоял на палубе. Мы махали платками. А мои дражайшие музыканты Марининского оркестра, старые мои кровные сослуживцы, разыгрывали марши.

Когда же двинулся пароход, с кормы которого я, сняв шляпу, махал ею и кланялся им, то в этот грустный для меня момент, грустный потому, что я уже знал, что долго не вернусь на родину,— музыканты заиграли «Интернационал»...

Так, на глазах у моих друзей, в холодных прозрачных водах Царицы-Невы растаял навсегда мнимый большевик — Шалапин. <...>

В течение моей долгой артистической карьеры я нередко получал знаки внимания к моему таланту со стороны публики, а иногда и официальные «награды» от правительств и государей. Как артист я нравился всем слоям населения, имел успех и при дворе. Но честно говорю, что никогда я не добивался никаких наград, ибо от природы не страдаю честолюбием, а еще меньше — тщеславием. Награды же я получал потому, что раз было принято награждать артистов, то не могли же не награждать и меня. Отличия, которые я получал, являлись для меня в известной степени сюрпризами — признаюсь, почти всегда приятными.

Впрочем, с первой наградой у меня в царские времена вышла курьезная неприятность — вернее, инцидент, в котором я проявил некоторую строптивость характера, и доставивший немного щекотливых хлопот моим друзьям, а главное — Теляковскому¹⁴.

Однажды мне присылают из Министерства Двора футляр с царским подарком — золотыми часами. Посмотрел я часы, и показалось мне, что они недостаточно отражают широту натуры Российского Государя. Я бы сказал, что эти золотые с розочками часы доставили бы очень большую радость заслуженному швейцару богатого дома... Я подумал, что лично мне таких часов вообще не надо: у меня были лучше, а держать их для хвастовства перед иностранцами — вот-де какие Царь Русский часы подарить может! — не имело никакого смысла: хвастаться ими как раз и нельзя было. Я положил часы в футляр и отослал их милому Теляковскому при письме, в котором вполне точно объяснил резоны моего поступка. Получился скандал. В старину от царских подарков никто не смел отказываться, а я...

В. А. Теляковский отправился в Кабинет Его Величества и вместе со своими там друзьями без огласки инцидент уладил. Через некоторое время я получил другие часы — на этот раз приличные. Кстати сказать, они хранятся у меня до сих пор.

Столь же неожиданно, как часы, получил я звание Солиста Его Величества. В 1909 году, когда я пел в Брюсселе в La Monnaie, я вдруг получаю от Теляковского телеграмму с поздравлением меня со званием Солиста. Только позже я узнал, что Теляковский хлопотал об этом звании для меня, но безуспешно, уже долгие годы. Препятствовал будто бы награждению меня этим высоким званием великий князь Сергей Александрович, дядя Государя. Он знал, что я друг «презренного босяка» Горького, и вообще считал меня кабацкой затычкой. Как удалось Теляковскому убедить Государя, что я этого звания не опозорю, — не знаю. Меня интересовала другая сторона вопроса. Так как я крестьянин по происхождению, то и дети мои продолжали считаться крестьянами, то есть гражданами второго сорта. Они, например, не могли быть приняты в Пушкинский лицей, привлекавший меня, конечно, тем, что он был Пушкинский. Я по-

¹³ Дочь Шалапина — Ирина Федоровна; первая жена Шалапина — Иола Игнатьевна Шалапина (урожд. Ле-Прести, по сцене — Торнаги); сыновья — Борис Федорович и Федор Федорович.

¹⁴ Теляковский В. А. — управляющий Московской конторой императорских театров с 1898 по 1901 год, директор императорских театров с 1901 по 1917 год.

думал, может быть, дети Солиста Его Величества получат эту возможность. Я отправился с моим вопросом к одному важному чиновнику Министерства Двора.

— Кто же я такой теперь? — спрашиваю я.

Чиновник гнусаво объяснил мне, что грех моего рождения от русского крестьянина высоким званием Солиста Его Величества еще не смывает. В Пушкинском лицее мои дети учиться еще не могут. Но теперь, утешил он меня, я по крайней мере имею некоторое основание об этом похлопотать...

Волею судьбы Солист Его Величества превратился в Первого Народного Артиста Советской Республики. Произошло это также совершенно для меня неожиданно¹⁵...

В первый период революции, когда Луначарский стал комиссаром народного просвещения, он часто выступал перед спектаклями в оперных и драматических театрах в качестве докладчика об исполняемой пьесе. Особенно охотно он делал это в тех случаях, когда спектакль давался для специально приглашенной публики. Он объяснял ей достоинства и недостатки произведения с марксистской точки зрения. В этих докладах иногда отдавалось должное буржуазной культуре, но тут же говорилось о хрупкости и недостаточности этой культуры. В заключение публике давалось официальное уверение, что в самом близком времени мы на практике покажем полноценный вес будущего пролетарского искусства и все ничтожество искусства прошлого. <...>

Все такие слухи создали обо мне среди живущих за границей русских мнение, что я настоящий большевик или по крайней мере прислужник большевиков. Чего же, недоумевали люди, Шаляпин покинул столь любезную ему власть и уехал с семьей за границу? И вот когда я приехал в Париж, один небезызвестный русский журналист, излагая свои точные соображения о причинах моего выезда из России, объяснил их русской читающей публике весьма основательно:

— Появление Шаляпина в Париже очень симптоматично, а именно — крысы бегут с тонущего корабля.

Этот чрезвычайно замечательный комплимент воскресил в моей памяти много в разное время передуманных мыслей о том странном восторге, с которым русский человек развенчивает своих любимцев. Кажется, что ему доставляет сладострастное наслаждение унижать сегодня того самого человека, которого он только вчера возносил. Унизить часто без оснований, как без повода иногда возносил. Точно тяжело русскому человеку без внутренней досады признать заслугу, поклоняться таланту. При

¹⁵ Во фрагментах «Маски и души», опубликованных в «Литературном наследстве» Ф. И. Шаляпина, эти обстоятельства описываются: «Как-то в Мариинском театре был дан оперный спектакль с моим участием для прапорщиков, молодых офицеров Красной Армии. Шел «Севильский Цирюльник». Так как в этой опере я выхожу только во 2-м акте, то я в театр не торопился. Мне можно было прийти к началу 1-го акта. Я застал на сцене еще говорящего публике Луначарского. Прошел в уборную, и тут мне пришли и сказали, что Луначарский меня спрашивал, и дали при этом понять, что было неловко с моей стороны опоздать к его докладу. Я выразил сожаление, но при этом заметил, что меня никто не предупредил о митинге перед спектаклем... В этот момент прибежал ко мне, захлывшись, помощник режиссера и сказал:

— Товарищ Луначарский просит вас сейчас же выйти на сцену.

— В чем дело?

Пошел на сцену и в кулисах встретил Луначарского, который, любезно поздоровавшись, сказал, что считает справедливым и необходимым в присутствии молодой армии наградить меня званием Первого Народного Артиста Социалистической Республики.

Я сконфузился, поблагодарил его, а он вывел меня на сцену, стал в ораторскую позу и сказал в мой профиль несколько очень для меня лестных слов, закончив речь тем, что представляет присутствующей в театре молодой армии, а вместе с нею всей Советской России, Первого Народного Артиста Республики.

Публика устроила мне шумную овацию. В ответ на такой приятный подарок, взволнованный, я сказал, что много раз в моей артистической жизни получал подарки при разных обстоятельствах от разных правителей, но этот подарок — звание народного артиста — мне всех подарков дороже, потому что он гораздо ближе к моему сердцу человека из народа. А так как, закончил я, здесь присутствует молодежь русского народа, то я в свою очередь желаю им найти в жизни успешные дороги; желаю, чтобы каждый из них испытал когда-нибудь то чувство удовлетворения, которое я испытываю в эту минуту. Слова эти были искренние. Я действительно от всей души желал этим русским молодым людям успехов в жизни. Ни о какой политике я, разумеется, при этом не думал» («Федор Иванович Шаляпин». В 3-х тт. М. 1976, т. 1, стр. 290—291).

первом случае он торопится за эту испытанную им досаду страстно отомстить. Не знаю, быть может, эта черта свойственна людям вообще, но я ее видел преимущественно в русской вариации и немало ей удивлялся. Почему это в нашем быту злое издевательство сходит за ум, а великодушный энтузиазм за глупость...

Мелкие это были раны, но они долго в моей душе не заживали. Под действием неутраченной боли от них я совершил поступок, противоречивший, в сущности, моему внутреннему чувству: я отказался участвовать в празднествах по случаю трехсотлетнего юбилея Дома Романовых. Думаю, что я по совести не имел никаких оснований это сделать. Правда, я был враждебен существовавшему политическому режиму и желал его падения. Но всякого рода индивидуальные политические демонстрации вообще чужды моей натуре и моему взгляду на вещи. Мне всегда казалось это кукишем в кармане. Дом Романовых существовал триста лет. Он дал России правителей плохих, посредственных и замечательных. Они сделали много ошибок и хороших вещей. Это — русская история. И вот когда входит царь и когда играют сотни лет игранный гимн, среди всех вставших — один человек твердо сидит в своем кресле... Такого рода протест кажется мне мелкопоместным. Как ни желал бы я искренне запротестовать — от такого протеста никому ни тепло, ни холодно. Так что мое чувство вполне позволяло мне петь в торжественном юбилейном спектакле. Я, однако, уклонился¹⁶. И поступил я так только потому, что воспоминание о пережитой травле лишило меня спокойствия. Мысль о том, что она может в какой-нибудь форме возобновиться, сделала меня малодушным. Я был тогда в Германии и оттуда конфиденциально написал В. А. Теляковскому, что не могу принять участия в юбилейном спектакле, чувствуя себя нездоровым. Я полагаю, что Владимир Аркадьевич понял несерьезность предложения. Было так легко признать мое уклонение саботажем, сделать из этого «организационные выводы» и лишить меня звания Солиста Его Величества. Но В. А. Теляковский был истинный джентльмен и представитель «буржуазной» культуры: о моем отказе он никому не моавил ни слова. Звания Солиста меня никто и не думал лишать. О том, что у человека можно отнять сделанный ему подарок, додумались только представители пролетарской культуры. Вот они действительно лишили меня звания Народного Артиста. Об обстоятельствах, при которых это произошло, стоит рассказать. Это относится к моей теме о «любви народной»...

Перебегая в качестве крысы из одного государства в другое, чтобы погрызть зернышко то тут, то там, я приехал как-то в Лондон. Однажды, когда я возвращался с ночной прогулки, швейцар отеля несколько загадочно и даже испуганно сообщил мне, что в приемной комнате меня ждут два каких-то индивидуума. В час ночи! Кто бы это мог быть? Просители приходят обыкновенно по утрам.

— Русские?

— Нет. Кажется, англичане.

Интервьюеры — так поздно! Я был заинтригован.

— Зови.

Действительно, это оказались английские репортеры. Они сразу мне бухнули:

— Правда ли, г. Шаляпин, что вы денационализированы советской властью за то, что вы оказали помощь Белой Гвардии? Вам, по нашим сведениям, абсолютно воспрещен въезд в Россию.

И они мне показали только что полученную телеграмму. Точь-в-точь, как теперь на этих днях мне показывали телеграмму из Москвы, что я Советами «помилован», что мне возвращают мое имущество и что 13 февраля 1932 года я выступаю в московском Большом театре...

Я, разумеется, ничего не мог сказать им по поводу их сенсации: я просто ничего в ней не понял — что за чушь! Какую помощь я оказал Белой Гвардии?

Репортеры были, вероятно, разочарованы, но, уходя, они задали мне еще один вопрос: как же я буду носить свое тело на земле? Т. е. будучи отвержен родиной, в которую мне никогда никак уже не попасть, в какое подданство, думаю я, будет мне лучше устроиться.

¹⁶ Горький поддержал это решение Шаляпина в письме к нему: «Помни, кто ты в России, не ставь себя на одну доску с пошляками, не давай мелочам раздражать и порабощать тебя. Ты больше аристократ, чем любой Рюрикович, — хамы и холопы должны понять это. Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый — Толстой» (М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти тт. М. 1955, т. 29, стр. 298).

Курьезный вопрос меня успокоил, потому что весьма развеселил. Я ответил, что срочно я им дать ответа не могу, что я прошу на размышление по крайней мере хоть одну эту ночь. Я должен подумать и сообразить, к кому мне лучше примазаться.

Ночь эту я действительно спал плохо. Что это могло бы значить? — думал я.

Через несколько дней письма от семьи и друзей из Парижа просветили меня, в чем дело.

К этому времени благодаря успеху в разных странах Европы, а главным образом в Америке, мои материальные дела оказались в отличном состоянии. Выехав несколько лет тому назад из России нищим, я теперь могу устроить себе хороший дом, обставленный по моему собственному вкусу. Недавно я в этот свой новый очаг переезжал. По старинному моему воспитанию, я пожелал отнестись к этому приятному событию религиозно и устроить в моей квартире молебен. Я не настолько религиозный человек, чтобы верить, что за отслуженный молебен Господь Бог укрепит крышу моего дома и пошлет мне в новом жилище благодатную жизнь. Но я во всяком случае чувствовал потребность отблагодарить привычное нашему сознанию Высшее Существо, которое мы называем Богом, а в сущности, даже не знаем, существует ли оно или нет. Есть какое-то наслаждение в чувстве благодарности. С этими мыслями пошел я за попом. Пошел со мною приятель мой один. Было это летом. Прошли мы на церковный двор на rue Daru, зашли к милейшему, образованнейшему и трогательнейшему священнику о. Георгию Спасскому¹⁷. Я пригласил его пожаловать ко мне в дом на молебен... Когда я выходил от о. Спасского, у самого крыльца его дома ко мне подошли какие-то женщины, оборванные, обтрепанные, с такими же оборванными и растрепанными детьми. Дети эти стояли на кривых ногах и были покрыты коростой. Женщины просили дать им что-нибудь на хлеб. Но вышел такой несчастный случай, что ни у меня, ни у моего приятеля не оказалось никаких денег. Так было неудобно сказать этим несчастным, что у меня нет денег. Это нарушило то радостное настроение, с которым я вышел от священника. В эту ночь я чувствовал себя отвратительно.

После молебна я устроил завтрак. На моем столе была икра и хорошее вино. Не знаю, как это объяснить, но за завтраком мне почему-то вспомнилась песня:

А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая...

На душе моей действительно было тревожно. Не примет Бог благодарности моей, и нужен ли был вообще этот молебен, думал я.

Я думал о вчерашнем случае на церковном дворе и невпопад отвечал на вопросы гостей. Помочь этим двум женщинам, конечно, возможно. Но двое ли их только или четверо? Должно быть, много.

И вот я встал и сказал:

— Батюшка, я вчера видел на церковном дворе несчастных женщин и детей. Их, вероятно, много около церкви, и вы их знаете. Позвольте мне предложить вам 5000 франков. Распределите их, пожалуйста, по вашему усмотрению...

О. Спасский счел нужным напечатать в русской газете Парижа несколько слов благодарности за пожертвование в пользу бедных русских детей. И немедленно же об этом за посольским секретным шифром с улицы Гренель в Кремль полетела служебная телеграмма...

Москва, некогда сторевшая от копейной свечки, снова зажглась и вспыхнула от этого моего, в сущности, копейного пожертвования. В газетах печатали статьи о том, что Шаляпин примкнул к контрреволюционерам. Актеры, циркачи и другие служители искусства высказывали протесты, находя, что я не только плохой гражданин, но и актер куда не годный, а «народные массы» на митингах отлучали меня от родины...

Из Кремля на улицу Гренель под секретным дипломатическим шифром летели телеграммы, и однажды — кажется, по телефону — я получил очень вежливое приглашение пожаловать в советское полпредство.

Я, конечно, мог бы не пойти, но какое-то щекотливое любопытство подсказывало мне: ступай, ступай. Послушай, что тебе скажут.

¹⁷ С п а с с к и й Г. А. — протоиерей, с 1924 года служил в Русском кафедральном соборе в Париже.

Полпред Раковский¹⁸ принял меня чрезвычайно любезно. Он прямо пригласил меня в столовую, где я познакомился с г-жой Раковской, очень милой дамой, говорившей по-русски с иностранным акцентом. Мне предложили чаю, русские папиросы. Поболтали о том о сем. Наконец посол мне сказал, что имеет что-то такое мне передать. Мы перешли в кабинет. Усадив меня у стола рядом с собою, Раковский, нервно перебирая какие-то бумаги — ему, видно, было немного не по себе, — сказал:

— Видите ли, тов. Шалапин, я получил из Москвы предложение спросить вас, правда ли, что вы пожертвовали деньги для белогвардейских организаций, и правда ли, что вы их передали капитану Дмитриевскому¹⁹ (фамилию которого я слышал в первый раз) и еп. Евлогию²⁰?

А потом, к моему удивлению, он еще спросил:

— И правда ли, что вы в Калифорнии, в Лос-Анжелосе, выступали публично против советской власти? Извините меня, что я вас об этом спрашиваю, но это предписание из Москвы, и я должен его исполнить.

Я ответил Раковскому, что белогвардейским организациям не помогал, что я в политике не участвую, стою в стороне и от белых и от красных, что капитана Дмитриевского не знаю, что еп. Евлогию денег не давал. Что если дал 5000 франков о. Спасскому на помощь изгнанникам российским, то это касалось детей, а я думаю, что трудно установить с точностью, какие дети белые и какие красные.

— Но они воспитываются по-разному, — заметил Раковский.

— А вот что касается моего выступления в Калифорнии, то должен по совести сказать, что если я выступал, то это в роли Дон-Базиллио в «Севиальском Цирюльнике», но никаких Советов при этом не имел в виду...

По просьбе Раковского я все это изложил ему в письменном виде для Москвы. Письмом моим в Кремле остались очень недовольны. Не знаю, чего они от меня ожидали.

ВЦИК обсуждал мое дело. И вскоре было опубликовано официально, что я, как белогвардеец и контрреволюционер, лишаюсь звания Первого Народного Артиста Республики...²¹

Я сказал, что у меня хранятся золотые часы, некогда подаренные мне царем. Смотрю я иногда на эти часы и думаю: «Вот на этом циферблате когда-то указывалось время, когда я был Солистом Его Величества. Потом на нем же указывалось время, когда я был первым Народным Артистом. Теперь стоят мои часы...»

И когда затем я смотрю в зеркально-лоснящееся золото этих часов, то вместо Шалапина, лишенного всех чинов, вижу, увя, только круглый нуль...

¹⁸ Раковский Х. Г. — с 1919 года председатель Совнаркома УССР, с 1923 года — полпред в Англии, в 1925—1927 годах — полпред во Франции.

¹⁹ Ф. И. Шалапин искажает фамилию. Речь идет о Дмитриеве В. И., офицере русского Военно-морского флота, капитане I ранга, проживавшем в 20-е годы в Париже.

²⁰ Митрополит Евлогий (Георгиевский В. С.) — с 1922 года глава западноевропейской православной церкви, впоследствии, во время войны СССР с фашистской Германией, известный своей патриотической деятельностью по отношению к СССР.

²¹ Постановление Совнаркома РСФСР от 24 августа 1927 года лишало Шалапина звания народного артиста. 26 августа 1927 года Луначарский, комментируя постановление, отвергал необоснованные политические обвинения, прозвучавшие в адрес Шалапина в некоторых московских газетах, но осуждал гражданскую позицию певца: «На письмо полпреда тов. Раковского Ф. И. Шалапин ответил объяснениями несколько уклончивыми, но, во всяком случае, свидетельствующими о том, что ни на какой нарочитый разрыв с существующим на родине порядком Шалапин идти не желал. Единственным вполне достаточным и всем хорошо известным мотивом лишения Шалапина звания народного артиста являлось упорное нежелание его приехать, хотя бы ненадолго, на родину и художественно обслужить тот самый народ, чьим артистом он был провозглашен... Я глубоко убежден, что при желании Шалапин мог бы и теперь восстановить нормальные отношения с народом, из которого он вышел и принадлежностью к которому гордится. Во время всяких слухов о некорректных поступках Шалапина за границей некоторые журналисты начали поговаривать о том, что он вообще-то не талантлив, и еще многое в этом роде... Конечно, Шалапин уже давно как бы приостановился в своем творчестве. Это постигает часть наших артистов за границей и вообще людей, начинающих эксплуатировать свою славу, а не жить для творчества. Оба эти момента сказались на Шалапине. Его оперный и концертный репертуар застыл. Но ни в каком случае нельзя отрицать, что Шалапин сохранил в очень большой мере свои необыкновенные голосовые данные и остается тем же замечательным артистом, каким был» (А. В. Луначарский, «О Шалапине». — «Красная газета», вечерний выпуск, 26 августа 1927 года).

На протяжении моей книги я много раз говорил об Алексее Максимовиче Пешкове (Горьком) как о близком друге. Дружбой этого замечательного писателя и столь же замечательного человека я всю жизнь гордился. Ныне эта дружба омрачена, и у меня такое чувство, что умолчание об этом грустном для меня обстоятельстве было бы равносильно укрывательству истины. Непристойно носить в петличке почетный орден, право на ношение которого сделалось сомнительным. Вот почему я в этой книге итогов считаю необходимым посвятить несколько страниц моим отношениям с Горьким.

Я уже рассказывал о том, как просто, быстро и крепко завязалась наша дружба с ним в Нижнем Новгороде в начале этого века. Хотя мы познакомились с ним сравнительно поздно — мы уже оба в это время достигли известности, — мне Горький всегда казался другом детства. Так молодо и непосредственно было наше взаимоотношение. Да и в самом деле: наши ранние юношеские годы мы действительно прожили как бы вместе, бок о бок, хотя я и не подозревал о существовании друг друга. Оба мы из бедной и темной жизни пригородов, он — нижегородского, я — казанского, одинаковыми путями потянулись к борьбе и славе. И был день, когда мы одновременно в один и тот же час постучались в двери Казанского оперного театра и одновременно держали пробу на хориста: Горький был принят, я — отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого впоследствии смеялись. Потом мы еще часто оказывались соседями в жизни, одинаково для нас горестной и трудной. Я стоял в цепи на волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а он в качестве крючника тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки с парохода на берег. Я у сапожника, а Горький поблизости у какого-нибудь булочника...

Любовь к человеку не нуждается, собственно говоря, в оправдании: любишь потому, что любишь. Но моя сердечная любовь к Горькому в течение всей моей жизни была не только инстинктивной. Этот человек обладал всеми теми качествами, которые меня всегда привлекали в людях. Насколько я презираю бездарную претенциозность, настолько же преклоняюсь искренне перед талантом, серьезным и искренним. Горький восхищал меня своим выдающимся литературным талантом. Все, что он написал о русской жизни, так мне знакомо, близко и дорого, как будто при всяком рассказанном им факте я присутствовал лично сам.

Я уважаю в людях знание. Горький так много знал! Я видал его в обществе ученых, философов, историков, художников, инженеров, зоологов и не знаю еще кого. И всякий раз, разговаривая с Горьким о своем специальном предмете, эти компетентные люди находили в нем как бы одноклассника. Горький знал большие и малые вещи с одинаковой полнотой и солидностью. Если бы я, например, вздумал спросить Горького, как живет снегирь, то Алексей Максимович мог рассказать мне о снегире такие подробности, что, если бы собрать всех снегирей за тысячелетия, они этого о себе знать не могли бы...

Добро есть красота, и красота есть добро. В Горьком это было слито. Я не мог без восторга смотреть на то, как в глазах Горького блестели слезы, когда он слышал красивую песню или любовался истинно художественным произведением живописца.

Помню, как Горький высоко понимал призвание интеллигента. Как-то в одну из вечеринок у какого-то московского писателя, в домике во дворе на Арбате, в перерывах между пением Сцитальца под аккомпанемент гуслей и чарочками водки с закуской, завели писатели спор о том, что такое, в сущности, значит интеллигент. По-разному отзывались присутствующие писатели-интеллигенты. Одни говорили, что это человек с особыми интеллектуальными качествами, другие говорили, что это человек особенного душевного строя и проч. и проч. Горький дал свое определение интеллигента, и оно мне запомнилось:

— Это человек, который во всякую минуту жизни готов встать впереди всех с открытой грудью на защиту правды, не щадя даже своей собственной жизни.

Не ручаюсь за точность слов, но смысл передаю точно. Я верил в искренность Горького и чувствовал, что это не пустая фраза. Не раз я видел Горького впереди всех с открытой грудью...

Помню его больным, бледным, сильно кашляющим, под охраной жандармов в поезде на московском вокзале. Это Горького ссылали куда-то на север. Мы, его друзья, провожали его до Серпухова. В Серпухове больному дали возможность отдохнуть, переспать в постели. В маленькой гостинице, под наблюдением тех же жандармов, мы провели с ним веселый прощальный вечер. Веселый потому, что физические страдания мало Горького смущали, как мало смущали его жандармы и ссылка. Жила вера в дело, за которое он страдал, и это давало всем нам бодрость — в нас, а не в Горьком, омра-

ченную жалостью к его болезни... Как беззаботно и весело смеялся он над превратностями жизни, и как мало значения придавали мы факту физического ареста нашего друга, зная, сколько в нем внутренней свободы...

Помню, как он был взволнован и бледен в день 9 января 1905 года, когда, ведомые Гапоном, простые русские люди пошли к Зимнему Дворцу на коленях просить царя о свободе и в ответ на простодушную мольбу получили от правительства свинцовые пули в грудь.

— Невинных людей убивают, негодяи!

И хотя в этот самый вечер я шел в Дворянском собрании, одна у меня была тогда с Горьким правда.

Понятно, с какой радостной гордостью я слушал от Горького ко мне обращенные слова:

— Что бы мне про тебя ни говорили плохого, Федор, я никогда не поверю. Не верь и ты, если тебе скажут что-нибудь плохое обо мне.

И еще помню:

— Как бы добры наши когда-нибудь ни разошлись, я тебя буду любить. Даже твоего Сусанина любить не перестану.

И действительно, любовь Горького, его преданность мне, его доверие я много раз в жизни испытал. Крепко держал свое слово Горький.

Когда я во время большевистской революции, совестясь покинуть родную страну и мучаясь сложившейся обстановкой жизни и работы, спрашивал Горького как брата, что же, он думает, мне делать, его чувство любви ответило мне:

— Ну, теперь, брат, я думаю, тебе надо отсюда уехать.

Отсюда, это значило — из России.

Я уехал гораздо, впрочем позже его совета, но уехал. Я уже прожил порядочное время за границей, как однажды получил письмо от Горького с предложением вернуться в Советский Союз. Вспоминая, как мне было там тяжело жить и работать, и не понимая, почему изменилось мнение Алексея Максимовича, я ему ответил, что ехать в Россию мне сейчас не хотелось бы. И выяснил откровенно причины. Писал я об этом Горькому на Капри. Конечно, Алексей Максимович в это время уже съездил в Россию и, вероятно, усмотрел для меня новую, определенную возможность там жить и работать. Но я в эту возможность, каюсь, не поверил. Так временно вопрос о моем отношении к возвращению в Россию повис в воздухе²². Горький к нему не возвращался. Однако позже, когда мне случилось быть в Риме (я там шел спектакли), я встретился с Горьким лично. Все еще дружески, Алексей Максимович мне снова тогда сказал, что необходимо, чтобы я ехал на родину. Я снова и более решительно отказался, сказав что ехать туда не хочу. Не хочу потому, что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь «аппарата»... Самые лучшие намерения в отношении меня любого из вождей могут остаться праздными. В один прекрасный день какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят, заставят, и нишкни — никуда не выпустят. А там ищи виноватого, кто подковал зайца. Один скажет, что это от него не зависит другой скажет: «вышел новый декрет», а тот, кто обещал и кому поверил, разведет руками и скажет:

— Батюшка, это же революция, пожар? Как вы можете претендовать на меня?..

Алексей Максимович правда, ездит туда и обратно, но он же действующее лицо революции. Он вождь. А я? Я не коммунист, не меньшевик, не социалист-революционер, не монархист и не кадет, и вот когда так ответишь на вопрос: кто ты? — тебе и скажут:

— А вот потому именно, что ты ни то ни се, а черт знает что, то и сиди, сукин сын, на Пресне...

А по разбойному характеру моему я очень люблю быть свободным и никаких приказаний — ни царских, ни комиссарских — не переношу.

²² Путешествуя по Советской стране в 1928 году, Горький на многочисленных встречах с трудящимися отвечал на самые разные вопросы, в том числе и касающиеся его отношений с Шалапиным. «К Шалапину я отношусь очень хорошо. — говорил Горький в редакции газеты «Нижегородская коммуна» 10 августа 1928 года. — Правда, человек он шалый, но изумительно, не по-человечески талантливый человек» («Горький говорит с рабочими». — «Новый мир», 1938, № 3, стр. 278).

Я почувствовал, что Алексею Максимовичу мой ответ не очень понравился. И когда я потом, вынужденный к тому бесцеремонным отношением советской власти к моим законным правам даже за границей, сделал из моего решения не возвращаться в Россию все логические выводы и «дерзнул» эти мои права защитить, то по нашей дружбе прошла глубокая трещина. Среди немногих потерь и нескольких разрывов последних лет, не скрою, и с волнением это говорю,— потеря Горького для меня одна из самых тяжелых и болезненных.

Я думаю, что чуткий и умный Горький мог бы при желании менее пристрастно понять мои побуждения в этом вопросе. Я, с своей стороны, никак не могу предположить, что этот человек мог бы действовать под влиянием низких побуждений. И все, что в последнее время случалось с моим милым другом, я думаю, имеет какое-то не ведомое ни мне, ни другим объяснение, соответствующее его личности и его характеру.

Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как в искусстве, двух правд не бывает — есть только одна правда. Кто этой правдой обладает, я не смею решить. Может быть, я, может быть, Алексей Максимович. Во всяком случае на общей нам правде прежних лет мы уже не сходимся.

Я помню, например, с каким приятным трепетом я однажды слушал, как Алексей Максимович восхищался И. Д. Сытиным.

— Вот это человек! — говорила он с сияющими глазами. — Подумать только, простой мужик, а какая сметка, какой ум, какая энергия и куда метнул!

Действительно, с чего начал и куда метнул. И ведь все эти русские мужики, Алексеевы, Мамонтовы, Сапожниковы, Сабашниковы, Третьяковы, Морозовы, Щукины — какие все это козыри в игре нации. Ну, а теперь это — кулаки, вредный элемент, подлежащий беспощадному искоренению!.. А я никак не могу отказать от восхищения перед их талантами и культурными заслугами. И как обидно мне знать теперь, что они считаются врагами народа, которых надо бить, и что эту мысль, оказывается, разделяет мой первый друг Горький...

Я продолжаю думать и чувствовать, что свобода человека в его жизни и труде — величайшее благо. Что не надо людям навязывать насилу счастье. Не знаешь, кому какое счастье нужно. Я продолжаю любить свободу, которую мы когда-то крепко любили вместе с Алексеем Максимовичем Горьким...

В мрачные дни моей петербургской жизни под большевиками мне часто снились сны о чужих краях, куда тянулась моя душа. Я тосковала о свободной и независимой жизни.

Я получила ее. Но часто, часто мои мысли несутся назад, в прошлое, к моей милой родине. Не жалею я ни денег, конфискованных у меня в национализированных банках, ни о домах в столицах, ни о земле в деревне. Не тоскую я особенно о блестящих наших столицах, ни даже о дорогах моему сердцу русских театрах. Если, как русский гражданин, я вместе со всеми печалюсь о временной разрухе нашей великой страны, то как человек, в области личной и интимной, я грущу по временам о русском пейзаже, о русской весне, о русском снеге, о русском озере и лесе русском. Грущу я иногда о простом русском мужике, том самом, о котором наши утонченные люди говорят столько плохого. что он и жаден, и груб, и невоспитан, да еще и вор. Грущу о неповторимом тоне часто нелепого уклада наших Суконных Слобод, о которых я сказал немало жестокой правды, но где все же между трупоб растёт сирень, цветут яблони и мальчишки гоняют голубей...

Россия мне снится редко, но часто наяву я вспоминаю мою летнюю жизнь в деревне и проезд в гости московских друзей. Тогда это все казалось таким простым и естественным. Теперь это представляется мне характерным ступком всего русского быта.

Да, признаюсь, была у меня во Владимирской губернии хорошая дача. И при ней было триста десятин земли. Втроем строили мы этот деревенский мой дом. Валентин Серов, Константин Коровин и я. Рисовали, планировали, наблюдали, украшали. Был архитектор, некий Мазырин, — по-дружески мы звали его Анчуткой. А плотником был всеобщий наш любимец крестьянин той же Владимирской губернии — Чесноков. И дом же был выстроен! Смешной, по-моему, несуразный какой-то, но уютный, приятный; а благодаря добросовестным лесоторговцам срублен был точно скован из сосны, как из красного дерева.

И вот глубокой осенью получаешь, бывало, телеграмму от московских приятелей: «Едем, встречай». Встречать надо рано утром, когда уходящая ночь еще плотно и таинственно обнимается с большими соснами. Надо перебраться через речку — мост нечаянно сломан, и речка еще совершенно чернильная. На том берегу речки стоят уже и ждут накануне заказанные два экипажа с Емельяном и Герасимом. Лениво встаешь, неохотно одеваешься, выходишь на крыльцо, спускаешься к реке, берешь плоскодонку и колом отталкиваешься от берега... Тарантас устлан пахучим сеном. Едешь восемь верст на станцию. В стороне от дороги стоит огромный Феклин бор с вековыми соснами, и так уютно, тепло сознавать, что ты сейчас не в этом лесу, где холодно и жутко, а в тарантасе, укутанный в теплое драповое пальто. И едешь ты на милой лошаденке, которую зовут Машкой. Как любезно понукает ее Герасим:

— Ну, ну, Машка-а! Не подгаживай, не выявляй хромоты.

Машка старалась и как будто легонько ржала в ответ.

И вот станция. Рано. На вокзале зажжены какие-то лампы керосиновые; за дощатой тонкой стеной время от времени трещит, выстукивая, телеграф. Кругом еще сизо. На полу лежат, опершись на свои котомки, какие-то люди. Кто-то бормочет что-то во сне. Кто-то потягивается. Время от времени кто-то скрипит дверью, то выходя, то входя. Но вот вдруг та самая дверь, что только что скрипела сонно, начинает скрипеть веселее. Входит какой-то озабоченный человек на кривых ногах, с фонарем в руке, и через спящих людей пробирается в телеграфную комнату, откуда слышится:

— Через 6?

И человек с фонарем, вбегая в зал, громко кричит:

— Эй, эй! Вставай! Идет!

Люди начинают шевелиться. Кто встает, кто зевает, кто кашляет, кто шепчет: «Господи Иисусе!»... Зал ожил.

Белеет окно. Делаются бледнее и бледнее лица. Лохмотья пассажиров выступают заметнее и трезвее... Слышен глухой далекий свисток... Человек с фонарем на кривых ногах подбегает к колоколу:

— Трым, трым, трым!..

Люди совсем ожили. Кто-то, откашлявшись, напевно пробурчал: «Яко да за царя всех подыдем...»²³

А там уже разрезан молочный туман расплывчатыми лучами еще не показавшегося солнца, и тускло, как всегда перед солнцем, вдали мелькнули огни паровоза.

Едут! И приезжают московские гости, и среди них старший — Савва Иванович Мамонтов.

Нигде в мире не встречал я ни такого Герасима, ни такого бора, ни такого звоняря на станции. И вокзала такого нигде в мире не видел, из изношенно-занозистого дерева срубленного... При входе в буфет странный и нелепый висит рукомыльник... А в буфете под плетеной сеткой — колбаса, яйцо в черненьких точках и бессмертные мухи...

Милая моя, родная Россия!..

Подготовка текста и комментарии
Е. ДМИТРИЕВСКОЙ, В. ДМИТРИЕВСКОГО.

²³ Шаляпин неточно приводит слова литургического песнопения: «Яко да Царя всех подыдем...»

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. М. БОРИСОВ, Е. Б. ПАСТЕРНАК



МАТЕРИАЛЫ К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОМАНА Б. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО»*

Дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования.

Б. Пастернак.

Г

1. ПРЕДЫСТОРИЯ

Герой романа Пастернака «с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделялся вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине».

Это описание мечты Юрия Живаго, как и многое другое в романе, замешано на «автобиографических дрожжах» и может быть отнесено к творческому опыту самого автора. «В области слова я более всего люблю прозу, а вот писал больше всего стихи.— говорил Пастернак в 1947 году, предвзято чтение первых глав романа в одном из московских домов.— Стихотворение относительно прозы — это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим литературным этюдником»¹.

Состояние «физической мечты о книге», которая «есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего», владело Пастернаком с первых шагов в литературе и сопровождалось ясным пониманием того, что «неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть»².

Первые прозаические наброски Пастернака датируются той же зимой 1909/10 года, что и первые поэтические опыты. С этого времени рядом с писанием стихов шла работа над прозой, и именно ее Пастернак считал, вопреки общепринятым представлениям о нем, главным делом своей жизни³.

* Журнальный вариант.

¹ Чтение состоялось 5 апреля 1947 года в доме литератора П. А. Кузько. Слова Пастернака приводятся в стенографической записи Лидии Чуковской присутствовавшей на этом вечере.

² «Несколько положений» (Борис Пастернак. Избранное в двух томах М. 1985, т. 2, стр. 277; произведения, включенные в это издание, в дальнейшем цитируются без ссылок)

³ В письме к З. Ф. Руофф от 5 мая 1936 года Пастернак возражал против трактовки его как преимущественно поэта: «...Мне кажется, у Вас превратное представление обо мне. Стихи значат гораздо меньше для меня чем Вы, по-видимому, думаете. Они должны уравниваться и идти рядом с большой прозой, им должна сопутствовать новал, требующая точности и все еще не нашедшая ее мысль, собранное, не легко давшееся поведение, трудная жизнь» (копия в архиве семьи Пастернаков; далее материалы этого архива цитируются без указания места хранения).

Своими первыми опытами в прозе Пастернак не был удовлетворен. Раздумывая над причинами неудачи, он писал С. П. Боброву 30 декабря 1916 года: «...Может быть, сугубая техничность, по моей неумелости, подъем изложения исключает, отымая много сил на вертикальные насыщения и для горизонтальной стремительности их не оставляя. <...> я делаю не одну попытку прозой заняться, клонясь в сторону техничности. И не в силу ли этого остались они бесплодны?»

Формальный блеск своих ранних вещей — качество, восхитившее литературное окружение молодого Пастернака, — сам он очень скоро осознал как препятствие, мешающее поискам «человека в категории речи» и заглушающее «голос жизни, звучащий в нас»⁴.

Зимой 1917/18 года, завершив книгу лирических стихотворений «Сестра моя жизнь», Пастернак начал работу над большим романом с предположительным названием «Три имени». Воплощение этого замысла и тогда и много позже он расценивал как поворотный пункт в своей литературной судьбе.

Посылая летом 1921 года В. П. Полонскому отделанное начало романа⁵, Пастернак в сопроводительном письме объяснял ему внутренние мотивы появления этой вещи: «<...> До 17 г. у меня был путь — внешне общий со всеми; но роковое своеобразие загоняло меня в тупик, и я раньше других и пока, кажется, я единственно, — осознал с болезненностью тот тупик, в который эта наша эра оригинальности в качестве завода. <...> На море произвола, открывавшемся за нашим неозетизмом, я готов был заболеть морской болезнью. И я решил круто повернуть. Я решил, что буду писать, как пишут письма, не по-современному, раскрывая читателю все, что думаю и думаю ему сказать, воздерживаясь от технических эффектов, фабрикуемых вне его поля зрения и подаваемых ему в готовом виде, гипнотически и т. д. Я таким образом решил дематериализовать прозу»⁶.

Появление в печати «Детства Люверс» сразу было отмечено художниками самых разных эстетических и мировоззренческих установок. Выступивший инициатором перевода «Детства Люверс» на английский язык М. Горький писал в предисловии к этому (так и не состоявшемуся) изданию: «...Борис Пастернак, стремясь рассказать себя, взял из реального мира полуробенка, девочку Люверс, и показывает, как эта девочка «осваивала» мир. На мой взгляд, он сделал это очень искусно, даже блестяще, во всяком случае — совершенно оригинально»⁷. Михаил Кузмин, в тот период еще не утративший положения литературного метра, писал: «За последние три-четыре года «Детство Люверс» самая значительная и свежая русская проза. Янисколько не забыла, что за это время выходила «Эпопея» Андрея Белого и книги Ремизова и А. Толстого». Ю. Н. Тынянов уловил «в этой неожиданной вещи — очень редкое, со времен Льва Толстого не попадавшееся, ощущение, почти запах новой вещи».

Несмотря на такой прием, замысел романа, в котором «Детство Люверс» составляло «пятую примерно часть», так и остался неосуществленным. Здесь сыграло свою роль и давление жизненных обстоятельств (в 1918—1921 годах Пастернак был вынужден много переводить) и занятость в 20-е годы другими крупными оригинальными работами. Но дело было не только в этом.

«Я ждал каких-то бытовых и общественных превращений, в результате которых была бы восстановлена возможность индивидуальной повести, то есть фабулы об отдель-

⁴ 17 мая 1947 года перед чтением глав из «Доктора Живаго» на квартире у Серовых, в том самом доме «на углу Серебряного переулка и Молчановки», где происходит первая таинственная встреча Юрия и Евграфа Живаго, Пастернак говорил о всей своей предшествующей романе прозе: «Мне, Леонову и многим другим писателям свойственно преобладание чувства стиля. Так что порой исчезает человек и остаются одни чернила» (Н. Муравина. Встречи и переписка с Борисом Пастернаком; рукопись).

⁵ Впервые опубликовано как самостоятельная повесть «Детство Люверс» в альманахе «Наши дни» (М. 1922, кн. 1, стр. 121—167).

⁶ Ср. характеристику стилистических поисков Юрия Андреевича Живаго в романе: «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общепотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, неприязнательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничего внимания, и приходил в ужас от того, как он еще далек от этого идеала».

⁷ «Горький и советские писатели. Неизданная переписка» («Литературное наследство», М. 1963, т. 70, стр. 310).

ных лицах, репрезентативно примерной и всякому понятной в ее личной узости, а не прикладной широте», — писал Пастернак П. Н. Медведеву в ноябре 1929 года. И хотя слова эти непосредственно относятся к замыслу «Спекторского», они достаточно поясняют, какого рода трудности препятствовали окончанию романа о девочке Люверс⁸. «В двух-трех работах, которые мне предстоит довести до конца, — я теперь дошел до очень тяжелой и критической черты, за которой находится, по теме, — истекшее десятилетие, — его события, его смысл и прочее, но не в объективно эпическом построенье, как это было с «1905-м», а в изображении личном, «субъективном», то есть придется рассказать о том, как мы все это видели и переживали. Я не двинусь ни в жизни, ни в работе ни на шаг вперед, если об этом куске времени себе не отпартую».

В числе этих «двух-трех работ» был, по-видимому, и «черновик романа в нескольких листового формата тетрадах», упоминаемый Пастернаком в автобиографическом очерке «Люди и положения» и сожженный им в 1932 году (о нем он не раз вспоминал, работая над первой книгой «Доктора Живаго»).

Другой работой, дошедшей к концу 20-х годов до «критической черты» был роман в стихах «Спекторский», начатый в 1925 году. С его завершением связана первая попытка Пастернака объединить две основные стихии его творчества — поэзию и прозу — в единое сюжетное целое⁹:

«Часть фабулы в романе, приходящуюся на военные годы и революцию, я отдал прозе, потому что характеристики и формулировки, в этой части всего более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу. С этой целью я недавно засел за повесть, которую пишу с таким расчетом, чтобы, являясь прямым продолжением всех до сих пор печатавшихся частей «Спекторского» и подготовительным звеном к стихотворному его заключению, она могла войти в сборник прозы, — куда по всему своему духу и относится, а не в роман, часть которого составляет по своему содержанию»¹⁰.

«Названа она вчерне «Революция», — сообщал Пастернак 28 января 1929 года П. Н. Медведеву в самом начале работы над этой прозой, — ...в ней я предполагаю фабулярно разделиться со всем военно + военно-гражданским узлом, который в стихах было бы распутывать затруднительно»¹¹.

Но это первоначальное намерение осталось неисполненным. Основное содержание опубликованной «Повести»¹² относится к предвоенному лету 1914 года, и мировая война упоминается в ней лишь мимоходом¹³.

Работа над «Повестью» была развитием старого замысла, над воплощением которого Пастернак урывками трудился еще с конца 10-х годов.

В 1922 году в газете «Московский понедельник» (от 12 июня) были опубликованы три прозаических фрагмента («три главы из повести»), связанные с позднейшей «Повестью» общностью фамилии главного героя и сходством некоторых положений. Еще больший интерес представляет появившийся в периодической печати в 1918 году отрывок в прозе, озаглавленный «Безлюбье» и относящийся безусловно к тому же кругу

⁸ Ср. определение этих трудностей в статье О. Э. Мандельштама «Конец романа»: «...композиционная мера романа — человеческая биография. <...> Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз <...>. Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немислим без интереса к отдельной человеческой судьбе, — фабуле и всему, что ей сопутствует. Кроме того, интерес к психологической мотивировке <...> в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой» (О М а н д е л ь ш т а м. Слово и культура М 1987, стр. 74—75).

⁹ В «Докторе Живаго» эта задача разрешена Пастернаком на более глубоком уровне — стихи стали необходимой составляющей художественной ткани романа.

¹⁰ «На литературном посту», 1929, № 4—5, стр. 119.

¹¹ «Литературное наследство», т. 93, стр. 705.

¹² Впервые опубликована полностью в журнале «Новый мир» (1929, № 7, стр. 5—43).

¹³ События мировой войны и революции в обобщенной форме отразились в восьмой главе «Спекторского». «Самое достойное (поэтически и по-человечески) место, — писал Пастернак об этой главе, — это страницы конца, посвященные тому, как восстает время на человека и обгоняет его». В письме к О. М. Фрейденберг от 20 октября 1930 года, подчеркивая основную тему «Спекторского», Пастернак называл его «своим «Медным всадником» (Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг. Под редакцией и с комментариями Э. Моссмана. New York & London, 1981, стр. 136: далее цитаты из этого издания приводятся без ссылок).

замыслов, что и оба незаконченных романа¹⁴. Здесь в эмбриональной форме в образах двух персонажей — Гольцева и Ковалевского — намечена одна из основных антигез будущего «Доктора Живаго»: верность жизни и одержимость абстракцией. Встречающиеся в «Безлюбье» татарские имена Гимазетдин и Галиулла впоследствии также будут использованы Пастернаком в романе.

Вторая половина 20-х и первая половина 30-х годов — зенит литературной славы Пастернака. Издательства охотно печатают его книги, пресса помещает на них благожелательные рецензии, мягко журя поэта за «трудность формы» и «субъективизм», но признавая его огромный талант. Перед ним, автором эпоса о 1905 годе и поэмы «Высокая болезнь», открывался, особенно после самоубийства Маяковского в 1930 году, путь к «вакансии» «первого поэта» и официальным почестям. И в это же время у Пастернака, когда-то воспринявшего революцию как расширяющий жизненный порыв «поруганной действительности», как явление космического ряда¹⁵, возникает чувство исторической «порчи», которое, то затухая, то усиливаясь в зависимости от происходящих в стране социально-политических процессов, привело его с 1936 года почти к полному разрыву с официальной литературной средой. «Помпа и парад», с юности претившие Пастернаку, на его глазах все глубже вторгались в жизнь, а за этим «трескуче-приподнятым» словесным фасадом все шире развезралась «львиная пасть», описанная Пастернаком в вышедшей в 1931 году автобиографической прозе «Охранная грамота». Здесь он впервые открыто заговорил о достоинстве художника перед лицом своего времени — любого времени. В главе о Венеции, полной современных аллюзий, Пастернак писал: «...опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта «босса di leone» современникам и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения». В первом издании из описания Венеции были в числе других выкинуты следующие слова: «Кругом — львиные морды, всюду мерещатся, суоущиеся во все интимности, все обнюхивающие, — львиные пасти, тайно слгатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. Кругом львиный рык мнимого бессмертья, мыслимого без всякого смеху только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, все это терпиг <...>». (В изданиях 1982 и 1985 годов изъятые строки восстановлены.)

В 1933 году «Охранная грамота», бывшая для Пастернака преодолением важного душевного барьера, была запрещена.

В начале того же года Пастернак возвращается к решению писать роман о судьбе своего поколения¹⁶. 4 марта 1933 года он пишет М. Горькому: «Я долго не мог рабо-

¹⁴ В письме к О. М. Фрейдсберг от 29 мая 1929 года Пастернак говорил о законченной им «Повести» как о «первой части» большого романа.

¹⁵ «Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами устроить единственное мыслимое и достойное существование. Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой <...>, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячерстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одухотворенным» («Избранное» т. 2, стр. 498). Ср. текстуально близкое описание в «Докторе Живаго» («Новый мир», 1988, № 1, стр. 94).

¹⁶ Первые наброски этой вещи были сделаны, вероятно, летом 1932 года на Урале, под Свердловском, куда Пастернак выехал (одновременно с группой других писателей, но не в ее составе) для сбора материалов о социалистической реконструкции Урала.

Впечатления об эшелонах раскулаченных (вместе с более ранними — от поездов в деревню зимой 1929/30 года) отразились в рассказе Пастернака, записанном З. А. Масленниковой 17 августа 1958 года: «<...> В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей — стали ездить по колхозам собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу

То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, необразимое горе такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год не мог спать» (З. А. Масленникова в Записки о Пастернаке; рукопись).

По утверждению французского литературоведа Ж. Нива, Пастернак рассказывал ему, что именно там, на даче под Свердловском, он «написал много кусков будущего «Доктора Живаго» (у партизан, в Сибири). Но я был еще далек от мысли о «Докторе Живаго» в том виде, в каком он сложился» (Boris Pasternak. Colloque de Cerisy-la-Salle. Paris. Institute d'Etudes slaves. 1979, p. 522).

тать, Алексей Максимович, потому что работою считаю прозу, и все она у меня не выходила. Как только округлялось начало какой-нибудь задуманной вещи, я в силу материальных обстоятельств (не обязательно плачевных, но всегда, все же,— реальных) его печатал. Вот отчего все обрывки какие-то у меня и не на что олягнуться. Я давно, все последние годы мечтал о такой прозе, которая как крышка бы на ящик легла на все неоконченное и досказала бы все фабулы мои и судьбы.

И вот совсем недавно, месяц или два, как засел я за эту работу, и мне верится в нее и очень хочется работать. На ближайший месяц мне и незачем ее оставлять,— пока что можно. Но мне долго придется писать ее».

Так и оказалось. Работа (с перерывами) затянулась на годы, но в конце концов, как и предыдущие попытки большой прозы, осталась неисполненной.

В мае 1934 года был арестован О. Э. Мандельштам, написавший стихи о Сталине: «Мы живем, под собою не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. Только слышно кремлевского горца, душегуба и мужикоборца...» Чтобы вступить за автора этих стихов, уже в то время, «сравнительно вегетарианское», как говорила Ахматова, требовалось незаурядное мужество. Пастернак вступился¹⁷. По его просьбе Н. И. Бухарин обратился к Сталину с личным письмом, в котором упоминал, что «и Пастернак тоже волнуется». Благодаря этому заступничеству гибель поэта была на несколько лет отсрочена. По этому поводу в июне Сталин звонил Пастернаку.

Летом 1934 года на Первом всесоюзном съезде советских писателей творчеству Пастернака в выступлениях и дискуссиях было отведено значительное место. На этом съезде он был избран членом правления Союза. Его явно выдвигали на авансцену литературной жизни. Для Пастернака, переживавшего острый период «борений с самим собой», мучительно стремившегося не «отпасть от истории»¹⁸ и в то же время с ужасом всматривавшегося в процесс поглощения «действительности» «мнимостью», идущий с нарастающей скоростью, это положение было непереносимо фальшивым.

Свое краткое выступление на съезде 29 августа 1934 года он завершил словами: «Есть нормы поведения, облегчающие художнику его труд. Нужно ими пользоваться. Вот одна из них.

Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными, но да минует нас опустошающее человека богатство. «Не отрывайтесь от масс»,— говорит в таких случаях партия. Я ничем не завоевал права пользоваться ее выражениями. «Не жертвуйте лицом ради положения»,— скажу я совершенно в том же, как она, смысле. При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать социалистическим сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой и дельной и плодотворной любви к родине» (цитируем по выправленной Б. А. Пастернаком стенограмме, хранящейся в его архиве).

Спустя два месяца, 30 октября, Пастернак писал своей двоюродной сестре: «...хотел бы обо всем забыть и ударить куда-нибудь на год, на два, страшно работать хочется. Написать бы наконец впервые что-нибудь стоящее, человеческое, прозой, серо, скучно и скромно, что-нибудь большое, питательное».

Свидетельство работы над этой прозой осенью 1934 года оставлено Пастернаком в письме отцу от 25 декабря 1934 года:

«Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому новому мне нечего показать. Было бы плохо, если бы я этого не понимал. Но, по счастью, я жив, глаза у меня открыты, и вот я спешно переделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэта — пушкинского. Ты не воображай, что я думаю себя с ними сравнивать. Я их называю, чтобы дать тебе понятие о внутренней перемене».

27 января 1935 года на вечере поэта Дмитрия Петровского в Доме писателей на вопрос не раз писавшего о Пастернаке критика А. К. Тарасенкова о его «генеральной прозе» Пастернак ответил: «Вы очень правы, называя ее генеральной... Она для меня крайне важна. Она движется вперед хоть и медленно, но верно. Материал — наша

¹⁷ Во времена, когда «горе возвели в позор», помощь (нравственную и материальную) жертвам репрессий и их близким Пастернак ощущал своим неотъемлемым долгом. 21 апреля 1933 года он писал Г. Э. Сорокину: «Тут со знакомыми» всякие напасти: мужей судят и ссылают, а женам с детьми паспортов не выдают: вот и хлопочу» («Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1979 г.», Л. 1981, стр. 216).

¹⁸ В письме к М. И. Цветаевой от 20 апреля 1926 года Пастернак, работая над «Спекторским», писал «о продолжении усилий, направленных на то, чтобы вернуть истории поколение, видимо, отпавшее от нее и в котором находимся я и ты...»

современность. Я хочу добиться сжатости Пушкина. Хочу налить вещь свинцом фактов. Факты, факты... Вот возьмите Достоевского — у него нигде нет специальных пейзажных кусков, — а пейзаж Петербурга присутствует во всех его вещах, хоть они и переполнены одними фактами. Мы с потерей Чехова утеряли искусство прозы. <...> Очень трудно мне писать настоящую прозаическую вещь, ибо кроме личной поэтической традиции здесь примешивается давление очень сильной поэтической традиции XX века на всю нашу литературу. Моя вещь будет попыткой закончить все мои незаконченные прозаические произведения. Это продолжение «Детства Люверса». Это будет дом, комнаты, улицы — и нити, тянущиеся от них повсюду. Я понял недостатки «Охранной грамоты». Хоть я и давал там динамическое определение искусства, но всю действительность ощущал только как материал для эстетики. Это плохо. Нужны факты жизни, ценные сами по себе. Пусть это будет неудачей, я даже наперед знаю, что вещь провалится, но я все равно должен ее написать. 2—3 года тому назад она была мне неясна, я давал слишком много «оценок» явлениям. Теперь это мне кажется наивным. Время разрешило вопросы, встававшие тогда передо мной. Поэтому это у меня будет честный роман с очень большим количеством фактов»¹⁹

Но продолжать эту работу Пастернаку становилось все труднее.

1 декабря 1934 года был убит С. М. Киров. Над страной нависла тень террора. Через несколько дней в газетах замелькали сообщения о расстрелах «членов террористических контрреволюционных организаций». 23 декабря центральная печать оповестила об аресте бывших «лидеров оппозиции» Зиновьева и Каменева. Начались аресты, до тех пор немногочисленные, и в писательской среде. В Ленинграде в связи с убийством Кирова приступили к массовой высылке из города «нежелательных элементов». По всей стране во всех учреждениях и организациях (конечно, и писательской) была развернута кампания по повышению бдительности, вызвавшая вакханалию доносов и чисток.

В феврале 1935 года Пастернак пишет О. Силловой-Петровской, вдове левовца В. Силова (расстрелянного в 1930 году): «...Мне хочется написать роман, настоящий, с сюжетом, и чтобы это было в наши дни. Я его начал, и Олечка, как трудно писать хорошо и просто!»²⁰ Но на этот раз разрешить внутренний нравственный конфликт полным погружением в любимую работу, как это бывало раньше, не удалось. В письме к Т. Табидзе от 10 марта 1935 года уже ощутимы признаки подступающего душевного кризиса. В нем Пастернак жалуется своему грузинскому другу на «серую, обессиливающую пустоту», отнимающую у него возможность писать: «Что же будет с работой, если это повторится завтра?»²¹

К лету 1935 года Пастернак оказался «на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы». В этом состоянии «внутреннего ада» почти насильно он был в июне отправлен в Париж для участия в Международном конгрессе в защиту культуры по личному распоряжению Сталина, уступившего настоятельным просьбам французских устроителей включить Пастернака в состав делегации советских писателей. Овадии, устроенные ему собравшимся при его появлении на конгрессе 24 июня, в канун его закрытия, панегирические оценки его поэтических достижений, неудача долгожданной встречи с Мариной Цветаевой, которой он не смог рассказать о мучившем его душевном разладе, только усугубили его «болезнь».

Через восемнадцать лет, находясь после перенесенного инфаркта в том самом санатории Болшево, куда он поехал по возвращении из Парижа летом 1935 года, в письме своему другу В. Ф. Асмусу Пастернак так описал свое тогдашнее состояние: «...я был на 18 лет моложе, Маяковский не был еще обожествлен, со мной носились, посылали за границу, не было чепухи и гадости, которую я бы не сказал или не написал и которой бы не напечатали, у меня в действительности не было никакой болезни, а я был тогда неправомо несчастен и погибал, как заколдованный злым духом в сказке. Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружения, которое мирволило мне, что-нибудь такое, что выполняю только путем подлога. Задача была неразрешима, это была квадратура круга, я бился о неразрешимость намерения, которое застигло меня все горизонты и загоразивало все пути, я сходил с ума и погибал. Удивительно, как я уцелел, я должен был умереть тогда...

А теперь у меня сердечная болезнь, не считающаяся вымыслом, я за флагом, не в чести, все знаки переменялись, все плюсы стали минусами, но я счастлив, здоров,

¹⁹ А. К. Тарасенков. Пастернак. (Рукопись.)

²⁰ О. Силлова-Петровская. Воспоминания о Пастернаке. (Рукопись.)

²¹ «Литературная Грузия», 1966, № 1, стр. 82.

весел и бодр и с совершенной легкостью сажусь за никому не нужного и не отделимого от меня Живаго, за то самое окно, которое было мне 18 лет назад тупиком и у которого я тогда ничего не мог и не знал, что мне делать».

Внутренний выход нашелся. В августе 1935 года Пастернак попытался возобновить работу над прозой. Это означало, что им был взят еще один душевный барьер. «Я не стал спать больше прежнего,— писал он в это время З. Н. Пастернак,— но я принялся за работу, и внутренний ад, в котором я находился 4 месяца, кончился. <...> Не беспокойся обо мне. Утром, лежа в постели, я мечтал: к зиме, за работой, я приду к какому-то равновесью, если не к прежнему, то к какому-то новому. Вещь надо будет за эту зиму написать великолепную по силе подлинности, по сжатой душевности и краске... Этим летом меня не было на свете, и не дай Бог никому из вас узнать те области зачаточного безумья, в которых, сдерживаясь и борясь против них, я пребывал».

Спешные переводные работы приостановили продолжение «генеральной» прозы до весны 1936 года. Но события минувших месяцев в истории страны и в биографии Пастернака многое досказали во всех его незавершенных «фабулах и судьбах». Именно в этот период Пастернак со всей остротой ощутил нравственную неизбежность прямого разговора со своим временем «о жизни и смерти», от которого уклонился звонивший ему в 1934 году Сталин. Бесповоротно принятое решение положило конец бессонице и болезни и в ближайшие месяцы привело поэта к общественным поступкам, представлявшимся немислимыми и просто самоубийственными с точки зрения воцарившихся тогда норм социального поведения²².

Само время, как могло казаться в осенние месяцы 1935 года, проявляло готовность к такому разговору. Шла подготовка проекта новой Конституции, с принятием которой связывались надежды на укрепление законности в стране. Москва была полна слухов о предстоящих в будущем году радикальных демократических реформах. Газеты каждый месяц приносили сообщения, с основанием воспринимавшиеся как подтверждение правдивости всеобщей молвы. В сентябре было напечатано постановление о предстоящей отмене карточек на продовольственные товары, встреченное ликованием. В этот же месяц в армии были восстановлены некоторые воинские звания, упраздненные революцией, и слово «офицер» утратило оловозный смысл. Вслед за тем было объявлено об отмене ограничений прежде налагавшихся социальным происхождением, и возвращены гражданские права категории так называемых лишенцев. В конце года появилось сообщение о реабилитации качества. Несколько позже, в феврале 1936 года, были освобождены из заключения инженеры-«вредители», проходившие в 1930 году по делу Промпартии. Но самой эффектной бытовой эмблемой предполагаемых перемен к лучшему было восстановление запрещенного в 1929 году празднования Нового года с его непременной и так любимой Пастернаком участницей — рождественской елкой²³.

Много позже, в 1956 году, вспоминая об этом времени, Пастернак признавался, что оно казалось ему порой «прекращения жестокостей»²⁴. Так мог он думать и по личным, мало кому известным тогда причинам.

В записных книжках Ахматовой, содержащих план не написанной ею книги воспоминаний, есть краткая заметка: «Пастернак в 1935 г. Письмо Сталину»²⁵. Существует несколько мемуарных свидетельств, проясняющих смысл этой записи. Одно из них, наиболее детальное и достоверное, принадлежит близкому другу Ахматовой Э. Г. Герштейн и восходит непосредственно к рассказу самой Ахматовой:

«Осенью Анна Андреевна неожиданно появилась в Москве, пришла ко мне, проинесла вместо приветствия только одну фразу: «Они арестованы». «Они» — это ее муж

²² Эти малоизвестные факты биографии Пастернака полностью разрушают до сих пор бытующий в литературной среде образ поэта — «гениального дачника», восходящий к недоброй писательской шутке

²³ Это событие имеет в виду Пастернак в стихотворении «Я понял: все живо...»: «И новые годы, покинув ангар, рванутся под своды январских фанфар» (опубликовано в новогоднем номере «Известий»). При следующей публикации этого стихотворения в журнале «Знамя» (1936, № 4) из него были изъяты несколько строф, в том числе вторая, начинавшаяся строчками: «Бывали и боины и поед живьем...»

²⁴ Запись от 11 февраля 1956 года на машинописной копии цикла «Несколько стихотворений» Текст записи опубликован в кн.: О. Ивинская. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. Fayard. 1978. стр. 95—96.

²⁵ Е. И. Лямкина, «Вдохновение, мастерство, труд (Записные книжки Ахматовой)» («Встречи с прошлым». М. 1980, вып. 3, стр. 381).

Николай Николаевич Пунин и сын Лев Николаевич Гумилев²⁶. Она переночевала у меня, наутро я ее проводила в Нащокинский переулок, не знаю к кому²⁷. Два дня я провела в беспокойстве, ничего не зная, пока Анна Андреевна меня не вызвала в тот же Нащокинский, но встречу назначила у ворот двора писательского дома. Оттуда мы поехали к Сейфуллиной, где я ее и оставила. Опять прошли два дня в тревоге и неведении. Наконец телефонный звонок, и снова одна только фраза: «Эмма, они дома». Она звонила от Пильняка и звала меня туда. Там — ликованье, даже с гостями, но Анна Андреевна успела посидеть со мной и отдельно и рассказать, что произошло.

Было написано два письма Сталину, переданные, очевидно, в одном конверте. Одно — от Бориса Леонидовича, другое от самой Анны Андреевны. Передачу этих писем в руки Сталину обеспечила, по-видимому, Сейфуллина²⁸. Повез Ахматову к Троицкой будке Кремля Б. А. Пильняк в своей машине. Письма передала Ахматова со своим паспортом тому чину в комендатуре, с которым была уже предварительная договоренность.

Эффект письма был мгновенный. Оба арестованных были отпущены Сталиным.

Тут же, в доме Пильняка, Анна Андреевна рассказала содержание обоих писем. Борис Леонидович описал ее скромную жизнь, «она никогда не жалуется на свое положение, ничего ни у кого не просила», но сейчас «состояние ее ужасно». Удивительную «слезницу» написала Ахматова. Она р у ч а л а с ь, что Н. Н. Пунин и Л. Н. Гумилев не политические заговорщики и не контрреволюционеры. «Помогите, Иосиф Виссарионович», — заканчивалось это письмо. И Сталин помог.

Об этом благородном вмешательстве Пастернака в судьбу Ахматовой мало кто знает²⁹.

После этого эпизода Пастернак мог считать свой прерванный диалог с вождем, вонлощавшим «время», возобновленным. Как следующую реплику в этом диалоге имел он основание расценить сталинский афоризм о Маяковском, обнародованный в начале декабря 1935 года.

«Были две знаменитые фразы о времени, — вспоминал он в автобиографическом очерке 1956 года. — Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре съезда писателей».

Следующие слова очерка воспринимаются как автореферат этого неизвестного декабрьского письма: «Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю».

Завершил этот несильный диалог стихотворение «Мне по душе строптивый норов», напечатанное в новомодном номере «Известий» 1936 года. Пастернак заключил его строками «о Сталине и о себе»: «Он верит в знанье друг о друге предельно крайних двух начал». Впоследствии он назвал эти стихи «искренней, одной из сильнейших (последней в тот период) попыток жить думами времени и ему в тон»³⁰.

На фоне напряженных общественных ожиданий благодетельных перемен появившаяся 28 января в «Правде» статья «Сумбур вместо музыки», посвященная опере Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», произвела впечатление шока. В неслыханно грубой и безграмотной форме шельмующая творчество одного из лучших современных композиторов, она положила начало целой серии подобных статей в этой же и во многих других газетах, разом бросившихся отыскивать и разоблачать оковавшихся во всех областях художественной жизни «формалистов». Когда же стало ясно,

²⁶ Н. Н. Пунин и Л. Н. Гумилев были арестованы 27 октября 1935 года. Ахматова приехала в Москву в последних числах этого месяца 3 ноября, оба были освобождены.

²⁷ В писательском доме в Нащокинском переулке жила близкая подруга А. А. Ахматовой Н. А. Ольшевская, у которой обычно останавливалась Ахматова, приезжая в Москву.

²⁸ Об участии в этих хлопотах Сейфуллиной Ахматова рассказывала Л. К. Чуковской (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж 1980. т. 2, стр. 347).

²⁹ Э. Г. Герштейн. Несколько встреч с Борисом Пастернаком (рукопись, цитируется с любезного разрешения автора). Неопубликованные «Воспоминания» Э. Н. Пастернак дополняют этот рассказ существенной деталью: ночь после передачи писем Ахматовой провела на квартире Пастернаков. Именно туда позвонил утром секретарь Сталина Поскребышев с известием об освобождении Н. Н. Пунина и Л. Н. Гумилева.

³⁰ Запись от 11 февраля 1956 года (О. И в и н с к а я. В плену времени, стр. 95).

что инициатором кампании является сам Сталин (на это прозрачно намекала пресса), творческие союзы охватила настоящая паника, вскоре вылившаяся в форму истерических самобичеваний и взаимных поношений, официально именующихся «дискуссией о формализме».

10 февраля 1936 года в Минске открылся III пленум правления Союза советских писателей. 16 февраля на нем выступил Пастернак. С первых же слов он заговорил на странную и не совсем уместную в рамках этого пленума тему, восходящую простотой «толстовской расправы с благовидными и общепризнанными условностями мещанской цивилизации». Развивая далее эту тему, он предложил, чтобы недавно провозглашенный метод социалистического реализма опирался на «бури толстовских разоблачений и бесцеремонностей. Лично для меня именно тут где-то пролегал та спасительная традиция, в свете которой все трескуче-приподнятое и риторическое кажется неосновательным, бесполезным, а иногда даже и морально подозрительным.

Мне кажется, что в последние годы мы в своей банкетно-писательской практике от этой традиции сильно уклонились. <...> Искусство без риска и душевного самопожертвования немыслимо, свободы и смелости воображения надо добиться на практике, <...> не ждите на этот счет директив. <...>

Задача ли правления Союза, чтобы сказать вам: будьте смелее? Это задача каждого из нас, это наша собственная задача. На то каждому ведь и даны ум и сердце».

Обозначив на минском пленуме существо своей общественной позиции. Пастернак, однако, этим не ограничился. 13 марта 1936 года на общемосковском собрании писателей он публично заявил о своем несогласии с директивными статьями «Правды», подтвердив тем самым, что его слова о «риске и душевном самопожертвовании» на пленуме были не пустой декларацией. К сожалению, ни один из печатных органов, бесстрашно разорявших в это время гнезда «формалистов» в музыке, литературе, театре, живописи, не осмелился напечатать это выступление. Из газетных отчетов о его содержании можно узнать лишь, что Пастернак, «не поняв огромного принципиального значения статей, помещенных в нашей печати... пытался огульно охать их заявив, что за этими статьями он не чувствует любви к искусству» («Комсомольская правда», 14 марта 1936 года). Только обозреватель «Литературной газеты» позволил себе (или не смог отказать в удовольствии) процитировать одну-единственную фразу из речи Пастернака, но зато достаточно яркую, чтобы пролить свет на ее общий смысл: «Не орите, а если уж вы орете, то не все на один голос, орите на разные голоса» («Литературная газета», 15 марта 1936 года).

О мере негодования Пастернака, почувствовавшего в тот момент всю фальшь сталинского «социалистического гуманизма», свидетельствует его письмо сестре, посланное 1 октября 1936 года, в такое время, когда немногие отваживались не то что доверять почте, но даже и в уме сочинять письма подобного содержания:

«...Зимой была дискуссия о формализме. Я не знаю, дошло ли все это до тебя, но это началось статей о Шостаковиче, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эпоходобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников, и опять-таки лучших, как, например, Владимир Лебедев и др.

Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и послушать, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лезу заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирался. Оппор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из Союза (очень хороших и иногда близких мне людей) спрашивать о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно. хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали как фронт. <...>

Есть еще одно обстоятельство, невообразимое, так оно на первый взгляд противоречит смыслу. Существуют несчастные, совершенно забытые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливість, на которую они осуждены отсутствием для них выбора, т. е. убожеством своих умственных ресурсов. И когда они слышат человека, полагающего величие революции в том, что и при ней, и при ней в особенности можно

открыто говорить и смело думать, они такой взгляд на время готовы объявить чуть ли не контрреволюционным».

Касаясь непосредственного повода, вызвавшего это письмо,— рецензии Ц. Лейтэзен «Вредная галлиматя» («Известия», 28 сентября 1936 года) на новаторскую книгу О. М. Фрейдэнберг «Поэтика сюжета и жанра»,— Пастернак горько замечал: «Как будто тебе Гомер дальше, чем этой репортерской пешке, своими руками затягивающей петлю на своей собственной шее, точно этому газетчику слишком вольно и надо постараться, чтобы дышать стало еще труднее».

Дышать действительно становилось все труднее. Последняя надежда автора «сталинской» Конституции Н. И. Бухарина на то, что опубликование ее проекта обуздает произвол, царивший в стране, оказалась иллюзией³¹. Текст проекта появился в печати в июне 1936 года. В августе в Москве прошел показательный процесс группы Зиновьева — Каменева, закончившийся смертным приговором всем шестнадцати подсудимым, и под аккомпанемент прессы, прославляющей величие Конституции, началось следствие по «делу» ее творца. Вокруг обреченного Н. И. Бухарина, еще находившегося на свободе, образовалась зараженная зона, и пересекать ее черту было смертельно опасно. В Москве нашелся только один человек, отважившийся на этот шаг. Это был Пастернак.

По свидетельству вдовы Н. И. Бухарина, А. М. Лариной, «в дни тяжелых предарестных событий, когда однажды в газетах сообщили (это была очередная уловка Сталина), что дело Бухарина прекращено, Николай Иванович получил поздравительную телеграмму от Романа Роллана и поздравительное письмо от Пастернака, чем он был глубоко взволнован. А позже, когда во второй половине января 1937 года была снята подпись Бухарина как ответственного редактора газеты «Известия» и стало яснее ясного, что дела Н. И. совсем плохи, Борис Пастернак вновь прислал Бухарину коротенькое письмо, как ни странно, не задержанное. В письме он писал, что «никакие силы не заставят меня поверить в ваше предательство». Он также выражал недоумение происходящими в стране событиями. Получив такое письмо, Николай Иванович был потрясен мужеством поэта, но чрезвычайно озабочен его дальнейшей судьбой»³².

«Именно в 36 году,— вспоминал через двадцать лет Пастернак,— когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35 году казалось), все сложилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал»³³.

С осени 1936 года тон печати по отношению к Пастернаку резко изменился. Если прежде его упрекали в «отрешенности от жизни», «непонятности», «субъективизме» и т. п., то теперь против него были выдвинуты недвусмысленно угрожающие политические обвинения. Последние в этот период стихи поэта (цикл «Из летних записок»³⁴) ответственный секретарь Союза писателей В. П. Ставский публично объявил «клеветой на советский народ». Атмосферу этой кампании (и времени в целом) выразительно передает речь поэта П. (принадлежавшего к числу «друзей» Пастернака), произнесенная 24 февраля 1937 года на пленуме Союза писателей, посвященном столетию со дня смерти Пушкина: «Пусть мне не говорят о сумбурности стихов Пастернака. Это — шифр, адресованный кому-то с совершенно недвусмысленной апелляцией. Это — двурушничество. Таким же двурушничеством богаты за последнее время и общественные поступки Пастернака. Никакой даровитостью не оправдать его антигражданственных поступков (я еще не решаюсь сказать сильнее). Дело не в сложности форм, а в том, что Пастернак решил использовать эту сложность для чуждых и враждебных нам целей»³⁵.

³¹ Ср. слова Дудорова в эпилоге романа.

³² «Огонек», 1987, № 48. Второе письмо Пастернака было вызвано, вероятно, сообщением в газетах от 23 января о возобновлении следствия по делу Бухарина. В этот же день в Москве начался новый «открытый» процесс Радека, Сокольников и др., давших новые «показания» против Бухарина.

³³ Запись от 11 февраля 1956 года (О. И в и н с к а я. В плену времени, стр. 95).

³⁴ «Новый мир», 1936, № 10.

³⁵ Комментируя это выступление, А. К. Гладков пишет в своих воспоминаниях: «Речь X на первый взгляд может показаться странной. Почему он, сам подлинный, тонкий поэт, присоединился к грубым, демагогическим нападкам на Пастернака? Понять это можно только, если представить психологиче времени, насыщенного страхом и вошедшей в норму человеческого обихода подлостью. Откройте любой лист газеты того времени, и вы увидите, как часто завтрашние жертвы, чтобы спастись, обливали грязью жертвы сегодняшнего дня» (А. К. Г л а д к о в. Встречи с Пастернаком; рукопись).

Дневниковая запись А. К. Тарасенкова сохранила слова Пастернака в их разговоре 1 ноября 1939 года, когда репрессии шли на убыль.

«В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый³⁶. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически, <...> нужен живой человек — носитель этого трагизма.

В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть, — даже Т., которого я люблю, приезжая в Москву, останавливался у Л., не звонил мне, при встрече — прятал глаза. Даже И., честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал всякие гнусности³⁷, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу — искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в нее железное кольцо, его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу — в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым понравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все еще, довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике»³⁸.

Опыт пережитых лет навсегда научил Пастернака «быть равным самому себе» и «не отступаться от лица» ни в каких «положениях». Верность «голосу жизни», чувство внутренней свободы и нравственной независимости помогли ему сохранить ощущение творческого счастья, без которого он не мыслил своей работы, в самые тяжелые времена.

В мае 1936 года, вскоре после своего вмешательства в «дискуссию о формализме», Пастернак писал отцу:

«...Ядром, ослепительным ядром того, что можно назвать счастьем, я сейчас владею. Оно в той, потрясающе медленно накапливающейся рукописи, которая опять, после многолетнего перерыва ставит меня в обладание чем-то объемным, закономерно расширяющимся, живо прирастающим точно та вегетативная нервная система, расстройством которой я болею два года тому назад. У всех здоровье смотрит на меня с ее страниц и ко мне отсюда возвращается <...>».

В октябре того же года, уже находясь в угрожаемом положении, он сообщил О. М. Фрейденберг: «Как раз сейчас, дня два-три, как я урывками взялся за сюжетную совокупность, с 32 года преграждающую мне всякий путь вперед, пока я ее не осилю, — но не только недостаток сил ее тормозит, а оглядка на объективные условия, представляющая весь этот замысел невозможным по наивности притязаньем. И все же у меня выбора нет, я буду писать эту повесть»

Попытки продолжать работу над «генеральной» прозой были надолго оставлены Пастернаком только в 1938 году, как явствует из его письма А. К. Чуковской от 5 ноября 1938 года, в котором он говорит о своем намерении перевести шекспировского «Гамлета»:

«...Если бы можно было и имело бы смысл (не для друзей и благожелателей, а вообще неизвестно ради кого) продолжать эту прозу (которую я привык считать частью некоторого романа), то я зазимовал бы в Переделкине, потому что широте решения соответствовала широта свободнейших рабочих выводов <...>

Но не составляя в этом отношении исключения из остальных моих повествовательных попыток (также и в стихах), хромает и это начинанье, и совершенно не интересно, с добра или от худа хромает эта проза, так показательна ее хромота в тех внешних испытаниях, где художественным притязаньям первым делом не полагается хромать» (архив А. К. Чуковской).

Десять лет спустя, когда Пастернак заканчивал первую книгу «Доктора Живаго»,

³⁶ «Что тогда сохранило Пастернака? Трудно сказать. Известно только, что в 1955 г. молодой прокурор Р., занимавшийся делом по реабилитации Мейерхольда, был поражен, узнав, что Пастернак на свободе и не арестовывался: по материалам «дела», лежавшего перед ним, он проходил соучастником некоей вымышленной диверсионной организации работников искусства, за создание которой погибли Мейерхольд и Бабель. Еще в этом деле мелькало имя тоже не арестовывавшегося Ю. Олеши» (А. Р. Гладков в Встречи с Пастернаком; рукопись)

³⁷ В 1937 году во время процесса по делу Якира, Тухачевского и других среди писателей собирали подписи под письмом одобряющим смертный приговор. «Когда пять лет назад, — вспоминал Пастернак в письме К. И. Чуковскому от 12 марта 1942 года, — я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно он кричал: «Когда кончится это толстовское юродство?»

³⁸ А. К. Тарасенков. Пастернак. (Рукопись.)

знакомая Пастернака, студентка филологического факультета МГУ Н. Муравина занесла в свой дневник содержание их телефонного разговора, помогающего понять, что именно в своей прозе 30-х годов Пастернак ощущал как «хромоту»: «...я спросила его о «Надменном нищем», обнаруженном мной в старом журнале. «Это часть того же замысла, что и роман.— объяснил Б. А. — Но там — один лишь быт. Художник вправе спокойно заниматься бытом, когда литература нормально существует и есть единство в понимании вещей. Тогда все получает объяснение само собой». «Но там очень густо дана Москва!» — вступилась я за рассказ, о котором он теперь слишком пренебрежительно отзывался. Он возразил: «Да, многие, в том числе и вы, будете говорить о густоте жизни, но когда писатель идет вразрез с общими взглядами, приходится истолковывать самого себя, свое мировоззрение. Если писатель не может быть понят на фоне общераспространенных представлений, мало живописать быт»...»

Сохранившиеся «начало прозы 36 года» (так назвал Пастернак в 50-е годы 74 машинописные страницы с правой, убереженные от сожжения З. Н. Пастернак³⁹) слишком невелики по объему, чтобы с уверенностью судить о замысле, сюжете и хронологических рамках романа в целом. Можно лишь утверждать на основании имеющихся источников, что повествование охватывало куда больший жизненный пласт по сравнению с уцелевшими главами, относящимися в основном к событиям 1905 года. В 1942 году в Чистополе на Каме Пастернак объяснял А. К. Гладкову, что ему «очень мешало писать этот роман все время меняющееся из-за политической конъюнктуры отношение к империалистической войне». В январе 1935 года, рассказывая в письме жене о продвижении работы, Пастернак досадовал, что он «уперся в такое место, которое требует подготовительного чтения (по истории гражданской войны и пр.)». И далее: «...намелись узлы в разных временах (разрядка наша.— В. Б., Е. П.), разрослась фабула, замысел как бы расположился в пространстве».

Уцелевшая машинопись была найдена В. А. Мильман, секретаршей Вс. Вишневского, главного редактора журнала «Знамя», при разборе его бумаг. На второй странице записан рукою Пастернака вариант заглавия «Начало романа о Патрике». Рукопись романа, все следы подготовительных работ и главы продолжения погибли зимой 1941/42 года при пожаре дачи Вс. Иванова в Переделкине, куда Пастернак осенью 1941 года перед эвакуацией перенес сундук со своим архивом и работами отца.

В рукописном отделе Института мировой литературы (ф. 120.1.30) сохранилась обложка предложенного к печати фрагмента романа с двумя зачеркнутыми названиями — «Когда мальчики выросли» и «Записки Живульта».

Смысловое тождество фамилий Живульта и Живаго очевидно и само по себе свидетельствует об их несомненной эмблематичности, а не случайном происхождении⁴⁰. Еще большее значение для осмысления единства всего творческого пути Пастернака приобретает это тождество, если учесть, что в рукописях ранних набросков прозы начала 10-х годов, объединенных общим героем — художником с загадочным именем Реликвимини (иначе — Релинквимини⁴¹), во фрагменте, носящем заглавие «Смерть Реликвимини»⁴², встречается вариант его имени — Пурвит (от французского *pour vie* — ради жизни), образующего вместе с двумя другими — Живульта и Живаго — триаду тождественных по смыслу имен-эмблем. В тройственной форме этого по существу единого имени заключена центральная интуиция всего пастернаковского творчества — интуиция бессмертия жизни. Его герои — поэт Реликвимини-Пурвит, возникший в самом начале творческого пути Пастернака, и поэт Юрий Живаго, этот

³⁹ Пять фрагментов этой прозы были опубликованы в конце 30-х годов.

⁴⁰ Это не исключает, конечно, возможности или выбора из числа обиходных. Так, например, фамилия Живаго была не редкость в Москве (с одной семьей Живаго был знаком и Пастернак) и могла дополнительно осмысляться автором как символ причастной к вечности «московской жизни» (ср. определение Москвы в последних строках эпилога романа: «святой город»).

⁴¹ В письме А. Л. Штиху от 10 июля 1914 года Пастернак предлагал ему это имя в качестве «псевдонима-эмблемы». Е. В. Пастернак, производя это имя от латинского *gelinguo* — «оставлять», истолковывает его следующим образом: «Пастернак, чувствуя себя в долгу перед очевидной наглядностью неодушевленных миров и предметов, обреченных на смерть и забвение и зывающих к его душе, позирующих ему, именем своего героя Реликвимини обещает: «Вы пребудете, вы останетесь». (Е. В. Пастернак, «Из ранних прозаических опытов Б. Пастернака». — «Памятники культуры. Новые открытия». 1976. М. 1977 стр. 138)

⁴² Вместе с пятью другими этот фрагмент опубликован в диссертации шведской исследовательницы творчества Пастернака (Анна Юнггрен. *Juvenilia В. Пастернака*. 6 фрагментов о Реликвимини. Stockholm. 1984, стр. 8)

путь увенчивающий, — страдают и умирают⁴³, чтобы чудо жизни обрело бессмертие в их слове⁴⁴. Можно предположить, что та же тема лежала в основе не оконченных Пастернаком «Записок Патрикия⁴⁵ Живульта».

Нетрудно заметить, что эта триада имен Пурвит — Живульт — Живаго несет в себе еще один, дополнительный, смысл, образуя своего рода лингвогеографический вектор движения с запада на восток — от романтически окрашенного псевдонима французского происхождения через подобию западнославянской фамильной формы (Живульт⁴⁶) к старой русской фамилии Живаго (церковнославянский генетив от «живой») — и, возможно, символически отражая процесс изменения духовной и культурной ориентации автора⁴⁷.

«Записки Патрикия Живульта» — «генеральная» проза Пастернака 30-х годов — были несомненно важнейшим звеном, связующим воедино все прежние попытки «большого романа» с замыслом «Доктора Живаго». Целый ряд мотивов, положений, имен и топонимов в дошедшей до нас части («Начало прозы 36 года») указывает на это с полной ясностью. Композиция этой части воспроизводит композицию «Повести» (действие начинается на Урале во время первой мировой войны и затем переносится в начало 1900-х годов). Явная претендентка на роль героини Евгения Викентьевна Истомина — это выросшая Женя Люверс, хотя обстоятельства ее детства изложены иначе, чем в ранней повести. Ее муж, «физик и математик» в гимназии уральского города Юрятина, ушел на войну добровольцем и пропал без вести. Облик Истомина в «романе о Патрике» предвосхищает некоторые черты будущей Лары Антиповой. Как и героиня «Доктора Живаго», Истомина одна воспитывает дочь Катю. В образе Патрикия, от имени которого ведется повествование, легко опознаются автобиографические черты, с одной стороны, и признаки, сближающие его с Юрием Живаго, — с другой. Первый воспитатель рано осиротевшего Патрика — беспутный «дядя Федя» («Надменный нищий»), коротко упомянутый в «Докторе Живаго», говорит о «лошадиной морде» мальчика⁴⁸ и о его «пробах пера». Настоящее воспитание Патрик получает в доме Александра Александровича и Анны Губертовны (в «Докторе Живаго» — Анны Ивановны) Громeko вместе с их дочерью Тоней, которая впоследствии становится его женой и матерью его сына Шуры. Мотивы влечения Патрика к Истоминой предвосхищают описания чувств Юры к «девочке из другого круга»: «Истомина единственная из нас была человеком с откровенно разбитой жизнью. Она всех полнее отвечала моему чувству конца. Не посвященный в подробности ее истории, я в ней угадывал улику времени, человека в неволе, помещенного во всем бессмертии его задатков в грязную клетку каких-то закабальюющих обстоятельств. И прежде всякой тяги к ней самой

⁴³ Параллель Пурвит — Живаго подчеркнута сходством обстоятельств их смерти в трамвае. Образ «трамвайной смерти» поэта встречается в русской поэзии XX века у О. Мандельштама: «Мы с тобою поедем на А и на Б посмотреть, кто скорее умрет» (стихотворение «Нет, не спрятаться мне от великой мурлы...»).

⁴⁴ Ср.: «Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь» («Доктор Живаго»).

⁴⁵ Имя Патрикий тоже выбрано не случайно, и этот выбор может быть объяснен сопоставлением его значимой «внутренней формы» с одним из ранних вариантов заглавия будущего «Доктора Живаго» (см. ниже) — «Нормы нового благодетства». Таким образом, смысл словосочетания Патрикий Живульт приблизительно может быть передан выражением типа «рыцарь жизни».

⁴⁶ Появление западнославянской фамилии Живульт может быть объяснено биографическими обстоятельствами. Осенью 1935 года, когда Пастернак выходил из мучительного душевного кризиса (см. выше), это «возвращение к жизни» совпало с выходом в Праге его книги стихотворений в переводе крупного чешского поэта Йозефа Горы («Lyrika. Prel. Josef Hora». Praha, 1935). Корректурa стихотворений была прислана Пастернаку в сентябре 1935 года. «Переводы Горы меня глубоко взволновали», — рассказывал позже Пастернак австрийскому писателю Фр. Брюгелю («Вопросы литературы», 1979, № 7). Он откликнулся на них стихами: «На днях я вышел книгой в Праге... Мир стал невиданно широк» («Знамя», 1936, № 4). Стихи эти озаменовали конец периода лирического молчания Пастернака.

⁴⁷ Ср. в стихотворении «Весеннею порою льда...» (1931) из сборника «Второе рождение» строки:

Уходит с Запада душа,
Ей нечего там делать.

⁴⁸ Лошадиные черты внешности Пастернака с легкой руки Цветаевой («похож на араба и его лошадей») стали устойчивой ассоциацией его облика. «Как конский глаз с подушек, жаркий, искоса гляжу», — писал он сам в стихотворении «Мне в сумерках ты все пансионеркою...» (1918). Ср. стихотворение Ахматовой: «Он, сам себя сравнивший с конским глазом».

меня потянуло к ней именно в эту клетку»⁴⁸. Их сближению, фабульно не завершеному, предшествует отъезд семьи Патрика с Урала. Внимательный читатель, потрудившись сравнить оба текста, может обнаружить еще немало признаков их сходства. Стилистический облик «начала прозы 36 года» уже достиг той степени прозрачности, которая является главной особенностью поэтики «Доктора Живаго».

И все же Пастернак не смог дописать этого сюжета так ясно завязанного романа. В конце 30-х годов ему недоставало «далекого отголоска» живой человеческой реальности, того чувства «всеобщности» социальной связи, основанной на единстве ценностных представлений, без которой обращение художника к большой романной форме фатально обречено на провал. Достаточно сравнить пастернаковские письма 10—20-х годов с немногочисленными письмами конца 30-х, чтобы почти физически ощутить в последних катастрофическое падение жизненного напора.

«Личное творчество кончилось. Я ушел в переводы», — много лет спустя написал Пастернак об этом времени.

«Последние месяцы меня преследовал страх, как бы какая-нибудь случайность не помешала мне довести перевод до конца», — признавался Пастернак 14 февраля 1940 года О. М. Фрейденберг, рассказывая ей о своей работе над «Гамлетом» Шекспира. «Под влиянием этого страха я не отвечал папе и оставил без ответа твое письмо. <...> На днях я сдал перевод, <...> каким счастьем и спасеньем была работа над ним! <...> Вышнее, ни с чем не сравнимое наслаждение читать вслух без купюр хотя бы половину. Три часа чувствуешь себя в высшем смысле человеком: чем-то небесловесным, независимым, горячим, три часа находишься в сферах, знакомых по рождению и первой половине жизни, а потом в изнеможенье от потраченной энергии падаешь неведомо куда, „возвращаешься к действительности“»⁴⁹.

Из письма к ней же от 4 февраля 1941 года:

«Благодетелю нашему⁵¹ кажется, что до сих пор были слишком сантиментальны и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью неподходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое, — Грозный, опричина, жестокость. На эти темы пишутся новые оперы, драмы и сценарии. Не шутя. Меня в последнее время преследуют неудачи, и если бы не остаток какого-то уваженья в неофициальной части общества, в официальной меня уморили бы голодом. Ты сказала Ахматовой, будто я занят прозой. Куда там! Я насилу добился, чтобы несамостоятельный труд, который мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь стоящему, вроде Ромео и Джульетты⁵². <...> Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так недолго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею. И все это остается невыраженным».

В эти трудные годы выбор Шекспира в качестве «вечного спутника» и живого собеседника был продиктован Пастернаку не только необходимостью зарабатывать на жизнь, но и глубоко личными мотивами

«Шекспир всегда будет любимцем поколений, исторически зрелых и много переживших. Многочисленные испытания учат ценить голос фактов, действительное познание, содержательное и нешуготное искусство реализма.

Шекспир остается идеалом и вершиной этого направления. <...>

Он наложил на свои труды более глубокий личный отпечаток, чем кто-либо до или после него.

Его присутствие чувствуется в них не только со стороны их оригинальности. Когда в них заходит речь о добре и зле, о лжи и правде, перед нами возникает образ, непредставимый в обстановке рабства и низкопоклонства. <...>

⁴⁸ Образ «человека в неволе, в клетке» поясняет происхождение еще одной «говорящей» фамилии в романе «Доктор Живаго» — Гишар (от французского guichet — тюремное окошко). Судьба Лары Гишар, начавшаяся метафорической «клеткой обстоятельства», оканчивается реальной тюремной решеткой. В черновых набросках к роману брат Лары Родион после революции меняет фамилию Гишар на Решетников.

⁴⁹ «Страх», упоминаемый в письме, был вызван арестом В. Э. Мейерхольда (15 июля 1939 года), заставившего Пастернаку перевод «Гамлета», и зверским убийством его жены З. Н. Райх (20 июля) Вольшым потрясением для Пастернака были аресты мужа и дочери М. И. Цветаевой (октябрь 1939 года), незадолго до этого вернувшейся из Парижа (16 июня 1939 года)

⁵¹ Сталину Речь в письме идет о романе А. Н. Толстого «Петр I» и о его же одноименной пьесе о заказанной тому же автору пьесе «Иван Грозный» и работе С. Эйзенштейна и С. Прокофьева над фильмом «Иван Грозный».

⁵² Перевод «Ромео и Джульетты» Шекспира был начат накануне войны и закончен в Чистополе в 1942 году.

В отношении Шекспира уместны только совершенная естественность и полная умственная свобода. К первой я, как мог, готовился в скромном ходе моих собственных трудов, ко второй подготовлен своими убеждениями»⁵³.

Свой перевод «Гамлета» Пастернак просил «судить как русское оригинальное драматическое произведение».

«Трагический тяжелый период войны был живым (трижды подчеркнуто Пастернаком) периодом и в этом отношении вольным радостным возвращением чувства общности со всеми», — вспоминал Пастернак в 1956 году⁵⁴.

Во время войны «Борис Леонидович был очень бодр, настроен неслыханно патриотически, рвался ехать на фронт»⁵⁵.

«Мы приехали тогда (в Чистополь. — В. Б., Е. П.) взбудораженные историческим вихрем... Все было взрыто во мне — благодарная почва для обновленного, внутренне освеженного восприятия всего на свете, как в молодости или в поворотные моменты каждого из нас»⁵⁶.

В письме к Т. В. и Вс. Ивановым, отправленном 12 марта 1942 года из Чистополя в Ташкент, Пастернак делился «нравственной новинкой» в себе и окружающих, которая «праздником живет в нас», рассказывал о попытках заговорить по-другому, о новом духе большей гордости и независимости, надеялся, что «если не все мы, то двое-трое из нас с безличьем и бессловесностью последних лет расстался безвозвратно».

Но надежды Пастернака в этот период установить живые связи с «нравственно обновленной» литературной средой, отшатнувшейся от него в 30-е годы, постепенно сменились тяжелым разочарованием в ней.

«Меня раздражает, — писал он жене, — все еще сохраняющийся идиотский трафарет в литературе, делах, печати, цензуре и т. д. Нельзя после того, как люди нюхнули порошу и смерти, посмотрели в глаза опасности, прошли по краю бездны и пр. и пр., выдерживать их на той же глупой, безотрадной и обязательной мало-содержательности, которая не только на руку власти, но и по душе самим пишущим, людям в большинстве неталантливым и творчески слабосильным, с ничтожными аппетитами, даже и не подозревающими о вкусе бессмертия и удовлетворяющимся бутербродами, зисами и эмками и тартинками с двумя орденами. И это — биографии! И для этого люди рождались и жили».

«Я обольщался насчет товарищей. Мне казалось, будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, более сильные и действительные. Но они ничего для этого не сделали. Все осталось по-прежнему — двойные дела, двойные мысли, двойная жизнь»⁵⁷.

Голос подлинной жизни звучал в письмах с фронта — эти письма Пастернак бережно хранил. Это об их авторах — окопных солдатах и офицерах — сказано в эпилоге «Доктора Живаго»: «Извлеченная из бедствий закалка характеров, неизбежность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это качества сказочные, ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения».

В Чистополе Пастернак начал писать военную пьесу «На этом свете».

«Я подписал договор на сочинение современной оборонной пьесы в прозе. Контракт определил ее содержание. Уже подписывая его, я проговорился, что буду писать вещь по-новому, свободно. Я и в дальнейшем не делал из этого тайны. Вещь едва ли будет предназначена для печатанья и постановки. Это окончательно развязало мне руки... Пока вещь не дописана вся, не говори о ней, пожалуйста, никому. Я хочу попробовать продолжать ее в Москве»⁵⁸.

⁵³ «Мои новые переводы» («Огонек», 1942, № 47).

⁵⁴ Запись от 11 февраля 1956 года (О Ивinskая. В плену времени, стр. 96). Ср.: «...когда разгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы (<...>). Все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью, и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной» («Доктор Живаго»).

⁵⁵ Т. В. И в а н о в а. Борис Леонидович Пастернак. (В печати.)

⁵⁶ Письмо от 3 февраля 1944 года В. Д. Авдееву, чистопольскому знакомому Пастернака.

⁵⁷ Письмо к Е. В. Пастернак от 10 сентября 1942 года.

⁵⁸ Письмо к Е. В. Пастернак от 16 сентября 1942 года.

Вернувшись в Москву осенью 1942 года, Пастернак попытался прочесть уже готовые куски пьесы двум-трем друзьям, но слушатели пришли в ужас от ее содержания, и по их настоянию Пастернак уничтожил почти все написанное. В его архиве сохранились два небольших фрагмента этой пьесы. Большую часть второго фрагмента занимает монолог солдатки Кузьякиной. Часть его, повествующая о чудовищном убийстве ребенка в пристанционной сторожке, в переработанном виде стала впоследствии рассказом Таньки Безочередевой, беспризорной дочери Живаго и Лары. Главные действующие лица пьесы — офицеры Дудоров и Гордон.

В конце лета 1943 года Пастернак в составе писательской бригады побывал на фронте в расположении действующей Третьей армии, освободившей Орел. Выступая на митинге 4 сентября 1943 года, он сказал: «Счастье покупается дорогой ценой. Вы — самая высокая цена. И я, человек тыла, низко кланяюсь вам, людям переднего края». Во время поездки Пастернак вел путевые заметки и, кроме того, собирал материалы о жизни и смерти Зои Космодемьянской. Впоследствии они послужили ему для биографии погибшей невесты Дудорова — Христины Орлецово́й.

Ощущение «исторического вихря» как предвестия грядущего обновления жизни, владевшее Пастернаком во время войны, с силой выражено им во вступлении к очерку «Поездка в армию», написанном осенью 1943 года по фронтовым впечатлениям:

«Победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразие.

Победили все, и в эти самые дни на наших глазах открывают новую, высшую эру нашего исторического существования.

Дух широты и всеобщности начинает проникать деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях».

В марте 1944 года состоялась важная для Пастернака встреча с университетской молодежью. На этом вечере он не только читал стихи — он впервые после молчания 30-х годов лицом к лицу разговаривал с будущим страны. В дневнике одной из студенток, присутствовавшей на этом вечере, сохранилась конспективная запись этого разговора:

«В перерывах между стихами он рассказывал о своем творчестве и о переломе, заставившем его отказаться от прежней эстетики <!...>:

— Мы были сознательными озорниками. Писали намеренно иррационально, ставя перед собой лишь одну-единственную цель — поймать живое. Но это пренебрежение разумом ради живых впечатлений было заблуждением. Мы еще недостаточно владели техникой, чтобы сравнивать и выбирать, и действовали нахрапом. Высшие достижения искусства заключаются в синтезе живого со смыслом. Литература всегда нуждается в оправдании»⁵⁹. <!...>

Во втором отделении Пастернак рассказывал, как работа над прозой и над переводами Шекспира органически привела его к стремлению писать так, чтобы «всем было понятно». <!...> Говорил, что «стихи — этюды к будущему замыслу, который в итоге даст вселенную. Поэтому нужно для каждого этюда брать всю палитру...».

Как на исповеди, Пастернак говорил в этот вечер о «зрелости исторического отрезка революции»⁶⁰. Предсказывал, что «мы придем к реализму, продолжающему нашу литературу 19 века», и что «зачатки его в нашей военной литературе». «Приближается победа, — мечтал он вслух. — Наступает момент оживления жизни. Историческая эпоха, какой свет не видал! Срок приспел! Писателю теперь как никогда необходима своя крепкая внутренняя эстетика...»⁶¹.

Возобновление прямых контактов с многолюдной читательской аудиторией, пре-

⁵⁹ Мысль о иерархической зависимости искусства от жизни утверждалась Пастернаком еще в вариантах статьи «Несколько положений» (1919): «Сказав просто: «книга» — назвали бы сестру Младшую. Моя старшая — Жизнь» («Воздушные пути», 1982, стр. 475). Ср. в письме Вяч. Вс. Иванову от 1 июля 1958 года: «Искусство не доблесть, но позор и грех, почти простительные в своей прекрасной безобидности, и оно может быть восстановлено в своем достоинстве и оправдано только громадностью того, что бывает иногда куплено этим позором. Не надо думать, что искусство само по себе источник великого. Само по себе оно одним лишь будущим оправдываемое притязание» (архив Вяч. Вс. Иванова).

⁶⁰ Ср. в эпилоге «Доктора Живаго»: «Война — особое звено в цепи революционных десятилетий. Кончилось действие причин, прямо лежавших в основе переворота».

⁶¹ Н. Муравина. Встречи и переписка с Борисом Пастернаком. (Рукопись.)

рванных в конце 30-х годов, ее живой и благодарный отклик поддерживали и укрепляли Пастернака в его новом мироощущении.

«Я ждал от этого только неудачи и эстрадного провала,— писал он 29 июня 1945 года С. Н. Дурылину.— И, представь себе, это принесло одни радости. На моем скромном примере я узнал, какое великое множество людей и сейчас расположено в пользу всего стоящего и серьезного. Существование этого неведомого угла у нас в доме было для меня открытием».

В тот же период до Пастернака стали доходить сведения, что не только дома, но и далеко за его пределами существует множество людей, ценящих и понимающих его творчество. 3 июня 1945 года в выходившей тогда в Москве газете «Британский союзник» (№ 22) появилась статья профессора К. Ренна, высоко отозвавшегося о пастернаковских переводах Шекспира, что доставило Пастернаку большую радость. Тогда же Пастернак узнал, что его переводят и издают на Западе. Осенью 1946 года кандидатура Пастернака была впервые выдвинута на Нобелевскую премию⁶².

Между тем «домашние» литературные и общественные процессы шли вразрез с историческими надеждами. В литературе с новой силой воцарялся дух «морально подозрительной» трескучей фразы, казенщины и репрессивных «проработок». Литературным образцом объявлялась диалогия А. Н. Толстого «Иван Грозный», оправдывавшая жестокость и произвол (Сталинская премия 1946 года)⁶³. Снова на полный ход была запущена карательная машина, и среди ее новых жертв было немало представителей «нравственного цвета поколения», вынесшего всю тяжесть войны.

В 1956 году, оглядываясь на свой жизненный путь, Пастернак писал об этом времени: «...когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 г.) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз. <...> Это очень важно в отношении формирования моих взглядов и их истинной природы»⁶⁴.

«Я почувствовал, что только мириться с административной распесью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени, попробовать выйти на публику»⁶⁵.

Зимой 1945/46 года был начат роман «Доктор Живаго».

2. «ПЕРВАЯ КНИГА»

В октябре 1945 года Пастернак был приглашен участвовать в торжествах по случаю столетия со дня смерти великого грузинского лирика Николая Бараташвили. В крае, ставшем ему «второй родиной», как называл Пастернак Грузию в письмах друзьям, он не был больше десяти лет. С ней его связывали одни из самых светлых и трагических впечатлений жизни. Здесь в начале 30-х годов приобрел он двух близких по духу друзей — поэтов Тициана Табидзе и Паоло Яшвили. В 1937 году Табидзе убили. Яшвили убил себя сам. В том году Пастернак, признанный переводчик грузинской поэзии, отказался ехать в Тбилиси на юбилей Руставели. «Да как же я мог тогда ехать в Грузию, когда там уже не было Тициана? Я так любил его», — рассказывал он позднее А. Н. Тарасенкову.

Вдова Тициана Нина Табидзе вспоминала, что условием своего участия в торжествах Пастернак поставил ее присутствие в зале. Со дня ареста Тициана это было ее

⁶² Lars Gyllensten, «Some notes on Pasternak's Nobel prize in 1958» («Artes», 1983, № 1, p. 112).

⁶³ Еще в 1942 году, когда А. Н. Толстой закончил первую из двух пьес — «Орел и орлица». — Пастернак описывал Ивановым удручающее впечатление, произведенное этим известием на него, Леонова, Фебина: «Все повесили головы, в каком-то отношении лично задетые. Была надежда, что за суматохой передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика одинаково звучащих и так резко противопоставленных Толстых, Иванов и Курбских. И так, амфир всех царствований терпел человечность в разработке истории, и должна была прийти революция со своим стилем вампир и своим Толстым и своим возвеличенным бесчеловечности» (Т. В. Иванова, Борис Леонидович Пастернак; в печати).

⁶⁴ Запись от 11 февраля 1956 года (О. Ивinskая, В плену времени, стр. 96)

⁶⁵ Письмо С. Н. Дурылину от 29 июня 1945 года.

первое появление в публике. 19 октября, читая свои переводы в Тбилисском театре имени Руставели, Пастернак подчеркнуто обращался к ней. В эти счастливые две недели, сопровождаемый страдальческими тенями погибших, Пастернак обрел новых преданных друзей, оставшихся верными этой дружбе до самого конца.

Нина Табидзе и Симон Чиковани были одними из первых, с кем Пастернак поделился замыслом новой прозы. Возможно, именно этот рассказ послужил причиной прощального подарка Нины Табидзе — большого запаса прекрасной гербовой бумаги, оставшейся после смерти Тициана, на которой написана часть белой рукописи первых глав «Доктора Живаго». Впоследствии Пастернак не раз говорил, что это «Нинин роман». 4 декабря 1946 года он вспоминал в письме к ней: «...Прозу я начал ведь писать с Вашей легкой руки, т. е. толчком к ней послужила подаренная Вами Тицианова бумага. Потом я решил, что бумага слишком хороша для такой пачкотни, и перенес работу вместе с ощущением этой благородной желтизны слоновой кости, согретшей мою выдумку, на другой, более простой сорт бумаги. <...> Одним словом, Тицианова бумага определила мой новый стиль, и Вы, Нина, оказали на меня литературное влияние. Я вор и плагиатор».

О грузинских источниках замысла романа Пастернак, по словам З. А. Масленниковой, рассказывал ей 28 сентября 1958 года: «В 1945 году (в рукописи ошибочно: 1946.— В. Б., Е. П.) мы были на торжествах в Грузии по случаю столетия Бараташвили. Стояли чудесные солнечные дни, все цвело, и было как-то празднично — кончилась война, и появились новые надежды. И мне захотелось сделать что-то большое, значительное — тогда и возникла мысль о романе».

Я начал со страничек о старом поместье. Так ясно представилась большая усадьба, которую разные поколения перепланировали по своим вкусам, и земля хранит следы еле видимых цветников, служб и дорожек⁶⁶.

Начавшаяся в ноябре—декабре работа над «книгой жизни» принесла Пастернаку долгожданное ощущение полного внутреннего освобождения.

«В моей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемленья,— писал он сестре 23 декабря 1945 года.— Я вдруг стал страшно свободен <...>. Мне в первый раз в жизни хочется написать что-то взаправду настоящее».

В письме Вяч. Вс. Иванову (от 1 июля 1958 года) за несколько месяцев до известных «нобелевских» событий Пастернак подробно объяснял, чем был для него этот важнейший в жизни шаг:

«Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец, которые требовали расплаты и удовлетворения, чего-то сразу сокрушающего привычные для тебя мерила, как, например, самоубийства в жизни других или политические судебные приговоры,— тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось».

Я не говорю, что роман нечто яркое, что он талантлив, что он — удачен. Но это — переворот, это — принятие решения, это было желание начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях. Если прежде меня привлекали разностопные ямбические размеры, то роман я стал, хотя бы в намерении, писать в размере мировом. И — о, счастье,— путь назад был раз навсегда отрезан» (архив Вяч. Вс. Иванова).

«Я лично от него услышал,— вспоминал А. К. Gladkov,— что он вернулся к работе над романом в прозе, при случайной встрече на Моховой, близ станции метро в последние часы 31 декабря 1945 г. Я спросил — является ли этот роман тем самым произведением, несколько отрывков из которого он напечатал в «Литературной газете» еще в середине тридцатых годов под заглавием «Из романа о 1905 годе». Он ответил, что кое-что из написанного пойдет в роман, но что замысел его очень изменился. И далее он сказал странную фразу, которую я тогда записал буквально: «Я пишу

⁶⁶ По свидетельству А. Gladkova, в военной песне Пастернака тоже фигурировало старинное имяние в связи с темой преемственности культуры. Ср. разговор Живаго и Громеко по приезде в Варьякино («Доктор Живаго», часть восьмая).

этот роман о людях, которые могли бы быть представителями моей школы — если бы у меня такая была»...» («Встречи с Пастернаком»).

Переписка Пастернака свидетельствует о крайней интенсивности его работы над романом в зимние месяцы 1945/46 года. В январских письмах уже проступают, правда еще в самой общей форме, контуры замысла в целом.

«У меня есть сейчас возможность поработать месяца три над чем-нибудь совершенно своим, не думая о хлебе насущном. Я хочу написать прозу о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны, по возможности в 10—12-ти главах, не больше. Можете себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что может что-нибудь случиться до окончания работы! И как часто приходится прерывать» (письмо к Н. Я. Мандельштам от 26 января 1946 года).

«Я, как угорелый, пишу большое повествование в прозе, охватывающее годы нашей жизни, от Мусоргета до последней войны, опять мир «Охранной грамоты», но без теоретизирования, в форме романа, шире и таинственнее, с жизненными событиями и драмами, ближе к сути, к миру Блока и направлению моих стихов к Марине⁶⁷. Естественна моя спешка, у меня от пролетающих дней и недель свист в ушах» (письмо С. Н. Дурылину от 27 января 1946 года).

Первоначальный замысел романа к февралю 1946 года был, по-видимому, настолько оформлен в сознании Пастернака, что он твердо рассчитывал воплотить его в течение нескольких месяцев.

«Пожелай мне выдержки,— просил он Ольгу Фрейденберг 1 февраля 1946 года,— то есть чтобы я не поникал под бременем усталости и скуки. Я начал большую прозу, в которую хочу вложить самое главное, из-за чего у меня «сыр-бор» в жизни загорелся, и тороплюсь, чтобы ее кончить к твоему летнему приезду и тогда прочесть».

В феврале в клубе МГУ состоялось первое публичное чтение «Гамлета» в переводе Пастернака, на котором он присутствовал.

Февралем 1946 года датируется первоначальная редакция стихотворения «Гамлет», открывающего тетрадь «стихотворений Юрия Живаго».

Вот я весь. Я вышел на подмошки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

В написанных в июне того же года «Замечаниях к переводам Шекспира» трактовка образа Гамлета получает у Пастернака отчетливый автобиографический отпечаток, и смысл судьбы Гамлета, раскрываемый с помощью цитаты из Евангелия, связывается с христианским пониманием «жертвы»: «Гамлет отказывается от себя, чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет» не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, не существенно, что напоминание о лживости мира приходит в сверхъестественной форме и что призрак требует от Гамлета мщения. Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» — драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения».

В окончательной редакции стихотворения слова «моления о чаше» еще более усиливают звучание евангельской ноты и, соотнося его с «Гефсиманским садом», венчающим цикл, весь его пронизывают единой смысловой тягой — темой добровольной неограниченности крестного пути как залога бессмертия жизни.

⁶⁷ Стихи «Памяти Марины Цветаевой» (ранняя редакция) были написаны Пастернаком 25—26 декабря 1943 года. В рукописи, принадлежавшей А. Крученых (ныне в ЦГАЛИ), есть авторское примечание: «Мысль этих стихотворений связана с задуманной статьей о Блоке и молодом Маяковском. Это круг идей, только еще намеченных и требующих продолжения, но ими я начал свой новый, 1944 год. 5.1.1944. Борис Пастернак». В стихах упоминается будущая «книга о земле и ее красоте» и ключевая для романа тема «воскресения». О «Докторе Живаго» как о части «долга» перед погибшей Мариной см. письмо к О. М. Фрейденберг от 30 ноября 1948 года.

«Смерти не будет» — крупно и размашисто выведено Пастернаком на втором титульном листе сохранившейся черновой (карандашной) рукописи первых глав романа одно из ранних его названий, появившееся несомненно в том же 1946 году. Справа под ним — эпитаф, указывающий, откуда пришли эти слова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» («Откровение Иоанна Богослова», 21, 4)⁶⁸.

«Твои слова о бессмертии — в самую точку! — писал Пастернак О. М. Фрейденберг 24 февраля 1946 года в ответ на не дошедшее до нас письмо. — Это — тема или главное настроение моей нынешней прозы. Я пишу ее слишком разбросанно, не писательски, точно и не пишу. Только бы хватило у меня денег дописать ее, а то она приостановила мои заработки и нарушает все расчеты. Но чувствую я себя как тридцать с чем-то лет тому назад, просто стыдно».

Весной в Москву ненадолго приезжала Ахматова. 2 апреля 1946 года в Доме писателей состоялось памятное событие в жизни литературной Москвы 40-х годов — совместный вечер Ахматовой и Пастернака. На следующий день оба поэта участвовали во встрече ленинградских и московских поэтов в Колонном зале. 4 апреля вечер был повторен в Коммунистической (бывшей Богословской) аудитории университета. Пастернака долго не отпускали с эстрады, заставив читать вдвое больше, чем было положено на долю каждого участника. На одном из этих вечеров Пастернак впервые публично читал стихи «Памяти Марины Цветаевой».

27 мая в Политехническом музее был устроен большой творческий вечер Пастернака, особенно запечатлевшийся в памяти слушателей. Пастернак был необычайно оживлен и читал легче и свободнее, чем на прежних вечерах. К этой встрече с публикой он готовился особенно тщательно: в архиве семьи сохранился одностомник 1936 года и «Избранное» 1945 года, размеченные рукой Пастернака. По словам одной из слушательниц, «Пастернак держал экзамен перед будущим».

Только в июле, уже находясь в Переделкине, Пастернак вновь смог серьезно приняться за прозу.

«<...> с июля месяца, — сообщал он О. М. Фрейденберг в октябре 1946 года, — я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки», который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902—1946 г., и с большим увлечением написал четверть всего задуманного или пятую его часть <...>. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей».

В архиве К. А. Федина сохранилась записка Пастернака, дающая возможность установить дату окончания одного из ранних вариантов первой главы и отождествить его текст с тем, который читается в сохранившейся черновой (карандашной) рукописи: «Костя, я сейчас Зине и Асмусам буду читать 1-ю главу Она еще скомканная и с недоделанным, картонным концом, так что мне стыдно уговаривать тебя ее слушать. Но если тебе нечего делать и приятно будет установить мой провал, приходи поскорее. Твой Б.». На этом приглашении рукою К. А. Федина приписано: «Это — 3 августа 1946 г. Роман «Мальчики и девочки» с эпитафом из Блока; 1-я глава относится к 1903 году; Приволжско-Центр <альная> Россия»⁶⁹.

Текст главы в карандашной рукописи близок к окончательному и отражает одну из последних стадий работы над ним, начатой зимой 1946 года. В рукописи, уже после чтения 3 августа, упразднен казавшийся Пастернаку «картонным» конец — завершающий диалог Ники и Нади, вычеркнуты многочисленные фрагменты текста и произведены стилистические замены. В этом исправленном виде текст первой главы был впоследствии перенесен Пастернаком в беловую (чернильную) рукопись, где в свою очередь подвергся стилистической обработке.

В августе была написана первоначальная черновая редакция текста второй главы («Девочка из другого круга»), значительно отличающаяся от ее окончательного вида, и начата работа над третьей главой.

В сохранившихся рукописных материалах к роману нет листа с названием «Мальчики и девочки» и «эпитафом из Блока» (подготовительные материалы и черновые наброски были пущены Пастернаком на растопку). Но существование этого раннего названия, упоминаемого в ряде источников, и его связь с кругом размышлений о Блоке, особенно сильно занимавших Пастернака в это время, несомненны.

⁶⁸ Ср.: «Доктор Живаго», часть третья, глава 4 (беседа Юрия Живаго с Громенко).

⁶⁹ Публикуется с любезного разрешения Н. К. Фединой.

«Летом (1946 года.— В. Б., Е. П.) просили меня написать что-нибудь к блоковской годовщине,— говорил Пастернак на чтении романа 5 апреля 1947 года.— Мне очень хотелось написать о Блоке статью, и я подумал, что вот этот роман я пишу вместо статьи о Блоке»⁷⁰.

В душливой идеологической атмосфере, созданной прискорбно знаменитым ждановским постановлением от 14 августа 1946 года, блоковский юбилей (двадцатипятилетие со дня смерти) остался неотмеченным, но статью о Блоке, задуманную им еще в 1943 году, Пастернак все же начал писать. Среди набросков сохранилась записка, озаглавленная «К ст<атье> о Блоке» и содержащая важную для самого Пастернака мысль, которую он не раз высказывал в своих письмах в период работы над романом: «Мы назвали источник той блоковской свободы, область которой шире свободы политической и нравственной. Это та свобода обращения с жизнью и вещами на свете, без которой не бывает большого творчества, о которой не дает никакого представления ее далекое и ослабленное отражение — техническая свобода и мастерство»⁷¹.

Итоги своих наблюдений и размышлений над поэзией Блока Пастернак сформулировал десятью годами позже в автобиографическом очерке «Люди и положения». Здесь, припоминая свое юное восприятие «одинокое, по-детски неспорченного слова» Блока, Пастернак первым называет стихотворение «Вербочки», начальная строка которого «Мальчики да девочки» с заменой союза была взята им в 1946 году в качестве названия романа⁷².

В первой публикации в детском журнале «Тропинка» (1906, № 6) стихотворение называлось «Вербная суббота», и это поясняет еще одну важную функцию выбранного Пастернаком заглавия (помимо отсылки к «миру Блока»). Вербная суббота в церковном календаре — предпразднество Вербного воскресенья (иначе — праздника «Входа Господня в Иерусалим»), за которым следует семидневный цикл (Страстная неделя), завершающийся Пасхой, или Воскресением Христовым. Заглавие «Мальчики и девочки», в неявном виде заключая в себе определенное хронологическое указание, тем самым соотносит время романа с названным циклом христианского календаря и выражает ту же «главную тему или настроение» пастернаковской прозы — тему бессмертия жизни, идущей путем страданий⁷³.

14 августа было принято постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», искалечившее судьбу М. Зощенко и на много лет разлучившее читателей со стихами Анны Ахматовой. За ним последовали выдержанные в том же духе постановления о драматических театрах (от 26 августа 1946 года) и кино (от 4 сентября 1946 года).

4 сентября 1946 года на заседании президиума правления Союза писателей СССР А. А. Фадеев обвинил Пастернака в отрыве от народа и непризнании «нашей идеологии» («Литературная газета», 7 сентября 1946 года).

9 сентября у себя в Переделкине Пастернак устроил для знакомых чтение первых двух глав романа (в неокончательной редакции)

Из «Дневника» Корнея Чуковского (10 сентября 1946 года):

«Вчера вечером были у нас Леоновы, а я в это время был на чтении у Пастернака. Он давно уже хотел почитать мне роман, кот<орый> он пишет сейчас. Он читал этот роман Федину и Погодину, звал и меня Третьего дня сказал Коле, что чтение состоится в воскресенье. Заодно пригласил он и Колю и Марину (Н. К. и М. Н. Чу-

⁷⁰ Стенографическая запись Лидии Чуковской (архив Л. К. Чуковской). Ср.: «Вдруг Юра подумал, что Блок это явление Рождества во всех областях русской жизни. <...> Он подумал, что никакой статьи о Блоне не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом» («Доктор Живаго», часть третья, глава 10).

⁷¹ Подробнее об этой ненаписанной статье см.: «Пастернак и Блок». Сообщение и публикация Е. В. Пастернака («Блоковский сборник», 2. Тарту. 1972, стр. 447—453).

⁷² Вероятна также связь этого названия с заглавием десятой книги «Братьев Карамазовых» — «Мальчики» — и тематически разрешающим ее эпилогом (речь Алеши у камня о «вечной жизни»). Ф. М. Достоевский, в частности «Братья Карамазовы», не раз упоминается Пастернаком в письмах в связи с его работой над романом. Имена Блока и Достоевского поставлены рядом в «Людах и положениях» как «повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры». Ср. вариант заглавия «прозы 36 года»: «Когда мальчики выросли».

⁷³ Тема рождества и тема воскресения в романе отождествлены. См. рассуждения Живаго у постели А. И. Громеко: «...вы уже воскресли, когда родились» (часть третья, глава 3).

ковские.— В. Б., Е. П.). А как нарочно в этот день, на который назначено чтение, в «Правде» напечатана резолюция президиума ССП, где Пастернака объявляют «безыдейным, далеким от советской действительности автором». Я был уверен, что чтение отложено, что Пастернак горько переживает «печатать отвержения», кот<орой> заклеямили его. Оказалось, что он именно на этот день назвал кучу народу: Звягинцева, Корнелий (Зелинский.— В. Б., Е. П.), Вильмонт и еще человек десять неизвестных. Роман его я плохо усвоил, т. к. вечером я не умею слушать, устаю за день к 8-ми часам <...>.

Потом П<астерна>к пригласил всех ужинать. Но я был так утомлен романом, и мне показался таким неуместным этот «пир» Пастернака — что-то вроде бравады, — и я поспешил уйти⁷⁴.

17 сентября на общемосковском собрании писателей в Доме ученых А. А. Фадеев предупредил, что «безыдейная и аполитичная поэзия Пастернака не может служить идеалом для наследников великой русской поэзии».

«Сначала все это «ныне происходящее» в моей собственной части ни капельки не тронуло меня,— рассказывал Пастернак О. М. Фрейденберг в письме от 5 октября 1946 года.— Я сидел в Переделкине и увлеченно работал над третьей главой моей эпопеи.

Но вот все чаще из города стала Зина возвращаться черною, несчастною, страдающей и постаревшей из чувства уязвленной гордости за меня, и только таким образом эти неприятности, в виде боли за нее, нашли ко мне дорогу. На несколько дней в конце сентября наши дни и будущее <...> омрачились. Мы переехали в город в неизвестности насчет того, как сложится год. <...> Наверное, эта «кампания» бьет и по тебе, и твои неприятности усилились?

Как это все старо и глупо и надоело!»

«Почва колебалась,— сообщал Пастернак своему новому грузинскому другу Ладдо Гудиашвили об «известном землетрясении» осенью того же года,— и мне делали упрёки <...>, как это я ничего не замечаю, продолжаю ходить ровной походкой, не падаю. Тогда меня убедили переехать в город, чтобы не раздражать своим пребыванием на лоне природы, как на картинах Мане и Ренуара, в такое (!) время»⁷⁵.

Утешая беспокоившуюся о нем Нину Табидзе, Пастернак писал ей 4 декабря 1946 года:

«Милая Ниночка, осенняя трепотня меня ни капельки не огорчила. Разве кто-нибудь из нас так туп и нескромен, чтобы сидеть и думать, с народом он или не с народом? Только такие фразеры и бесстыдники могут употреблять везде это страшное и большое слово. <...>

Мне было очень хорошо в конце прошлой зимы, весной, летом. Мне было так, как было в Тифлисе. Я не только знал (как знаю и сейчас), где моя правда и что Б<ожьему> промыслу надо от меня,— мне казалось, что все это можно превратить в жизнь, в человеческом общении, в деятельности, на вечерах. Я с большим увлечением написал предисловие к моим шекспировским переводам. <...> С еще большим подвешением я два месяца проработал над романом, по-новому, с чувством какой-то первичности, как, может быть, было только в начале моего поприща. Осенние события внешне замедлили и временно приостановили работу (все время денег приходится добиваться как милостыни), но теперь я ее возобновил. Ах, Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье! Я все время не могу избавиться от ощущения действительности как поправленной сказки».

Работа над первыми главами романа была возобновлена в середине октября. В письме к О. М. Фрейденберг от 13 октября 1946 года Пастернак следующим образом излагал его замысел: «Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского,— эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». <...> Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным.

⁷⁴ Благодарим Е. Ц. Чуковскую за разрешение опубликовать выдержки из «Дневника» К. И. Чуковского.

⁷⁵ «Литературная Грузия», 1980, № 2, стр. 36.

Это все так важно и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это мое перевоплощение, в которое с почти физической определенностью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов».

В последние месяцы 1946 года «горизонтальная стремительность» в развитии текста романа замедлилась. Работа над третьей главой, начавшаяся еще в августе, была приостановлена, и Пастернак принялся за радикальную переработку второй, вчерне уже написанной главы.

«У меня был перерыв в работе над романом,— писал он Симону Чиковани в декабре 1946 года,— и во второй главе, действие которой приходится на 1905 г., мне советовали усилить и детализовать революционный фон изложения, стоявший на заднем плане. Теперь я это вынес вперед, делаю вставки в уже написанное и, наверное, порчу вещь, задерживая ее развитие. А как хорошо мне работалось в июле и августе! Впрочем, ничего не случилось, все в порядке, я работаю несколько в стороне от авангардных своих частей, но скоро обращусь к ним снова и все пойдет на лад».

Не исключено, что вставки и переделки во второй главе были связаны с намерением Пастернака в тот момент создать «боковую» редакцию романа: 23 января 1947 года он заключил с «Новым миром» договор на роман в десять авторских листов под названием «Иннокентий Дудоров» («Мальчики и девочки»). Осенью 1946 года в редакции «Нового мира» Пастернак познакомился с О. В. Ивинской, работавшей в отделе поэзии. Встреча эта наложила «резкий и счастливый личный отпечаток» на жизнь Пастернака и повлияла на дальнейшую разработку им образа Лары Гишар⁷⁶.

К концу года первые две главы романа были переписаны Пастернаком набело от руки в специально сшитые тетради большого листового формата. 27 декабря 1946 года он читал их в дружеском кругу в доме Марины Казимировны Баранович, чье имя еще не раз нам встретится в связи с историей текста «Доктора Живаго». Не считая домашних чтений 3 августа и 9 сентября 1946 года в Переделкине, это была первая «публикация» незавершенного романа, с которой началось его долгое «догуттенберговское» бытование в литературе. На память об этом вечере Пастернак подарил хозяйке дома только что вышедшую книжку своих переводов грузинских поэтов, на шмуцтитуле и четырех вклеенных листках которой им были вписаны три первых тогда стихотворения из будущей тетради Юрия Живаго — «Гамлет», «Бабе лето», «Зимняя ночь», соответственно датированных февралем, сентябрем и декабрем 1946 года.

В январе 1947 года Пастернаком было написано четвертое стихотворение в «Юри-ну тетрадь» — «Рождественская звезда». Переполюнявшее его в то время ощущение творческого счастья и сознание небывалости задуманной работы требовали выхода и отклика — Пастернаку не терпелось поделиться ими со своими друзьями. 24 января 1947 года он писал в Ленинград С. Д. Спасскому, с которым сблизился еще в начале 30-х годов:

«Дорогой Сережа!

Если ты соберешься в Москву, предупреди меня заблаговременно по почте. Мне надо будет почитать тебе написанную часть своего романа в прозе, кот<орый> я продолжаю писать (к весне надеюсь кончить первую часть, а весь он будет в двух). Тогда я как-нибудь соединю тебя с какими-нибудь другими слушателями <...> и буду читать не у себя, как я это уже делаю раньше. <...>

Удивительно, что я так медленно продвигаюсь в работе и у меня так много времени пропадает даром, так, не в пример прежнему, полон я мыслей, мож<ет> быть, несвоевременных и ненужных, но владеющих всем мною целиком».

6 февраля 1947 года Пастернак читал две первые главы и стихи из романа в доме пианистки Марии Вениаминовны Юдиной при довольно большом собрании гостей. Из дневника Лидии Чуковской (6 февраля 1947 года):

«<...> вижу перед собою это горячее, страстное, даже в усталости страстное, и в старости молодое лицо. <...>

Борис Леонидович говорит много лишнего, странно ощущает духоту, тесноту, суетливость полной хозяйки дома, которой негде суетиться, он стирает со лба пот.

Наконец начал.

<...> еще слова и слова о романе. Точно могу записать немного:

⁷⁶ История отношений В. Л. Пастернака и О. В. Ивинской описана в ее книге «В плену времени».

— Такого течения, как то, которое представляет у меня Николай Николаевич, в то время в действительности не было, и я просто передоверил ему свои мысли.

Читает.

Все, что изнутри,— чудо. Чудо до тех пор, пока изнутри. Забастовка дана извне и хотя и хороша, но тут чудо кончается. Читает горячо, как будто «жизнь висит на волоске», но из последних сил. <...> Борис Леонидович читает стихи из романа.

«Рождество». «Рождество!»

В середине февраля в работе над третьей главой — «Елка у Свентицких» — возникла пауза. «Я страшно занят сейчас,— писал Пастернак 16 февраля О. М. Фрейденберг.— В довершение общей спешки осилил то, мысль о чем всегда гнал от себя как нечто несформулированно-расплывчатое и неосуществимое,— пересмотр и переделку «Гамлета»... какую-то требующуюся, но какую именно? — непонятно какую. Его переиздает «Детгиз», и вот, отложив в сторону роман, я легко с разбега прошел его, облегчил и упростил. И то же самое надо сделать с «Девятьсот пятым годом» для другого переиздания <...>. Если я урву минуту, я кому-нибудь из вас троих, тебе, или Берггольц, или Ахматовой, пошлю стихи из романа (насколько они стали проще у меня!), чтоб вы хоть что-нибудь обо мне знали, чтобы переписать или дать переписать остальным. Вернее всего Ахматовой, как преимущественной мученице, а твою тезку попрошу переписать и отнести к тебе».

Нападки в печати на Пастернака, заглохшие было зимой, в марте 1947 года возобновились с удвоенной силой. Их непосредственной причиной была, по-видимому, поступившая в Союз писателей информация о выдвижении Пастернака кандидатом на Нобелевскую премию. 15 марта 1947 года «Литературная газета» напечатала грубый стихотворный фельетон Я. Сашина «Запущенный сад», высмеивающий стихи Пастернака, на который по привычке не обратил никакого внимания.

21 марта 1947 года в газете «Культура и жизнь» появилась «установочная» статья А. Суркова «О поэзии Пастернака», и каждому, кто жил в послевоенной сталинской Москве, было очевидно, какими и последствиями эта статья грозит поэту: «реакционное отсталое мировоззрение», «живет в разладе с новой действительностью», «прямая клевета» и, наконец, «советская литература не может мириться с его поэзией».

Серьезность положения была ясна и самому Пастернаку. Посылая 22 марта «Рождественскую звезду» Нине Табидзе, он писал: «Я с большим подъемом жил, думал, писал и читал написанное всю зиму, но в конце концов это совершенно бесцельное занятие, потому что все остается по-прежнему. <...> Мне кажется, на этот раз споворились меня слопать. Вы знаете, как легко это у нас делается. Я себя чувствую объединенным с головы и с хвостика, как селедка». В менее шутовском тоне говорил он об этом же через несколько дней О. М. Фрейденберг: «...чувствую я себя хорошо, и настроение у меня по-обычному бодрое, несмотря на участившиеся нападки (например, статья в «Культуре и жизни»). Кстати, «Слезы вселенной в лопатках»⁷⁷. «В лопатках» когда-то говорили вместо «в стручках». В зеленных, когда мы были детьми, продавали горох в лопатках, иначе не говорили. А теперь все думают, что это спинные кости.

Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему с Сашкой (старший брат О. М. Фрейденберг, арестованный в 1937 году.— В. Б., Е. П.) и со всеми могло быть, а со мной не будет? Ничего никому не пишу, ничего не отвечаю. Нечего. Не оправдываюсь, не вступаю в объяснения. Наверное, денежно будет труднее. Это я пишу тебе, чтобы ты не огорчалась и не беспокоилась. Может быть, все обойдется. В прошлом у меня действительно много глупой путаницы. Но ведь моя нынешняя ясность еще менее приемлема».

Несмотря на худшие опасения, Пастернак не оставлял работы. К апрелю 1947 года была завершена (в одной из первых редакций) глава «Елка у Свентицких». 5 апреля О. В. Ивинская устроила чтение романа у своего знакомого литератора П. А. Кузько.

Из дневника Лидии Чуковской (6 апреля 1947 года):

«Накануне я отговаривала Ивинскую устраивать чтение у Кузько, но она была неупорядочена».

Уже через несколько дней ненавистник Пастернака Кривицкий кричал в редакции нечто угрожающее о подпольных чтениях контрреволюционного романа.

⁷⁷ Эту строчку из давнего (1917) стихотворения Пастернака А. Сурков приво-
дил как пример «отрешенности от общественных человеческих эмоций».

Борис Леонидович произнес небольшое предисловие.

Привожу свою стенографическую запись⁷⁸:

«Я думаю, что форма развернутого театра в слове — это не драматургия, а это и есть проза. <4...>

Я, так же как Маяковский и Есенин, начал свое поприще в период распада формы — распада, продолжающегося с блоковских времен. Для нашего разговора достаточно будет сказать, что в моих глазах проза расслоилась на участки. В прозе осталось описательство, мысль, только мысль. Сейчас самая лучшая проза, пожалуй, описательная. Очень высока описательная проза Федина, но какая-то творческая мета из прозы ушла. А мне хотелось давно — и только теперь это стало удаваться, — хотелось осуществить в моей жизни какой-то рывок, найти выход вперед из этого положения. Я совершенно не знаю, что мой роман представит собой объективно, но для меня, в рамках моей собственной жизни — это сильный рывок вперед в плане мысли. В стилистическом же плане — это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным, который давал бы чувства, диалоги и людей в драматическом воплощении. Это проза моего времени, нашего времени и очень моя. <4...>

(У Блока были поползновения гениальной прозы — отрывки, кусочки.)

Я подчинился власти этих сил, этих слагаемых, которые оттуда — из Блока — идут и движут меня дальше. В замысле у меня было дать прозу, в моем понимании реалистическую, понять московскую жизнь, интеллигентскую, символистскую, но воплотить ее не как зарисовки, а как драму или трагедию...»⁷⁹.

Некоторые из присутствовавших на этом вечере прислали Пастернаку развернутые письма-отзывы об их впечатлениях. Точно поняла замысел романа Э. Г. Герштейн, назвав его «книгой о бессмертии», «самой современной из всех, какие мы знаем» (письмо от 8 апреля 1947 года).

Совсем иные отклики вызвало чтение, устроенное 11 мая в доме художника П. П. Кончаловского.

Из дневника Лидии Чуковской (12 мая 1947 года):

«...вечером позвонил Б. Л. Он и вчера звонил мне, но был крайне возбужден, устал и невнятен. Он сказал, что читал у Кончаловских, где должна была (пропущено одно слово — «собраться»? — В. Б., Е. П.) знать: Ивановы, Ливановы, много еще всяких. И не пришел никто, кроме Иванова с Комой (домашнее имя сына Вс. Иванова Вяч. Вс. Иванова. — В. Б., Е. П.), причем Иванов был недоволен романом».

По-видимому, об этом вечере идет речь в воспоминаниях вдовы Вс. Иванова Тamarы Владимировны: «Всеволод упрекнул как-то Бориса Леонидовича, что после своих безупречных стилистически произведений, «Детство Люверс», «Охранная грамота» и других, он позволяет себе писать таким небрежным стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он «нарочно пишет почти как Чарская», его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а «доходчивость», он хочет, чтобы его роман читался «взахлеб» любым человеком»⁸⁰.

18 мая Пастернак устроил чтение в квартире Серовых в память недавно умершей Ольги Валентиновны, дочери художника, с которой Пастернак был дружен с детства. Среди слушателей были Ольга Берггольц, Г. Г. Нейгауз, Д. М. Журавлев, С. А. Толстая. Приглашенная Пастернаком на чтение Н. Муравина подробно описала этот вечер в своих записках. Перед тем как начать чтение, Пастернак, по словам Н. Муравиной, между прочим сказал, что «название романа он еще не придумал. Хотел назвать «На рубеже», но это не в его стиле»⁸¹.

Запись Н. Муравиной свидетельствует, что к весне 1947 года Пастернак все еще не нашел названия своему роману, которое с наибольшей полнотой и точностью передавало бы его главную мысль (название «Мальчики и девочки» с начала 1947 года исчезает из его переписки). В рукописных материалах частично сохранились следы этих настойчивых поисков.

В центре пожелтевшей бумажной обложки черновой (карандашной) рукописи

⁷⁸ В стенограмме пропущены места, уже процитированные выше

⁷⁹ Архив Л. К. Чуковской. При публикации этой записи в еженедельнике «Новое время» (1987. № 29, стр. 29) допущены искажающие смысл опечатки.

⁸⁰ Т. В. Иванова Борис Леонидович Пастернак (В печати)

⁸¹ Среди рукописных материалов к роману заглавие «На рубеже» не сохранилось. Пастернак, возможно, имел в виду первый том мемуарной трилогии Андрея Белого «На рубеже двух столетий». О Белом он упомянул в этом же вступительном слове.

крупно написано «Ры нь в а»⁸² — упоминаемое во второй книге «Доктора Живаго» название «знаменитой судоходной реки», на которой стоит город Юрятин. Название это, в географии неизвестное, образовано Пастернаком, хорошо знакомым с уральской топонимикой, по типу реально существующих местных гидронимов (реки Вильва, Иньва, Лысьва, Косьва и другие), но на первый взгляд кажется непонятым, что, помимо колоритного звучания, побудило его избрать это слово в качестве заглавия романа о бессмертии. К ответу приближает нас контекст, в котором упоминается Рыньва уже в «начале прозы 36 года»: «Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом как бы в сознании своего речного имени и тут же на выходе, в полуверсте вверх от нашего обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежащие ее занятию. Каждое ее колебание разливалося излучиной. Ее созерцание создавало заводи» («Новый мир», 1980, № 6, стр. 181). «Речное имя» Рыньвы составлено Пастернаком из наречия «рын» (настежь), встречающегося в одном из диалектов языка коми, и существительного «ва» (вода, река)⁸³ и может быть переведено как «река, распахнутая настезь»⁸⁴. Наделенная атрибутами одушевленности («сознанием», «созерцанием» и т. д.), Рыньва — «живая река», или, метафорически, «река жизни», и текущая в ней вода, конечно, та же самая, что «со Страстного четверга вплоть до Страстной субботы... буравит берега и вьет водовороты» в стихотворении Юрия Живаго («На Страстной»). Это река жизни, текущая в бессмертии. В рукописи это заглавие решительно перечеркнуто — по-видимому, Пастернак отказался от него из-за сложности ассоциативных ходов, требующихся для его адекватного понимания.

Образом реки как синонимом жизни воспользовался Пастернак в беседе о «Фаусте» Гёте со скульптором З. А. Масленниковой⁸⁵:

«Вы изучали языки, значит, вы филолог. Что такое слово «оригинальный»? Корень его означает источник. Вот это — сам бьющий родник, из которого рождается потом река, непосредственное начало всего — это и есть Гёте «Фауста». Он позволил себе большую свободу, разрешил себе быть самим собой, писать, не оглядываясь вокруг, и в этом мощь, буйство „Фауста“».

Запись эта, возможно, не слишком точна, но в основе ее несомненно лежит подлинная пастернаковская мысль. 9 августа 1953 года, закончив переделку перевода «Фауста», Пастернак писал М. К. Баранович:

«Область, дух которой выражает собою Фауст, есть царство органического, мир жизни. Мир этот живет по тем же законам, которые одушевляют замысел Фауста и составляют тайну его яркости. И тут, пока сильно не захочешь, ничего нет, но стоит только пожелать горячо, всею душою, и, как по вызову, являются к жизни новые существования, рождаются дети, наступают новые, лицом к солнцу правды обращенные эпохи, совершаются путешествия, производятся открытия и в каком-то соответствии с истинной силой желания, от формы к форме и из поколения в поколение развиваются и подвергаются отбору, неизбежно улучшаются самопроявления жизни, ее последовательные опыты, пробы, попытки, как изображается всю жизнь стремящимся к совершенству Фауст, с внутренней стороны называющий эту тягу любовью. Нерв этой стихии Гёте затронул в Фаусте так полно и близко, что его язык в этом произведении кажется природным голосом самой этой силы.

Род этой энергии, естественно, должен был пробудиться и во мне за его передачей. Я счастлив был чувствовать это начало в себе и рядом с собой, пока трудился над русским воссозданием этого чуда».

Приведенные слова Пастернака могут служить исчерпывающим автокомментарием к варианту заглавия будущего «Доктора Живаго», читающемуся под заклеюшкой на титульном листе белой (чернильной) рукописи первых глав романа, — «Опыт русского Фауста»⁸⁶. Ниже под этой же заклеюшкой в другой вариант заглавия впервые введено имя главного героя — «Из неопубликованных бумаг семьи Живаго». Поверх за-

⁸² Из других, явно рабочих и сразу отброшенных Пастернаком вариантов заглавия назовем «Нормы нового благородства», «Земной воздух», «Живые, мертвые и воскресающие».

⁸³ Составителю сердечно благодарят Е. А. Хелимского за консультацию в области языка коми.

⁸⁴ Ср. образ будущего, «распахнутого настезь», в стихотворении «За поворотом» (1956).

⁸⁵ З. А. Масленникова. Записки о Пастернаке. (Рукопись.)

⁸⁶ Ср. в «Записках» Юрия Живаго: «Каждый родится Фаустом, чтобы все обнять, все испытать, все выразить» («Доктор Живаго», часть девятая, глава 7).

клейки уверенно написано карандашом: «Свеча горела», и этой же классически ясной метафорой живой человеческой души, тянущейся к бессмертию, на обложке черновой (карандашной) рукописи заменено зачеркнутое заглавие «Рыньва». В обеих рукописях название «Свеча горела» появилось, по-видимому, одновременно, и его рождение предположительно можно датировать весной 1947 года, когда была закончена глава «Елка у Святицких» и написано «Юрино» стихотворение «Зимняя ночь», из которого взяты эти слова.

Весной 1947 года материальная возможность продолжать роман кончилась. Пастернаку вновь пришлось браться за переводы.

«Я из переводческого возраста давно вышел,— жаловался он 20 мая 1947 года в письме к О. М. Фрейденберг,— но так как обстоятельства в последнее время складывались неблагоприятно, я с отвращением должен был вернуться к нескольким предложениям этого характера, да и тех на первых порах не принимали, отчего я одно предложение и заменял другим, пока вдруг не принял все. Таким образом, оказалось, что за лето я должен перевести «Фауста», «Короля Лира» и одну поэму Петефи «Рыцарь Януш». Но писать-то я буду в двадцать пятые часы суток свой роман».

Две с половиной тысячи рифмованных строк лирики Петефи были переведены в месяц с неделей. «Король Лир» — за полтора месяца. 17 июня 1947 года после разговора с Пастернаком Лидия Чуковская записала в дневнике «...Сейчас он переводит Петефи в каких-то огромных количествах, потом возьмется за «Короля Лира». А роман отложен. Это его гнетет» (архив Л. К. Чуковской).

8 сентября 1947 года Пастернак писал О. М. Фрейденберг: «Я тебе мараю это письмо, дострочив до конца беловик «Лира» <...>. Это лето (в смысле работы) — это первые шаги на моем новом пути (это очень трудно и это первая вещь, которую бы я стал гордиться в жизни): жить и работать в двух планах: часть года (очень спешно) для обеспечения всего года, а другую часть по-настоящему, для себя. <...> Я еще ведь портить «Фауста» обязался. Но до этого допишу первую книгу (?) или часть (?) романа. Осталось главу о первой империалистической войне».

Однако работа над четвертой главой романа, в первой редакции называвшейся «Годы в промежутке», шла трудно и была окончена Пастернаком только весной 1948 года.

Из дневника Лидии Чуковской (запись телефонного разговора с Пастернаком от 12 октября 1947 года):

«...Звоню я вам потому, что сегодня запнулась моя работа над романом, а у вас на меня легкая рука... Да, да, это так. Сейчас я читаю книги о 1914 году, но на втором часе чтения начинаю клевать носом. Я стал плохим читателем. Я уже совсем не могу читать нечто вообще, понимаете? Заниматься вообще чтением, читать вообще книги... А эти меня возмущают, кажутся скукой и ложью, и мой роман представляется мне одной из форм протеста против них».

14 октября он писал О. М. Фрейденберг: «Летний заработочный период был слишком долгим перерывом в писании романа, и теперь трудно сдвинуть работу с места («Лиха беда начало»), собраться с мыслями и восстановить настроение».

Тем временем положение Пастернака становилось все более опасным.

26 июня в Москве открылся XI пленум правления Союза писателей. В своем докладе «Наши идейные противники» генеральный секретарь Союза писателей А. А. Фадеев, резко осудив Пастернака за «отход от жизни», употребил безошибочный «полемический» прием тех лет — ссылку на панегирические статьи о нем в зарубежной прессе.

Со зловещими обвинениями политического характера по адресу Пастернака в октябрьском номере «Звезды» выступил Л. Плоткин, припомнив старый отклик Пастернака на резолюцию ЦК от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы» и назвав его вопреки подлинному смыслу «неприкрыто враждебным».

В январе 1948 года Пастернак предупреждал переводчицу Е. Д. Орловскую, жившую во Фрунзе и дружившую с отбывающим там ссылку Кайсыном Кулиевым (Пастернак переписывался с ними обоими), о том, что «стали иногда пропадать письма ко мне».

23 января 1948 года редакция «Нового мира» подала в суд исковое заявление о взыскании с Пастернака аванса за не представленный в срок роман «Инокентий Дудоров» («Мальчики и девочки»).

На общемосковском собрании писателей, посвященном обсуждению постановления от 10 февраля 1948 года об опере «Великая дружба» В. Мурадели, завершившего серию ждановских директив в области «культурной политики», А. Сурков «остановился и на индивидуалистическом творчестве Б. Пастернака, восхваляемом на все лады заграничными эстетам» («Литературная газета», 3 марта 1948 года). В апрельском номере «Октября» было высказано мнение, что Пастернак приносит в жертву форме «любое содержание, не исключая разума и совести», и что творчество Пастернака «нанесло серьезный ущерб советской поэзии»⁸⁷ Сходные положения были повторены Б. Яковлевым в большой статье «Поэт для эстетов», опубликованной в «Новом мире» (1948, № 5).

Отпечатанный тираж «Избранного», подготовленного Пастернаком в 1947 году, в продажу не поступил и был уничтожен в апреле 1948 года.

Но и в этих невеселых условиях Пастернак продолжал писать. «Я долго не мог работать,— сообщил он Симону Чиковани 10 января 1948 года, посылая ему «три новых Юриных стихотворения»,— а теперь с жаром принялся за продолжение романа, теперь у меня Юра на фронте в 1916 г., к весне надеюсь кончить; это скажите Нине, это ее роман».

К апрелю 1948 года были написаны десять стихотворений из «романа в прозе». Посылая 6 апреля 1948 года свои стихи М. П. Громову, Пастернак писал: «...вложу в это письмо последние мои стихи, входящие главою в мой роман в прозе, который я пишу сейчас. Там описывается жизнь одного московского круга (но захватывается также и Урал). Первая книга обнимет время от 1903 года до конца войны 1914 г. Во второй, которую я надеюсь довести до Отечественной войны, примерно так году в 1929 должен будет умереть главный герой, врач по профессии, но с очень сильным вторым творческим планом, как у врача А. П. Чехова. Когда его сводный брат, о котором он знает только понаслышке и всю жизнь считает своим заклятым врагом, приведет в порядок бумаги покойного, среди них окажется много заметок, имеющих философский интерес, и целая книга стихов, которую этот сводный брат выпустит в свет и которая составит отдельную, сплошь стихотворную главу во второй книге романа. Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским, и когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку Юрию Живаго. <...>

Мне не на что жаловаться, я доволен жизнью, но мне хотелось бы поскорее дописать роман, хотя бы первую книгу, почти готовую, и пока это не сделано, тревога и какая-то внутренняя спешка не покидают меня. Спасибо Вам за Ваши добрые пожелания, я нуждаюсь в них» (архив М. П. Громова).

За апрель—май и первую половину июня Пастернак переработал третью главу романа — «Елка у Свентицких» — и заново переписал четвертую, в окончательной редакции получившую название «Назревшие неизбежности».

В конце мая он читал практически законченную рукопись приехавшей из Ленинграда Ахматовой. «Я так ее уморил,— рассказывал он А. Гладкову,— что у нее чуть не начался приступ грудной жабы»⁸⁸.

Только в этот период появилось наконец устойчивое название романа — «Доктор Живаго» с подзаголовком — «Картины полувекового обихода», отброшенным осенью 1955 года. Внизу последнего листа белой (карандашной) рукописи четвертой главы Пастернак написал: «Конец первой книги».

В середине июня рукопись была отдана в перепечатку М. К. Баранович. К 12 июля Пастернак получил первые три копии этого «издания». В тот день он писал С. Д. Спасскому:

«Дорогой Сережа! Я попрошу Анну Андреевну взять с собой один экземпляр первой книги романа для прочтения его тобою и твоими друзьями. Дописывание этой части, ее переписка происходили в большой спешке Я отдаю машинопись не только не просмотрев ее, но не имея времени даже взглянуть на нее. Но существенных опечаток или описок, которые могли бы ввести в заблуждение или о наличии которых нельзя было бы догадаться, в рукописи не может быть. У меня на руках остается точная копия. Я задержался в городе и завтра переезжаю в Переделкино. Там я посмотрю эту музыку. Если бы что оказалось (в предвидении возможного переписыва-

⁸⁷ Н. Маслин, «Маяковский и наша современность» («Октябрь», 1948, № 4, стр. 148—160).

⁸⁸ А. Г л а д к о в. Встречи с Пастернаком. (Рукопись.)

ния в Ленинграде), я тебе сообщу исправления в письме с указанием страниц и строчек.

Теперь речь не об этом, а о самом общем. Справься, приехала ли А. А. и привезла ли вещь, зайди за нею и прочти ее. Напиши мне о своем впечатлении, если найдешь нужным. Скажи мне свое мнение прямо, без обиняков. Это слишком крупная претензия, отход мой и от окружающего обыкновения, и от предшествующих моих навыков, и от того, может быть, что остается и что надо считать искусством...»

К посланному экземпляру «первой книги» была приложена маленькая тетрадка «Юриных стихов».

14 июля 1948 года, на следующий день после переезда в Переделкино, Пастернак благодарил М. К. Баранович за исполненную работу: «Только сегодня... я удосужился взглянуть на чудо Ваших рук, на графическое произведение, заключающееся в Вашем первом экземпляре романа. Я и все мои кругом потрясены внешним видом рукописи. Сколько души и труда надо было в это вложить, чтобы так получилось. <...> Я не буду прикасаться к этому экземпляру и никому не дам его читать»⁸⁹. Пастернак действительно много лет берег этот «титульный» экземпляр «первой книги», напоминая ему самую счастливую пору работы над романом. Именно в него была им внесена последняя стилистическая правка, не отразившаяся в зарубежных изданиях романа (см. ниже).

В эти июльские дни Пастернак, внимательно ознакомившись с перепечатанным текстом, обнаружил в нем немало дефектов, требующих устранения. 20 июля 1948 года он писал С. Д. Спасскому: «...в тексте все же много ошибок переписчицы (например, на стр. 11 два раза у нее идеал, а у меня было идея, у меня: кружишься, кружишься, а у нее кружиться, кружиться и пр., и еще больше моих собственных грехов, фраз, которые я должен был бы выбросить, <...> лишние перегрузки мест, требующих небольшого упрощения и облегчения»⁹⁰. Отсюда вывод, что не только не надо отдавать это в переписку, но, наоборот, при первом удобном случае пришли мне рукопись с оказией для правки (или просто заказной бандеролью по почте).

Что же касается твоего собственного ознакомления с ней, то меня эти мелкие недочеты, в некоторых случаях раздражающие, не пугают. Существенной помехой для тебя они не будут и настолько не играют роли, что я поступил правильно, пошлав тебе неперспективную и, в некоторых своих слоях, неотлежавшуюся рукопись. На отбор и шлифовку, на осмотрительность и неторопливость ушло столько лет жизни, что теперь только и осталось, что не тратить времени даром и торопиться. На свете мало кто способен понять так хорошо, как ты: о чем это и для чего, так что если только это не слишком плохо, это доставит тебе радость».

Выправив в июле два экземпляра романа, Пастернак отдал один из них М. К. Баранович для новой перепечатки и принялся «залпом и галопом одолевая Фауста» (открытка С. Д. Спасскому от 4 августа 1948 года).

Работа по переписыванию исправленного текста затянулась в связи с отъездом М. К. Баранович. 22 сентября 1948 года Пастернак писал жене:

«Если позвонит Баранович и окажется, что она заканчивает переписку романа (она перед Коктебелем прервала переписку нескольких экземпляров и почти не возобновляла), передай ей мою благодарность и просьбу, чтобы она спокойно и медленно, в течение нескольких дней проверила сделанное и затем ждала моего появления».

1 октября 1948 года Пастернак писал О. М. Фрейденберг: «Я... с бешеной торопливостью перевожу первую часть гётевского «Фауста», чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, может быть, закончить зимою роман. начинание совершенно бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу как про-

⁸⁹ Этот первый экземпляр в 180 листов в синей обложке хранится в архиве Б. Пастернака; второй экземпляр этой закладки, выправленный рукой Пастернака, — в архиве М. К. Баранович.

⁹⁰ Совпадение указанных Пастернаком опечаток и фрагментов текста, вычеркнутых в этой авторской копии с воспроизведенными в первом русском издании «Доктора Живаго» (Милан, «Фельтринелли», 1958), не оставляет сомнений, что в экземпляр романа, оказавшийся в 1956 году в распоряжении издательства «Фельтринелли», входила невыправленная копия (или список с нее) первой перепечатки первой — четвертой глав романа.

изведение искусства хотя это в большем смысле беллетристия, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю осталось ли на свете искусство и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое письмо им, в двух книгах. Я рад, что довел первую до конца».

Письмо одному из таких людей, дочери Марины Цветаевой А. С. Эфрон, жившей тогда в Рязани после восьмилетнего лагерного срока, свидетельствует, что к 10 октября вторая перепечатка «первой книги» была готова:

«Дорогая Аля! Высылаю тебе обещанную рукопись прямо из-под машинки моей приятельницы, маминой тетки и ее большой почитательницы Марины Казимировны Баранович, переписывавшей ее. Из одной французской вставки я уже вижу, что в ней должны быть опечатки, но у меня нет времени проверять ее, не думаю, чтобы ошибки были так многочисленны, чтобы портили впечатление. Когда прочтешь рукопись и у тебя не будет настоятельной необходимости преодолеть потребность показать ее еще кому-нибудь, я попрошу тебя переслать ее таким же порядком: г. Фрунзе, почтамт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской».

Первый экземпляр октябрьских копий был еще раз выправлен Пастернаком по своему «титальному» экземпляру и снова отдан в перепечатку, но уже другой, профессиональной машинистке Н. Л. Мушкиной⁹¹.

Посылая один из экземпляров октябрьской машинописи О. М. Фрейденберг, Пастернак писал ей:

«Наверное, эта, первая книга написана для и ради второй, которая охватит время от 1917 г. до 1945-го. Останутся живы Дудоров и Гордон, Юра умрет в 1929 году, и после его смерти в бумагах, которые будет разбирать его сводный брат Евграф, будет найдена тетрадь стихотворений, уже написанная, часть которых тут приложена. Все эти стихотворения, одно за другим подряд, составят одну из глав будущей второй книги.

Сюжетно и по мысли эта вторая книга более готова в моем сознании, чем при своем зарождении была первая. <...> Меня так и распирает от разных мыслей и предположений и хочется работать как никогда.

Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения.

Так поздно приходишь к нужному, только теперь я овладел тем, в чем всю жизнь нуждался,—но что делать, спасибо и на том. <...> Я счастлив действительно, не в экзальтации какой-нибудь или в парадоксальном каком-нибудь преломлении, а по-настоящему, потому что внутренне свободен и пока, благодаренье Создателю, здоров».

Ольга Фрейденберг отозвалась на прочитанное взволнованным и глубоким письмом:

«Это жизнь — в самом широком и великом значении. Твоя книга выше суждения. К ней применимо то, что ты говоришь об истории как о второй вселенной. То, что дышит из нее,—огромно. <...> Но, знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное для меня. Мне представляется, что ты боишься смерти и что этим все объясняется — твоя страшная бессмертность, которую ты строишь как кровное свое дело».

«Как поразительно ты мне написала! — отвечал Пастернак в тот же день, как получил этот отклик.— <...> Так это дошло до тебя?! Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений, и достижений, и наилучших ручательств, и вытекающее из этого стремление избежать наивности и идти по правильной дороге, с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки. <...>

⁹¹ Текст этой последней перепечатки оставался неизменным до конца 1955 года и именно с него были сделаны копии, входившие в экземпляры романа, отданные в «Новый мир» и Гослитиздат в 1956 году. Текст этой перепечатки конца 1948 года занимает 177 машинописных листов. Нам известно местонахождение двух копий из этой закладки: 1) семейный архив В. Пастернака (вторая копия закладки); 2) третья (возможно, четвертая) копия закладки, входящая в состав экземпляра романа, подаренного Пастернаком А. С. Эфрон в конце 1955 — начале 1956 года (ныне — архив Вяч. Вс. Иванова).

Главное мое потрясение — папа⁹², его блеск, его фантастическое владение формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи отхватывать по несколько работ в день и несоответственная малость его признания, потом вдруг повторилось (потрясение) в судьбе Цветаевой, необычайно талантливой, смелой, образованной, прошедшей все перипетии нашей «эпики», близкой мне и дорогой, и приехавшей из очень большого далека затем, чтобы в начале войны повеситься в совершенной неизвестности в глухом захолустье.

Часто жизнь со мной рядом бывала революционизирующе, возмущающе мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитником ее чести, воинствующе усердным и проницательным, и приносило мне имя и делало меня счастливым, хотя, в сущности говоря, я только страдал за них, расплачивался за них.

Так умер Рильке через несколько месяцев после того, как я списался с ним, так потерял я своих грузинских друзей. <...>

И перед всеми я виноват. Но что же мне делать? Так вот, роман — часть этого моего долга, доказательство, что хоть я старался.

Поразительна близость твоего понимания, мгновенного, вырастающего совсем рядом, уверенно распоряжающегося; так понимала только та же Марина Цветаева...»

3. «ВТОРАЯ КНИГА»

Среди пастернаковских бумаг сохранилась запись «для возможного будущего предисловия, пояснений и прочее» к «Фаусту»⁹³:

«Стремление Гёте во второй половине и перед концом жизни насаживать новые свои домыслы, представления и воззрения на стержень сильнейшего и жизненного своего произведения — естественно и правильно. Сильное, жизнеустойчивое, богатое теплом художественное произведение так же точно, как организм, обладает способностью принимать прививку, способно к наращиванию и т. д.»

Эти же слова он с полным правом мог бы сказать о своем романе, в особенности о «второй книге», которая, развиваясь в течение нескольких лет, «принимала прививки» разнообразных жизненных опытов ее автора.

«Скоро кончаю Фауста (1-ю часть), — писал он Е. Д. Орловской 30 января 1949 года. — С августа до февраля 4700 стихотворных рифмованных строк, Вы подумайте!»

Пока Пастернак трудился над «русским воссозданием этого чуда», в реальной действительности, далекой от мира «Фауста», но близко касавшейся Пастернака, разгоралась борьба с «космополитизмом». 19 февраля 1949 года «Литературная газета» напечатала статью А. Макарова «Тихой сапой». Хотя непосредственно эта статья была направлена против критика Ф. М. Левина, ее очевидной и главной мишенью был Пастернак. Ф. М. Левин обвинялся в том, что в 1939 году он превозносил творчество Пастернака, «эстетствующего формалиста», а в 1947 году «услужливо составляя» для издательства «Советский писатель» книгу Пастернака «Избранное» (уничтоженную в апреле 1948 года).

23 марта 1949 года на расширенном заседании секции поэтов Союза писателей обсуждалось «положение в советской поэзии». Выступая на нем, поклонник пастернаковской поэзии критик А. Тарасенков «признал» свои грубые ошибки, выразившиеся в поддержке Б. Пастернака» («Литературная газета», 1949, № 24).

В эти месяцы распространился упорный слух об аресте Пастернака. Встревоженные Анна Ахматова и Ольга Берггольц звонили ему из Ленинграда.

Опасность усугублялась растущим интересом к творчеству Пастернака на Западе. В 1949 году его снова выдвинули кандидатом на Нобелевскую премию.

⁹² Л. О. Пастернак умер в Оксфорде 31 мая 1945 года.

⁹³ Среди смысловых обертонов названия «Доктор Живаго» отчетливо различим и «доктор Фауст», который должен «все обнять, все испытать, все выразить». Пастернак часто сожалел, что ему не дали возможности «живо и доступно, легкою скатою прозой пересказать содержание» и «честно и заинтересованно» найти объяснение «действительным странностям» «Фауста». «Я мог бы, например, — писал он 4 января 1954 года Е. Д. Орловской и К. Кулиеву, — в предисловии или в комментарии, если бы мне дали их написать (а сколько раз я просил позволить мне написать их, но разве мысленно мне, лицу не должностному и не обладающему никаким милиционерским чином, братья за такие высокоидейные задачи), я мог бы, говорю я, в предисловии или комментарии постараться разгадать для себя несколько дальше и свободнее то, начало разгадывания чего я дал в переводе».

7 августа 1949 года он с горечью писал Ольге Фрейденберг, перечисляя английские антологии русской поэзии с его стихами:

«Лет пять тому назад, когда такие факты не опорочивались <...> совершенно новым их преломлением, эти сведения могли служить удовлетворением. Сейчас их действие (я опять говорю о себе самом) совершенно обратное. Они подчеркивают мне позор моего здешнего провала (и официального и, очевидно, в самом обществе). Чего я, в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось не преодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, и какое я, действительно, притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных? О, ведь если так, то тогда лучше ничего не надо, и какой я могу быть и какой обо мне может быть разговор, когда с такой легкостью и полнотой от меня отворачивается небо?»

Ощущение опасности заставляло Пастернака спешить. «Мне важно было двинуть Фауста в целом,— писал он М. В. Юдиной 27 марта 1949 года,— весь текущий и катящийся мир его, всю его драматическую совокупность, и я, кажется, этого достиг, а теперь я отвлечен мыслями о продолжении романа и не сегодня-завтра за него примусь. <...> Мне по многим причинам нельзя сейчас задерживаться в собственной работе, все в такой неясности»⁹⁴.

«Окончание Фауста освободило меня на время. После почти годичного перерыва я спешно напишу дальше роман и постараюсь довести его до задуманного конца. Эта работа не приблизит меня к существующим требованиям и не сделает более приемлемым. Во время последней ругательской кампании опять мое имя стало углом ко всему остальному в одиночестве и особняком, как имя человека, до сих пор не пропешего требующегося от всех «кукареку». Может быть, мне и плакать не будут, и я уже вне литературы.

Но это меня не трогает и не беспокоит. Все-таки старейшая моя страсть — искусство (или то, что мне кажется искусством), оно управляет мною и обстоятельствами моей жизни так же недвусмысленно твердо и с такою же ясностью, как людьми владели когда-то религиозные убеждения. Эта ясность линии и цели все мне облегчает, я ко всему наперед готов и за все судьбе и небу скажу спасибо» (письмо к Н. Табидзе от 4 апреля 1949 года).

Весной 1949 года Пастернаку не пришлось заняться продолжением романа. В эти месяцы он принял решение покончить с тянущейся раздвоенностью своей жизни. О том, как нелегко оно далось ему, Пастернак рассказывал двоюродной сестре 7 августа 1949 года:

«У меня была одна новая большая привязанность, но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было primero пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укурами большой совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всю свою совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная беспечность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы «здесь» и «там» и пр. и пр. Тогда я писал первую книгу романа и переводил Фауста среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием, и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удается».

Жалость и тревога, звучащие в приведенном письме к О. М. Фрейденберг, вскоре сменились реальным страхом за судьбу О. В. Ивинской. В начале октября 1949 года она была арестована.

«Дорогой мой друг Нина, подумайте, какое у меня горе, и пожалейте меня,— писал Пастернак в эти дни Н. Табидзе.— Жизнь в полной буквальности повторила последнюю сцену Фауста, «Маргариту в темнице». Бедная моя О<льга> последовала за дорогим нашим Т<ицианом>. Это случилось совсем недавно, девятого (неделю тому назад) <...> Страдание только еще больше углубит мой труд, только проведет еще более резкие черты во всем моем существе и сознании. Но при чем она, бедная, не правда ли?» (письмо к Н. Табидзе от 15 октября 1949 года)

«Я много сейчас работаю,— сообщил он 20 ноября 1949 года О. И. Александровой.— Пишу стихи и прозу второй книги (продолжение романа), перевожу поэмы

⁹⁴ «Записки Отдела рукописей ГБЛ». 1967, вып. 29, стр. 257.

Петефи, собираюсь перевести «Макбета» и вторую часть «Фауста». <...> Как раз сейчас у меня большое огорчение, которое каждый день собирается меня уничтожить и в ежедневной борьбе с которым заключается счастье и назначение моей работы».

Разрешая О И Александровой взять на прочтение первую часть романа у общих знакомых, Пастернак предупреждал: «Если Вам покажется, что рукопись выставляет какие-то догматы, что-то ограничивает и к чему-то склоняет, значит, вещь написана очень дурно. Все истинное должно отпускать на волю, освобождать» (архив Н. Н. Дмитриевой).

Написанные в ноябре — декабре 1949 года семь стихотворений в тетрадь Юрия Живаго пропитаны тоской, болью и ощущением неотвратимого конца. Посылая К. Н. Бугаевой четыре из них («Осень», «Нежность», «Магдалина II», «Свидание»), Пастернак писал: «...в «Осени» вытёе почти собачье, а «Нежность» должна была быть глубже и не удалась»⁹⁵.

Верный друг Пастернака Н. А. Табидзе, почувствовав по письмам, что он нуждается в поддержке в конце декабря 1949 года приехала в Москву. Ей и своим домашним он читал, по-видимому, близкую к окончанию пятую часть романа «Процание со старым».

В феврале 1950 года Пастернак перечитывал «Воскресение» Л. Толстого, иллюстрированное его отцом Л. О. Пастернаком. В письме Н. С. Родионову, автору ряда работ о Толстом, он сформулировал свое восприятие Толстого, важное для понимания личности пастернаковского героя Юрия Живаго:

«<...> На меня большое влияние в детстве (лет 12—13-ти) оказали люди и течения, казалось бы, с миром Льва Николаевича несовместимые, символисты и даже та доля или тот налет эгоцентризма, чтобы не сказать нищестанства, которые отличали Скрябина, — а Скрябина я мальчиком боготворил.

И все же главное и непомернейшее в Толстом то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художнического своеобразия (а может быть, и составляет именно истинное его существо), новый род одухотворения в восприятии мира и жизнедеятельности, то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства, стало и по сей день осталось основой моего существования, всей манеры моей жить и видеть. Я думаю, что я в этом отношении не одинок, что в таком положении находятся люди из лагеря, считающегося нетолстовским, то есть я хочу сказать, что вопреки всем видимостям историческая атмосфера первой половины XX века во всем мире — атмосфера толстовская»⁹⁶.

Говоря в письмах друзьям об исполнении своего долга, Пастернак постоянно ошибался в сроках окончания романа. «К весне я хочу закончить роман и все вокруг него, если, Бог даст, доживу», — писал он о своих намерениях Е. Д. Орловской еще в середине января 1950 года. Но осуществлению этого настоящего желания все время мешала необходимость спешно выполнять очередные договорные обязательства.

«Я много работал летом, — писал он Н. Табидзе 19 ноября 1950 года, — перевел в месяц шекспировского «Макбета», взялся за вторую часть «Фауста», тут подоспела статья в «Новом мире», где меня выругали⁹⁷, — рассердился на Гёте и принялся за прозу.

Это то, что Вы слышали в позапрошлом году⁹⁸, отделанное и продолженное. Оно составляет третью четверть романа (остается дописать еще четвертую). Мне переписали эту часть, ее читали, она вызывает разноречивое отношение. Одни, как

⁹⁵ Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 60 (А. Белый), № 30. Стихотворение «Нежность» осталось не включенным в цикл «стихов из романа».

⁹⁶ «Вопросы литературы», 1972, № 9, стр. 163.

⁹⁷ В рецензии на первую часть «Фауста» в переводе Б. Пастернака («Новый мир», 1950, № 8, стр. 239—243) Т. Мотылева писала, что «переводчик явно искажает мысль Гёте» и «социально-философский смысл» его произведения «Была тревога, — рассказывал Пастернак в письме от 21 сентября 1950 года к ссыльной А. С. Эфрон, — когда в «Новом мире» выругали моего «Фауста» на том основании, что будто бы боги ангелы, ведьмы, духи, безумие бедной девочки Гретхен и все «иррациональное» передано слишком хорошо, а передовые идеи Гёте (какие?) оставлены в тени и без внимания. А у меня договор на вторую часть! Я не знал, чем это кончится. По счастью, видимо, статья на делах не отразится».

⁹⁸ Вероятно, описка Пастернака. Н. Табидзе приезжала в Москву в декабре 1949 года. В 1948 году они не встречались с Пастернаком

Зина или живущие скромно и трудно писатели в Нащокинском переулке, Бог знает как хвалят, другие, как блестящие жители Лаврушинского или такие преданные друзья, как Ливановы, находят, что я себя потерял или намеренно отказываюсь от себя, что я ударился в не свойственную мне бесцветность или обыкновенность и т. д. Но так как мне постоянно хочется работать и надо зарабатывать, жизнь, видимо, бессознательно создала мне род иммунитета и выработала совершенную невосприимчивость к судьбе сделанного и мнениям о нем.

Письмо это свидетельствует о том, что в августе — октябре 1950 года Пастернак завершил еще две части романа — пятую («Прощание со старым») и шестую («Московское становище»), доведя их до текста белой редакции. Отголоски обсуждений, упомянутых в письме к Н. Табидзе, слышны в рассказе Пастернака его грузинской знакомой Райсе Микадзе:

«Все чаще раздаются голоса самых близких, родных и самых проверенных друзей, которые видят упадок, утерю мною самого себя и уход в ординарность в моих интересах последнего времени и давшейся мне так нелегко моей нынешней простоте. Что же, не горе и это. Если есть где-то страдание, отчего не пострадать моему искусству и мне вместе с ним? Может быть, друзья мои правы, а может быть, и не правы. Может и очень может быть, я прошел только немного дальше по пути их собственных судеб в уважении к человеческому страданию и готовности разделить его. <...> Я говорю о самом артистическом в артисте, о жертве, без которой искусство не нужно и скандально-нелепо. <...> Я по-прежнему живу как хочу и здоров и счастлив этим правом, за которое готов заплатить жизнью»⁹⁹.

И снова переводческая работа надолго остановила продвижение «Доктора Живаго».

В середине августа 1951 года перевод второй части «Фауста» был сдан в издательство. В письмах Пастернака этой осени ясно заметны следы утомления и спада душевных сил.

«Сейчас я переехал в город, — сообщал он 11 октября 1951 года Е. Д. Орловской. — Надо воспользоваться свободным перерывом и постараться закончить роман. Есть продолжение его, которого Вы, кажется, не знаете. Но многое, многое изменилось. Еще так недавно работы, усилия, замыслы, события жизни и случайности чередовались, что-то означая в своем движении и оставляя по себе какой-то след. Теперь же все идет у меня как сквозь сон, валясь в одну какую-то скучную грудку и ничего не знача. <...> В этом виноват не только мой возраст (а может быть, и совсем не виноват), но также возраст и самих вещей, какая-то мера терпения, предел однообразия».

Преодолевая это состояние, Пастернак пытается работать, но писание следующей — седьмой — части романа, видимо, продвигалось медленно.

«Понемногу я пишу для себя самого. Хочу написать, пока я свободен, последнюю, заключительную тетрадь «Живаго». Бывают у меня полосы уныния и самоуничтожения, бывают и другие, когда я спокойно вижу, что я пожил и потрудился не напрасно».

22 декабря 1951 года, встретив Н. Муравину в консерватории, Пастернак сказал ей, пораженной его утомленным видом, что «чувствует себя полуживым человеком».

К весне это состояние сменилось новым душевным подъемом и ощущением возврата жизни.

21 апреля Пастернак писал Е. Д. Орловской: «Сейчас я здоров, чувствую себя хорошо и хорошо зарабатываю сделанными переводами (гл. обр. Фаустом). Хочу воспользоваться этим и написать окончание романа. Вот это очень важно, потому что половина дела сделана и не годится бросать его на середине, а также потому еще, что если человек раз в жизни привлеч внимание общества, он должен когда-нибудь это внимание чем-нибудь оправдать и объяснить, иначе это (пусть и не по его вине) некрасивое, неосуществленное притязание. <...> Меня сейчас в литературе нет, как нет в ней и К<айсына> Кулиева, и меня давно уже не интересует, справедливо ли это или несправедливо. Эта сторона моей судьбы не трогает меня и в моем сознании не существует. Я роман пишу, мысленно видя его напечатанной книгой; но когда именно его напечатают, через десять месяцев или через пятьдесят

⁹⁹ «Вопросы литературы», 1966, № 1.

лет, мне неведомо и одинаково безразлично: промежуточные сроки для меня нулевого значения, их тоже не существует. <...> Вот в чем мне можно позавидовать: что судьба щадит меня, дает мне жить, позволяет трудиться; что потребности отдыха и доводы, оправдывающие его, мне всегда, наверное, останутся чужды. Что задачи, которые я до самой смерти буду преследовать, всегда будут (по крайней мере в моем сознании) живыми...»

В мае 1952 года была написана набело седьмая часть «Доктора Живаго» — «В дороге». Об обстоятельствах ее создания Пастернак рассказывал в письме Н. Табидзе на следующий день после первого ее чтения у себя в Лаврушинском переулке, на котором присутствовали Ахматова, Журавлевы, Е. А. Скрыбина:

«<...> Недели три или месяц тому назад я узкому кругу друзей, в котором были бы и Вы, если бы тут гостили, обещал почитать немного дальше на прощание перед отъездом на дачу. Дав это обещание, я связал себя им, и тут только сея настоящему писать, потому что до этого были только черновые подготовительные заметки. Я снова, как несколько раз в жизни, заболел работой, ничем не существовал, как только ею, преспокойно пропускал раздававшиеся телефонные звонки и не подымал трубки. Чтение было назначено на вчерашний день (2 июня.— В. Б., Е. П.), срок подходил, а у меня еще не все было написано, и последние дни я вставал в 5, в 6 часов утра, чтобы поспеть к сроку, точно его нельзя было перенести. <...> Я Вам пишу это, и у меня слипаются глаза от усталости. Я делаю то, что мне подсказывает крайнее мое разумение, и все без цели. Но я ничего не могу переделать, и это никогда не будет по-другому.»

Ощущением жизни, полностью возрожденным любимой работой, Пастернак делился с А. С. Эфрон в письме от 14 июня 1952 года:

«Дорогая Аля! Я еще по поводу предыдущего твоего письма хотел повторить тебе, какая у тебя замечательная и близкая мне наблюдательность. У меня в продолжении романа, только что написанном и которого ты не знаешь, есть о том же самом, что у тебя в прошлом письме: о земле, выходящей из-под снега в том виде, в каком она ушла зимой под снег, и о весенней желтизне жизни, начинающейся с осенней желтизны смерти, и т. д.»

Я очень хорошо поработал для себя в апреле и мае и читал нескольким друзьям большой новый кусок прозы, еще не переписанной. Это было большое счастье, и было совсем недавно, неделю с чем-то тому назад <...>.

Мне хорошо, Аля, я стал как-то шутиливо-спокоен. Я не остыл в жизни, а готов загореться и горю как-то шире, целым горизонтом, как будто я только часть пожара, вообще только часть того, что думает воздух, время, человеческая природа (в возвышающем отвлечении), я боюсь взглянуть, я боюсь это говорить. <...> Я летом хочу кончить роман так, как он был начат, для себя самого»¹⁰⁰.

Впечатления от этого чтения, по-видимому, отразились в письме к С. Чиковани, написанном одновременно с письмом к А. С. Эфрон:

«<...> Из людей, читавших роман, большинство все же недовольно, называют его неудачей, говорят, что от меня они ждали большего, что это бледно, что это ниже меня, а я, узнавая все это, расплываюсь в улыбке, как будто эта ругань и осуждение — похвала».

Расчеты Пастернака на окончание романа этим летом не оправдались. «Я за него не принимался», — сообщал он 2 июля С. Чиковани.

В августе седьмая часть романа («В дороге») была перепечатана на машинке. Один экземпляр ее Пастернак послал в Тбилиси с дочерью Тициана и Нины Табидзе Нитой.

В десятых числах октября Пастернак принес М. К. Баранович рукопись следующей части романа — «Приезд»¹⁰¹. А 20 октября его увезли в Боткинскую больницу с обширным инфарктом миокарда. Он пробыл там до 6 января 1953 года. В конце декабря его навещала Ахматова.

Из письма Нине Табидзе от 17 января 1953 года:

«<...> Я остался жив, я — дома. <...>

¹⁰⁰ Архив М. И. Велкиной.

¹⁰¹ В рукописных примечаниях к письмам Пастернака к ней М. К. Баранович писала: «Так она у меня и осталась, потому что после этого письма у Б. Л. случился инфаркт и наши свидания надолго прекратились». В архив Пастернака рукопись была передана после смерти М. К. Баранович ее родственниками.

Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерями сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство! <...>

А рядом все шло таким знакомым ходом, так выпукло группировались вещи, так резко ложились тени! Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!

В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его. «Господи,— шептал я,— благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». И я ликовал и плакал от счастья».

3 февраля, собираясь с женою в санаторий Болшево, Пастернак писал М. К. Баранович: «8-ю тетрадь Живаго (речь идет о восьмой части романа — «Приезд». — В. Б., Е. П.), переписанную Зиною, пересматриваю, кое-что сглаживаю. <...> Мне лучше, и если дальше так пойдет в Болшеве и весною, мечтаю еще поработать. Мне очень хочется закончить Живаго».

Письма Пастернака из Болшева полны энергией возвратившейся жизни и нетерпеливым желанием поскорее приняться за работу всерьез.

«Если будет что-нибудь от Варлаама Тихоновича,— запрашивал он жену Шаламова Г. И. Гудзь,— перешлите сюда. Прочитали ли Вы рукопись? Есть ли у Вас время ее переписывать? Перед отъездом сюда я Вам названивал — в третьей тетради¹⁰² будут некоторые изменения, я хотел внести их до Вашей переписки, но они — незначительны и это несущественно».

«Мне лучше,— писал он В. Ф. Асмусу.— Я стал работать, засел за окончание Живаго».

5 февраля 1953 года, прочитав в «Огоньке» погромную рецензию на поэму Н. Асеева «Гоголь», в дружественном письме к нему Пастернак объяснял, в чем он видит задачу искусства:

«Отличие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях независимо от того, читают ли ее или не читают.

Это — гордое, покоящееся в себе и самоутверждающее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незабываемость и непогрешимость.

Но настоящему искусству в моем понимании далеко до таких притязаний.

Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей. Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды, и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника, как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться».

5 марта 1953 года умер Сталин. Появились надежды на возвращение друзей из лагерей и ссылки. До Пастернака дошли слухи о том, что Тициан Табидзе, возможно, жив и будет освобожден. 4 апреля¹⁰³ он сообщает Нине Табидзе: «Два раза написать Вам было моей сильнейшей потребностью: в дни смерти и похорон Сталина и в особенности в день обнародования амнистии, которая столько, по моему пониманию, должна коснуться, и в первую очередь Тициана. Но, во-первых, больше чем когда-либо нам нужно терпение, чтобы сохранить силы и дожить до этой радости. И я отказался от мысли послать Вам телеграмму, чтобы не волновать и не нервировать друг друга естественной нетерпеливостью. <...> Больше чем когда-либо я хочу дописать роман: перенесенная болезнь показала мне границы сил, которыми я располагаю. Как все люди,

¹⁰² Первая — четвертая, пятая — шестая, седьмая части романа сшивались отдельными тетрадями.

¹⁰³ В этот день в «Литературной газете» появилось сообщение о реабилитации врачей-«отравителей».

я не знаю, сколько часов, или дней, или месяцев и лет в моем распоряжении, но теперь я эту неизвестность ощущаю острее, чем год тому назад. И свободное время трачу на работу над вещью. Труда над окончанием романа предстоит еще много».

«Надо умереть самим собой,— писал он О. М. Фрейденберг 12 июля 1953 года,— а не напоминанием о себе, <...> надо кончить роман и кое-что другое; то есть это не то выражение, не надо, а хочется, хочется непобедимо сильно. Как я себя чувствую? Да несчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия, для того, чтобы удавалось то, что я задумал, это неустрашимое условие. И по какой-то предустановленности это чувство счастья ко мне возвращается из достигнутого, как производственный след его возникновения и обратная отдача».

Летом были написаны еще одиннадцать стихотворений в «тетрадь Юрия Живаго». Два из них — «Бессонница» и «Под открытым небом» — были исключены Пастернаком из цикла. Пережитое этим летом ощущение творческого взлета напомнило Пастернаку другое счастливое для него лето — 1917 года.

«Не преувеличивая, такую свободу от себя самого, от того, «как себя чувствуешь и какое настроение», такую поглощенность тем, что делаешь, и тем, что делается вне тебя, я испытал только раз — в период «Сестры моей жизни». Это было повторение того же самого не прекращающегося плодотворного блаженства. Больше всего это сказало в работе над романом. Как жаль, что уже написаны три тетради. Они, может быть, будут задерживать и разочаровывать читателя, отбивая охоту браться за четвертую порцию, которая оказывается главной, по тому как она пишется, какие пласты в ней подняты, что затронуто и что в ней происходит»¹⁰⁴

«Нина, за что это мне, это упоение работой, это счастье. Иногда я себя чувствую точно не в своей власти, а в творящих руках Господних, которые делают из меня что-то мне неизвестное, и мне тоже страшно, как Вам. Нет, неправда,— не страшно. <...> Я весь в прозе, в романе и, кажется, делаю в этой последней части много серьезного, стоящего, как в первой, самой начальной»¹⁰⁵.

В эти необыкновенные месяцы Пастернак стремительно продвинулся к завершению работы. К ноябрю им были написаны черновые редакции прозаических кусков, составивших в окончательном тексте шесть частей (с девятой по четырнадцатую).

«В романе, в прозе главное вчерне уже написано. Герой с главной героинею уже расстался и более никогда ее не увидит. Мне осталось (в первой черновой записи) описать пребывание доктора в Москве с 1922 года по 1929, как он опускался и все забывал и потом как умер, и затем написать эпизод, относящийся к концу Отечественной войны. Так насквозь, не задерживаясь на частностях и откладывая их до общей отделки. Я писал только раз в жизни, «Детство Люверс», а потом случаи такой свободы, непосредственности и радости не повторялись»¹⁰⁶

В декабре М. К. Баранович перепечатала девять стихотворений, завершивших «тетрадь Юрия Живаго», будущую семнадцатую часть романа (окончательный их порядок был установлен Пастернаком осенью 1955 года) Посылая эти стихи В. Т. Шаламову, Пастернак писал ему 18 декабря 1953 года: «...к концу года обязательно хочу кончить роман в первой черновой записи».

Осенью 1953 года была освобождена О. В. Ивинская

30 декабря Пастернак писал О. М. Фрейденберг, поздравляя ее с Новым годом: «Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекратилось ежедневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших. некоторые возвращаются. <...> Я вчерне (но еще в самом глубоком поверхностном наброске или пересказе) кончил роман, которому только недостает задуманного эпизода».

«Я уже и раньше,— продолжал он на другой день в следующем письме к ней,— в самое еще страшное время утвердил за собой род независимости, за которую в любую минуту мог страшно поплатиться. Теперь я могу ею пользоваться с гораздо меньшим риском <...> Но внешне ничего не изменилось. Время мое еще не пришло. Писать глупости ради их напечатанья я не буду. А то, что я пишу, все с большим приближением к тому, что думаю и чувствую, пока к печати не пригодно <...> Для того чтобы все это существовало, значило, двигалось (Фауст, я, работы радости), требуется воздух».

¹⁰⁴ Письмо В. П. и Д. Н. Журавлевым от 14—16 сентября 1953 года.

¹⁰⁵ Письмо к Н. Табидзе от 18 сентября 1953 года.

¹⁰⁶ Письмо к Н. Табидзе от 16 ноября 1953 года.

В безвоздушном пространстве оно немислимо. А воздуха еще нет. Но я счастлив п без воздуха. Вот пойми ты это, пожалуйста...»

В апрельском номере журнала «Знамя» были опубликованы десять стихотворений под названием «Стихи из романа» с коротким авторским предисловием, в котором впервые печатно было упомянуто имя Юрия Андреевича Живаго.

«Милый друг мой,— писал Пастернак О. М. Фрейденберг 16 апреля 1954 года,— достань где-нибудь через неделю или дней через десять четвертый номер журнала «Знамя» (суть он уже вышел). Там за вычетом двух-трех стихотворений, раньше написанных,— все новое. Тебе приятно будет увидеть в нынешней печати такое простое, естественное и непохожее на нее. Главное, конечно, не в них, а в прозе, в «системе» которой они вращаются и к которой тяготеют. И слова «доктор Живаго» оттиснуты на современной странице...»

«Я хочу кончить роман и верю, что кончу его. <...> Я работаю, я не умею отдыхать, наслаждаться».

2 сентября Пастернак писал М. К. Баранович:

«Сейчас, к осени я захвачен партизанской частью прозы так же глубоко и счастливо, как это было прошлым летом с «Фаустом» и стихами».

Осенью 1954 года, в самый разгар работы над романом, в Москве и Ленинграде пронесся слух, что Пастернак получил Нобелевскую премию.

«Правда ли это? — взволнованно спрашивала его О. М. Фрейденберг. — Иначе — откуда именно такой слух? Мой вопрос, возможно, очень глуп. Но как же его не задать?»

«Такие же слухи ходят и здесь,— отвечал ей Пастернак. — Я — последний, кого они достигают, я узнаю о них после всех, из третьих рук. «Бедный Боря,— подумаешь ты,— какое нереальное, жалкое существование, если ему некуда обратиться по этому поводу и негде выяснить истину!»

Но ты не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напомнить. При первом движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее, чем сильнее, счастливее, плодотворнее и здоровее делается в последнее время моя жизнь. <...>

Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями,— но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклоу, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось! Вот ведь вавилонское пленение! По-видимому, Бог миловал, эта опасность миновала. <...>

Я горжусь одним: ни на минуту не изменило это течения часов моей простой, безымянной, никому не ведомой трудовой жизни. <...>

Чувство чего-то нависающего, какой-то predeterminedной неожиданности не покидает меня, без вреда для меня, то есть не волнует и не производит во мне опустошающего смятения, но все время потирающая меня и держа все время начеку».

В период работы над романом, и особенно над второй книгой, Пастернак помимо разнообразных исторических документов широко использовал фольклорные источники: сборники уральского фольклора, «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева, «Малыхитовую шкатулку» П. П. Бажова, собственные фольклорные записи, которые он вел еще в Чистополе в 1942 году. Внимательно читал он в это время известную книгу В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки», вышедшую в Ленинграде в 1946 году. Обращение Пастернака к миру народной культуры первостепенно важно для понимания поэтики «Доктора Живаго». 9 ноября 1954 года он объяснял особенности заканчиваемой им книги Т. М. Некрасовой: «<...> Теперь мне первая книга кажется вступлением ко второй, менее обыкновенной. Большая необыкновенность ее, как мне представляется, заключается в том, что я действительность, то есть совокупность совершающегося, помещаю еще дальше от общепринятого плана, чем в первой, почти на грань сказки».

Это вышло само собою, естественно, и оказалось, что в этом и заключается основное отличие и существо книги, ее часто и для автора скрытая философия: в том, что и м е н н о, среди более широкой действительности, повседневной, общественной, при-

знанной, привычной, он считает более узкой действительностью жизни, таинственной и малоизвестной.

Зиму 1954/55 года Пастернак безвыездно прожил в Переделкине.

«Я очень много работаю,— писал он 22 января 1955 года М. В. Юдиной.— Внешне и по имени эта работа не представляет ничего нового. Это вторая книга Живаго во второй ее редакции, перед перепиской окончательно начисто, к которой я надеюсь приступить через месяц и предполагаю довести до конца через два-три к весне. Но внутренне, в действительности это труд такой же новый, как если бы я начинал что-нибудь новое и по названию, так много я изменяю при отделке и столько нового вставляю».

«Я не писал Вам,— просил он прощения у Нины Табидзе 24 марта 1955 года,— да и теперь напишу очень мало, потому что очень занят. Вторая книга Живаго и конец очень разрослись, переписка этой части набело отнимает много времени, потому что переписываю не механически, а попутно все переделываю, порчу, восстанавливаю, мучусь».

Наконец 5 августа 1955 года Пастернак уведомил М. К. Баранович о том, что рукопись «второй редакции» окончена.

Прося ее приняться за переписку этого «страшно длинного сочинения, пять рукописных тетрадей в шестьсот с чем-то страниц»¹⁰⁷, он предупреждал, что это «несколько нелепый» вид рукописи, «однако, несмотря на шероховатости и невыгодную внешность произведения, это очень важное происшествие и очень важное выражение моей душевной сущности и жизни, гораздо более важное, чем первая книга».

М. К. Баранович, уже тогда страдавшая раком горла, самоотверженно сумела перепечатать рукопись за две недели

«Дорогой мой, огромный мой друг! — писал ей 5 сентября глубоко тронутый Пастернак. <...> Если бы в моей мечте и сознании не стояли страницы текста в Вашем исполнении, я и от руки писал бы хуже не только в смысле внешности, но и внутреннего наполнения.

Для меня было бы счастьем, если бы и дальше, в течение зимы Вы нашли возможность прогнать Живаго (после моей подчистки) (подчеркнуто три раза.— В. Б., Е. П.) еще раз или сколько захотите. Но я не решился бы просить Вас об этом, только чтобы не утомлять. Но если бы это делали Вы, это было бы, повторяю Вам, счастьем для меня. Затем я еще кого-нибудь, но, конечно, не Вас, замучаю другой просьбой. Тетрадей первой книги почти не осталось. Надо было бы изготовить три тома романа со сквозной нумерацией страниц, первую книгу в одном томе и вторую в двух, как сделали Вы»¹⁰⁸.

18 сентября Пастернак сообщил М. К. Баранович о том, что приступил к пересмотру текста, и просил не показывать «работы кому бы то ни было, пока я сам не прочту всего и не решу, как быть».

Продолжая правку рукописи и ее первой перепечатки, он писал ей 24 сентября: «Не перестаю Вам удивляться. Какое успокаивающее действие оказывают на меня Ваши страницы. Сейчас прочел конец первой сшивки, «Рябину в сахаре». Слава Богу. Это скорее хорошо, чем плохо.

И, наверное, главное достоинство (не сплошь, в особо счастливых сочетаниях) именно то, что задним числом, по воспоминаниям, казалось мне недостатком, недоработкой: нелитературное спокойствие слога, отсутствие блеска в самых важных, сильных или страшных местах».

Препровождая ей записку бумаги в начале октября, Пастернак предлагал: «Я был бы счастлив, если бы Вы нашли достаточно времени, сил и решимости переписать весь роман целиком, с начала до конца, со сквозною нумерацией страниц и любым делением на отдельно сброшюрованные единицы. Не отступить ли тогда от деления на две книги, может быть, читать их четыре, в соответствии с вероятным количеством сшивков? <...> Первую из Ваших двух сшивок (гл. 8—12) в переработанном виде надеюсь доставить через неделю 11-го».

¹⁰⁷ Пять тетрадей белой чернильной рукописи второй книги ныне хранятся в ЦГАЛИ, ф. 379, оп. 3, ед. хр. 8, 9, 10, 11, 12.

¹⁰⁸ Машинистку М. К. Баранович занимает 432 страницы и разделена на две сшивки: 1) 8—12 части (стр. 1—275) и 2) 13—17 части (стр. 276—432). Два экземпляра ее хранятся в архиве Пастернака (первый экземпляр с авторской правкой) и в архиве М. К. Баранович (правка перенесена рукой М. К. Баранович, но не до конца).

15 октября Пастернак предупреждал ее об изменении своих планов и просил воздержаться пока от переписки романа с самого начала, так как хочет «заново пересмотреть и, может быть, исправить» текст первой книги «для Вас, для Т. И. и Л. В. Стефанович»¹⁰⁹. «Я почти перемарал все, что надо было в частях с восьмой по двенадцатую, но еще не готов, и, кроме того, надо будет перечесть первую книгу и, может быть, заняться ей. Я все время ошибаюсь в сроках, но мне кажется, через неделю, числа в двадцатых, я смогу доставить Вам просмотренную и утвержденную первую книгу и названную половину второй. А пока Вы будете ими заняты, я подготавливаю вторую половину второй книги...»

В тот же день, отвечая на просьбы А. С. Эфрон и друживших с ней Журавлевых, Пастернак писал ей о своем нежелании, «чтобы ты или кто-нибудь из твоих близких <...> прочли роман в том получерновом виде, в каком он был в руках Марины Казимировны и какой представляет ее перепечатка. Зачем это тебе? В результате моих и, немного спустя, ее стараний роман выйдет к концу года в готовом и окончательном виде с первой до последней страницы, в каком состоянии одним из первых будет дан на прочтение Вашему мерзляковско-вахтанговскому объединению»¹¹⁰.

Но к ноябрю М. К. Баранович почувствовала себя хуже, и Пастернак, щадя ее, поручил новую перепечатку исправленных им экземпляров второй книги Л. В. Стефанович¹¹¹ и машинистке, найденной О. В. Ивиной.

К 10 декабря Пастернак, по-видимому, завершил исправление последней тетради белой рукописи. В этот день он объявил трем своим корреспондентам об окончании романа.

«Не могу сказать Вам,— писал он Нине Табидзе, стоявшей у истоков этой работы,—сколько труда я положил на постепенную медленную отделку второй книги романа. Когда я летом сказал, что кончил его и описывал Вам его конец, дело, собственно, шло только о грубой записи содержания, еще не приведенного в окончательную художественную форму. В глубине души я и не надеялся, что буду в силах подвергнуть новой переработке это необозримое множество страниц (450 машинописных), уже стоивших мне столько времени, труда и души.

И вот это незаметно произошло само собой в течение последних двух-трех месяцев, особенно благодаря одной знакомой, М. К. Баранович, которая <...> перепечатала рукопись на машинке и этим наполовину облегчила мне возню с ней. А я так мало, повторяю, надеялся на осуществимость этой вторичной переработки, что летом меня томила и интересовал вопрос, простят ли мне, во внимание к имени, к прошлому и, главное, к серьезности и глубине содержания, тяжеловесность, неряшливость и растянутость изложения. И вот это сделано. Мне трудно в это поверить, и я сам не знаю, как это случилось. <...>

Вы не можете себе представить, что при этом достигнуто! Найденны и даны имена всему тому кодовству, которое мучило, вызывало недоумение и споры, ошеломляло и делало несчастными столько десятилетий. Все распутано, все названо, просто, прозрачно, печально. Еще раз, освеженно, по-новому, даны определения самому дорогому и важному, земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти...»

«Мне хочется в немецких измерительных единицах дать Вам понять о романе, вернее о его духе,— обращался он в тот же день к З. Ф. Руофф, писавшей работу о Рильке.— Это мир Мальте Бригге или яacobсеновской прозы, подчиненной, если это мыслимо, строгой сюжетной нешутности и сказочной обыденности Готфрида Келлера¹¹², да еще в придачу по-русски, еще более приближенной к земле и бедности, к бедственным положениям, к горю. Очень печальная, очень много охватывшая, полная лирики и очень простая вещь».

¹⁰⁹ Т. И. — профессиональная машинистка, привлеченная к работе О. В. Ивиной; Л. В. Стефанович — сестра поэта Н. В. Стефановича, знакомого Пастернака.

¹¹⁰ А. С. Эфрон жила в Мерзляковском переулке. Журавлевы — на улице Вахтангова.

¹¹¹ Л. В. Стефанович работала по белой рукописи, поступавшей к ней частями по мере готовности, и по правленному рукой Пастернака «титულიному» экземпляру, как явствует из письма к ней Пастернака от 2 ноября 1955 года (архив Л. В. Стефанович).

¹¹² Имеется в виду роман Р. М. Рильке «Записки Мальте Лауридса Бригге»; Якобсен и Энс Петер — датский писатель, его роман «Нильс Лие» упоминается в переписке Пастернака 10-х годов; Келлер Готфрид — швейцарский прозаик и поэт, писавший по-немецки, автор романов «Зеленый Генрих», «Мартин Заландер», рассказов и стихотворений.

«Я окончил роман,— писал Пастернак В. Т. Шаламову,— исполнил долг, завещанный от Бога».

В письме к Н. Табидзе Пастернак, однако, предупреждал, что до середины января он будет «очень занят доделкою последних мелочей».

К концу декабря обе машинистки закончили переписку. 22 декабря Пастернак благодарил Л. В. Стефанович «за помощь и прекрасную работу». В тот же день, посылая В. Т. Шаламову один из экземпляров второй книги «на спешное прочтение», Пастернак просил вернуть его в первых числах января для «отдачи в дальнейшую переписку».

Эта дальнейшая переписка осуществлялась той же профессиональной машинисткой с одного из экземпляров ее предыдущей перепечатки. В этом же месяце ею были сняты копии первой книги романа со сплошной нумерацией страниц¹¹³. Сохранившиеся экземпляры этих двух перепечаток свидетельствуют о том, что их текст Пастернак не просматривал и не правил.

Но копии именно этих перепечаток вошли в состав экземпляров «Доктора Живаго», предложенных зимою этого года журналам «Новый мир» и «Знамя»¹¹⁴.

«Доделкою последних мелочей» Пастернак занялся, по-видимому, уже после этого, в расчете на будущие корректуры¹¹⁵. В экземпляры второй книги романа, полученные от Л. В. Стефанович, он внес стилистическую правку, дающую ряд новых чтений по сравнению с текстом, полученным журналами¹¹⁶. Одновременно он осуществил намерение, высказанное им в письме М. К. Баранович от 15 октября 1955 года, пересмотреть текст первой книги. Результаты этого пересмотра отразились в двух сохранившихся экземплярах — первом «титальном» экземпляре, о котором Пастернак писал в июле 1948 года, что его он «никому не отдаст», и в котором запечатлелись все стадии работы над текстом, последовавшие за окончанием белой рукописи, и во втором экземпляре «первой книги», принадлежавшем М. К. Баранович. В архиве последней сохранился единственный известный сейчас полный текст «Доктора Живаго», в котором скрупулезно учтена последняя авторская правка и выполнены все пожелания Пастернака относительно внешнего оформления машинописи романа. Последнюю авторскую волю М. К. Баранович, «единственная собеседница по предметам работы <...> в ее конце», как называл ее Пастернак в октябрьском письме 1955 года, смогла исполнить только после тяжелой операции, перенесенной ею летом 1956 года¹¹⁷.

Зимой 1956 года Пастернак целиком ушел в работу по подготовке книги избранных стихотворений. Рукописи романа, отданные в редакции О. В. Ивинской, остались им не просмотренными¹¹⁸.

В мае 1956 года один из членов иностранной комиссии Союза писателей привез в гости к Пастернаку члена итальянской компартии и сотрудника итальянского радиовещания в Москве Серджо Д'Анджело. В обстановке официального визита один из экземпляров романа с дефектным и неправленным текстом был передан Д'Анджело для ознакомления.

Рукопись не вернулась. Д'Анджело сразу же переслал ее миланскому издателю Дж. Фельтринелли, который вскоре известил Пастернака, что хочет издать роман по-итальянски и ищет переводчика. 30 июня Пастернак ответил ему, что будет рад, если

¹¹³ Единственный сохранившийся экземпляр этой перепечатки (первая книга — 352 страницы, вторая — 413 страниц) в январе 1957 года был возвращен Пастернаку из журнала «Новый мир» и подарен им французской славистке Жаклин де Пруайар. Благодаря любезности последней мы имели возможность ознакомиться с микрофильмом этой машинописи. Текст этой копии (с исправлениями и дополнениями Жаклин де Пруайар) положен в основу лучшего зарубежного издания романа, выпущенного Фельтринелли в 1978 году.

¹¹⁴ Экземпляр романа, находившийся в Гослитиздате, обнаружен в частном архиве после сдачи номера в набор.

¹¹⁵ «Окончательной ступенью отделки для меня давно стал процесс корректуры», — писал Пастернак С. Н. Дурьлину 29 июня 1945 года.

¹¹⁶ Единственный известный экземпляр этой машинописи в 433 страницы был подарен Пастернаком дочери М. И. Цветаевой А. С. Эфрон вероятно, зимой 1956 года (архив Вяч. Вс. Иванова).

¹¹⁷ Машинописный экземпляр этой перепечатки окончательного текста содержит 740 страниц сплошной пагинации и разделен на четыре сшивки малого формата (архив М. К. Баранович).

¹¹⁸ В письме от 8 сентября 1957 года Пастернак писал одному из своих парижских корреспондентов об экземпляре Жаклин де Пруайар (бывшем в «Новом мире»), «за недосугом оставшимся непроверенным».

роман появится в переводе, но предупреждал: «Если его публикация здесь, обещанная многими журналами, задержится и Вы ее опередите, ситуация будет для меня трагически трудной».

1 сентября 1956 года К. И. Чуковский записал в своем «Дневнике»:

«Был вчера у Федина. Он сообщил мне под большим секретом, что Пастернак вручил свой роман какому-то итальянцу, который намерен издать его за границей. Конечно, это будет скандал: «Запрещенный» большевиками роман Пастернака». Белогвардейцам только этого и нужно. Они могут вырвать из контекста отдельные куски и сострять «контрреволюционный роман Пастернака».

С этим романом большие пертурбации: Пастернак дал его в «Литературную» Москву». Казакевич, прочтя, сказал: «Оказывается, судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение, и лучше было ее не делать». Рукопись возвратили. Он дал ее в «Новый мир», а заодно и написанное им «Предисловие» к сборнику его стихов. Кривичий склонялся к тому, что «Предисловие» можно напечатать с небольшими купюрами. Но когда Симонов прочел роман, он отказался печатать и «Предисловие»: «Нельзя давать трибуну Пастернаку!»

Возник такой план: чтобы прекратить все кривотолки (за границей и здесь), тиснуть роман в 3 тысячах экземплярах и сделать его таким образом недоступным для масс, заявив в то же время: у нас не делают Пастернаку препон.

А роман, как говорит Федин, «гениальный». Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный — автобиография великого Пастернака».

Упомянутый К. И. Чуковским план не осуществился. В середине сентября 1956 года «Новый мир» отказался от публикации романа, обосновав свое мнение коллективным письмом, подписанным пятью членами редколлегии журнала: А. Агаповым, Б. Лавреневым, К. Фединым, К. Симоновым и А. Кривичким.

Внутренняя рецензия «Нового мира», публикацией которой спустя два года была открыта скандально известная кампания, вызванная присуждением Пастернаку Нобелевской премии по литературе 1958 года¹¹⁹, определила судьбу романа «Доктор Живаго» на тридцать лет вперед.

Энергичные попытки руководства Союза писателей заставить Фельтринелли вернуть рукопись успехом не увенчались.

20 августа 1957 года Пастернак обратился с письмом к секретарю МГК КПСС и одновременно секретарю Союза писателей Д. А. Полкарпову:

«Люди, нравственно разборчивые, никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он оказался сильнее моих мечтаний, сила дается свыше, и, таким образом, дальнейшая его судьба не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».

6 октября, в предвидении близкого будущего, Пастернак писал Симону Чиковани:

«Мне предстоит страшно серьезная зима, полная, вероятно, испытаний и ударов. Я сам описал в романе умственное раздвоение людей, обвинения которых в повседневных, привычных из статей и кинофильмов, высоко и красиво звучащих выражениях, кажущихся такими очевидными и бесспорными, доводили их до искренней сдачи и самобичевания».

Наверное, призраки этих состояний суждены и мне, но это в ходе фактов ничего не изменит, я не чудотворец, я жизни идей, интересов и представлений в мире остановить не в состоянии, а «Доктор Живаго» слишком значащее, слишком естественное и своевременное звено в их цепи.

Судьба произведения должна отделяться от судьбы писателя, она должна быть самостоятельной и иной, чем его судьба. Это естественно в отношении больших людей и большой литературы, это понимают дети в счастливые для искусства эпохи, и этого не понимает никто в наше время, так постаравшееся над разрушением художника в человеке, так поработавшее над уничтожением личности и ее пониманием в нас».

¹¹⁹ Премия была присуждена Пастернаку 23 октября 1958 года «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы». Рецензия «Нового мира» появилась в «Литературной газете» 25 октября.

15 ноября 1957 года «Доктор Живаго» вышел по-итальянски. На телеграмму Пастернака с просьбой остановить издание и вернуть рукопись Фельтринелли никак не реагировал.

16 декабря 1957 года, благодаря поэтессе Е. А. Благинину за присланные ему слова поддержки и участия, Пастернак так описывал сложившееся положение:

«Дорогая Елена Александровна, как меня тронули Ваши слова, Ваша заботливость и беспокойство! Я болею всюду и летом, долго и тяжело, и долго лежал в больнице, а с тех пор, слава Богу, чувствую себя очень хорошо.

У меня были некоторые неприятности, на меня было оказано некоторое нравственное давление, отталкивающее своею двойственностью,— я частично должен был ему поклониться. Я должен был принять участие в попытке приостановить появление романа в неведомом далеке, в форме настолько неправдоподобной, что попытка эта заранее была обречена на неудачу.

Говорят, роман вышел по-итальянски, вскоре выйдет на английском языке, а затем на шведском, норвежском, французском и немецком, все в течение года.

Я не знаю, известно ли Вам, что около года тому назад Гослитиздат заключил договор со мной на издание книги, и если бы ее действительно выпустили в сокращенном и цензурированном виде, половины неудобств и неловкостей не существовало бы. Но даже и теперь, когда, преувеличивая значение создавшейся нескладицы, тем самым способствуют возникновению шума по поводу этого случая в разных концах света, даже сейчас выпуск романа в открыто цензурированной форме внес бы во всю эту историю тишину и успокоение. Так в двух резко отличных видах выходило толстовское «Воскресение» и множество других книг у нас и за границей до революции, и никто ничего не боялся и не стыдился, и все спали спокойно, и стояли и не падали дома. Я все время выдвигаю эти доводы и все время это предлагаю, но это ни до чьего сознания не доходит. <...>

Я не знаю, что меня ждет,— вероятно, время от времени какие-то друг за другом следующие неожиданности будут в том или другом виде отзываться на мне, но сколько бы их ни было и как бы они ни были тяжелы или даже, может быть, ужасны, они никогда не перевесят радости, которой никакая вынужденная моя двойственность не скроет, что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, художник оказался в моем случае незатертым и нерастоптанным».

24 августа 1958 года в Голландии вышло первое издание «Доктора Живаго» на русском языке, принадлежавшее к числу так называемых пиратских¹²⁰ В последний момент Фельтринелли, ревниво охранявшему свой приоритет, удалось вынудить голландского издателя поместить на титульном листе свои выходные данные: «Фельтринелли. Милан. 1958», но без обозначения копирайта. После этого случая ему не оставалось ничего другого как опубликовать принадлежавшую ему дефектную рукопись романа, не предназначавшуюся автором для русского издания

В январе 1959 года это «второе» русское издание вышло в свет Прочитав его, Пастернак писал 30 марта 1959 года Жаclin де Пруайар: «Русское миланское издание романа кишит досадными ошибками. Это почти другой текст, чем мой»¹²¹.

С этого времени началась долгая история усилий Жаclin де Пруайар добиться улучшенного издания романа на Западе на основе текста, подаренного ей Пастернаком в феврале 1957 года, увенчавшихся успехом только в 1978 году, через много лет после смерти автора «Доктора Живаго»¹²².

¹²⁰ В западной издательской практике так называют издания, выпущенные без ведома автора и юридически законного издателя. Этой первой русской публикации романа, вышедшего в количестве 500 экземпляров, Пастернак не видел.

¹²¹ Факсимиле французского оригинала письма опубликовано в докторской диссертации: Jacqueline de Proyart de Baillecourt. De Gogol a Soljenitsyne. Université de Bordeaux. 1985, p. 61.

По сравнению с машинописью Ж. де Пруайар издание 1959 года содержало около 500 крупных и мелких разночтений, а также грубых опечаток. По сравнению с окончательным авторским текстом их количество еще выше.

¹²² На обложке этого издания и последовавших за ним белыми буквами воспроизведена подпись В. Пастернака. Выходные данные: Feltrinelli Editore. Milano (год не указан). Текст этого издания, значительно улучшенный по сравнению с предыдущими, тем не менее отличается и от машинописи Жаclin де Пруайар и от окончательного авторского текста и, кроме того, содержит ряд типографских дефектов.

Но самому Пастернаку, привычно устремленному в будущее, к моменту выхода русских изданий на Западе было уже не до текстологических проблем.

11 июня 1958 года он писал Нине Табидзе:

«<...> Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней.

Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность... Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит. Надо отказаться от мысли, что все будет продолжать объявляться перед тем, как начинать существовать и допустить возможность такого времени, когда все опять будет двигаться и изменяться без предварительного объявления.

Эта трудность есть и для меня. Сделан очень важный шаг, это большое счастье и удача, какие мне даже не снились. Но это сделано, и вместе с периодом, который эта книга выражает больше всего написанного другими, книга эта и ее автор уходят в прошлое, и передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятиям наполнить...»

«Вероятнее всего через много лет после того, как я умру, выяснится, какими широкими, широчайшими основаниями направлялась моя деятельность последних лет, чем она дышала и питалась, чему служила»¹²³.

* * *

Окончательный авторский текст романа «Доктор Живаго» опубликован в «Новом мире» по правленным машинописным копиям, хранящимся в архивах Пастернака (первая книга) и Вяч. Вс. Иванова (вторая книга). Текст, не выправленный автором в этих копиях, сверен с беловыми рукописями.

В подготовке публикации романа и материалов к истории его создания щедрую помощь рукописями и документами из личных архивов оказали: Л. К. Чуковская, Жаклин де Пруайяр, Вяч. Вс. Иванов, А. А. и М. К. Поливановы, В. М. Живов, Л. В. Стефанович, М. И. Белкина, В. А. Резчикова, Н. Г. Бруни, З. А. Масленникова, Г. В. Вебутов, Э. Г. Герштейн, М. П. Громов, В. С. Спасская, О. В. Ивинская.

Работая с рукописями и машинописными копиями романа, хранящимися в Центральном государственном архиве литературы и искусства, мы пользовались ценными консультациями директора архива Н. Б. Волковой и старшего научного сотрудника М. А. Рашковской.

Всем им — глубокая благодарность.

¹²³ Письмо Г. В. Вебутова от 24 мая 1958 года (архив Г. В. Вебутова).

Д. С. ЛИХАЧЕВ,
академик



КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ГОСУДАРСТВО РУСЬ

Иет в советской исторической науке, посвященной Древней Руси, более значительного и вместе с тем наименее исследованного вопроса, чем вопрос о распространении христианства в первые века крещения.

В начале XX века появилось сразу несколько чрезвычайно важных работ, по-разному ставивших и разрешавших вопрос о принятии христианства. Это работы Е. Е. Голубинского, академика А. А. Шахматова, М. Д. Приселкова, В. А. Пархоменко, В. И. Ламанского, Н. К. Никольского, П. А. Лаврова, Н. Д. Полонской и многих других. Однако после 1918 года тема эта перестала казаться значительной. Она попросту исчезла со страниц научной печати.

В задачу моей статьи входит поэтому не завершать, а начинать постановку некоторых проблем, связанных с принятием христианства, не соглашаться, а может быть, противоречить обычным взглядам, тем более что утвердившиеся точки зрения часто не имеют под собой солидной основы, а являются следствием неких, никем не высказанных и в значительной мере мифических «установок».

Одно из таких заблуждений, застрявших в общих курсах истории СССР и других полуофициальных изданиях, это представление, что православие было всегда одним и тем же, не менялось, всегда играло реакционную роль. Появились даже утверждения, что язычество было лучше («народная религия»!), веселее и «материалистичнее»...

Но дело в том, что и защитники христианства часто поддавались определенным предрассудкам и суждения их были в значительной мере «предрассуждениями».

Остановимся в нашей статье лишь на одной проблеме — государственного значения принятия христианства. Не смею выдавать свои взгляды за точно установленные, тем более что неясны вообще самые основные, исходные данные для появления сколько-нибудь достоверной концепции.

Прежде всего следует понять — что представляло собой язычество как «государственная религия» Язычество не было религией в современном понимании — как христианство, ислам, буддизм. Это была довольно хаотическая совокупность различных верований, культов, но не учение. Это соединение религиозных обрядов и целого вороха объектов религиозного почитания. Поэтому объединение людей разных племен, в чем так нуждались восточные славяне в X—XII веках, не могло быть осуществлено язычеством. Да и в самом язычестве было сравнительно мало специфических национальных черт, свойственных только одному народу В лучшем случае по признаку общего культа объединялись отдельные племена, население отдельных местностей. Между стремление «вырваться из-под угнетающего воздействия одиночества среди редконаселенных лесов, болот и степей, страх покинутости, боязнь грозных явлений природы заставляли людей искать объединения. Кругом были «немцы», то есть люди, не говорящие на доступном пониманию языке, враги, приходившие на Русь «из невести», а граничившая с Русью степная полоса — это «страна неизвестная»...

Стремление к преодолению пространства заметно в народном творчестве. Люди воздвигали свои строения на высоких берегах рек и озер, чтобы быть видными издали, устраивали шумные празднества, совершали культовые моления Народные песни были рассчитаны на исполнение в широких пространствах. Яркие краски требовались, чтобы быть замеченными издали. Люди стремились быть гостеприимными, относились с уважением к купцам-гостям, ибо те являлись вестниками о далеком мире, рассказчиками, свидетелями существования других земель. Отсюда восторг перед быстрыми перемещениями в пространстве. Отсюда и монументальный характер искусства.

Люди насыпали курганы, чтобы не забывать об умерших, но могилы и могильные знаки еще не свидетельствовали о чувстве истории как протяженного во времени процесса. Прошлое было как бы единым, стариной вообще, не разделенной на эпохи и не упорядоченной хронологически. Время составляло повторявшийся годичный круг, с которым необходимо было сообразоваться в своих хозяйственных работах. Времени как истории еще не существовало.

Время и события требовали познания мира и истории в широких масштабах. Достойно особого внимания то, что эта тяга к более широкому пониманию мира, чем то, которое давалось язычеством, сказывалась прежде всего по торговым и военным дорогам Руси, там прежде всего, где вырастали первые государственные образования. Стремление к государственности не было, разумеется, принесено извне, из Греции или Скандинавии, иначе оно не имело бы на Руси такого феноменального успеха, которым ознаменовался X век истории Руси.

Истинный создатель огромной империи Руси — князь Владимир I Святославич в 980 году делает первую попытку объединения язычества на всей территории от восточных склонов Карпат до Оки и Волги, от Балтийского моря до Черного, включавшей в свой состав племена восточнославянские, финно-угорские и тюркские. Летопись сообщает: «И нача княжити Володимир в Киеве един, и постави кумиры на холму вне двора теремного»: Перуна (финно-угорского Перкуна), Хорса (бога тюркских племен), Дажбога, Стрибога (богов славянских), Симаргла, Мокось (богиня племени мокош).

О серьезности намерений Владимира свидетельствует то, что после создания пантеона богов в Киеве он послал своего дядю Добрыню в Новгород и тот «постави кумира над рекою Волховом, и жряху ему людье нугородьсти аки богу». Как всегда в русской истории, Владимир отдал предпочтение чужому племени — племени финно-угорскому. Этим главным кумиром в Новгороде, который поставил Добрыня, был кумир финского Перкуна, хотя, по всей видимости, наиболее распространен в Новгороде был культ славянского бога Велеса, или иначе Волоса.

Однако интересы страны звали Русь к религии более развитой и более вселенской. Этот зов ясно слышался там, где люди разных племен и народов больше всего общались между собой. Зов этот имел за собой большое прошлое, эхом отдавался он на всем протяжении русской истории.

Великий европейский торговый путь, известный по русским летописям как путь «из варяг в греки», то есть из Скандинавии в Византию и обратно, был в Европе наиболее важным вплоть до XII века, когда европейская торговля между югом и севером переместилась на запад. Путь этот не только соединял Скандинавию с Византией, но и имел ответвления, наиболее значительным из которых был путь на Каспий по Волге. Основная часть всех этих дорог пролегла через земли восточных славян и использовалась ими в первую очередь, но и через земли финно-угорских народов, принимавших участие в торговле, в процессах государственного образования, в военных походах на Византию (недаром в Киеве одним из наиболее известных мест был Чудин двор, то есть подворье купцов племени чудь — предков нынешних эстонцев).

Многочисленные данные свидетельствуют, что христианство стало распространяться на Руси еще до официального крещения Руси при Владимире I Святославиче в 988 году (есть, впрочем, и другие предполагаемые даты крещения, рассмотрение которых не входит в задачу данной статьи). И все эти свидетельства говорят о появлении христианства прежде всего в центрах общения людей разных национальностей, даже если это общение бывало далеко не мирным. Это снова и снова указывает на то, что людям требовалась вселенская, мировая религия. Последняя должна была служить своеобразным приобщением Руси к мировой культуре. И не случайно этот выход на мировую арену органически соединялся с появлением на Руси высокоорганизованного литературного языка, который это приобщение закрепил бы в текстах, прежде всего переводных. Письменность давала возможность общения не только с современными Руси культурами, но и с культурами прошлыми. Она делала возможным написание собственной истории, философского обобщения своего национального опыта, литературы

Уже первая легенда Начальной русской летописи о христианстве на Руси рассказывает о путешествии апостола Андрея Первозванного из Синопии и Корсунки (Херсонеса) по великому пути «из грек в варяги» — по Днепру, Ловати и Волхову в Балтийское море, а затем кругом Европы в Рим.

Христианство уже в этой легенде выступает как объединяющее страны начало, включающее Русь в состав Европы. Конечно, это путешествие апостола Андрея — чистая легенда, хотя бы потому уже, что в I веке восточных славян еще не существовало — они не оформились в единый народ. Однако появление христианства на северных берегах Черного моря в очень раннее время зафиксировано и нерусскими источниками. Апостол Андрей проповедовал на своем пути через Кавказ в Боспор (Керчь), Феодосию и Херсонес. О распространении христианства апостолом Андреем в Скифии говорится, в частности, Евсевий Кесарийский (умер около 340 г.). Житие Климента, папы римского, рассказывает о пребывании Климента в Херсонесе, где он погиб при императоре Траяне (98—117 гг.). При том же императоре Траяне иерусалимский патриарх Ермон отправил в Херсонес одного за другим нескольких епископов, где они приняли мученические кончины. Последний из отправленных Ермоном епископ погиб в устье Днепра. При императоре Константине Великом в Херсонесе появился епископ Капитон, также мученически погибший. Христианство в Крыму, нуждавшееся в епископе, достоверно зафиксировано уже в III веке.

На первом вселенском соборе в Никее (325 г.) присутствовали представители из Боспора, Херсонеса и митрополит Готфил, находившийся вне Крыма, которому, однако, была подчинена Таврическая епископия. Присутствие этих представителей устанавливается на основании их подписей под соборными постановлениями. О христианстве части скифов говорят и отцы церкви — Тертуллиан, Афанасий Александрийский, Иоани Златоуст, блаженный Иероним.

Готы-христиане, проживавшие в Крыму, составляли сильное государство, оказывавшее серьезное влияние не только на славян, но на литовцев и финнов — во всяком случае, на их языки.

Связи с Северным Причерноморьем были затем затруднены великим переселением кочевых народов во второй половине IV века. Однако торговые пути все же продолжали существовать, и влияние христианства с юга на север беспорно имело место. Христианство продолжало распространяться при императоре Юстиниане Великом, охватывало Крым, Северный Кавказ, а также восточный берег Азовского моря среди готов-трапезитов, которые, по свидетельству Прокопия, «с простодушием и великим спокойствием почитали христианскую веру» (VI в.).

С распространением турко-хазарской орды от Урала и Каспия до Карпат и Крымского побережья возникла особая культурная ситуация. В Хазарском государстве были распространены не только ислам и иудаизм, но и христианство, особенно в связи с тем, что римские императоры Юстиниан II и Константин V были женаты на хазарских принцессах, а греческие строители воздвигали в Хазарии крепости. К тому же христиане из Грузии, спасаясь от мусульман, бежали на север, то есть в Хазарию. В Крыму и на Северном Кавказе в пределах Хазарии, естественно, растет число христианских епископов, особенно в середине VIII века. В это время в Хазарии существует восемь епископов. Возможно, что с распространением христианства в Хазарии и установлением дружеских византийско-хазарских отношений создается благоприятная обстановка для религиозных споров между тремя господствующими в Хазарии религиями: иудаизмом, исламом и христианством. Каждая из этих религий стремилась к духовному преобладанию, о чем говорят еврейско-хазарские и арабские источники. В частности, в середине IX века, как свидетельствует «Паннонское житие» Кирилла-Константина и Мефодия — просветителей славянства, — хазары приглашали из Византии богословов для религиозных споров с иудеями и мусульманами. Тем самым подтверждается возможность опisanного русским летописцем выбора веры Владимиром — путем опросов и споров.

Представляется естественным, что христианство на Руси явилось также и в результате осознания той ситуации, которая сложилась в X веке, когда присутствие в качестве главных соседей Руси именно государств с христианским населением было особенно явным: тут и Северное Причерноморье, и Византия, и движение христиан по основным торговым путям, пересекавшим Русь с юга на север и с запада на восток.

Особенная роль принадлежала здесь Византии и Болгарии.

Начем с Византии. Русь трижды осаждала Константинополь — в 866, 907 и 941 годах. Это не были обычные разбойничьи набеги, заканчивались они заключением мирных договоров, устанавливавших новые торговые и государственные отношения между Русью и Византией.

И если в договоре 912 года с русской стороны участвовали только язычники, то в договоре 945 года на первом месте стоят уже христиане. За короткий промежуток

времени число христиан явно возросло. Об этом же свидетельствует и принятие христианства самой киевской княгиней Ольгой, о пышном приеме которой в Константинополе в 955 году рассказывают как русские, так и византийские источники.

Не станем входить в рассмотрение сложнейшего вопроса о том, где и когда крестился внук Ольги Владимир. Сам летописец XI века ссылается на существование различных версий. Скажу только, что очевидным представляется один факт: Владимир крестился после своего сватовства к сестре византийского императора Анне, ибо вряд ли могущественнейший император ромеев Василий II согласился бы породниться с варваром, и этого не мог не понимать Владимир.

Дело в том, что предшественник Василия II император Константин Багрянородный в своем широко известном труде «Об управлении империей», написанном для своего сына — будущего императора Романа II (отца императора Василия II), — запретил своим потомкам вступать в брак с представителями варварских народов, ссылаясь на равноапостольного императора Константина I Великого, приказавшего начертать в алтаре св. Софии Константинопольской запрет ромеям родниться с чужими — особенно с некрещеными.

Следует еще принять во внимание, что со второй половины X века могущество Византийской империи достигло своей наибольшей силы. Империя к этому времени отразила арабскую опасность и преодолела культурный кризис, связанный с существованием иконоборчества, приведшего к значительному упадку изобразительного искусства. И примечательно, что в этом расцвете византийского могущества значительную роль сыграл Владимир I Святославич.

Летом 988 года отборный шеститысячный отряд варяжско-русской дружины, посланный Владимиром I Святославичем, спас византийского императора Василия II, наголову разбив войско пытавшегося занять императорский престол Варды Фоки. Сам Владимир проводил свою дружину, отправлявшуюся на помощь Василию II, до днепровских порогов. Исполнив свой долг, дружина осталась служить в Византии (впоследствии гвардией императоров являлась дружина англо-варягов).

Именно поэтому Владимиру была оказана величайшая честь. Ему обещали руку сестры императора Алпы, которой к этому времени было уже двадцать шесть лет.

Но обещание не выполнялось, и поэтому Владимиру I пришлось добиваться руки Анны военной силой. Он осадил и взял византийский Херсонес в Крыму. После этого брак был заключен. Этим браком Владимир достиг того, что Русь перестала считаться в Византии варварским народом. Ее стали называть христианнейшим народом. Возрос и династический престиж киевских князей.

Христианизация Руси и родство правящего рода с византийским двором ввели Русь в семью европейских народов на совершенно равных основаниях. Сын Владимира Святославича Святослав женился на дочери польского короля Болеслава Храброго. Дочь Владимира Мария Доброгнева была выдана за польского князя Казимира I. Дочь Ярослава Мудрого Елизавета вышла за норвежского короля Гарольда Смелого, несколько лет добивавшегося ее руки. Другая дочь Ярослава, Анна, была королевой Франции оставшись вдовой после смерти своего мужа Генриха I. Третья дочь Ярослава, Анастасия, была замужем за венгерским королем Андреем I. Можно было бы еще долго перечислять родственные связи русских князей XI—XII веков, сами по себе они свидетельствуют об огромном престиже Руси среди всех народов Европы.

Но вернемся к вопросу о варяго-русских. Русские варяги — это наименование, которое должно быть принято, чтобы отделить их от англо-варягов, которые в дальнейшем сменили собой русских варягов на службе у Византийской империи. В дружинах Руси были представители разных стран и разных народов: скандинавы, немцы, сарацины, половцы, болгары и восточные славяне. Но замечательно, что все русские князья, кем бы они ни были по крови и именам, говорили только на разговорном славянском языке, читали только по-славянски и никаких следов скандинавов в русском христианстве не сохранилось. Зато язык церковной письменности, тех книг, которые были к нам перевезены или у нас переписывались, был литературным языком, принятым у болгар. И это делает несомненным громадное значение Болгарии в принятии христианства. Тем более что Болгария стояла на пути «из варяг в греки», значение которого в принятии многонациональной религии подчеркивалось нами выше.

Благодаря болгарской письменности христианство сразу же выступило на Руси в виде высокоорганизованной религии с высокой культурой. Есть все основания думать,

что у славян была примитивная письменность и до крещения Руси. Об этом в первую очередь свидетельствуют договоры с греками, один экземпляр которых изготовлялся на русском языке. Исключительны роль и авторитет языка, перешедшего к нам с церковными книгами из Болгарии. Богослужение совершалось именно на этом языке. Он был языком высокой культуры, постепенно принимавшим восточнославянскую лексику, орфографию. Это указывает, какую роль в крещении Руси принимала именно Болгария. В конце концов та церковная письменность, которая была передана нам Болгарией,— это самое важное, что дало Руси крещение.

Наконец, еще одна деталь. Скандинавские саги об Олафе Тригтвасоне повествуют о крещении норвежского короля Олафа. По разным вариантам саг Олаф крестился либо в Греции, либо в Киеве, где его убедил принять христианство конунг Валдемар, то есть князь Владимир. Сам же князь Владимир, перед тем как женился на Анне, принял решение креститься под влиянием самой умной из своих жен. Из всех жен Владимира единственной, которая была ему родственна по языку и могла его убедить в столь сложном вопросе, была болгарыня.

Но дело не только в высокоорганизованной и сложной по содержанию литературе, которая стала известна и понятна на Руси. Дело еще и в облегчении общения с другими народами, чему, как хорошо известно, всегда препятствовали и религиозные предрассудки и убежденность в своем более высоком культурном и моральном уровне над другими народами.

Христианство в целом способствовало возникновению сознания единства человечества. Апостол Павел писал в Послании галатам: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного», а в Первом послании коринфянам: «...все мы одним Духом крестились и одно тело... Тело же не из одного члена, но из многих».

Вместе с сознанием равенства пришло на Русь и сознание общей истории всего человечества. Больше всего в первой половине XI века проявил себя в формировании национального самосознания, русин по происхождению, митрополит киевский Иларион в своем знаменитом «Слове о Законе и Благодати», где он рисовал общую предстоящую Руси роль в христианском мире. Однако еще в X веке была написана «Речь философа», представляющая собой изложение всемирной истории, в которую должна была влиться и русская история. Учение христианства давало прежде всего сознание общей истории человечества и участие в этой истории всех народов.

Как было принято христианство на Руси? Мы знаем, что во многих странах Европы христианство насаждалось насильно. Не без насилий обошлось крещение и на Руси, но в целом распространение христианства на Руси было довольно мирным, особенно если вспомним о других примерах. Насильно крестил свои дружины Хлодвиг. Карл Великий насильно крестил саксов. Насильно крестил свой народ Стефан I, король венгерский. Он же насильно заставлял отказываться от восточного христианства тех, кто успел принять его по византийскому обычаю. Но у нас нет достоверных сведений о массовых насилиях со стороны Владимира I Святославича. Ниспровержение идолов Перуна на юге и на севере не сопровождалось репрессиями. Идолы спускали вниз по реке, как спускали впоследствии обветшавшие святыни — старые иконы, например. Народ плакал по своему поверженному богу, но не восставал. Восстание волхвов в 1071 году, о котором повествует Начальная летопись, было вызвано в Белозерской области голодом, а не стремлением вернуться к язычеству. Более того, Владимир по своему понял христианство и даже отказывался казнить разбойников, заявляя: «...боюся греха».

Христианство было отвоевано у Византии под стенами Херсонеса, но оно не превратилось в завоевательную акцию против своего народа.

Одним из счастливейших моментов принятия христианства на Руси было то, что распространение христианства шло без особых требований и научений, направленных против язычества. И если Лесков в повести «На краю света» вкладывает в уста митрополита Платона мысль, что «Владимир поспешил, а греки слукавили — невежда ненаученных окрестили», то именно это обстоятельство и способствовало мирному вхождению христианства в народную жизнь и не позволило церкви занимать резко враждебных позиций по отношению к языческим обрядам и верованиям, а напротив, постепенно вносить в язычество христианские идеи, а в христианстве видеть мирное преобразование народной жизни.

Значит, двоеверие? Нет, и не двоеверие! Двоеверия вообще не может быть: либо вера одна, либо ее нет. Последнего в первые века христианства на Руси никак не мог-

ло быть, ибо никто еще не в состоянии был отнять у людей способность видеть необычное в обычном, верить в загробную жизнь и в существование божественного начала. Чтобы понять — что же произошло, вернемся снова к специфике древнерусского язычества, к его хаотическому и не догматическому характеру.

Всякая религия, в том числе и хаотическое язычество Руси, имеет помимо всякого рода культов и идолов еще и нравственные устои. Эти нравственные устои, какие бы они ни были, организуют народную жизнь. Древнерусское язычество пронизывало собой все слои начавшего феодализироваться общества Древней Руси. Из записей летописей видно, что Русь обладала уже идеалом воинского поведения. Этот идеал ясно проглядывает в рассказах Начальной летописи о князе Святославе.

Вот его знаменитая речь, обращенная к своим воинам: «Уже нам некамо ся дети, волею и неволею стати противу; да не посрамят земли Руские, но ляжем костьми, мертвыи бо срама не ймам. Аще ли побегнем — срам ймам. Не ймам убежати, но станем крепко, аз же пред вами пойду: аще моя глава ляжет, то промыслите собою».

Когда-то ученики средних школ России учили эту речь наизусть, воспринимая и ее рыцарственный смысл и красоту русской речи, как, впрочем, учили и другие речи Святослава или знаменитую характеристику, данную ему летописцем: «...легко ходя, аки пардаус (леopard), войны многи творяше. Ходя, воз по себе не возяше, ни котла, ни мяс варя, но потонку изрезав конину ли зверину ли или говядину на углех испек ядыше, ни шатра ймяше, но подклад поглав и седло в головах; тако же и прочии вои его вси бяху. И посылаше к странам глагола: „Хочю на вы ити“».

Я нарочно привожу все эти цитаты, не переводя их на современный русский, чтобы читатель смог оценить красоту, точность и лаконизм древнерусской литературной речи, тысячу лет обогащавшей русский литературный язык.

Этот идеал княжеского поведения: беззаветная преданность своей стране, презрение к смерти в бою, демократизм и спартакий образ жизни, прямота в обращении даже к врагу — все это оставалось и после принятия христианства и наложило особый отпечаток на рассказы о христианских подвижниках. В Изборнике 1076 года — книге, специально написанной для князя, который мог ее брать с собой в походы для нравоучительного чтения (об этом я пишу в особой работе), — есть такие строки: «...красота воину оружие и кораблю ветрила (паруса), тако и праведнику почитание книжное». Праведник сравнивается с воином! Независимо от того, где и когда написан этот текст, он характеризует и высокую русскую воинскую мораль.

В «Почуении» Владимира Мономаха, написанном вероятнее всего в конце XI века, а возможно, и в начале XII века (точное время написания существенной роли не играет), ясно проглядывает слияние языческого идеала поведения князя с христианскими наставлениями. Мономах хвалится количеством и быстротой своих походов (проглядывает «идеальный князь» — Святослав), своею храбростью в сражениях и на охоте (два главных княжеских дела): «А се вы поведаю, дети моя, труд свой, оже ся есмь тружал, пути дея (в походы ходя) и ловы (охоты) с 13 лет». И описав свою жизнь, замечает: «А из Щернигова до Киева нестишды (более ста раз) ездих ко отцю, днем есмь переездил до вечерни. А всех путей 80 и 3 великих, а прока неиспомню менших».

Не скрыл Мономах и своих преступлений: сколько избил он людей и пожег русских городов. И после этого в качестве примера истинно благородного, христианского поведения он приводит свое письмо к Олегу, об изумительном по своей нравственной высоте содержании которого мне не раз приходилось писать. Во имя провозглашенного Мономахом на Любечском съезде князей принципа: «Каждо да держит отчину свою» — Мономах прощает побежденному противнику Олегу Святославичу («Гориславичу»), в битве с которым пал его сын Изяслав, и предлагает ему вернуться в его отчину — Чернигов: «А мы что есмы, человеци грешни и лихи? — днесь живи, а утро мертви, днесь в славе и в чти (в чести), а завтра в гробе и бес памяти (никто помнить нас не будет), ини собранье наше разделять». Рассуждения вполне христианские и, скажем мимоходом, крайне важные для своего времени при переходе к новому порядку владения Русской землей князьями на рубеже XI и XII веков.

Важной христианской добродетелью при Владимире была и образованность. После крещения Руси Владимир, как о том свидетельствует Начальная летопись, «...нача поимати у нарочитые чади (то есть у лиц привилегированного сословия) дети и даяти нача на учение книжное». Строки эти вызвали различные догадки, где проводилось это «учение книжное», были ли это школы и какого типа, но ясно одно: «учение книжное» стало предметом государственной заботы.

Наконец, другой христианской добродетелью, с точки зрения Владимира, явилось милосердие богатых по отношению к бедным и убогим. Крестившись, Владимир стал прежде всего заботиться о больных и бедных. Согласно летописи, Владимир «повеле всякому нищему и убогому приходить на двор князь и взимати всяку потребу, питье и яденье, и от скотьниц кунами (деньгами)». А тем, кто не мог приходить, немощным и больным, развозить припасы по дворам. Если эта его забота и была в какой-то мере ограничена Киевом или даже частью Киева, то и тогда рассказ летописца чрезвычайно важен, ибо показывает, что именно считал летописец самым важным в христианстве, а вместе с ним и большинство его читателей и переписывателей текста — милосердие, доброту. Обычная щедрость становилась милосердием. Это различные акты, ибо акт добродетели переносился с человека дающего на тех, кому давалось, а это и было христианским милосердием.

В дальнейшем мы вернемся еще к одному моменту в христианской религии, оказавшемуся чрезвычайно привлекательным при выборе вер и надолго определившему характер восточнославянской религиозности. Сейчас же обратимся к тому низшему слою населения, которое перед крещением Руси называлось смердами, а после, вопреки всем обычным представлениям ученых нового времени, наиболее христианским слоем населения, отчего и получило свое название — к крестьянству.

Язычество здесь было представлено не столько высшими богами, сколько слоем верований, регулировавших трудовую деятельность по сезонному годовому кругу: весенних, летних, осенних и зимних. Эти верования превращали труд в праздник и воспитывали столь необходимые в земледельческом труде любовь и уважение к земле. Здесь христианство быстро примирилось с язычеством, вернее, с его этической, нравственными устоями крестьянского труда.

Язычество не было единым. Эту мысль, повторяющуюся нами и выше, следует понимать также и в том смысле, что в язычестве была «высшая» мифология, связанная с основными богами, которых хотел объединить Владимир еще до принятия христианства, устраивая свой пантеон «вне двора теремного», и мифология «низшая», состоявшая главным образом в связи с верованиями земледельческого характера и воспитывавшая в людях нравственное отношение к земле и друг к другу.

Первый круг верований был решительно отброшен Владимиром, а идолы испровержены и спущены в реки — как в Киеве, так и в Новгороде. Однако второй круг верований стал христианизоваться и приобретать оттенки христианской нравственности.

Исследования последних лет (главным образом замечательный труд М. М. Громыко «Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в.». М. 1986) дают тому ряд примеров.

Оставались, в частности, в разных частях нашей страны крестьянские помочи, или толока, — общий труд, совершаемый всей крестьянской общиной. В языческой, дофеодальной деревне помочи совершались как обычной общей сельской работы. В христианской (крестьянской) деревне помочи стали формой коллективной помощи бедным семьям — семьям, лишившимся главы, нетрудоспособным, сиротам и т. д. Нравственный смысл, заключенный в помочах, усилился в христианизованной сельской общине. Замечательно, что помочи совершались как праздник, носили веселый характер, сопровождался шутками, островами, иногда состязаниями, общими пирами. Таким образом, с крестьянской помощи малоимущим семьям снимался весь обидный характер: со стороны соседей помочи совершались не как милостыня и жертва, унижавшие тех, кому помогали, а как веселый обычай, доставлявший радость всем участникам. На помочи люди, сознавая важность совершаемого, выходили в праздничных одеждах, лошадей «убирали в лучшую сбрую».

«Хотя толокою производится работа тяжелая и не особенно приятная, но между тем толока — чистый праздник для всех участников, в особенности для ребят и молодежи», — сообщил свидетель толоки (или помочей) в Псковской губернии

Языческий обычай приобретал этическую христианскую окраску. Христианство смягчало и вбирало в себя и другие языческие обычаи. Так, например, Начальная русская летопись рассказывает о языческом умыкании невест в воды. Этот обычай был связан с культом источников, колодезев, воды вообще. Но с введением христианства верования в воду ослабли, а обычай знакомиться с девушкой когда она шла с ведрами по воду, остался. У воды совершались и предварительные сговоры девушки с парнем.

Наиболее, может быть, важный пример сохранения и даже приумножения нрав-

ственного начала язычества — это культ земли. К земле крестьяне (да не только крестьяне, как показал В. А. Комарович в работе «Культ рода и земли в княжеской среде XI—XIII веков») относились как к святыне. Перед началом земледельческих работ просили у земли прощения за то, что «вспарывали ее грудушку» сохой. У земли просили прощения за все свои проступки против нравственности. Даже в XIX веке Раскольников у Достоевского в «Преступлении и наказании» прежде всего публично просит прощения за убийство именно у земли прямо на площади.

Примеров можно привести много. Принятие христианства не отменило низшего слоя язычества, подобно тому как высшая математика не отменила собой элементарной. Нет двух наук в математике, не было двоеверия и в крестьянской среде. Шаа постепенная христианизация (наряду с отмиранием) языческих обычаев и обрядов

Теперь обратимся к одному чрезвычайно важному моменту в акте крещения Руси

Начальная русская летопись передает красивую легенду об испытании вер Владимира. Посланные Владимиром послы были у магометан, затем у немцев, служивших свою службу по западному обычаю, и наконец пришли в Царьград к грекам. Последний рассказ послов чрезвычайно значителен, ибо он был наиболее важным основанием для Владимира избрать христианство именно из Византии. Приведу его полностью в переводе на современный русский язык. Послы Владимира пришли в Царьград и явились к царю. «Царь же спросил их — зачем пришли? Они же рассказали ему все. Услышав их рассказ, царь обрадовался и сотворил им честь великую в тот же день. На следующий же день послал к патриарху, так говоря ему: «Пришли русские испытывать веру нашу. Приготовь церковь и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они славу бога нашего». Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по обычаю праздничную службу, и кадила возожгли, и устроили пение и хоры. И пошел с русскими в церковь, и поставил их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав им о служении богу своему. Они же (то есть послы) были в восхищении, дивились и хвалили их службу. И призвали их цари Василий и Константин, и сказали им: «Идите в землю вашу», и отпустили их с дарами великими и честью. Они же вернулись в землю свою. И созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними», — и обратился к послам: „Говорите перед дружиною“.

Я опускаю то, что говорили послы о других верах, но вот что сказали они о службе в Царьграде: «И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Мы не можем забыть той красоты, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве».

Вспомним, что испытание вер имело в виду не то, какая вера красивее, а то, какая вера истинная. А главным аргументом истинности веры русские послы объявляют ее красоту. И это не случайно! Именно в силу этого представления о примате художественного начала в церковной и государственной жизни первые русские князья-христиане с таким усердием обстраивают свои города, ставят в них центральные храмы. Вместе с сосудами церковными и иконами Владимир привозит из Корсуни (Херсонеса) двух медных идолов (то есть две статуи, а не кумиры) и четырех медных коней, «про которых невежды думают, что они мраморные», и ставит их за церковью Десятиной, на самом торжественном месте города.

Поставленные в XI веке церкви до сего времени являются архитектурными центрами старых городов восточных славян: София в Киеве, София в Новгороде. Спас в Чернигове, Успенский собор во Владимире и т. д. Никакие последующие храмы и строения не затмили собой того, что было построено в XI веке.

Ни одна из стран, граничивших с Русью в XI веке, не могла с ней сравниться по величию своей архитектуры и по искусству живописи, мозаики, прикладному искусству и по интенсивности исторической мысли, выраженной в летописании и работе над переводными хрониками

Едиственная страна с высокой архитектурой, сложной и по технике и по красоте, которая может считаться помимо Византии предшественницей Руси в искусстве, — это Болгария с ее монументальными строениями в Плиске и Преславе. Большие

каменные храмы строились в Северной Италии в Ломбардии, на севере Испании, в Англии и в прирейнской области, но это далеко.

Не совсем ясным представляется вопрос о том, почему в прилегающих к Руси странах были распространены в XI веке преимущественно храмы-ротонды: то ли это делалось в подражание ротонде, построенной Карлом Великим в Ахене, то ли в честь храма Гроба Господня в Иерусалиме, то ли считалось, что ротонда более всего подходит для совершения обряда крещения.

Во всяком случае храмы базиликального типа сменяют храмы-ротонды, и можно считать, что в XII веке примыкающие страны ведут уже обширное строительство и догоняют Русь, которая все же продолжает сохранять первенство вплоть до татаро-монгольского завоевания.

Возвращаясь к высоте искусства домонгольской Руси, не могу не привести цитату из записок Павла Алеппского, путешествовавшего по России при царе Алексее Михайловиче и видевшего в Киеве развалины храма Софии: «Ум человеческий не в силах обнять ее (церковь Софии) по причине разнообразия цветов ее мраморов и их сочетаний, симметричного расположения частей ее строения, большого числа и высоты ее колонн, возвышенности ее куполов, ее обширности, многочисленности ее портиков и притворов». В этом описании не все точно, но можно поверить общему впечатлению, которое производил храм Софии на иностранца, видевшего храмы и Малой Азии и Балканского полуострова. Можно думать, что художественный момент не был случаен в христианстве Руси.

Эстетический момент играл особенно важную роль в византийском возрождении IX—XI веков, то есть как раз в то время, когда Русь принимала крещение. Патриарх константинопольский Фотий в IX веке в обращении к болгарскому князю Борису настойчиво высказывает мысль, что красота, гармоническое единство и гармония в целом отличают христианскую веру, которая именно этим разнится от ереси. В совершенстве человеческого лица ничего нельзя ни прибавить, ни убавить — так и в христианской вере. Невнимание к художественной стороне богослужения в глазах греков IX—XI веков было оскорблением божественного достоинства.

Русская культура очевидным образом была подготовлена к восприятию этого эстетического момента, ибо он надолго удержался в ней и стал ее определяющим элементом. Вспомним, что в течение многих веков русская философия теснейшим образом была связана с литературой и поэзией. Поэтому изучать ее надо в связи с Ломоносовым и Державиным, Тютчевым и Владимиром Соловьевым, Достоевским, Толстым, Чернышевским... Русская иконопись была умозрением в красках, выражала прежде всего миропонимание. Философией была и русская музыка. Мусоргский — величайший и далеко не раскрытый еще мыслитель, в частности исторический мыслитель.

Что же дало принятое из Византии христианство русской истории? Не стоит перечислять все случаи нравственного воздействия церкви на русских князей. Они общеизвестны для всех, кто так или иначе, в большей или меньшей степени беспристрастно и непредвзято интересуется русской историей. Скажу кратко, что принятие христианства Владимиром из Византии оторвало Русь от магометанской и языческой Азии, сблизив ее с христианской Европой. Хорошо это или плохо — пусть судят читатели. Но бесспорно одно: прекрасная организованная болгарская письменность сразу позволила Руси не начинать литературу, а продолжать ее и создавать в первый же век христианства произведения, которыми мы вправе гордиться.

Сама по себе культура не знает начальной даты, как не знают точной начальной даты и сами народы, племена, поселения. Все юбилейные начальные даты этого рода обычно условны. Но если говорить об условной дате начала русской культуры, то я, по своему разумению, считал бы самой обоснованной 988 год. Надо ли оттягивать юбилейные даты в глубь времен? Нужна ли нам дата двухтысячелетняя или полуторатысячелетняя? С нашими мировыми достижениями в области всех видов искусств вряд ли такая дата чем-либо возвысит русскую культуру. Основное, что сделано восточным славянством для мировой культуры, сделано за последнее тысячелетие. Остальное — лишь предполагаемые ценности.

Русь появилась со своим Киевом, соперником Константинополя, на мировой арене именно тысячу лет назад. Тысячу лет назад появились у нас и высокая живопись и высокое прикладное искусство — как раз те области, в которых никакого отставания

ния у восточнославянской культуры и не было. Знаем мы и то, что Русь была высокограмотной страной, иначе откуда у нее образовалась бы уже на заре XI века столь высокая литература? Первым и изумительнейшим по форме и мысли произведением было произведение «русского» автора митрополита Илариона «Слово о Законе и Благодати» — сочинение, подобия которому не имела в его время ни одна страна, — церковное по форме и историко-политическое по содержанию.

Попытки обосновать ту мысль, что Ольга и Владимир приняли христианство по латинскому обычаю, лишены сколько-нибудь научной документальности и носят явно тенденциозный характер. Неясно только одно: какое это могло иметь значение, если вся христианская культура была принята нами из Византии и в результате сношений Руси именно с Византией. Из самого факта, что крещение было принято на Руси до формального разделения христианских церквей на византийско-восточную и католическо-западную в 1054 году, вывести ничего нельзя. Как нельзя вывести ничего решительно и из того факта, что Владимир до этого разделения принимал в Киеве латинских миссионеров «с любовью и честью» (какие были у него основания принимать иначе?). Ничего нельзя вывести и из того факта, что Владимир и Ярослав выдавали дочерей за королей, примыкавших к западному христианскому миру. Разве русские цари в XIX веке не женились на немецких и датских принцессах, не выдавали своих дочерей за западных владетельных особ?

Не стоит перечислять всю ту слабую аргументацию, которую обычно приводят католические историки русской церкви. Иван Грозный справедливо объяснял Поссевино: «Наша вера не греческая, а христианская».

Зато следует принять во внимание, что Россия никак не соглашалась на унию.

Как бы мы ни рассматривали отказ великого князя московского Василия Васильевича принять Флорентийскую унию 1439 года с римско-католической церковью, для своего времени это был акт величайшего политического значения. Ибо это не только помогло сохранить свою собственную культуру, но и способствовало воссоединению трех восточнославянских народов, а в начале XVII века, в эпоху польской интервенции, помогло сохранению русской государственности. Мысль эту, как всегда у него, четко выразил С. М. Соловьев: отказ от Флорентийской унии Василием II «есть одно из тех великих решений, которые на многие века вперед определяют судьбу народов...». Верность древнему благочестию, провозглашенная великим князем Василием Васильевичем, поддержала самостоятельность северо-восточной Руси в 1612 году, сделала невозможным вступление на московский престол польского королевича, повела к борьбе за веру в польских владениях.

Не смог смыть грань национальных украинской и белорусской культур Униатский собор 1596 года в зловещем Брест-Литовске.

Не смогли смыть грань самобытности и западнические реформы Петра I, хотя и они были необходимы для России.

Скороспелые и легкомысленно задуманные церковные реформы царя Алексея Михайловича и патриарха Никона привели к расколу русской культуры, единством которой было пожертвовано ради церковного, чисто обрядового единения России с Украиной и Белоруссией.

Пушкин так сказал о христианстве в своем отзыве на «Историю русского народа» Н. Полевого: «История новейшая есть история христианства». И если понять, что под историей Пушкин разумел прежде всего историю культуры, то положение Пушкина в известном смысле правильно и для России. Роль и значение христианства на Руси были очень изменчивы, как изменчиво было на Руси и само православие. Однако, учитывая то, что живопись, музыка, в значительной мере архитектура и почти вся литература в Древней Руси находились в орбите христианской мысли, христианских споров и христианских тем, совершенно ясно, что Пушкин был прав, если широко понимать его мысль.

ВИКТОР КОЖЕВНИКОВ



ШИФРОВАННЫЕ СТРОФЫ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

В большинстве современных изданий романа после «Отрывков из путешествия Онегина» находим фрагменты семнадцати декабристских (или о декабристах) строф — все, что осталось от так называемой десятой главы. С вариантами и черновой правкой около полутора сотен строк...

Осталось очень мало. Но по оставшимся строчкам можно судить «об отношении Пушкина к наиболее сложным вопросам его эпохи»¹; этим (и не только этим!) определяется их значимость.

Правда, название этим строфам не Пушкиным дано, и вспомнить, как оно появилось, пожалуй, небезынтересно.

В 1904 году после смерти академика Л. Н. Майкова, так и не успевшего издать полное собрание сочинений А. С. Пушкина, его вдова передала в Академию наук бесценное собрание пушкинских автографов, среди которых особо выделим два.

1. Лист сероватой бумаги с черновой записью трех «онегинских» строф. Две из них — на лицевой стороне. Третья, неполная, — на обороте.

На лицевой стороне удалось прочитать:

Друг Марса, Вакха и Венеры
Им резко Лун <ин> предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал
Читал сво <и> Ноэли Пу <шкин>
Мела <ихолический> Як <ушкин>
Казалось молча обнажал
Цареубийственный книжал
Одну Росси <ю> в мире видя
Лаская в ней свой идеал
Хромой Т <ургенев> им внимал
И слово: рабс <тво> ненавида
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крест <ьян>

Так было над Невою льдистой
Не там, где ранее весна
Блестит над Каменной тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли
Дела <иные уж> пошли
Там П <естель> — для тир <анов>
И рать набирал
Холоднокровный генерал
И Муравь <ев> его скло <няя>
И полон дерзости и сил
Минуты <вспышки> торопил

На обороте:

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико
Лишь были дружеские споры
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука
<Все это было только> скука

Безделье молодых умов
Забавы взрослых шалунов
Казалось
Узлы к узлам
<И постепенно сетью тайной>
<Россия>
Наш Ца <рь> дремал².

В. И. Срезневский, составляя каталог рукописей Пушкина из архива Л. Н. Майкова, отметил: это — «наброски из путешествия Онегина»³.

¹ Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л. 1983, стр. 391.

² Пушкин. Полное собрание сочинений. 1937—1949, т. VI, стр. 524, 525 — 526. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте с указанием: римскими цифрами — тома, арабскими — страницы.

³ В. И. Срезневский, «Пушкинская коллекция, принесенная в дар библиотеке Академии наук А. А. Майковой» («Пушкин и его современники». СПб. 1906, вып. IV, стр. 11).

Свою точку зрения (по условиям публикации) В. И. Срезневский не обосновал, но с большой долей вероятности можно предположить, что он знал о тогда еще не опубликованном письме А. И. Тургенева брату Николаю от 11 августа 1832 года, в котором говорилось: «...Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России (здесь и далее разрядка моя.— В. К.), возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе:

Одну Россию в мире иди,
Преследуя свой идеал
Хромой Тургенев им внимал,
И плети рабства ненавидя.
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян

В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России, но она останется надолго под спудом. Он читал мне в Москве только отрывки⁴.

Отметим: стихотворные строки из письма А. И. Тургенева почти дословно совпадают с последними шестью строчками строфы «Друг Марса, Вакха и Венеры». А. И. Тургенев совершенно определенно относит их к главе, или части, в которой Пушкин описывает путешествие Онегина по России, то есть к главе, известной теперь под названием «Отрывки из путешествия Онегина».

Точка зрения В. И. Срезневского не была обоснована, но и безосновательной она не была! Подчеркнем: предположение В. И. Срезневского подтверждается очень важным свидетельством А. И. Тургенева, современника и друга Пушкина.

В 1910 году удалось прочитать непонятные строки и второго заинтересовавшего нас пушкинского автографа из коллекции Л. Н. Майкова.

2. Лист с водяными знаками 1829 года согнут и сложен пополам. Текст (шестьдесят три «бесмысленные», но явно шифрованные строки какого-то стихотворения) написан с внутренней стороны — наскоро, с сокращениями, но почти без поправок и исправлений.

Ключ нашел П. О. Морозов. История дешифровки не раз излагалась в печати⁵, поэтому останавливаться на ней не будем. Укажем результат. В 16-томном собрании сочинений А. С. Пушкина, изданном АН СССР в 1937—1949 годах, эти, как их теперь называют, декабристские строфы читаются так:

<1>
Вл<аститель> слабый и лукавый
Плешивый щеголь враг труда
Нечаянно пригретый славой
Над нами ц<арство>вал тогда

<2>
Его мы очень смирным знали
Когда ненаши повара
Орла двуглавого щипали
У Б<онапарта> шатра

<3>
Гроза 12 года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа
Б<арклай>, зима иль р<усский>
б<ог>

<4>
Но бог помог — стал потоп ниже
И скоро силою вещей
Мы очутились в П<аризе>
А р<усский> ц<арь> главой
ц<арей>

<5>
И чем жирнее тем тяжеле
О р<усский> глупый наш н<арод>
Скажи зачем ты в самом деле

<6>
Авось, о Шиболет народный
Тебе б я оду посвятил
Но стихоплет великородный
Меня уже предупредил
.....
Моря достались Албиону

<7>
Авось аренды забывая
Ханжа запретя в монастырь
Авось по манью <Николая>
Семействам возвратит <Сибирь>
.....

<8>
Авось дороги нам исправят
Сей муж судьбы, сей странник
бренный

⁴ В Истрин «Из документов архива братьев Тургеневых» («Журнал Министерства народного просвещения» 1913 март, стр. 16—17).

⁵ П. Морозов «Шифрованное стихотворение Пушкина» («Пушкин и его современники» СПб 1910, вып. XIII); В. Томашевский, «Десятая глава «Евгения Онегина» («Литературное наследство». М. 1934, тт. 16—18, стр. 379—380)

Пред кем унизились ц<арн>
Сей всадник Папою венчанный
Исчезнувший как тень зари
.....
Измучен казнию покоя

<9>

Тряслися грозно Пириней —
Волкан Неаполя пылал
Безрукий князь друзьям Морей
Из К<иншинева> уж мигал
.....
Кинжал Л<?> тень В<?>

<10>

Я всех уйму с моим народом
Наш ц<арь> в покое говорил
А про тебя и в ус не дует
Ты А<лексаидровский> холоп

<11>

Потешный полк Петра Титана
Дружина старых усачей
Предавших некогда <тирана>
Свирепой шайке палачей

<12>

Р<оссия> присм<ирела> снова
И пуце ц<арь> пошел кутить
Но искра пламени иного
Уже издавна может быть

<13>

У них свои бывали сходки
Они за чашею вина
Они за рюмкой русской водки

<14>

Витийством резким знамениты
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты

<15>

Друг Марса Вахха и Венеры
Тут Л<унин> дерзко предлагал
Свои решительные меры

<16>

Так было над Невою ландистой
Но там где ранее весна
Блестит над К<аменкой> тенистой
(VI, 521—524)

Нетрудно заметить, что строфа «Друг Марса, Вахха и Венеры» оказалась и на расшифрованном П. О. Морозовым листе и на листе с тремя черновыми строфами, в которых В. И. Срезневский увидел «наброски из путешествия Онегина».

Значит, «и шифрованные отрывки также могут относиться к Путешествию Онегина»⁶, — совершенно логично предположил П. О. Морозов.

В 1913 году это предположение документально подтвердил В. Истрия, опубликовав письмо А. И. Тургенева к брату Николаю.

При этом в се черновые и шифрованные строфы — «весь... отрывок» — В. Истрия, как и П. О. Морозов, отнес к «Путешествию Евгения Онегина»⁷.

Итак... «Путешествие Онегина»?

Нет! «Десятая глава»! Или — точнее, коль речь идет об отрывке, — «Из десятой (сожженной) главы «Евгения Онегина» — так называлась статья Н. О. Лернера, в которой говорилось: «Хотя в дошедших до нас отрывках дана лишь сатирически освещенная картина движения «1812 года и следующих», а об Онегине не сказано ни слова, но из сообщений Вяземского и А. И. Тургенева видно, что это именно часть десятой главы»⁸.

О существовании «десятой главы» «Евгения Онегина» нам известно из воспоминаний и записок современников Пушкина (А. А. Кононова, А. О. Смирновой-Россет, П. А. Вяземского) и двух упоминаний о ней самого Пушкина.

Во-первых, в черновиках «Путешествия Онегина» сохранилась строфа:

Наскуча или слыть Мельмотом
Иль маской щеголять иной
Проснулся раз он патриотом
Дождливой, снучно порою
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно
И решено. Уж он влюблен

Уж Русью только бредит он
Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой,
С ее развратной суеютой
Онегин едет; он увидит
Святую Русь; ее поля,
Пустыни, грады и моря (VI, 495—496)

Эту строфу Пушкин перечеркнул и против стихов «Уж он Европу ненавидит с ее политикой сухой» на полях сделал приписку: «в X песнь»⁹.

Во-вторых, сохранился рукописный лист «Метели» с пометой Пушкина:

«19 окт<ября> сожж<ена> X песнь» (VI, 526).

Что, какие именно стихи Пушкин сжег 19 октября, неизвестно.

Таким образом, со слов Пушкина (считая приписку против строфы «Наскуча или слыть Мельмотом» его авторской волей), только одну строфу можно отнести к «де-

⁶ «Пушкин и его современники», 1910, вып. XIII, стр. 10

⁷ «Журнал Министерства народного просвещения», 1913, март, стр. 16.

⁸ Н. О. Лернер «Из десятой (сожженной) главы «Евгения Онегина» (Пушкин. Сочинения. Под редакцией С. А. Венгерова. Пг. 1915, т. VI, стр. 215).

Фотовоспроизведение см. в кн.: «Литературное наследство», тт. 16—18, стр. 409.

сятой главе». При этом отметим: среди зашифрованных Пушкиным строф на листе из коллекции А. Н. Майкова ее нет.

Свидетельства современников Пушкина...

В апреле 1830 года А. А. Кононов сообщил И. Н. Ушакову: Пушкин будто бы «говорил, что у него написаны 8-я, 9-я и 10-я главы романа»¹⁰.

Что имел в виду А. А. Кононов, сказать совершенно невозможно; к нашим знаниям о содержании «десятой главы» письмо А. А. Кононова ничего не добавляет.

Из «Автобиографии» А. О. Смирновой-Россет известно, что Пушкин давал «десятую главу» на прочтение Николаю I, но «при всей интригующей сенсационности этих сообщений,— указывает Ю. М. Лотман,— они, к сожалению, не поддаются интерпретации: мы не можем выяснить, что Смирнова называла десятой главой и в какой мере известный ей текст пересекался с тем, что знаем об этой главе мы»¹¹.

Таким образом, воспоминания А. А. Кононова и А. О. Смирновой-Россет свидетельствуют лишь о существовании «десятой главы», но ничего, по сути, не говорят о ее содержании.

«Сообщение Вяземского» — его дневниковая запись от 19 декабря 1830 года: «Третьего дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок 8 и 9 главу Онегина¹², ею и кончает; из 10-й, предполагаемой, читал мне строфы о 1812 году и следующих — славная хроника; куплеты: Я мещанин, я мещанин; эпиграмму на Булгарина за Арапа; написал несколько повестей в прозе, полевых статей, драматических сцен в стихах: Дон-Жуана, Моцарта и Сальери; у вдохновенного Никиты, у осторожного Ильи»¹³.

Мы не знаем, какие именно строфы «о 1812 году и следующих» читал ему Пушкин. Об этом мы можем догадываться лишь по содержанию зашифрованных строф «Гроза 12 года» и «Но бог помог — стал ропот ниже».

Вероятно, к «десятой главе» «Евгения Онегина» может быть отнесена и строфа «Витийством резким знамениты сбирались члены сей семьи у беспокойного Никиты...». Но и это предположение вовсе не бесспорно.

Таким образом, из всех известных нам строф «Евгения Онегина», опираясь на свидетельства современников Пушкина, можно с большей долей уверенности отнести к «десятой главе» романа лишь три строфы...

Важнейшим свидетельством о «десятой главе» «Евгения Онегина» остается запись Пушкина о ее сожжении. Но упоминание Вяземского о десятой главе, строчка из его дневника «у беспокойного Никиты», обнаруженная и на листе с зашифрованными Пушкиным стихами (см. так называемую 14-ю строфу), — все это в сочетании с пометой Пушкина на черновике «Метели»: «19 окт <ября> сожж <ена> X песнь» и припиской в черновике «Путешествия Онегина»: «в X песнь» казалось столь убедительным доводом в пользу принадлежности зашифрованных строф именно «десятой главе», что с мнением Н. О. Лернера согласились многие пушкинисты.

В 1934 году Б. В. Томашевский, обосновывая принципы доведения «десятой главы» до читателей, указал: «Десятая глава должна стать обычной в самых «популярных» изданиях Пушкина»¹⁴.

Так и произошло. Но странная получилась картина...

Исследователи, считая все зашифрованные строфы частью «десятой главы» и ссылаясь при этом на все те же свидетельства А. И. Тургенева и П. А. Вяземского, как будто не замечали, что письмо А. И. Тургенева находится в явном противоречии с таким выводом.

«Станным образом на это обстоятельство никто не обратил внимания», — констатировал И. М. Дьяконов¹⁵ и, совершенно справедливо не считая позицию Н. О. Лернера и его последователей безупречной, вернулся к основательно подзабытой гипотезе о принадлежности всех зашифрованных строф «Путешествию Онегина». В под-

¹⁰ См.: «Русская литература», 1963, № 3, стр. 38.

¹¹ Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», стр. 394.

¹² См.: «Литературное наследство», тт. 18—19, стр. 387; Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», стр. 392. Томашевский и Лотман перепечатали дневниковую запись П. А. Вяземского с существенным искажением: «...привел в порядок и 9 главу Онегина»

¹³ П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. СПб. 1884, т. IX, стр. 152.

¹⁴ «Литературное наследство», тт. 16—18, стр. 419.

¹⁵ И. Дьяконов, «О восьмой, девятой и десятой главах «Евгения Онегина» («Русская литература», 1963, № 3, стр. 40)

тверждение этой точки зрения И. М. Дьяконов привел восемь доводов. Но ни один из них не содержит сколько-нибудь убедительного доказательства того, что все шифрованные строфы — это часть одной главы — «Путешествия Онегина».

Впрочем, такой задачи И. М. Дьяконов перед собой, вероятно, и не ставил, быть может, потому, что все шифрованные строфы сначала просто, без доказательств, а потом традиционно считались, как нечто само собой разумеющееся, единой, неделимой, последовательно записанной частью, или отрывком, какой-либо одной главы — и л и «десятой», и л и «Путешествия Онегина».

В несколько, может быть, утрированном виде все доказательства сводились к следующему: «Запись Пушкина последовательна... Последовательность строф определяется записью Пушкина»¹⁶.

Но ведь речь идет (и это нельзя упускать из виду!) не просто о записи, а записи шифрованной, где любые неожиданности возможны.

Подчеркнем: Пушкин нигде никому и никак не указал, в какой последовательности он шифровал крамольные строфы! Это во-первых.

Во-вторых, Пушкин нигде и никак не указал, что шифрованные строфы — это часть какой-либо одной главы!

Между тем (если с доверием отнестись к свидетельствам А. И. Тургенева и П. А. Вяземского, а не верить им у нас нет никаких оснований) оказывается, что на листе с шифрованными строфами Пушкин записал стихи из двух разных глав!

Дневниковая запись П. А. Вяземского (она легла в основу концепции о принадлежности шифрованных строф «десятой главе») и письмо А. И. Тургенева (оно стало основой концепции о принадлежности шифрованных строф главе «Путешествие Онегина») — эти свидетельства современников Пушкина позволяют предполагать, что шифрованные строфы, вероятно, не монолитная структура, а внутренне не связанная запись отдельных крамольных строф и фрагментов всего романа!

Предпосылки к такому выводу можно видеть в письмах и заметках самого Пушкина. 4 ноября 1823 года он сообщал П. А. Вяземскому: «...о печати и думать нечего; пишу спустя рукава» (XIII, 73), то есть без оглядки на цензуру. Сравним: Пушкин — брату в начале 1824 года: «Так как я дождался okazji, то и буду писать тебе спустя рукава» (XIII, 85). И далее, «спустя рукава» Пушкин действительно весьма крамольно пишет о своем положении ссыльного...

Вероятно, крамола была и в первой главе «Евгения Онегина». «О н о в <ой> поэме нечего и думать — она писана строфами едва ли не вольнее строф Дон. Жу<ана> если когда-нибудь она будет напечатана то верно не в П.<етер> Б.<урге> и не в Москве», — читаем в черновике письма Пушкина А. А. Бестужеву (XIII, 388).

«Вольные строфы» «Дон-Жуана», за которые Байрон подвергался всякого рода нападкам, — именно политические.

Первая глава «Евгения Онегина» вышла 15 февраля 1825 года, но ни одной крамольной по существу строки в ней нет.

Зато есть пропущенные строфы!

Есть они и в других главах.

«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию. Что есть строфы в Евг.<ении> Онег.<ине>, которые я не мог или не хотел напечатать, этому дивиться нечего. Но, будучи выпущены, они прерывают связь рассказа, и поэтому означает место, где быть им надлежало. Лучше было бы заменять эти строфы другими, или переправлять и сплачивать мною сохраненные. Но виноват на это я слишком ленив...» — писал Пушкин (XI, 149).

Нет, вероятно, никакой необходимости доказывать очевидное: дело не в ленисти Пушкина. Дело в том, что одни строфы «Евгения Онегина» Пушкин «не хотел напечатать», другие — «не мог»!

«Не мог», но цифрами (Пушкин сам на это указывает) обозначил пропуски, «место, где быть им надлежало»

Вот эти-то строфы, которые «не мог» напечатать, но хотел сохранить, Пушкин, вероятно, и должен был зашифровать: хранить их в незашифрованном виде было рискованно.

В первой главе пропущено шесть строф. Три из них сохранились в черновиках

¹⁶ «Литературное наследство», тт 16—18 стр. 386.

Три другие — 39-я, 40-я и 41-я,— как считают некоторые исследователи, «вообще никогда не были написаны»¹⁷.

Так ли это? Может. «ненаписанные» строфы все-таки были написаны?!
В 38-й строфе говорится об онегинской хандре, ее следствии:

Он застрелиться, слава богу,
Попробовать не захотел;
Но к жизни вовсе охладел.
Как Child-Harold, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он;
Ни сплетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего. (VI, 21)

Перечисляется все, что Онегина больше не интересует: сплетни, карты, красавицы... Реалии светские. О политике — ни слова. Но ведь Онегин, как и Пушкин, носил когда-то шляпу à la Bolivar, названную так в честь вождя национально-освободительного движения в Южной Америке.

Онегин читал Адама Смита,
В деревне, как известно,

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил (VI, 32)

Социальных проблем Онегин не чужд. И политикой он интересовался. А среди того, что не замечал разочарованный герой, лишь сплетни, красавицы, карты... «Света шум».

Хандра Онегина приходится на 1820—1823 годы¹⁸ — время европейских революций. Но Онегин (предположить это, кажется, вполне логично) мог и «не замечать» их, если он «к жизни вовсе охладел».

Н и ч т о не трогало его,
Не замечал он н и ч е г о.

«Ненаписанные» строфы могли быть об этом: о революционных событиях в Испании, Италии, Греции.. Пушкина все это чрезвычайно интересовало. А Онегин?.. У него была хандра в то время, как

Тряслися грозно Пириней —
Волкан Неаполя пылал
Безрукий князь друзьям Морей
Из К<ишинева> уж мигал. (VI, 523)

Онегин мог «не слышать» как

Я всех уйму с моим народом
Наш ц<арь> в конгрессе говорил¹⁹.

Онегин мог «не заметить», что

Р<оссия> присм<ирела> снова²⁰
И пуце ц<арь> пошел кутить
Но искра пламени иного
Уже издавна может быть..

Конечно, гипотетичность подобной вставки очевидна так же, как очевидна субъективность мнения о том, что «пропущенные» строфы «вообще никогда не были написаны». Связь декабристских строф с первой главой романа логическая, умо-

¹⁷ Ю. М. Лотман Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», стр. 166.

¹⁸ Виктор Кожевников «Время» расчислено по календарю» («Литературная Россия», 1987 № 35 стр. 22)

¹⁹ Ю. М. Лотман Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», стр. 405.

²⁰ Вероятно, правильное читать: «Народы присмирели снова». («Пушкин и его современники». Пб. 1922, вып. XXXIII—XXXV, стр. 308).

зрительная: авторская воля Пушкина нам неизвестна. Доказать, что именно эти строфы он предназначал на место «ненаписанных» невозможно. И все же вероятность соотнесения зашифрованных строф с пропущенными велика и, как мне кажется, заслуживает внимания.

Во всяком случае неожиданную, но поразительную связь декабристской строфы «И чем жирнее тем гяжеле» с 35-й строфой четвертой главы едва ли можно объяснить простой случайностью:

XXXV

Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей.
Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав неожиданно за полу,
Душу трагедией в углу,
Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов. (VI. 88)

И чем жирнее тем тяжеле
О р<усский> глупый наш н<арод>
Съажи зачем ты в самом деле
..... (VI. 522)

Дикие утки, кормящиеся на озере перед осенним перелетом («Уж небо осенью дышало») взлетают с трудом. И чем утки «жирнее», тем, естественно, им труднее «тяжеле» взлететь.

Странное сближение? Возможно... Но — еще одно.

Известно, что некоторые строфы, исключенные из романа Пушкин никак не обозначил в окончательной печатной редакции. Так, из романа выпал «Альбом Онегина», «по меньшей мере одиннадцать строф были исключены из второй главы»²¹ — исчезли «бесследно». Список можно продолжать...

Предполагая, что зашифрованные строфы не являются отрывком какой-либо одной главы, но принадлежат всему роману, нельзя не обратить внимания на очевидную смысловую связь декабристской строфы о Наполеоне «Сей муж судьбы, сей странник бранный» с 37-й строфой седьмой главы «Евгения Онегина»:

XXXVII

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавно гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля.
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он (VI. 155)

Сей муж судьбы, сей странник бранный
Пред кем унизились ц<ари>
Сей всадник Папою венчанный
Исчезнувший как тень зари
..... (VI 522—523)

Странные сближения и на этом не оканчиваются. Вопросов больше чем ответов. Такова суть гипотезы — любой. И любой вопрос относительно места зашифрованных строф в романе современное пушкиноведение может решить лишь гипотетически:

²¹ М. Л. Гофман, «Пропущенные строфы «Евгения Онегина» («Пушкин и его современники» Пб. 1922 вып. XXXIII—XXXV, стр. 43).

потому что большая часть декабристских строф и авторская воля Пушкина нам неизвестны.

«...В обширной литературе по десятой главе,— писал Ю. М. Лотман,— нет ни одного исследования, посвященного ее стилю, как нет и убедительных реконструкций целостного авторского замысла»²².

Возможны ли они при той ограниченности, даже скудости материала, которым мы располагаем?

Время покажет, будем надеяться...

Но, вероятно, не следует печатать шифрованные строфы под названием отрывков из «десятой главы» или «Путешествия Онегина».

Название «Шифрованные строфы романа А. С. Пушкина „Евгений Онегин“» представляется наиболее правильным, хотя три строфы — «Друг Марса, Вакха и Венеры», «Так было над Невой льдистой» и «Сначала эти заговоры» (VI, 524—526) — известны нам и в незашифрованном виде. Это черновые, вероятно, чудом сохранившиеся листки с крамольным содержанием о «цареубийственном кинжале», о «рати для тиранов», о «дремлющем царе».

Почему Пушкин их не уничтожил, сказать трудно. Не исключено, что это объясняется простой, хотя и счастливой для нас случайностью.

УЖЕЛИ СЛОВО НАЙДЕНО?

О гипотезе Виктора Кожевникова

«Роман живет контрверзой»,— справедливо писал интереснейший историк и теоретик романа Борис Грифцов. Контрверзами живет и «Евгений Онегин», этот, если можно так выразиться, абсолютный роман правота или неправота его героини, которая с кажущейся покорностью вышла замуж, храня в своем сердце любовь к другому; греховность и привлекательность его неприкаянного героя; позиция поэта, который на одной странице проникновенно сострадает своим персонажам, а на следующей признается в том, что он выдумал их,— все это делает «Евгения Онегина» книгой открытых проблем, обеспечивая ему неугасимую жизнь. И, понятно, роман оставляет читателя — я выражусь старомодно — в некоем томлении духа. А раз так, возникают и дилетантские поползновения во что бы то ни стало прояснить «идею» романа: к примеру, увести героя на Сенатскую площадь или во всяком случае зачислить его в какое-нибудь содружество декабристов благо о декабристах в романе рассказывается. Где? Всякий знает: в «десятой главе» романа.

Будем предельно осторожны с, условно говоря, «народным литературоведением». Порожденное всеобщим приобщением к классике, оно несомненно существует, и порою уже и на академические штудии оно начинает влиять, превращаясь к какую-то научную самостоятельность. У такой самостоятельности есть, конечно, заслуги — там, допустим, где дело касается пополнения сведений по литературной истории какого-нибудь региона, района, восполнения генеалогических или биографических пробелов; или там, где речь идет о каких-нибудь знаменательных совпадениях в текстах далекого отстоящих одно от другого произведений. Но беда, когда дело доходит уже и до реконструкции этих текстов, так сказать, до самостоятельной текстологии. А такое случается. И объектом эвристических притязаний такой текстологии оказалась посвященная современной Пушкину политической жизни Российской империи, и в частности декабристам, «десятая глава» романа-энциклопедии: сотворивши нечто изрядно вульгарное, ее дописали.

Я не стану цитировать этот шедевр — стихи, отважно дописанные кем-то за Пушкина и разрешившие едва ли не все контрверзы романа. К трем-четырем строкам классика прилагалось десять-одиннадцать строк варианта, якобы читанного поэтом грузьям и дошедшего до потомков изустно. Скажу только: Пушкин превращался в Демьяна Бедного, против коего я, ей-же-ей, ничего не имею. Но все же: Пушкину — пушкинское, а Демьяну — Демьяново; и если один мог рисовать своеобразные плакаты в стихах, призывая народ колошматить губами тунеядствующих господ, то другой-то все-таки был утонченнее, сложнее. И принадлежу я к тем, кто напрочь отвергает попытки навязать литературоведению ставший достаточно широко известным фольклоризованный список «десятой главы» романа, хотя этот список, много лет тому назад опубликованный в Минске, был поддержан сначала трудившимся в Белоруссии доктором

²² Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», стр. 413.

разнообразных наук, а после и одним членом-корреспондентом АН СССР, в лице которого академия, видимо, шагнула навстречу научной самостоятельности.

От явной авантюры с фольклоризованным привеском к роману можно было бы просто отмахнуться; все благоразумные пушкинисты, кажется, так и поступили. Но она была, что называется, острым сигналом о неблагоприятности с так называемой десятой главой. О сугубо иллюзорной разрешенности одной из загадок, заданных нам Пушкиным. Само существование «десятой главы» вызывало большие сомнения. Казалось бы, и признанные корифеи пушкиноведения — не герзаемые наитиями дилетанты, а специалисты, перед памятью которых можно лишь преклоняться, — сходились на том, что эта глава существовала, и существовала именно в качестве законченного целого, и ничего, что в ней ни словом не упомянут Евгений Онегин. А сомнения не рассеивались. И протест прежде всего вызвала именно гипотеза о цельности пресловутой «десятой главы». О том, что это — глава в которой обрисована история послепололеоновской Европы и нашей России, а уж после такого громадного историографического отступления, отступления в 238 строк, ибо $14 \times 17 = 238$, снова должна была пойти речь о герое романа. Но если должна была, то почему не пошла? Хорошо, одно лишь упоминание о Пестеле после 1825 года стало крамолкой, и Пушкин зашифровал его. Но Евгений Онегин, так же как и Татьяна, в крамольных не числился. Так куда же они исчезают? И что это за глава, которая сплошь состоит из политических эпиграмм, из памфлетов? Что за странный композиционный прием вынесения всего крамольного как бы за скобки в целом-то вполне нейтрального с точки зрения цензуры романа? И позиция моя была такова: не отрицая причастности «десятой главы» к сюжету романа, опраженности с ним, я никак не считал достаточными аргументы в пользу того, что это... глава. Отдельная глава. Органически обусловленная сюжетом и его развивающая.

И тут на моем пути появился Виктор Кожевников, по образованию филолог, в прошлом учитель литературы, затем... ночной сторож и, наконец, сотрудник музея А. С. Пушкина. Появился и предложил достойную всяческого внимания догадку: в начале нашего века одним из проникательнейших пушкиноведов была расшифрована не глава романа, а ряд крамольных вставок в него — изъятых из романа картин, строчек, строф-рассуждений. И читать их нам надо, не соединяя их во что-то одно. а, напротив, рассредоточив в их в разных местах романа, на общих правах с гримми, отлично изученными интимно-лирическими, публицистическими и историографическими отступлениями, говорящими о недавнем прошлом и о современности.

Такая трактовка проблемы принципиально нова: предлагается неожиданная и очень серьезная, солидная методика распоряжения текстом. И притом никаких сенсаций, все очень буднично.

Что-то здесь до конца убедительно; что-то — нет.

Убедительнее всего, по-моему, про... уток.

В «десятой главе» говорится о том, что кто-то был «жирнее», да еще и «тяжеле» Мы приучены: в любом историко-литературном явлении превыше всего должна быть социология. И нацеленное на социологию воображение наше диктует нам горисоват» каких-то полнотелых мужей, жирующих за счет изнемогающего в непосильном труде народа; и «чем жирнее» они становятся, тем, естественно «тяжеле» их гнет. Так гресированное наше воображение вводит в мир Пушкина персонажей не то Некрасова не то Щегрина, не то плакатно-социологического Демьяна. Но оставить бы им рисовать всевозможных тунейдцев: соответственно и х времена, и х поэтике. А у Пушкина?

И чем жирнее, тем тяжеле

Строки прямо-таки сами просятся стать в начале 36-й, пропущенной строфы четвертой главы романа. Ранее речь идет о времяпрепровождении верного спутника героев романа о рассказчике. Он, как известно, поэт Он пишет стихи в деревенской глуши, в одиночестве. Бродя над озером, он пугает своей декламацией «стаго диких уток». и утки, испугавшись, «слетают с берегов». И тут-то — переход к последующей строфе: «чем жирнее» они, «тем тяжеле» им, беднягам, взлетать. Выходит, что утки всего лишь они, тяжелы и жирны. Дикие утки, и только! И это тем более правдоподобно, что тотчас же за эпизодом с жирными и тяжелыми утками следует эпизод с.. гусем.

*На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает...*

И гусь тяжелый, и утки тоже тя-же-лы-е: тут, стало быть, не «социология», а «орнитология». И тогда все на свои места вдруг становится: с кажущимся алогизмом переходов от темы к теме рассказ заходит уже о русском народе. Предположим, следует ироническое его порицание: народ не читает или не слушает од; тут вполне возможное и характерное для романа вторжение в его текст так называемого чужого слова, чьего-то суждения о «глупом народе», не горосшем до высокой державной или отвлеченно-философической лирики.

И про Наполеона убедительно очень. Фрагмент о Наполеоне из «десятой главы» примыкает к описанию въезда героини романа в Москву. Проезжает она, как мы знаем, по нынешнему Ленинградскому проспекту, мимо Петровского замка, то есть мимо Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. Наполеон останавливался здесь еще недавно. И закономерно, что как раз к промелькнувшему пред взором Татьяны пейзажу пристанища завоевателя примыкает строфа:

Сей муж судьбы, сей странник бранный...

Менее убедительными представляются мне предположения о том, что крамольные историографические рассуждения поэта частично вписываются и в самое начало романа, в первую главу.

Но в общем ясно, что право на существование должна получить новая историко-литературная гипотеза — гипотеза филолога той довольно заунывной эпохи, когда учителя литературы вдруг почему-то устремлялись охранять склады металлолома и стройматериалов. Исследовательская мысль, однако, жила, и мы обогатились принципиально новой перспективной догадкой: «десятая глава» романа «Евгений Онегин» не отдельная глава, а своеобразная кладовая, хранилище крамольных рассуждений и зарисовок, и имелось в виду рассредоточение их волею всего пространства повествования. «Обиды не страшась, не требуя венца», представляет ее на наш суд начинающий исследователь; и не хотелось бы сомневаться в том, что она будет обсуждена и проверена объективно и доброжелательно.

Мы устали от дискуссий, когда поднявшийся на трибуну, еще не успев отвергнуть уста, уже читал на скептических лицах собравшихся: «А вот мы тебя сейчас о-про-верг-нем!» О том, что та или иная мысль «носит спорный характер», неизменно говорилось угрюмо-укоризненным тоном, даже с оттенком некоей скорби о брате заблудшем: «До чего докатился, спорные мысли высказывает! А что-то с ним завтра будет?» Трудно расставаться с превратившейся в аксиому версией о тексте «десятой главы». Почти невозможно даже в воображении представить себе издание пушкинского романа без особой главы в конце; она прижилась там, и это стало считаться совершенно бесспорным. А предположения новообращенного историка литературы, сегодня равноправно пополнившего наше не очень-то дружное сообщество, носят спорный характер, но я хочу сказать об этом хоть немного жизнерадостнее, чем было принято прежде. Да к тому же и все ли здесь спорно?

Думаю, здесь есть и открытие, пусть небольшое. И, вникая в логику коллеги Кожвицкого, я порою готов был воскликнуть стихом из «Евгения Онегина»: «Ужели слово найдено?»

В. ТУРБИН.

КОРОТКО О КНИГАХ



ОЛДОС ХАКСЛИ. Желтый Кром. Роман. Рассказы. М. «Художественная литература». 1987. 302 стр.

Литературная судьба была к Хаксли неблагоприятна. Но не сам ли он искушал судьбу? В 20-е годы Олдос Хаксли считался признанным властителем дум, его романы «Желтый Кром», «Шутовской хоровод», «Контрапункт» имели шумный успех. «Вы высказали правду, может быть последнюю правду о Вашем поколении», — писал ему Д. Г. Лоуренс. «Английские читатели между двумя мировыми войнами восхищались легкой виртуозностью», с которой Хаксли разрушал существующую форму романа» (З. Ванчуря). Но, увидев в поздних романах писателя результаты этого разрушения, те же читатели отвергли вчерашнего кумира.

А начиналось все с «Желтого Крома», остроумной и на первый взгляд безмятежной книги, где, однако, уже завязался тот клубок противоречий, который разматывался на протяжении всей творческой жизни писателя.

Гости, собравшиеся в загородной усадьбе Кром, и их гостеприимные хозяева ничем серьезным не заняты. Они ведут нескончаемые беседы, флиртуют, завтракают, посещают церковную службу и сельскую ярмарку — вот и все, что происходит в романе. Повествовательная ткань поначалу кажется непрочной, чередование эпизодов — случайным, но не будем торопиться с выводами, присмотримся лучше к главному герою книги. Это юный литератор Дэнис Стоун, он и сам пишет роман. Но не успев Дэнис упомянуть об этом, как его скептический собеседник Скоуган «с путающей точностью» изложил задуманный сюжет: молодого героя «подавляет меланхолия, на своих плечах он несет всю тяжесть вселенной... Потом возникает тонкая любовная интрига, и наконец мы расстаемся с героем, уходящим в сияющее будущее». Перед нами не что иное, как модель романа воспитания, составляющего едва ли не сердцевину классического европейского художественного сознания XIX века. Кажется, ясно, от каких именно образов отталкивается Хаксли, но странное дело: с треском изгнанный в дверь, осмеянный жанр благополучно влезает в окно и прочно цементирует грозящее развалиться здание «Крома». Роман начинается с приезда Дэниса в усадьбу и кончается его отъездом. В Кроме

происходит первое серьезное столкновение героя с реальностью. Его глубокая меланхолия вызвана не только печальным исходом «тонкой любовной интриги», но и своеобразным метафизическим потрясением, которое испытывает Дэнис, увидев в альбоме карикатур свое собственное, убитленно похожее изображение. «Этот блокнот не оставлял никаких сомнений: мир вне его действительно существует». Вопиющая тривиальность этого открытия не должна нас смущать. В самом деле, возможна ли более емкая формула самой жанровой сути романа воспитания, его нравственного итога? Беда в другом: происходящее в романе воспитание Дэниса никак не назовешь успешным прозрения героя ничего не меняют в его поведении, во взаимоотношениях с окружающим миром.

Это и неудивительно, если принять во внимание тот образ мира, который воплощен во внешней по отношению к герою, эпической стихии романа. Его персонажи, «как сатиры козлоногие», проходят перед читателем в бесконечном шутовском хороводе (образ К. Марло, использованный Хаксли в его романе «Шутовской хоровод»). Здесь господствует пафос раз-облачения, раздевания, снятия покрова. Таким покровом является, по Хаксли, все возвышенное, духовное в человеке, истории, искусстве — в чем угодно. «Суровая и величественная» архитектура Крома, оказывается, вдохновлена заботой «о надлежащем расположении отхожих мест». Его прошлое, запечатленное в хронике историографа и послед него владыка Уимбуша, являет собой грубый фарс. Так, эпоха романтизма представлена тремя девицами, которые демонстрируют свою запредельность полным пренебрежением к телесной пище, а втайне предаются чревоугодию. А вот и будущее, на выбор: апокалипсический бред священника Бодизма или не менее зловещий проект «рационалистического государства Скоугана (своего рода концепт будущей антиутопии Хаксли «О дивный новый мир»). А основу нынешнего благосостояния Крома составляет со смаком описанный скотный двор, «модель здорового, по-отечески мудрого правления» (едва ли не прообраз известной «Зверофермы» Дж. Оруэлла). Шокирующая «правда» о животной скотской природе человека порождает тот «комплекс жизнебоязни», который присущ в разной степени почти всем персонажам романа. Он

приобретает гротескное звучание в сетованных Уимбуша: «Это ужасно: сталкиваясь с живыми людьми, мы имеем дело с неизвестными и непознаваемыми величинами... Какой приятной и радостной была бы жизнь, если бы можно было совсем избавиться от общения с людьми!»

Увы, сам Дэнис почти сочувственно внимает этим словозлияниям. Попытавшись убедить себя в том, что «человек — это не самообеспечиваемая система», — он идет к людям. Дэнис попадает в карнавальную толчуку сельской ярмарки. «Сотни людей — у каждого свое собственное лицо, и все настоящие, индивидуальные, живые. Гнетущая мысль!» Мы настроились на «улыбку Кабирии», на катарсис — и услышали: толпа так дурно пахнет... В финале романа вместо ухода «в сияющее будущее» происходит метафорическая гибель персонажа. «Жизнь угасает — я готов уйти», — произносит Дэнис и залезает «внутрь катафалка». Герою легче умереть, чем измениться. И здесь приходится признать, что это не столько вина Дэниса, сколько беда его создателя. Хаксли не верит во внутренние возможности человека.

Но ведь вот что интересно: «Желтый Кром» вовсе не производит гнетущего впечатления, напротив: это книга веселая и живая. Чудовищ рождает нравственный сон индивида — в этом убеждает сам строй романа. Он заставляет почувствовать, что если бы герою удалось найти путь к людям, — фантазмагория шутовской буффонады расселась бы, как наваждение. Мы извлекаем из романа уроки, которых автор давать, кажется, не собирался.

И. Фридман.



В. Н. ЯГОДИНСКИЙ. Александр Леонидович Чижевский. 1897—1964. М. «Наука». 1987. 316 стр.

Нередко научные биографии пишутся по шаблону: сначала авторы повествуют об истоках зарождения научных интересов своего героя, а затем переходят к его основным трудам, раскрывая их значение. Яркая, исключительно многогранная личность А. Л. Чижевского не очень-то укладывается в прокрустово ложе традиционных схем. В. Н. Ягодинский хорошо это понимает и поэтому старается в описании жизни и творчества ученого уйти от стереотипов.

В юности Чижевский, как и многие его сверстники, увлекался астрономией, но предметом подлинной страсти для него сделалось Солнце. «Все книги о Солнце, которые я нашел в библиотеке отца, в Калужской городской библиотеке, были мною добросовестно изучены — вспоминал позже ученый. — Все, что можно, я выписал из крупнейших магазинов Москвы и Петрограда...» Читая древние летописи и научные трактаты, сопоставляя разнообразные факты и сведения Александр Чижевский обнаружил взаимосвязь между стихийными бедствиями на Земле (например, эпидемиями засухами) и физическими изменениями Солнца — появлением на нем пятен, про-

туберанцев. В конце концов он пришел к поразительным открытиям. Оказалось, что активность Солнца влияет на все земные процессы, отражаясь на заболеваемости и смертности людей, плодovitости животных, урожайности сельскохозяйственных культур и т. п. Исследования солнечной активности и ее воздействие на живую природу легли в основу созданной ученым новой дисциплины — гелиобиологии.

Казалось бы, Чижевский нащупал свою золотую жилу в науке и ничто его теперь не отвлечет от излюбленного предмета. Однако автор показывает, как напряженная работа мысли приводит ученого к открытию совсем в другой области. Изучая электрические состояния чистого деревенского и загрязненного городского воздуха. Чижевский установил, что тяжелые ионы (заряженная пыль, копоть, дым, испарения) вредны для живых организмов, легкие же оказывают на них благотворное и целебное воздействие. Еще в 30-е годы ученый предложил искусственно регулировать ионизацию воздуха в общественно-производственных и жилых помещениях, подобно тому как регулируются освещение, температура или влажность. Для этой цели Чижевский даже разработал прибор названный аэроионификатором.

Оригинальные исследования Чижевского в области гелиобиологии и аэроионификации снискали ему всемирную известность. Но как раз в период расцвета творчества замечательного ученого в его жизни наступает драматический перелом. Злоущая тень кем-то сфабрикованного стереотипного доноса — «враг народа» — падает на честное имя Александра Леонидовича.

Не зная подробностей биографии Чижевского, можно даже не заметить себя в его научной деятельности в эти трудные годы. В списке его научных трудов, созданных на Урале и в Казахстане, где ученый вынужденно находился вплоть до середины 50-х годов, особое место занимает объемистая (около 30 печатных листов) монография «Структурный анализ движущейся крови», появившаяся в печати уже после реабилитации Чижевского. Кстати говоря, для комплексной оценки этого труда потребовалось привлечь специалистов весьма далеких друг от друга отраслей знания — скажем, физиологов и математиков, что бывает в науке не столь уж часто.

А. Л. Чижевский показан автором книги не только как выдающийся естествоиспытатель нашего времени. Александр Леонидович был талантливым художником-акварелистом. писал стихи.

Ты устоял пред бредом бездны черной,
Глядел в нее, не отводяв лица;
Познавья гений — истинный ученый
Был на посту до смертного конца.

Эти строки из стихотворения «Плиний Старший», написанного Чижевским в 1943 году, можно с полным правом отнести к нему самому — ученому и гражданину, оставившему нам в наследство не только открытия и даже целую научную школу, но и пример высокого и мужественного служения своему делу.

С. Глушнев,
кандидат технических наук.

ГАСТОН БАШЛЯР. Новый рационализм. Перевод с французского. М. «Прогресс», 1987. 376 стр.

Четыре года назад общественность Франции широко отметила столетие со дня рождения крупного мыслителя XX века, методолога науки и культуры Гастона Башляра (1884—1962). «Башляр стал проблемой для французской марксистской философии и для сегодняшней философии вообще», «Башляр занял позицию на почве материализма», «Философ ли Башляр вообще?»; «Башляр — это Сократ современной философии» — таков диапазон спектра мнений о Башляре.

По-разному можно оценивать степень влияния идей нового рационализма и их значение, но совершенно бесспорно, что имя Гастона Башляра как основоположника и виднейшего представителя этого течения прочно вписано в историю гуманитарного знания. Без знакомства с философскими и эстетическими идеями Башляра многое в культуре современной Франции рискует остаться неясным.

Вот почему выход в свет на русском языке основополагающих трудов Гастона Башляра заслуживает всяческого одобрения (Напомним, что в нашей научной литературе идеи Башляра были впервые подвергнуты критическому анализу свыше тридцати лет назад.) Составителю Ю. П. Сенокосову пришлось проделать огромную работу, чтобы с максимальной полнотой и разносторонностью представить в небольшой по объему книге обширное наследие французского мыслителя.

Здесь мы познакомимся, например, с оригинальной трактовкой истории человеческого познания. Башляр считает, что наука в своем развитии прошла три ступени: донаучную, научную и ступень «нового научного духа» (работа «Новый научный дух»). Последняя характеризуется диалектической гибкостью, высшим уровнем абстрактности и сюррационалистической интуитивностью. Для этой стадии естествознания должна быть выработана соответствующая философия («Философия-Не», как называет ее Башляр по аналогии с неаристотелевской логикой, ньютоновской физикой). Такой «Философией-Не» являются прикладной рационализм («О природе рационализма») и технический материализм.

Другой формой познания, по Башляру выступает искусство. В книгу включены работы, посвященные пластическим искусствам («Материал и рука»), художественному изображению («Научное призвание и душа

человека», «Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое»). Искусствоведение представлено «Введением в Библию Шагала», где анализируются иллюстрации Марка Шагала к Библии.

Будучи непрофессиональным философом (по образованию — физиком и химиком), Башляр при безупречной трактовке им понятий естествознания весьма нестрого относился к использованию философских категорий. Порой он вкладывал в термины свой, известный только ему смысл. Все это требовало от переводчиков (Ю. Сенокосова и Г. Туровер) быть предельно внимательными и щепетильными при переводе. И если в целом перевод работ Г. Башляра следует признать удовлетворительным, то отдельные страницы вызывают, мягко выражаясь, недоумение. Так, название основного философского произведения переведено как «Философское отрицание». Французское название «La philosophie du Non» буквально означает «Философия под отрицанием». В советской философской литературе (работы А. Зотова, М. Зыкова, Л. Веретенниковой, М. Кисселя и других) сложилось уже использованное мной выражение «Философия-Не». Разумеется, это не перевод, а калька. В худшем случае можно было бы перевести это название как «Философия отрицания», но уж никак не «Философское отрицание».

И последнее. У нас сложилась, на мой взгляд, не лучшая традиция переводить тексты как можно нейтральнее. Любое личностное начало усилиями переводчика (а иной раз и редактора) тщательно вымарывается. Вот и здесь переводчики понав, видимо, под обаянием мягкого и стеснительного Башляра, решили «исправить» его высказывания: вместо «я считаю...», «я полагаю...», как в оригинале, они пишут «мне кажется...», «мне представляется...». Нет таких фраз у Башляра! Действительно, в жизни философ был мягким, деликатным человеком, начисто лишенным интеллектуального снобизма и тщеславия. Но что касается научных позиций — здесь он был принципиален и непреклонен. Характерен такой эпизод. Во время одной из последних своих лекций в Сорбонне он подверг критике книгу К. Ясперса «Ван Гог», в которой немецкий экзистенциалист выводил истоки гениальности Ван Гога из его шизофрении. Говоря об этом, Башляр даже вспыхнул: «Это не Ван Гог был шизофреник а его эпоха!»

Так что давайте больше доверять мыслям и стилю издаваемых нами зарубежных авторов...

Г. Березовский.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

М. С. Горбачев. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. 271 стр. Цена 55 к.

Е. Драбкина. Зимний перевал. 271 стр. Цена 85 к.

В. В. Куйбышев. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. (1917—1928 гг.). 479 стр. Цена 40 к.

О Надежде Крупской. Воспоминания, очерки, статьи современников. 304 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

К. Ваншенкин. Жизнь человека. Лирика. Валлады. Поэма. («Библиотека произведений ил., удостоенных Государственной премии СССР») 207 стр. Цена 45 к.

Р. Киреев. До свидания, Севастополь! Повести. 527 стр. Цена 2 р. 10 к.

С. Клычков. Чертухинский балакирь. Романы. 687 стр. Цена 2 р. 80 к.

Л. Рахманов. Чёт-нечет. Повести. Рассказы. Пьесы. Воспоминания. Листки календаря. 703 стр. Цена 2 р. 60 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Загоскин. Сочинения. В 2-х тт. Т. 1. Историческая проза. 733 стр. с илл. Цена 3 р. 70 к. Т. 2. Комедии. Проза. Стихотворения. Письма. 815 стр. с илл. Цена 3 р. 80 к.

Памятники литературы Древней Руси. Выпуск 9. Конец XVI — начало XVII в. 616 стр. Цена 4 р.

Переписка Н. А. Некрасова. В 2-х тт. Т. 1. 543 стр. с илл. Цена 2 р.

И. Тургенев. Избранные сочинения. 671 стр. с илл. Цена 4 р. 80 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Купанье в птичьем молоке. Сборник юмористических и сатирических произведений молодых авторов. 95 стр. Цена 30 к.

Т. Павлова. Уинстанли. («Жизнь замечательных людей») 303 стр. Цена 1 р. 50 к.

О. Смирнов. Проводы журавлей. Повести 432 стр. Цена 1 р. 90 к.

Л. Ферлингетти. Избранное. Перевод с английского. («Современная зарубежная лирика») 63 стр. Цена 25 к.

«РАДУГА»

Р. Лисковаций. Жизнь вечная. Роман. Рассказы. Перевод с польского. 439 стр. Цена 2 р.

И. Петров. Избранное. Повести. Рассказы. Перевод с болгарского. 365 стр. Цена 2 р. 70 к.

Поэты Северной Англии. Стихи. Перевод с английского. 206 стр. Цена 1 р. 90 к.

Соло для оркестра. Чехословацкий рассказ. 70—80-е гг. Перевод с чешского, словацкого. 525 стр. Цена 3 р. 10 к.

«СОВРЕМЕННОСТЬ»

М. Булгаков. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. Романы 750 стр. Цена 5 р.

Б. Можаяв. Мужики и бабы. Роман. («Библиотека русского романа») 781 стр. Цена 3 р.

Повесть-86. 655 стр. Цена 2 р. 80 к.

«ИСКУССТВО»

Н. Гончарова. Е. М. Корнеев. Из истории русской графики начала 19 в. 382 стр. с илл. Цена 7 р. 80 к.

А. Янгерав. Анна Герман. 303 стр. с илл. Цена 1 р. 60 к.

А. Романов. Любовь Орлова в искусстве и в жизни. 242 стр. с илл. Цена 1 р. 30 к.

«НАУКА»

Гоголь и мировая литература. 320 стр. Цена 2 р. 80 к.

Я. Иноуэ. Сны о России. Роман, рассказы. Перевод с японского. 473 стр. Цена 2 р. 70 к.

Персидские народные сказки. («Сказки и мифы народов Востока») 503 стр. Цена 3 р. 30 к.

М. Салтыков-Щедрин. Сказки. («Литературные памятники») 279 стр. Цена 3 р. 10 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Астафьев. Перевал. Кража. Повести. 303 стр. Цена 90 к.

Б. Лавренев. Седьмой спутник. Повести, рассказы. 222 стр. с илл. Цена 1 р. 10 к.

М. Рид. Оцеола, вождь семинлов. Повесть о Стране Цветов. Перевод с английского. 368 стр. с илл. Цена 1 р. 20 к.

В. Тендряков. Весенние перевертыши. Чудотворная. Повести. 208 стр. с илл. Цена 70 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Е. Галимова. Книга о Шергине. Архангельск. Северо-Западное книжное издательство. 128 стр. Цена 25 к.

Г. Гарсия Марнес. Сто лет одиночества. Роман, повесть. Перевод с испанского. Иощар-Ола. Марийское книжное издательство. 410 стр. Цена 2 р. 80 к.

А. Жигулин. За рекой Чуною. Стихи. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 192 стр. Цена 55 к.

Я. Райнис. Слово любви. Любовная лирика. Перевод с латышского. Рига. «Лиесма». 287 стр. Цена 60 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаются в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. А. Дедков, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, Д. Мулдагалиев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, И. Б. Роднянская, А. Я. Сахнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 21.03.88 г. Подписано к печати 04.05.88 г. А 06132.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. Высокая печать. Объем 17 п л (23,8 усл. печ. л.).
27,28 уч.-изд. л.

Тираж 1.150.000 экз. (1-й завод 1 — 250.000 экз.). Зак. 957.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известия Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636